

Н О В Ы Й
М И Р

3

1967

3

Н О В Ы Й
М И Р

1967

Н(О)ВЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIII

№ 3

Март, 1967 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Трава забвенья	3
Д. САМОЙЛОВ — Смерть поэта, стихи	130
ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА — Из «Псковской тетради», стихи	133
ВАДИМ РАБИНОВИЧ — Два стихотворения	135

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ — На Печору, за семгой	137
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

А. ЛЕТНЕВ — Африканский калейдоскоп	157
-------------------------------------	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ТИМУР ГАЙДАР — Из Гаваны по телефону (Репортаж о революции). Окончание	177
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Г. БРЕЙТБУРД — Итальянский «новый авангард»	220
---	-----

Полвека советской литературы

НИК. СМИРНОВ — А. С. Новиков-Прибой среди друзей	237
--	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	252
И. Крамов. Судьба и время.— Ф. Левин. Свен Вооре, его личина и лицо.— Н. Гусев. Толстой и зарубежный мир.— Э. Кузьмина. Сухопутные пловцы.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	265
В. Старцев. Монография об Октябрьском восстании.— Дм. Дажин. Штрихи большой жизни.— Д. Угринович. Исследование религиозного сознания верующих.— А. Толстяков. Судьба книги.— Я. Притыкин. На стыке наук.— С. Эпштейн. Новое в управлении американскими предприятиями.	
КОРОТКО О КНИГАХ — М. А. Гагиева. Женщины гор.— Софья Аверичева. Дневник разведчицы.— Александр Кременской. В нехоженом лесу.— И. Рахтанов. Рассказы по памяти.— Академик М. Н. Тихомиров. Средневековая Россия на международных путях (XIV—XV вв.).— Г. И. Мишкевич. Мастер-невидимка.— Л. Г. Фризман. Творческий путь Баратынского.— Р. Подольный. Предки и мы.— В. Г. Сироткин. Дуэль двух дипломатий. Россия и Франция в 1801—1812 гг.— Ван Гог. Письма.— Андре Моруа. Превратности любви. Семейный круг.— Р. Шекли. Паломничество на Землю.— Гуго Глязер. Новейшие победы медицины	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

★

ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ

...а может быть, это были всего лишь маленькие звукоуловители, напряженно повернутые в мировое пространство к источнику колебаний, недоступных для человеческого уха...

Однажды я уже говорил или даже, кажется, писал, что обнаружил у себя способность перевоплощения не только в самых разных людей, но также в животных, растения, камни, предметы домашнего обихода, даже в абстрактные понятия, как, например, вычитание или что-нибудь подобное.

Я думаю, что это свойство каждого человека.

Во всяком случае все то, что я вижу в данный миг, сейчас же делается мною или я делаюсь им, не говоря уже о том, что сам я — как таковой — непрерывно изменяюсь, населяя окружающую меня среду огромным количеством своих отражений.

По всей вероятности — будучи, как все существующее в мире, грубо матерьяльным, — я так же бесконечен, как материя, из которой состою. Отсюда моя постоянная взаимосвязь со всеми матерьяльными частичками, из которых состоит мир, если, конечно, он матерьялен, в чем я глубоко убежден.

В силу своей постоянной житейской занятости мы давно уже перестали удивляться многообразию форм окружающей нас среды. Но стоит отвлечься хотя бы один день от земных забот, как сейчас же к нам возвращается чувство принадлежности ко вселенной, или, другими словами, чувство вечной свежести и новизны бытия.

Предметы обновляются и получают новый, высший смысл. Например, тот цветок, который в данный момент попал в поле моего зрения. Я обратил на него особенное внимание не случайно. Он давно уже тревожил меня своей формой.

Таковыми пучками растут, например, грибы опенки. Гнездо длинных трубок, вышедших из одного растительного узла. Сосисочки. Даже обмороженные пальчики. Пучок молоденькой тупоконечной морковки-каротели. Потом они подрастают, меняют цвет. Из оранжевых, шафранных делаются красными. Их концы лопаются и раскрываются венчиком. Но это совсем не общеизвестные вьющиеся граммофончики, ничего общего. Их удлиненные тельца — узкие колокольчики — и мягко округлые отверстия, окруженные фестончиками лепестков, светятся каким-то тиг-

рово-абрикосовым цветом, зловеще воспаленным в середине цветка, куда, как загипнотизированные, медленно вползают на казнь насекомые.

Буддийски-красный цвет.

Эти цветы быстро вырастают и так же быстро увядают, съеживаются, сохнут и выпадают из созревшей цветоножки, оставляя после себя длинное полупрозрачное тельце с зеленой тугой каплей завязи.

И вот, вместо того чтобы работать, я наблюдаю за цветами, радуюсь, что они напоминают мне целый ряд предметов, между прочим, те резиновые полупрозрачные соски, которые надевают на горлышко бутылочки с детским молоком, а затем отправляюсь искать садовника, для того чтобы узнать, как называется растение. Все мои чувства сосредоточены на этом праздном вопросе. В самом деле — не все ли мне равно, как оно называется, это чем-то мучительно для меня знакомое растение, чьи полувьющиеся, крепкие стебли поднимаются по столбам над верандой и постоянно как бы сознательно протягивают к самому моему лицу шафранно-красные соцветия, напоминающие мне что-то чрезвычайно для меня дорогое и важное, причем я делаю еще одно наблюдение: в этом соцветии имеются цветки всех возрастов, от совсем маленьких, как недоразвившийся желудь, цветков — ублюдков, уродцев размером с ноготок до бархатисто-бордовых красавцев в полном расцвете — цветов-королей и наконец до цветов-трупов, чьи обесцвеченные пустые чехольчики являют страшный вид коричневого гниения. И все они — вся кисть, все их семейство, живые и мертвые, — расположены строго параллельно перилам террасы, как бы обращенные в одну сторону — к вечно заходящему солнцу, уже коснувшемуся гористого горизонта.

Садовник сказал, что это растение называется «бигнония». Тем лучше.

Высунувшаяся из пыльного горячего куста длинная горизонтальная ветка с перистыми, супротивными листьями протянула мне соцветие, и самый крупный цветок, подобный маскарадному колпачку Пьеретты, остановился перед моими глазами, и тогда я легко и без усилий вспомнил точно такое же знойное июльское утро, башню Ковалевского и открытую веранду с гипсовыми помпейскими вазами, которые тогда воспринимались мною, как мраморные, а дача — по меньшей мере древнеримской виллой в духе живописца Семирадского; даже скромная полоса не слишком красивого Черного моря, откуда доносились резкие восклицания купальщиков, представлялась мне пламенным Неаполитанским заливом с красными парусами. И все это происходило потому, что я должен был увидеть человека, перед талантом которого преклонялся и который представлялся мне существом почти что сказочным.

— Ваня, к тебе! — крикнул толстячок московской скороговоркой.

Мы сразу поняли, что это старший брат Ивана Алексеевича, тоже литератор, пишущий на педагогические темы.

— Кто именно? — послышался голос из-за двери.

— Молодые поэты.

— Сейчас.

И на пороге террасы, пристегивая заграничные подтяжки, появился сам академик Бунин, мельком взглянул на нас и тотчас скрылся, а через минуту снова вышел уже в другом ритме и вполне одетый.

Многие описывали наружность Бунина. По-моему, лучше всего получилось у Андрея Белого: профиль кондора, как бы заплаканные глаза, ну и так далее. Более подробно не помню.

Потом я слышал, что глаза у Бунина были прелестно-голубые, но я этого не заметил. Хотя вполне допускаю.

Перед нами предстал сорокалетний господин — сухой, желчный, щеголеватый — с ореолом почетного академика по разряду изящной словесности. Потом уже я понял, что он не столько желчный, сколько геморроидальный, но это не существенно.

Хорошо сшитые штучные брюки. Английские желтые полуботинки на толстой подошве. Вечные. Бородка темно-русая, писательская, но более выхоленная и заостренная, чем у Чехова. Французская. Недаром Чехов называл его в шутку господин Букишон. Пенсне вроде чеховского, стальное, но не на носу, а сложенное вдвое и засунутое в наружный боковой карман полуспортивного жакета — может быть, даже в мелкую клеточку.

Крахмальный воротник — или, как тогда говорилось, воротнички, — высокий и твердый, с уголками, крупно отогнутыми по сторонам корректно-лилового галстука, подобно уголкам визитных карточек из наилучшего бристольского картона. В двадцатых годах я бы непременно написал: бристольский воротничок. Это у нас тогда называлось переносом эпитета. Кажется, я сам изобрел этот литературный прием и ужасно им злоупотреблял. Нечто вроде инверсии. Так-то, братцы!

Но до двадцатых годов было еще ой как далеко, целая вечность!

Теперь я так писать стесняюсь. Постарел. Остепенился. Пора и о душе подумать, стал мовистом.

Бунин взглянул на нас строго-официально и с далекого расстояния протянул нам вытянутые руки — одну мне, другую Вовке Дитрихштейну, — но не для рукопожатия, а для того, чтобы взять наши стихи.

Вовка Дидерикс, или, как он подписывался, Вл. фон Дитрихштейн, был тоже молодой поэт, но гораздо старше меня — богатый студент в штатском: кремовые фланелевые брючки, пестрый пиджачок, твердая соломенная шляпа канотье, толстый золотой перстень с фамильной печатью, белобрысая обезьянья мордочка остзейского немчика с виднеющимися редкими зубами. Типичный последний отпрыск.

Повинуясь неподвижному взгляду Бунина, мы вложили в его протянутые руки свои сочинения: Вовка вложил только что напечатанную на свой счет книжечку декадентских стихотворений — на бумаге верже с водяными знаками и в обложке в две краски — под названием «Блеклый венок», а я общую тетрадь, которую вытащил из-за гимназического пояса с сильно побитой металлической бляхой.

Крепко сжав хваткими пальцами наши сочинения, Бунин велел нам явиться через две недели, корректно поклонился одной головой, давая понять, что аудиенция кончена, и удалился, а его брат Юлий сказал, что Ваня торопится в гости, и проводил нас несколько шагов по каменной террасе до ступенек, которые вели на садовую дорожку, покрытую пыльным скрипучим гравием, подобно всем дорожкам на одесских дачах.

Ровно через две недели — минута в минуту — мы опять стояли на каменных плитах знаковой террасы, через перила которой к нам тянулись багрово-оранжевые сосисочки — соцветия растения, названия которого я тогда еще не знал и узнал только лет через пятьдесят.

— Ваня, к тебе, — сказал толстячок в дверь.

— Кто? — послышался раздраженный голос.

— Молодые поэты.

— Сейчас.

И на пороге стеклянной двери, как и в первый раз, появился Бунин с протянутыми руками, в которых держал наши сочинения, причем не ошибся: Вовке Дитрихштейну он протянул его книжечку, а мне — мою тетрадь.

— Я прочел ваши стихи,— сказал он строго, как доктор, обращаясь главным образом к Вовке, что несколько меня задело, лишней раз подтвердив мое наблюдение, что если сам я нахожусь среди какой-нибудь, пусть даже самой небольшой, компании, то меня или вовсе не замечают, или замечают в последнюю очередь; таково уж свойство моей личности.— Ну что же? Трудно сказать что-нибудь положительное. Лично мне чужда такого рода поэзия.

Вовка глупо, но заносчиво улыбнулся.

— Вам бы,— продолжал Бунин,— следовало обратиться к какому-нибудь декаденту, например к Бальмонту. А я — что же я могу сказать... Затрудняюсь. Манерно. Кокетливо. Неопределенно, неясно, претенциозно. Наконец зачастую просто не по-русски...

— Да, но разве вы не признаете в поэзии заумного? — отважно прервал его Вовка, облизывая бесформенные слюнявые губки.— Сейчас это многие признают.

— Быть может. Но я полагаю, раз оно заумное, то, значит, по ту сторону ума, то есть глупость,— сказал Бунин.

Я затрепетал от того, что в моем присутствии родился настоящий литературный афоризм, но не растерялся и сейчас же протянул Бунину его большой коричневый фотографический портрет на сером паспарту, купленный накануне за один рубль серебром у фотографа, который выставил его для рекламы в витрине своего ателье на Ришельевской улице, в знаменитом одесском пятиэтажном небоскребе, построенном из желтого кирпича в мавританском стиле.

На фотографии — под папиросной бумагой, как невеста под фатой,— было изображение Бунина, который несколько боком сидел в каком-то железном садовом кресле, схватившись сухими руками за подлокотники и вытянув вперед к зрителям ногу, заложившую за ногу так, что заграничные полуботинки оказались на первом плане и вышли неестественно большими со всеми своими подробностями: толстой подошвой, дырочками вокруг союзок, кожаными шнурками, завязанными бантом, в то время как характерная голова академика с выдающимся дворянским затылком вышла несколько менее крупной, чем мне бы хотелось; даже отборный садовый гравий на переднем плане вышел куда более выразительно, чем все остальные аксессуары.

Увидев в витрине эту фотографию, я побежал домой и почти со слезами вымолил у тети рубль, который с меня запросил бездарный, но хитрый фотограф, смекнувший, что имеет дело с молодым поэтом, поклонником столичной знаменитости.

Теперь я извлек из пожелтевшей газетной бумаги портрет и подал его Бунину.

— Вы хотите, чтобы я вам что-нибудь написал на память? — спросил Бунин бесстрастно, но, как это ни странно, я вдруг понял, что в глубине души он польщен и моим смущением, и своим портретом, на который искоса взглянул, по-видимому, тут же отметив про себя весь его провинциализм, начиная от серого паспарту и кончая папиросной бумагой третьего сорта.— Но что же вам написать, вот вопрос?

— Напишите, если можно, то, что вы только что сказали.

— А что я сказал? — удивился Бунин.

— Ну как же... Вы сказали, что заумное, так сказать, это глупость.

— Разве я это сказал?

— Конечно, сказали.

Бунин на минуту задумался, но сейчас же извлек из внутреннего кармана жакета автоматическую ручку — что по тем временам было большой новостью — и отвинтил головку.

— Извольте. Ваше имя?

Я сказал.

Он положил портрет на гипсовую балюстраду и четкой клинописью написал в левом верхнем углу, где было посвободнее от аксессуаров: «Валентину Катаеву. Заумное есть глупость. Ив. Бунин».

Я был в восторге, а Вовка Дитрихштейн кусал свои мокрые губки от зависти, проклиная себя за то, что не догадался купить портрет Бунина.

Больше всего понравилось мне большое прописное «Б» в подписи Бунина, верхняя черта этой буквы вначале необыкновенно толстая, а затем сходящая на нет вроде египетской клинописной литеры или жирного восклицательного знака, поставленного горизонтально, или же даже редьки с тонким хвостиком. Я уже не говорю о том, как было лестно видеть свое имя, написанное рукой знаменитого писателя.

Проводив нас на этот раз до ступеней террасы, Бунин попрощался с нами, пожав наши руки: сначала Вовке, потом мне.

И тут произошло чудо. Первое чудо в моей жизни.

Когда Вовка Дитрихштейн уже начал сходить по ступеням, Бунин слегка попридержал меня за рукав моей гимназической коломянковой куртки и произнес негромко, как бы про себя:

— Приходите как-нибудь на днях утром, потолкуем.

Говоря это, он осторожно вытянул у меня из-под мышки тетрадь со стихами и спрятал ее за спину.

Легко можно представить, в каком состоянии я находился в течение тех четырех или пяти дней, которые с невероятным трудом заставил себя пропустить для приличия, чтобы не побежать к Бунину на другой же день.

И вот наконец я мчался в пустом утреннем вагоне электрического трамвая с плетеными из тростника откидными диванчиками за город на дачу Ковалевского, и все время с левой руки за обрывами показывалось из пыльной зелени и пропадало море, а справа мелькали дачные пятачки, усыпанные сухой шелухой подсолнуха, с киосками прохладительных напитков, булочными, почтовыми отделениями и даже в одном месте с летним театром, с гипсовой лирой над входом, где давались любительские спектакли, и трамвайный ролик бежал по медному проводу, рассыпая искры, казавшиеся при блеске ослепительного утреннего солнца и такого же ослепительного моря черными, как угольки, а провод в это время пел виолончелью и на крутых поворотах визжали и ныли тормоза, а я стоял на площадке новенького бельгийского вагона, держась за железный столбик, и высывался в открытую дверь для того, чтобы ветер охладил мою горячую голову с постриженными под машинку волосами.

Наконец тишина, пустой дачный сад, скрип пыльного гравия, степной полынный ветер, каменная веранда и красные соцветия еще не имеющего имени, но уже знакомого вьющегося растения. У входа в цветник, рдеющий на солнце красным цветом петушиного гребня, в воздухе стояла оса.

Однажды, значительно позже, я прочел у Пастернака волшебные строки: «...голоса приближаются: Скрыбин. О, куда мне бежать от шагов моего божества!»

И под его все теми же заграничными полуботинками зазвучали каменные потертые плиты веранды. На нем была свежевыглаженная холщовая блуза с нагрудным кармашком, оседланным стальным пенсне с черным шнурком.

Но, вероятно, в мире уже что-то произошло или в это время происходило — роковое и непоправимое,— потому что хотя стояло все то же горячее приморское утро, но дача уже не показалась мне римской виллой и над кубовой полосой беспокойного Черного моря я не увидел красных парусов Неаполитанского залива, а комната, куда меня пригласил хозяин, была проста, как дворницкая,— с белеными стенами, ярким полом, выкрашенным масляной краской, в янтарно-охряных досках которого лазурно отражалось небольшое окно, с кухонным столом, аккуратно застланным листом алой промокательной бумаги, надежно придавленной к столу кнопками, на котором я заметил четвертушку почтовой бумаги с начатыми строчками, а на раскаленном сияющем подоконнике на четвертушке такой же почтовой бумаги сохла горка влажного турецкого табака, и рядом с ней я увидел коробку с воздушно-крахмальными гильзами фабрики Конельского, стальную машинку для набивания, сверкающую на солнце своими медными застежками, и стальную палочку с круглой, некрашеного дерева рукояткой, приготовленные для набивки новой папирасы, в то время как в воздухе еще стоял синеватый дымок только что выкуренной, а сам Бунин уже не казался мне таким строгим и в его бородке было больше чеховского, чем в прошлый раз. Мы сели на два буковых венских стула, гнутых, легких и звонких, как музыкальные инструменты, и он положил на стол мою клеенчатую тетрадь, разгладил ее сухой ладонью и сказал:

— Ну-с.

...но как же все это случилось? Что между нами общего? Почему я его так страстно люблю? Ведь совсем недавно я даже не слышал его имени. Хорошо знал имена Куприна, Андреева, Горького, слышал, что есть Арцыбашев, Юшкевич, Чуриков — тот самый, о котором будто бы злой старик Лев Толстой сказал: «Как его... Чуриков, Чуриков...» А о Буине совершенно ничего не слышал. И вдруг в один прекрасный день, совершенно неожиданно, он стал для меня божеством.

Давайте разберемся.

Я уже давно писал стихи и находился, как все молодые поэты, в состоянии вечного душевного смятения: бегал по редакциям местных газет без всякого разбора, читал свои стихи кому попало в гимназии, на переменках, спрашивал мнение товарищей, домашних, папы, тети, мучил своими произведениями младшего братишку Женю — будущего Евгения Петрова, — посылал свои стихотворения бабушке в Екатеринослав, даже прослыл у знакомых гимназисток слегка сумасшедшим. И все это лишь потому, что никто не мог мне объяснить какой-то — как я тогда думал — самый главный секрет, открыть какую-то самую сокровенную тайну поэзии, не обладая которой можно было и впрямь свихнуться, не понимая, для чего все это пишется, что означают все эти давным-давно, еще со времен Ломоносова, известные рифмы, размеры, строфы — тысячу раз уже писанные кем-то раньше, тысячу раз читанные-перечитанные и по

сути дела, по внутреннему ощущению, ничего общего не имеющие лично со мной, с моей жизнью, с моей судьбой, с моими интересами,— какие-то бледные «холодом дышит природа немая, бешено волны седые кипят» и прочее.

...Звездочки между четверостишиями...

Подобное же чувство, по-видимому, испытал в свое время и Маяковский, о котором я тоже собираюсь кое-что рассказать в этой книге. В своей биографии он пишет:

«...Вышло ходульно и ревплаксиво. Что-то вроде:

«В золото, в пурпур леса одевались, солнце играло на главах церквей. Ждал я: но в месяцах дни потерялись, сотни томительных дней».

Исписал таким целую тетрадку»...

Никто мне ничего не мог сказать, и ничего я не слышал, кроме того, что — «вообразите себе, Валя пишет стихи, хотя, впрочем, в его возрасте все пишут».

В редакциях:

— Стихи? Отлично. Оставьте. Приходите через две недели. Рукописи не возвращаем.

Через две недели:

— Не пойдет.

— Почему?

— Потому что мы буквально завалены стихами, а мы их вообще-то не печатаем.

Или вдруг неожиданное счастье:

— Одно взяли.

— Какое?

— Я уже не помню. Там что-то про природу. Восемь строк. На подверстку.

И лишь один раз в редакции «Одесских новостей», заваленный узкими гранками, испятнанными черными оттисками пальцев, известный журналист Герцо-Виноградский, который под псевдонимом Лознгрин вел ежедневный фельетон, короткими, рублеными строчками, односложными абзацами, а-ля король фельетонистов великий Влас Дорошевич, человек с худым интеллигентным лицом и длинными усами Верхарна, мельком взглянув на меня сквозь все то же стальное чеховское пенсне,— вдруг чем-то во мне заинтересовался — трудно сказать, чем именно,— может быть, просто по-человечески пожалел, потому что я так неестественно кашлял от смущения, имитируя «слабые легкие», так нервно ломал лаковый козырек своей гимназической фуражки, прожженный в нескольких местах увеличительным стеклом, так стеснялся своих вулканических, так называемых «возрастных» прыщей на худом китайском подбородке... Он ласково отстранил доброй рукой мои свернутые в трубку стихи и сказал с простотой и откровенностью, потрясшей меня:

— Слушайте, ну, допустим, я попрошу вас зайти через неделю и потом скажу, что стихи не подходят потому, что мы вообще-то стихов не печатаем, хотя мы их изредка и печатаем, и потому, что стихи сырые, хотя они действительно, может быть, сырые. Но какое это имеет значение? Хотите знать святую правду? Вы принесли мне стихи, а я — вот даю вам честное слово порядочного человека — ну совершенно, абсолютно ничего не смыслю в стихах и поэтому ничего вам не могу посоветовать путного. И никто у нас в газете ровно ни черта в поэзии не понимает. Можете мне поверить. Только делают вид, что понимают. Так что я вам

посоветую: дайте свои стихи прочесть настоящему писателю. Понимаете: настоящему.

Он подчеркнул это слово и уставился на меня добрыми склеротическими глазами.

— У нас в Одессе,— сказал он,— живет один настоящий писатель. Юшкевича я не считаю. Александр Митрофанович Федоров. Вы, наверное, о нем слышали?

— Не слышал.

— Чехову нравилось его стихотворение: «Шарманка за окном на улице поет, мое окно открыто, вечерет».— Он снял пенсне и вытер платком слезы.— Вот видите. А еще хотите быть писателем. Надо знать! А. Федоров. О нем даже есть в энциклопедическом словаре.

Мне было ужасно неловко за свое невежество, и я виновато молчал, терзая в опущенных руках свою фуражку и выламывая веточки герба. Но тут меня осенило: А. Федоров! Не папа ли это реалиста Витьки Федорова, с которым мы одно время жили рядом в «Отраде» и даже немного дружили? Помнится, Витька хвастался, что у него батька писатель.

— Он не в «Отраде» живет? — спросил я.

— Жил в «Отраде», а теперь выстроил собственную дачу рядом с башней Ковалевского.

— Я товарищ его сына Витьки.

— Верно, у него есть сын Витя. Так вы, я вам серьезно советую, не откладывая и поезжайте. Он хороший поэт, ученик Майкова,— прибавил он таинственным шепотом.— Он может дать вам ряд полезных советов. Это единственное разумное, что вы можете сделать. У вас что — легкие не в порядке?

— В порядке. Это я так. У вас здесь в редакции очень жарко.

— С богом.

Так как на даче не было ни души, я беспрепятственно прошел через все комнаты и остановился в дверях кабинета, где за письменным столом сидел, как я сразу понял, сам А. М. Федоров на фоне громадного, во всю стену, венецианского окна с дорогими шпингалетами, на треть занятого морем, большефонтанским берегом и маяком, а на две трети движущимся громадным облачным небом ранней весны — еще холодной и хмурой, со штормами и неправдоподобно крупными почками конского каштана, как бы густо обмазанными столярным клеем.

А. М. Федоров задумчиво, с паузами, заносил что-то в объемистую записную книжку. Наверное, пишет стихи, подумал я и вступил в комнату, с ужасом слыша скрип своих новых ботинок.

— Здравствуйте,— сказал я, прокашлявшись.

Он нервно вздрогнул всем телом и вскинул свою небольшую красивую голову с точеным, слегка горбатым носом и совсем маленькой серебряной бородкой: настоящий европейский писатель, красавец, человек из какого-то другого, высшего мира; с такими людьми я еще никогда не встречался; сразу видно: утонченный, изысканно-простой, до кончиков ногтей интеллигентный, о чем свидетельствовали домашний батистовый галстук бантом, вельветовая рабочая куртка, янтарный мундштук, придавая ему нечто в высшей степени художественное.

— Здравствуйте,— еще раз сказал я, шаркая ногой.

Он схватился кончиками пальцев за сидящие виски. В его глазах мелькнуло безумие.

— Ах, как вы меня испугали! Нельзя же так. Я думал бог знает что... Пожар... Что вам угодно?

— Я товарищ Вити.

— Витя в училище,— с недоумением сказал он.— А почему вы не в гимназии? Или, может быть, с Витей что-нибудь случилось? — закричал он, вскакивая.— Ради бога, говорите, что с ним случилось!

— Ничего не случилось.

— Он жив?

— Наверное. А чего?

— Это я вас должен спросить: а чего? И почему вы не в гимназии?

— Так.

— Странно.

— Я не к Витьке пришел, а к вам.

— Ко мне? — удивился Федоров.

Но прежде чем я успел вытащить из кармана шинели свои рукописи, он все понял и заметался, как подстреленный.

— Стихи? Нет, нет! Только, умоляю вас, не теперь. Вы же видите — я занят. В эти часы я никого не принимаю. Как вы сюда попали?

Он отпрянул от меня и смотрел с ужасом на мои рукописи, которые я уже начал торопливо перелистывать. Мы были во всем доме одни. Его положение было безвыходным.

— Лида! — крикнул он слабым голосом, но вспомнив, что жена уехала в город за покупками, махнул рукой и сдался.

Обливаясь потом и все время кашляя, я прочитал ему свои стихи. Он сделал томным, красивым голосом избалованного женщинами известного писателя несколько вялых замечаний, а потом разошелся, и когда я спрятал свою рукопись, он, несколько юмористически сверкнув глазами, погладив кисточку своей серебряной бородки, сказал сладостно-кондитерским голосом:

— Ну уж, так и быть. Теперь моя очередь. Держитесь, Валя. Сейчас я вас убью.— С этими словами он вынул из письменного стола толстую сафьяновую тетрадь и один за другим стал с упоением читать сонеты, написанные, как он объяснил, вчера во время бессонницы в один присест, залпом: — «Седые пейсы. Острый взгляд. Шейлок. Неровными зубами, торопливо он развязал заветный узелок. Таилось в нем сокровище на диво: жемчужина Персидского залива. Из мрака он на свет ее извлек и сам, гордясь, любитесь ревниво...» — и так далее и шикарный конец: «...она живет и дышит, и — о боже! — я слышу вздох: зачем меня хавас достал со дна для этих жадных глаз!»

Разумеется, я был убит наповал. Вот это настоящий поэт! И с этого дня стал страшным почитателем и учеником Федорова, который вскоре привык ко мне и не без томности говорил знакомым:

— Это Валя. Молодой поэт. Мой талантливый ученик. Мы читаем друг другу стихи.

Эта идиллия продолжалась довольно долго, но закончилась как-то вдруг, когда в один прекрасный день расчувствовавшийся Федоров томно сказал:

— Ах, Валя... Все это, откровенно говоря, вздор. Хотя мой учитель Майков и считал меня самым талантливым своим учеником и предсказывал мне блестящую будущность,— при этом Федоров посмотрел на фотографию старика с черно-серебряной бородой, в строгих железных очках — поэта Майкова — с автографом,— но, по совести, какие мы с вами поэты? Бунин — вот кто настоящий поэт. Вы читали Бунина?

— Нет.

— Вы не знаете стихов Бунина? — ужаснулся Федоров.— И ничего о нем не слышали?

— Смутно,— соврал я.— В каком-то журнале. Должно и скучно. Даже, кажется, без рифм. Впрочем, кажется, это был не Бунин.

Федоров с молчаливым укором посмотрел на меня, подошел к громадному, во всю стену, книжному шкафу, вытянул с полки книгу и стал ее перелистывать.

Мелькнула дарственная надпись с большой — прописной — клинописной буквой «Б».

— «Все море — как жемчужное зеркало, — читал Федоров, держа в руках открытую книгу, но не глядя в нее; читал своим красивым, несколько актерским тенорком, дрожащим от неподдельного восхищения. — Сирень с отливом млечно-золотым. И как тепло перед закатом стало, и как душист над саклей тонкий дым! Вон чайка села в бухточке скалистой... — Тут Федоров, повернув свою небольшую скульптурную голову, посмотрел в окно, в черноморскую даль, слегка прищурившись, с таким вниманием, словно и впрямь видел кавказское побережье с саклей, эту самую скалистую бухточку и чайку, сидевшую в ней. — Вон чайка села в бухточке скалистой, как поплавок... Взлетает иногда — и видно, как струю серебристой сбегает с лапок розовых вода».

Я был поражен. Передо мной вдруг открылась совсем простая тайна поэзии, которая до сих пор так упорно ускользала от меня, приводя в отчаяние.

Я уже давно — хотя и смутно — понимал, что уметь составлять стихи еще не значит быть поэтом. Легкость версификации уже перестала обманывать меня. Внешний вид стихотворения, так отличавшийся от прозы, со своими отдельными четверостишиями, особым щегольством типографской верстки, с тремя звездочками, многоточиями и другими общеизвестными ухищрениями хотя и продолжали оказывать на меня гипнотическое действие, но временами уже начинали раздражать. У меня даже зародилась глупейшая мысль, что можно в маленькую учебническую тетрадку «для слов» записать попарно все существующие рифмы, затем вызубрить, как таблицу умножения, все существующие стихотворные размеры — ямбы, хорей, амфибрахий, — что, в общем, не составляло большого труда, — и дело в шляпе! Что же касается самого содержания, то оно общеизвестно и вполне доступно: мечты, грезы, печаль, тоска, любовь, сад, луна, река, свиданье, страсть, цветы, осень, весна, зима, режé лето, поцелуй, ночь, утро, вечер, режé полдень, измена, горькая судьбина... Мало ли чего! Разумеется, в большом количестве море, волны, заливы, бури, чайки, — но все это в о о б щ е. Даже очень может быть бухта. Но бухта вообще. Не подлинная, а книжная. Не вызывающая никаких особенно ясных представлений.

Но тут была, во-первых, не бухта, а бухточка и, во-вторых, не вообще бухточка, а скалистая, то есть такая, какую я много раз видел где-нибудь в Аркадии или на Малом Фонтане и любовался ею, никак не предполагая, что именно она и есть предмет поэзии. Чайка была тоже не абстрактная чайка книжных винеток и концовок, а вполне реальная черноморская чайка — подруга большефонтанского маяка, — в данном случае севшая в скалистой бухточке, как поплавок, — сравнение, буквально сразившее меня своей простотой и почти научной точностью: уж я ли не знал, как плавает в морской воде двухцветный, наполовину красный и наполовину синий, пробковый поплавок — такой легкий, устойчиво покачивающийся на прибрежной волне, с торчащим кончиком гусиного пера.

Бунин открыл мне глаза на физическое явление поплавок, имеющего — по-видимому! — такой же удельный вес, как и чайка со своими

полыми костями и плотным, но чрезвычайно легким, просаленным, непромокаемым опереньем, как бы пропитанным воздухом.

Вода, серебристой струей сбегающая с розовых, тоже непромокаемых лапок, была так достоверна, — теперь бы я сказал: стереоскопична, — словно я издали смотрел на нее в хороший морской бинокль, увеличивающий раз в пятнадцать.

Я увидел чудо подлинной поэзии: передо мной открылся новый мир. В тот же вечер я попросил папу купить мне книгу стихотворений Бунина. Отец посмотрел на меня сквозь пенсне глазами, на которые — по-моему — наворачивались слезы умиления: наконец его оболтус взялся за ум. Он просит купить ему не коньки, не футбольный мяч, не духовой пистолет, не теннисную ракетку, а книгу. И не «Шерлока Холмса» Конан-Дойля, не «Тайну желтой комнаты» Гастона Леру, а прекрасную книгу русского поэта. Быть может, это был единственный подлинно счастливый день в его жизни. Отцы это поймут. А дети тоже поймут. Но не теперь, а со временем.

На другой день, вернувшись домой с уроков, отец вручил мне в передней, завернутый в прекрасную, тонкую, плотную оберточную бумагу, от которой пахло газовым освещением писчебумажного магазина «Образование», пахло глобусами, географическими картами, литографиями, — толстенький сборник стихотворений Ив. Бунина издательства «Знание» 1906 года в скучно зеленоватой шагреновой бумажной обложке, в которой чувствовалось что-то неуловимо социал-демократическое.

Теперь же я сидел перед живым Иваном Буниным, следя за его рукой, которая медленно перелистывала страницы моей общей тетрадки. На потертых углах этих страниц, выкрашенных по ребру красной краской, был нарисован во множестве один и тот же условный человечек в разных позах, так что стоило нажать большим пальцем угол тетради и быстро пустить веером уголки страниц, как в их мелкании возникала движущаяся картинка размахивающего руками человечка — нечто вроде теперешней мультипликации: нарисованный человечек в течение нескольких секунд — в зависимости от толщины тетради — поднимал руки и дрыгал ногами.

На углах самого толстого из всех гимназических учебников — «Природоведения» — некоторые терпеливые гимназисты умудрялись даже изображать бокс или смертельный прыжок с шеста в воду легендарного циркового артиста Дацарила.

Не обращая внимания на человечка, Бунин перелистывал мою тетрадь — всю изрезанную по клеенке черного переплета якорями, сердцами и стрелами. Он останавливался на некоторых стихотворениях, несколько раз про себя перечитывая их, иногда делал короткие замечания по поводу какой-нибудь неточности или неграмотности, но все это — коротко, не обидно, деловито. Когда он не разбирал моего почерка, то надевал пенсне и спрашивал:

— Какое это слово?

И никак нельзя было понять, нравятся ему стихи или не нравятся.

Через много лет после этого я слышал, как Станиславский сказал на репетиции «Расстратчиков» одному актеру:

— Можете играть хорошо. Можете играть плохо. Играйте, как вам угодно. Меня это не интересует. Мне важно, чтобы вы играли верно.

Думаю, тогда Бунин искал в моих стихах — где верно. Остальное ему было безразлично.

Дойдя до одного стихотворения, где я описывал осень на даче (ну уж, разумеется, на даче А. М. Федорова), Бунин не торопясь прочитал его вполголоса и остановился на последней строфе, где мною в поэтической форме была выражена та мысль, что поэт, он же и живописец (дело в том, что Федоров занимался также и живописью), написав натюрморт — глиняный кувшин с астрами,— как бы спас эти последние цветы от смерти, дал им на своем полотне вечную жизнь — или что-нибудь в этом роде.

«А в кувшине осенние цветы, их спас поэт от раннего ненастья, и вот они — остатки красоты — живут в мечтах утраченного счастья».

Бунин поморщился, как от зубной боли.

— Вы, собственно, что здесь имели в виду? — спросил он. — По всей вероятности, мастерскую Митрофановича на втором этаже, где он пишет свои натюрморты? Не так ли? В таком случае лучше было бы написать так.

Бунин перечеркнул последнюю строфу карандашом, а на полях написал: «А на столе осенние цветы. Их спас поэт в саду от ранней смерти».

Он немного подумал и затем решительно закончил: «Этюdniки. Помятые холсты. И чья-то шляпа на мольберте».

Я был поражен точностью, краткостью, вещественностью, с которой Бунин, как бы тремя ударами кисти, среди моих слепых общих строчек вдруг изобразил мастерскую своего друга Федорова, выбрав самые что ни на есть необходимые подробности: этюдники, холсты. Шляпа. Мольберт.

Какой скупой словарь!

С поразительной ясностью я увидел тяжелый, грубо сколоченный, запачканный красками мольберт и на нем небрежно повешенную бархатную шляпу с артистически заломленными полями, по-тирольски — вверх и вниз, — что удивительно верно передавало весь характер Федорова с его изящным дилетантизмом и невинными покушениями на богемность.

Почему-то мне потом часто представлялось, что именно такую бархатную, оливкового цвета шляпу с полями, загнутыми по-тирольски, непременно носил известный в свое время критик и эстетик Юлий Айхенвальд. А может быть, и Корней Чуковский.

Правда, меня немного смутили «помятые холсты». У художников редко бывают помятые холсты: они или натянуты на подрамник, или стоят в углу, свернутые в толстые трубы. Попробуйте-ка их смять! И до сих пор меня мучают эти помятые холсты, показывающие, что даже у самых лучших поэтов иногда попадаются проходные эпитеты, хотя на первый взгляд и точные, но в самой своей глубине неверные, поставленные по принципу — авось проскочит.

У меня не проскочило, потому что я никак не мог увидеть помятые холсты, а видел их свернутые в трубы, тяжелые, промасленные. Но это между прочим.

Из других стихотворений Бунин вскользь остановился на одном, где я описывал свидание со знакомой гимназисткой на закате осенью на сельском кладбище, что вполне соответствовало действительности и недавно происходило в селе Усатовы Хутора под Одессой, где я гостил у товарища.

Я следил за глазами Бунина, скользившими по моим строчкам: «Пришли, задумались, на камень тихо сели. Мечтательно звенел хрустальный хор сверчков. Качались по ветру сухие иммортели среди надгробных плит и каменных крестов» — и так далее. «И грустно стало мне и как-то одиноко. Но лишь на миг. Ведь ты была со мной. А в синеве небес уже стоял высоко двурогий месяц ледяной».

Бунин несколько задержался на этом стихотворении, как бы вместе со мною переживая сиденье на холодной ракушниковой плите сельского кладбища при свете ледяного месяца, серебрившего вокруг нас слюдяные цветы иммортелей, а затем наверху страницы поставил моим обгрызенным карандашом птичку, по-видимому, означавшую, что стихи ничего себе, во всяком случае — «верные».

Таких стихотворений, отмеченных птичкой, на всю тетрадку оказалось всего два, и я приуныл, считая, что навсегда провалился в глазах Бунина и хорошего поэта из меня не выйдет, тем более что на прощание он не сказал мне ничего обнадеживающего. Так, обычные замечания равнодушного человека: «Ничего». «Пишите». «Наблюдайте природу». «Поэзия — это ежедневный труд».

Мысль о ежедневном труде Бунин несколько развил.

— Писать стихи надо каждый день, подобно тому, как скрипач или пианист непременно должен каждый день без пропусков по нескольку часов играть на своем инструменте. В противном случае ваш талант неизбежно оскудеет, высохнет, подобно колодезю, откуда долгое время не берут воду. А о чем писать? О чем угодно. Если у вас в данное время нет никакой темы, идеи, то пишите просто обо всем, что увидите. Бежит собака с высунутым языком, — сказал он, посмотрев в окно, — опишите собаку. Одно, два четырехстишия. Но точно, достоверно, чтобы собака была именно эта, а не какая-нибудь другая. Опишите дерево. Море. Скамейку. Найдите для них единственно верное определение. Опишите звук гравия под сандалиями девочки, бегущей к морю с полотенцем на плече и плавательными пузырями в руках. Что это за звук? Скрип не скрип. Звон не звон. Шорох не шорох. Что-то другое — галечное, — требующее единственного необходимого, верного слова. Например, опишите полувыющийся куст этих красных цветов, которые тянутся через балюстраду, хотят заглянуть в комнату, посмотреть через стеклянную дверь, что мы тут с вами делаем. Очень типичное растение для большефонтанской дачи, для июля месяца, для знойного полудня, когда в саду пусто, потому что все ушли купаться и с берега долетают резкие восклицания и визг купальщиц.

Я был весь, без остатка, поглощен рассматриванием спелого красного цветка, тронутого первыми признаками разложения. Пожелтевшие зубчики преградили путь осы в темно-красную середину агонизирующего цветка, где как бы горел угрюмый огонь войны, грядущей революции, приближение которых было еще вне моего сознания. Другой цветок уже был мертв, и по его мертвой плоти ползали маленькие рыжие муравьи, поднимавшиеся цепочкой по гипсовой балясине балюстрады.

Я снова вижу этих маленьких хрупких муравьев, и они мне кажутся теми же самыми. А может быть, они и есть те же самые — вечные, бессмысленные, такие хрупкие и недолговечные муравьи, инстинктивно ищущие в громадном непознаваемом мире тело разлагающегося цветка. Но как он называется? Теперь-то я знаю. Но тогда я еще не знал.

Я заметил, что человека втрое больше мучает вид предмета, если он не знает его названия. Давать имя окружающим вещам — быть может,

это одно и отличает человека от другого существа. Но у меня нет такого запаса слов, чтобы назвать миллионы существ, понятий, вещей, окружающих меня. Это мучит. Но еще большее мучение, вероятно, испытывает вещь, лишенная имени: ее существование неполноценно. Сонмы неназванных предметов терзаются вокруг меня и в свою очередь терзают меня самого страшным сознанием того, что я не бог. Не имеющие имен вещи и понятия стоят в стеклянных шкафах вечности, как новенькие, золоченые фигуры еще не воплотившихся будд в темных приделах храма среди каменных, раскаленных дворов под выгоревшим небом Монголии, которое как бы дышит жертвенным дымом сожженных степных растений, сонным ароматом желтого мака, шалфея, полыни, тысячелетней черепицы китайских крыш дворца Богдо-Гэгэна с колокольчиками.

Будды похожи друг на друга и лишены индивидуальности, их позолота свежа, их длинные улыбки не выражают никакой идеи; они ждут своего воплощения, а это может произойти лишь тогда, когда в мире появится какое-нибудь совершенно новое понятие, требующее пластического выражения.

Тогда бритоголовые ламы, похожие на римских сенаторов в красных туниках и канареечно-желтых тогах — но не в сандалиях, а в монгольских сапогах, — вынимают из стенного шкафа одного из безымянных будд, дают ему имя и переносят в храм, где среди дыма тлеющих палочек, возгласов, вертящихся молитвенных барабанов, красивых шоколадных конфет и крепдешиновых ритуальных платков он становится наконец богом.

...Красный буддийский цвет, золотой джаз жертвоприношений.

— Наконец опишите воробья, — сказал Бунин, — я знаю: вы пришли в отчаяние от того, что все уже сказано, все стихи написаны до вас, новых тем и новых чувств нет, все рифмы давно использованы и затрепаны; размеры можно перечесть по пальцам; так что в конечном итоге сделаться поэтом невозможно. В юности у меня тоже были подобные мысли, доводившие меня до сумасшествия. Но это, милостивый государь, вздор. Каждый предмет из тех, какие окружают вас, каждое ваше чувство есть тема для стихотворения. Прислушивайтесь к своим чувствам, наблюдайте окружающий вас мир и пишите. Но пишите так, как вы чувствуете, и так, как вы видите, а не так, как до вас чувствовали и видели другие поэты, пусть даже самые гениальные. Будьте в искусстве независимы. Этому можно научиться. И тогда перед вами откроется неисчерпаемый мир подлинной поэзии. Вам станет легче дышать.

Но я уже и без того дышал легко, жадно, новыми глазами рассматривая все, что меня окружало.

...Тщательно описав воробья, я стал описывать девочку. Но она была не птица и не цветок. Для ее изображения было мало написать, что ей тринадцать лет, что у нее короткая юбочка, очевидно, перешитая из каких-то домашних лохмотьев, дочерна загоревшие худые ноги, до колен покрытые перловой крупой еще не успевшего высохнуть морского песка, голландка с сильно вылинявшим синим воротником, открывавшим острые ключицы, и коротко остриженная иссиня-черная кудрявая — я бы сказал, греческая — головка, которую с первого же взгляда хотелось сравнить с ежевикой.

Проходя мимо гипсовых ваз балюстрады, она посмотрела на меня, и я увидел худое, темно-оливковое лицо с узкими глазами, в которых как бы таинственно блестела лунная ночь.

Она презрительно поджала сизые от купания губы, передернула плечами и скрылась из вида, униженная своей явной бедностью, даже нищетой и вместе с тем злая, независимо гордая, как маленькая голодная царица.

Это уже была не превосходно найденная деталь летнего приморского полудня, повод для словесной живописи, урок поэзии.

Всей душой я вдруг почувствовал в ней не просто девочку, а трагическую героиню какого-то подлинного, а не выдуманного назревающего, будущего романа...

...чудо мгновенного превращения пейзажа в эпос, в трагедию.

Я знал, что мы еще когда-нибудь с ней встретимся.

Несколько дней потом бегал я по знакомым, рассказывая о своем визите к Бунину; почти ни на кого мой рассказ не произвел сколько-нибудь заметного впечатления. Повторяю: мой Бунин был мало известен. Только мои товарищи — молодые поэты, к числу которых я уже в то время как бы официально принадлежал, — заинтересовались моим рассказом. Правда, большинство из них совсем не признавало Бунина как поэта, что приводило меня в отчаяние и даже какую-то детскую ярость. Но зато все трепетали перед ним как перед почетным академиком, и узнав, что Бунин, известный своей беспощадной строгостью, из пятнадцати моих стихотворений два удостоил поощрительной птички, сначала не хотели этому верить, а потом, уверившись, да, кроме того, собственными глазами увидев присочиненную Буниным шляпу на мольберте, прониклись ко мне некоторым интересом, хотя и откровенно пожимали плечами. Они меня тоже не признавали. Вообще в то время никто никого не признавал. Это было признаком хорошего литературного тона.

Как и теперь, впрочем.

Я стал в некотором роде знаменитостью, а мою тетрадку с бунинскими строчками до того захватывали пальцами, что я принужден был показывать ее издали, не давая в руки.

У меня кружилась голова от славы. Я упивался начавшейся для меня новой, счастливой жизнью, сулившей впереди столько прекрасного! Я без усталости сочинял стихи, описывая все, что меня окружало. Я понимал, что поэзия была вовсе не то, что считалось поэзией, а чаще всего была именно то, что никак не считалось поэзией. Мне не надо было ее разыскивать, откуда-то выковыривать. Она была тут, рядом, вся на виду, она сразу попадала в руку — стоило лишь внутренне ощутить ее поэзией. И это внутреннее ощущение жизни как поэзии теперь безраздельно владело мною.

Лишь потому, что я вдруг узнал, понял всей душой: вечное присутствие поэзии — в самых простых вещах, мимо которых я проходил раньше, не подозревая, что они в любой миг могут превратиться в произведение искусства, стоит только внимательно в них всмотреться.

Сколько раз до сих пор я видел обыкновенного уличного шарманщика, но только теперь, взглянув на него глазами Бунина, понял, что и шарманщик поэзия, и его обезьянка поэзия, и дорога от Одессы на Фонтан тоже поэзия. «Ограды дач еще в живом узоре — в тени акаций. Солнце из-за дач глядит в листву. В аллеях блещет море... День будет

долг, светел и горяч. И будет сонно, сонно. Черепицы стеклом светиться будут. Промелькнет велосипед бесшумным махом птицы, да прогремит в немецкой фуре лед».

Оказывается, все это чистейшая поэзия, но, конечно, лишь в том случае, если удастся открыть самую душу вещи или явления: например, душу велосипеда, который «промелькнет бесшумным махом птицы». Этот бесшумный мах, в котором все же присутствовал шорох шин, буквально сводил меня с ума своей дьявольской точностью, а главное, тем, что в нем скрывалось как бы еще одно слово, не написанное, но подразумевающееся, — «спицы» — с их никелевым блеском и маленькими молниями солнечных отражений.

Перечел написанное и нахожу, что хотя в нем все как будто верно, да не совсем. Слишком упрощенно получаюсь я — молодой человек того времени. А ведь именно об этом времени впоследствии Александр Блок написал в предисловии к «Возмездию»:

«Интересно и бесполезно и для себя и для других припомнить историю собственного произведения. К тому же нам, счастливейшим или несчастливейшим детям своего века, приходится помнить всю свою жизнь; все годы наши резко окрашены для нас, и — увы! — забыть их нельзя, — они окрашены слишком неизгладимо, так, что каждая цифра кажется написанной кровью; мы не можем забыть этих цифр; они написаны на наших собственных лицах».

Книга, которую я сейчас пишу, есть в какой-то мере «история собственного произведения» — точнее, одного из моих произведений, романа «Ангел смерти», который я мечтал написать всю свою жизнь, но так и не написал. И он навсегда остался лишь моей мечтой.

Книга мечты.

Я младший современник Блока, что не могло помешать мне ощущать время так же, как ощущал его Блок.

«...1910 год, — писал Блок, — это кризис символизма, с которым тогда очень много писали и говорили как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма».

Тем, чем для Блока был 1910 год, тем для нас, молодых провинциалов, были 1913 и 1914 годы, когда наконец и до Одессы дошли эти самые «первые начатки футуризма»: странные книжки, напечатанные на толстой, чуть ли не оберточной бумаге со щепочками, непривычным шрифтом, со странными названиями «Пощечина общественному вкусу», «Дохлая луна», даже «Засахаренная кры...», непонятными стихами и чудовищными фамилиями поэтов-футуристов, как будто нарочно придуманными для того, чтобы дразнить читателей.

Мы прятали эти сборники под партами вместе с крамольным «Сатириконом» и неприличными похождениями какой-то Эльзы Гавронской, в которых все было абсолютно прилично, даже тошнотворно-скучно, но все равно — гимназическое начальство считало, что это порнография.

Среди совершенно не понятных для меня стихов, напечатанных кривью и вкось, даже, кажется, кое-где вверх ногами, которые воспринимались как дерзкая мистификация или даже какой-то страшный протест: «Дыр бул щыл — убещур», мне попался на глаза футуристический сборник «Садок судей» — твердая квадратная книжка в обложке из

цветных обоев, напечатанная на толстой синей бумаге, почти картоне, где я нашел строчки: «В ушах оглохших пароходов горели серьги якорей»

И вдруг я, воспитанный на классиках, уже слегка прикоснувшийся к волшебному реализму Бунина, прочитав эти футуристические строчки, увидел поразительно яркое изображение порта и услышал так хорошо мне знакомый пароходный гудок столь низкого, басового тона и столь пронзительно свистящей силы, что едва он начинал гудеть, как из брандспойта, выпуская струю прозрачно-раскаленного пара, которая лишь через некоторое время превращалась над головой в плотное облако, морозящее теплым дождиком на головы и лица пассажиров, которые в ужасе затыкали пальцами уши и разевали рты для того, чтобы спасти свои барабанные перепонки, как в мире воцарялась тишина. Поэтому пароходный гудок всегда ассоциировался с внезапно наступившим на рейде безмолвием, с всеобщей подавляющей глухотой.

Я понял, что оглохшие пароходы были вовсе не футуристическим изыском, а поразительно верным реалистическим изображением, инверсией — по тому времени совершенно новым приемом, поэтическим открытием, заключавшимся в том, что ощущение глухоты переносилось с человека на вещь. Пароходы превращались в живые существа, в железных женщин с серьгами якорей в оглохших ушах.

Что же касается любви и похоти (в последующей редакции), которые они со страшным воем лили из своих якобы медных труб, то это было совершенно гениальное наблюдение поэта, проникшего в самые глубины подсознательного: пароходный гудок ревел, и впрямь вызывая нечто похожее на половое чувство, от которого как бы содрогался рейд со всеми своими таможенными катерами, буксирами, баржами, тузиками, флагами, белым маяком, чье отражение рвалось на мелкие клочки, как разорванное письмо в голубом зеркале акватория, как бы разорванными в клочья чайками, предчувствием знойной приморской ночи.

Я даже не запомнил фамилии футуриста, написавшего эти строчки, но картина порта, созданная его могучим воображением, навсегда врезалась в память где-то рядом с поплавком бунинской чайки.

В ожидании нового свидания с Буниным я в сотый раз перебирал подробности того незабвенного дня, когда он делал карандашом пометки в моей тетрадке и советовал побольше читать книг по истории народов, населяющих земной шар. Он говорил, что каждый настоящий поэт должен хорошо знать историю мировой цивилизации. Быт, нравы, природу разных стран, их религии, верования, народные песни, сказания, саги. В то время это меня — увы! — ни в малейшей мере не волновало, хотя я и сделал вид, что восхищен мудрым советом и с ложным жаром стал записывать названия книг, которые он мне диктовал.

Я бы предпочел прочесть нечто такое, что сразу же и без особых хлопот научило меня писать прекрасные стихи и сделало знаменитым поэтом.

Разочаровал меня также настоящий совет Бунина не стараться во что бы то ни стало печататься, а немного повременить, не торопиться, так как все придет в свое время.

Тут Бунин с сухой полуулыбкой заметил:

— Впрочем, я не сомневаюсь, что вы меня все равно не послушаетесь, будете рассылать свои стихи во все редакции, лишь бы увидеть их, а главное имя свое, напечатанными. Я сам все это испытал на себе. И теперь очень жалею, что напечатал много слабого. Поймите, милостивый

государь, что мне ничего не стоит дать вам свою визитную карточку, и вас напечатают в любом толстом журнале...

Боже, неужели даже в «Современном мире»? — подумал я.

— ...но лучше не надо. Подождите.

О, как мне хотелось рвануться к нему со стоном:

— Пожалуйста, Иван Алексеевич, порекомендуйте мои стихи, дайте, дайте мне вашу визитную карточку. Ну что вам стоит? Вы же сами говорите, что ничего не стоит!

Но со лживой покорностью я поддакивал ему:

— Понимаю. Да, да. Конечно. Вы совершенно правы. Лучше подождать.

Он посмотрел на меня саркастически:

— А сами небось сегодня же побежите со своими стишками в «Одесский листок». Знаю я вас, молодых поэтов! Не обманете! Сам был таким.

Потом, переменяв разговор, очень серьезно, с глубоким убеждением сказал:

— Вам, конечно, хочется как можно скорее узнать от меня все тайны творчества. Не знаю, в состоянии ли я вам в этом помочь. Однако запомните следующее. Во-первых — и это самое главное, — нужно преодолеть в себе отвращение к листу чистой бумаги, которое испытывает почти каждый настоящий писатель, и писать каждый день, регулярно, не дожидаясь вдохновения, настроения и тому подобного, писать — как ходить на службу... или в гимназию.

Теперь я лихорадочно ожидал нового свидания с Буниным, но как раз в это время началась война, он уехал, и лишь спустя четыре года я увидел его вновь, столкнувшись с ним на тех неудобных ступеньках винтовой лестницы, которые вели немного вниз, в контору «Одесского листка», где я, помнится, получал гонорар за напечатанные стихи.

Он стоял передо мной по-прежнему сухой, желчный, столичный, недоступный — мой прежний Ив. Бунин, о котором я все эти годы — даже на артиллерийском наблюдательном пункте — не переставал думать и который как бы стал постоянным контрольным органом моего художественного сознания, и — отступя на шаг — молчаливо рассматривал меня во всех подробностях, будто собирался тут же, не сходя с места, описать.

— Вы меня узнали? — спросил я.

Он ничего не ответил — мне даже показалось, не услышал моего вопроса, — и продолжал рассматривать — я бы даже не побоялся сказать читать меня, делая иногда как бы мысленные пометки на полях.

— Офицер. Георгиевский кавалер. Демобилизован. Вырос, возмужал. — Он покосился на мою правую ногу, которая еще не слишком твердо стояла на ступеньке. — Ранен. Но кость не задета?..

Я, по своему обыкновению, закашлялся от смущения. Он тут же навострил уши, прислушиваясь к моему хриповатому, гораздо более глубокому, чем раньше, жесткому кашлю.

— Газы? — полуспросил он. — Фосген? — И протянул мне свою такую знакомую сухую руку с дружелюбно и откровенно открытой ладонью. — Здравствуйте, Валя, — сказал он, как мне показалось, любуясь мною. — Молодой поэт Валентин Катаев!

— Давно ли вы в Одессе?

Я задал этот вопрос от смущения, так как уже знал о его бегстве из большевистской Москвы в Одессу, где на днях он напечатал несколько новых, еще неизвестных мне стихотворений, из которых одно представляло описание какого-то, по-видимому московского, поэтического вечера и какой-то неизвестной мне поэтессы:

«Большая муфта. Бледная щека».

Затем, сколько помнится, эта поэтесса томно говорила:

«Кузмин, прочтите новый триолет».

И все это маленькое стихотворение заканчивалось короткой строчкой:

«Скучна, беспола и распутна».

Здесь был весь Бунин с его точностью, лаконизмом, желчностью и ненавистью к дилетантскому искусству.

Я заметил, что поэт Кузмин, кажется, никогда не писал триолетов. Бунин сказал, что не имел в виду Михаила Кузмина. Взял первую попавшуюся фамилию. «Если хотите, могу переделать его в кого-нибудь другого».

Из другого же стихотворения запомнились два кусочка. Первый:

«Где ты теперь? Дивуешься ль волнами зеленого Бискайского залива меж белых платьев и панам?»

И последний:

«Скажи поклоны князю и княгине. Целую руку детскую твою за ту любовь, которую отныне ни от кого я не таю».

Впоследствии я уже ни в одном сборнике не встречал этих стихов, но думаю, что если порыться в одесских газетах и журналах того времени, то эти стихи найдутся.

Это был какой-то новый для меня, пугающий Бунин, почти эмигрант или, пожалуй, уже вполне эмигрант, полностью и во всей глубине ощутивший крушение, гибель прежней России, распад всех связей: лишь человек, понявший до конца, что жизнь кончена, мог написать, публично и печатно объявить о своей тайной, нежной, может быть даже преступной, любви, которую «отныне ни от кого я не таю».

Почему отныне? Почему не таю?

Да потому, что отныне уже ничего не будет. Все кончено. Он остался в России, охваченной страшной для него, беспощадной революцией. Она — княжна — уже где-то далеко, во Франции, на берегу «зеленого Бискайского залива меж белых платьев и панам».

И потом вместо «передай» — это изысканное, великосветское: «скажи».

«Скажи поклоны князю и княгине».

В этих стихах я ощутил тогда нечто трагическое. Отчаяние. Ужас. Покорность. Такие стихи могли быть написаны в ночь перед казнью.

Мы спустились по Ланжероновской мимо городского театра, мимо газона с гербом города Одессы, составленного из высаженных здесь цветов, миновали античный портик Исторического музея, городскую думу, знаменитую чугунную пушку на ступенчатом деревянном лафете. Затем не торопясь пошли по Николаевскому бульвару от памятника Пушкину по направлению памятника Дюку де Ришелье с чугунной бомбой в кофеле и рукой, протянутой в морскую даль, в «свободную стихию».

Дворец возле Лондонской гостиницы был занят немецким штабом, на подъезде стояли парные часовые в глубоких серо-стальных касках, высоко поперек бульвара висело резко желтое — я бы сказал, осино-желтого цвета — полотнище с резко черной готической немецкой

надписью, и Бунин, приостановившись, прочел своими дальнзоркими глазами орла: «Автомобиленлангзамфарен!», что значило приказание: «Автомобилиям ехать медленно!»

Два или три австрийских офицера с саблями в никелированных ножнах стояли возле штаба, читая выставленные в рамках под сетками пространные машинописные оперативные сводки за подписью фельд-маршала Людендорфа, размноженные на ротаторе.

Было странно мне, русскому офицеру, георгиевскому кавалеру, идти по русскому городу, занятому неприятельской армией, рядом с русским академиком, знаменитым писателем, который добровольно бежал сюда из советской России, поддавшись общей панике и спасаясь неизвестно от чего на оккупированном юге, в какой-то выдуманной немцами украинской державе, которой правил никому не известный до сих пор гетман Скоропадский — личность почти опереточная, — генерал или, может быть, даже полковник бывшей царской армии.

— Когда же мы с вами виделись в последний раз? — спросил Бунин.

— В июле четырнадцатого.

— Июль четырнадцатого, — задумчиво сказал он. — Четыре года. Война. Революция. Целая вечность.

— Тогда я к вам приехал на дачу, но вас уже не застал.

— Да, я уехал в Москву на другой день после объявления войны. С большим трудом выбрался. Все было забито воинскими эшелонами. Опасался Румынии, турецкого флота...

Мы помолчали.

Я увидел знойный июльский день. Сухой, сильный степной ветер нес через Куликово поле тучи черной пыли, клочья прессованного сена, задирали хвосты лошадям, согнанным сюда из окрестных хуторов по конской мобилизации, небо со зловещим, металлическим оттенком и кровавый закат над городом, навсегда для меня связанный со стихами:

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю! Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью, багровой крови пролилась струя!»

И с другими, еще более страшными:

«Мама и убитый немцами вечер».

«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Их бесстрашно написал в дни патриотического угара все тот же молодой футурист, автор так восхитившего меня некогда стихотворения «Порт». Но теперь я уже знал его имя: Владимир Маяковский...

«Звонок. Что вы, мама? Белая, белая, как на гробе газет. «Оставьте! О нем это, об убитом телеграмма. Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Эти строчки пронес я в душе своей через всю войну. Но разве мог об этом знать Бунин? При нем я боялся даже произнести кощунственную фамилию Маяковский. Так же, впрочем, как впоследствии я никогда не мог в присутствии Маяковского сказать слово: Бунин. Они оба взаимно исключали друг друга.

Однако они оба стоят рядом в моей памяти, и ничего с этим не поделаешь.

Бунин быстро шел, выставив вперед бородку, и, вертя жилистой шеей, зорко осматривался по сторонам, как бы желая крепко-накрепко

запомнить, а затем точнейшим образом где-нибудь описать все, что было вокруг: пятнисто-фисташковые стволы столетних платанов, замерший порт внизу под бульваром, длинный штабной немецкий автомобиль «бенц» серо-стального цвета, поворачивающий по асфальту за угол мимо постового — обыкновенного русского солдата с круглой чиновничьей кокардочкой на фуражке, украшенной каким-то странным трезубцем, что должно было обозначать принадлежность солдата к так называемой «державной варте» гетмана Скоропадского.

Полосатые тенты хорошо знакомых фруктовых магазинчиков на Екатерининской площади, где лубяные корзиночки с первой клубничкой — крупной и сухой — и почти черной или бледно-розовой черешней, в зеркальных ягодах которой отражалось уже почти летнее солнце.

В решительно сжатых челюстях и напряженно собранном лице своего учителя я угадывал хорошо скрытое смущение, даже растерянность. Я узнал, что он приехал с женой, остановился в городе у художника Буковецкого, но на днях переезжает на дачу, куда и пригласил меня навестись.

Так началось мое двухлетнее общение с Буниным до того дня, когда он наконец окончательно и навсегда покинул родину.

Опять дача за шестнадцатой станцией. Но на этот раз не дача Ковалевского, где я впервые увидел его. А другая. Не доезжая до Ковалевской, по правую руку от трамвайной линии. Более степная, чем приморская. Но такая же типичная большефонтанская дача — ракушниковый дом под черепицей — с ночной красавицей на клумбе, с розами, персидской сиренью и туями, сухими, пыльными. почти черными, с голубенькими скипидарно-мясистыми шишечками на слоисто-кружевных ветках, в глубине которых всегда мутно белела паутина, с открытой верандой. так густо заросшей диким виноградом, что когда вы после сияния знойного степного дня входите по горячим каменным ступеням на эту террасу, то вас сперва ослепляет темнота, а потом в золотистом сумраке вырисовывается обеденный стол, покрытый цветной клеенкой с телесно-розовыми разводами пролитого какао, по которым ползают осы.

Примерно на такой же веранде я впервые увидел жену Бунина — Веру Николаевну Муромцеву, молодую красивую женщину — не даму, а именно женщину, — высокую, с лицом камеи, гладко причесанную блондинку с узлом волос, сползающих на шею, голубоглазую, даже, вернее, голубоокою, одетую, как курсистка, московскую неяркую красавицу из той интеллигентной профессорской среды, которая казалась мне всегда еще более недосыгаемой, чем, например, толстый журнал в кирпичной обложке со славянской вязью названия — «Вестник Европы», выходящий под редакцией профессора с многозначительной, как бы чрезвычайно научной фамилией Овсяннико-Куликовский.

Отвлеченно я понимал, что Вера Николаевна красива, но она была не в моем вкусе: крупные ноги в туфлях на пуговицах, длинноватый нос античной богини — Деметры, например, — добродетельна, а главное, жена Бунина, кажется, даже не венчанная, а на московский либеральный лад — гражданская, о чем в своей автобиографической заметке Бунин, уже, кажется, женатый раньше, писал, что с такого-то года «жизнь со мной делит В. Н. Муромцева».

Она была родной племянницей председателя первой Государственной думы, крупнейшего буржуазного политического деятеля кадетской Москвы Муромцева, вдохновителя и организатора знаменитого «Выборгского воззвания».

Теперь они — Бунин и Вера Николаевна, — бежав от большевиков, как тогда выражались — «из Совдепии», сидели на даче вместе с другими московскими беженцами, дожидаясь того времени, когда советская власть наконец лопнет и можно будет вернуться восвояси.

Я стал у них настолько частым гостем, что Бунин, не стесняясь меня, бывало, ссорился с Верой Николаевной на московский лад:

— Вера, ты сушая дура! — раздраженно кричал Бунин.

А она, глядя на своего повелителя покорно влюбленными голубыми глазами ангела, говорила со стоном:

— Иоанн, умоляю, не будь таким нестерпимо грубым. — Она сплетала и расплетала длинные голубоватые пальцы. — Не безумствуй! Что подумает о нас молодой поэт? Ему может показаться, что ты меня не уважаешь.

Помню, меня чрезвычайно удивило это манерное Иоанн применительно к Бунину. Но скоро я понял, что это вполне в духе Москвы того времени, где было весьма в моде увлечение русской старинной. Называть своего мужа вместо Иван Иоанн вполне соответствовало московскому стилю и, может быть, отчасти намекало на Иоанна Грозного с его сухим, желчным лицом, бородкой, семью женами и по-царски прищуренными соколиными глазами.

Во всяком случае было очевидно, что Вера Николаевна испытывала перед своим повелителем — в общем-то, совсем не похожим на Ивана Грозного — влюбленный трепет, может быть даже преклонение верно-подданной.

До этой древнерусской моды она, кажется, называла Бунина на польский манер: Ян.

Я приносил Учителю все новые и новые стихи и рассказы.

— Обрати внимание, Вера, — говорил Бунин, держа в руке мои сочинения и кивая на меня головой, — как и все начинающие, он воображает, что литература принесет ему славу, деньги, роскошную жизнь. Признайтесь, милостивдарь, — обращался он уже прямо ко мне, — что вы мечтаете о своих портретах в журналах и газетах, похвальных отзывах в прессе, подумываете о собственной даче в Финляндии, о текущем счете в лионском кредите, о красавице жене, об автомобиле! Обрати внимание, Вера, как он покраснел. Сейчас будет врать, что ничего этого не желает, а желает только одного — чистого искусства. Так вот что я вам скажу, милостивый государь: не воображайте, что все знаменитые писатели непременно богаты. Прежде чем добиться более или менее обеспеченного — весьма скромного, весьма скромного! — существования, почти все они испытывают ужасающую бедность, почти нищенствуют. Не верите? Так вот: скажите мне, как вы себе представляете, например, Куприна? Знаменитый писатель, не так ли? Всюду издается, имеет громадное имя, кумир читающей публики. Согласны?

— О, конечно.

— Так вот-с, позвольте вам сказать, что у этого знаменитого писателя Куприна случались в жизни месяцы, когда в кармане не было трех копеек. И не в переносном смысле, а в самом буквальном: трех медных копеек.

Бунин так выразительно произнес эти слова, что я как бы воочию увидел на его протянутой ко мне ладони медную монету с почерневшим орлом — царские три копейки, которые тогда уже исчезли из обращения, как, впрочем, и вся царская разменная монета, замененная почтовыми марками — синими десятикопеечными и зелеными двадцатикопеечными.

ными и странными бумажными желтыми полтинниками, выпущенными одесской городской управой, с гербом города — в виде геральдического щита с черным якорем; так что в портмоне вместо мелочи носили все эти потертые бумажки.

Бунин уносил мои рукописи к себе в комнату, а затем через некоторое время возвращался с ними обратно на террасу, говоря:

— Ну что ж. Продолжайте. Кое-что есть, но надо работать и работать.

Или что-нибудь подобное.

Дома я внимательно изучал следы, оставленные его карандашом или ногтем: легкие подчеркивания, нотабене, галочки, птички, восклицательные знаки, — и ломал себе голову над их значением.

«Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...»

С нетерпением, доводящим меня почти до подлинного безумия, ждал я следующего свидания.

Утром нельзя было являться, так как он работал. Я приезжал из города после обеда, перед вечером. А иногда если у меня не было марок на трамвай, то приходил пешком, отмахав по пыльной большефонтанской дороге верст пятнадцать вдоль дач, маяков, станций, время от времени останавливаясь и любуясь открытым морем с белоснежными барашками волн, откуда дул такой чистый и такой широкий ветер!

А солнце садилось в степи, и тени моих шагающих ног в сапогах и галифе — длинные, как будто бы я шел на ходулях, — достигали обрыва с бахромой полыни на краю и там ломались, так что тень моего туловища с головой в измятой фронтальной фуражке как бы проваливалась в пропасть и летала в ней, подобно астральному телу, лишь иногда материализуясь в виде маленького отчетливого силуэта, скользящего по прибрежной гальке или же по мутно-зеленой волне, свернутой, как тугоплавкая стеклянная труба, вдруг разлетающаяся вдребезги среди скал.

С упорством маниака я думал о Бунине, о его новых стихах и прозе, привезенных из советской России, из таинственной революционной Москвы.

Это был какой-то другой, еще неизвестный мне Бунин, новый, совсем не тот, которого я знал вдоль и поперек по его собранию сочинений, вышедшему приложением к «Ниве» во время войны, в желтых обложках с красивой виньеткой, составленной из множества опадающих листьев.

Он все еще — видимо — воспринимался как певец осеннего увядания, автор «Листопада», которым я не уставал восхищаться.

«Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселой, пестрою стеной стоит над светлою поляной»...

Эта совсем небольшая описательная поэма, подобно тому как «Евгений Онегин» считался энциклопедией русской жизни, казалась мне энциклопедией осенних картин всей русской поэзии от Державина до Фета и Полонского.

Быть может, здесь и не было ничего нового, но «Листопад» как бы блестяще, исчерпывающе завершал целую поэтическую эпоху. Каждый его стих вызывал ряд дорогих для всякого русского человека ассоциаций.

«...и Осень тихую вдовой вступает в пестрый терем свой...» «...и месяц медленно встает. Все тени сделал он короче, прозрачный дым навел на лес и вот уж смотрит прямо в очи с туманной высоты небес».

В этом месте мне всегда приходило на память пушкинское: «Как при-видение, за рощею сосновой луна туманная взошла».

Строки: «Трубят рога в полях далеких; звенит их медный перелив» — вызывали в воображении «Графа Нулина».

И все же это было оригинальное, чисто бунинское:

«... И в горностаевом шугае, умывши бледное лицо, последний день в лесу встречая, выходит Осень на крыльцо...»

Затем — великолепное завершение:

«...И будут в небе голубом сиять чертоги ледяные и хрусталем и серебром. А в ночь, меж белых их разводов, взойдут огни небесных сводов, заблещет звездный щит Стожар — в тот час, когда среди молчанья морозный светится пожар, Расцвет Полярного Сиянья!»

Было нечто многозначительное в том, что слово «Осень» писалось с большой буквы, как имя собственное. Тогда это мне чрезвычайно нравилось. Теперь же представляется манерным. Но все равно — стихи были прекрасны.

В первых своих книгах Бунин еще находился в плену традиционно-народнических представлений о своей родине как о стране нищей, смиренной, убогой.

«Я не люблю, о Русь, твоей несмелой, тысячелетней, рабской нищеты. Но этот крест, но этот козшик белый... Смирненные, родимые черты!»

Его еще тогда умиляла нищая Россия, как умиляла она и другого поэта, его современника:

«Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые — как слезы первые любви!»

Теперь же, в последней книжке Бунина, изданной в России, в десятом томе собрания его сочинений еще неизвестного у нас петроградского издательства «Парус», 1918 год, я прочел стихотворение «Архистратиг», где Русь представлялась Бунину уже совсем, совсем другой:

«Архистратиг средневековый, написанный века тому назад на церковке одноголовой, был тонконог, весь в стали и крылат... Кто знал его? Но вот совсем недавно открыт и он, по прихоти тщеславной столичных мод,— в журнале дорогим изображен на диво, и о нем теперь толкуют мистики, эстеты, богоискатели, девицы и поэты. Их сытые, болтливые уста пророчат Руси быть архистратигом, кощунствуют о рубище Христа и умиляются — по книгам,— как Русь смиренна и проста».

Эти стихи Бунин написал, кажется, в шестнадцатом году, пророчески ощущая приближение страшной для него революции, с которой не мог примириться до самой своей смерти.

Потом, уже в эмиграции, в конце жизни, Бунин вычеркнул мистиков, богоискателей, поэтов, эстетов; вычеркнул «их сытые, болтливые уста». Но я не признаю этой самоцензуры. Что написано — написано. Слово не воробей.

Так некогда передо мной открылся новый Бунин, как бы выходец из потустороннего древнерусского мира — жестокого, фантастического, ни на что не похожего и вместе с тем глубоко родного, национального, — мира наших пращуров, создававших Русь по своему образу и подобию со всем ее чудовищным смешением языческого и христианского, древнеславянского и угро-финского, варяжского, византийского, татарского — жестокого, кровавого, гениально-самобытного! — царство, нисколько не похожее на ту «древнюю Русь», которую мы привыкли себе представлять,

читая в младших классах школы жалкий, тоненький учебник русской истории.

Достаточно перечислить одни лишь названия бунинских стихотворений того времени: «Орда», «Шестикрылый», «Скоморохи», «Казнь», «Чернец», «Матфей Прозорливый», — чтобы понять, что делалось тогда в душе Бунина.

«Алел ты в зареве Батыя — и потемнел твой жуткий взор. Ты крылья рыже-золотые в священном трепете простер. Узрел ты Грозного-юрода монашеский истертый шлык — и навсегда в изгибах свода застыл твой большеглазый лик».

До сих пор меня тягостно волнуют косноязычные строчки Бунина того периода:

«Бысть некая зима всех зим иных лютейша паче»... «Все лицо его тугое смехом сморщилось, корешки зубов из рота зачернелись»... «Туманно утро красное, туманно... Точите нож, мочите солью кнут!.. Давай, мужик, лицо умыть, сапог обуть, кафтан надеть, веди меня, вали под нож в единый мах — не то держись: зубами всех заем, не оторвут!»... «Князь Всеслав в железы был закован»... «И тьма и хлад в моей пещере... Одежды ветхи... Сплю в гробу... О боже! Дай опору вере и укрепи мя на борьбу!»

Если стихи поэта есть некоторое подобие его души, — а это, несомненно, так, в том случае, конечно, что поэт подлинный, то душа моего Бунина, того Бунина, к которому я шагал вдоль большефонтанского берега, корчилась в адском пламени, и если Бунин не стонал, то лишь потому, что все-таки еще надеялся на близкий конец революции.

Между тем жизнь шла своим чередом, и временами даже начинало казаться, что ничего особенного не произошло: просто люди по примеру прошлых годов приехали на юг провести лето на одесском побережье — не беженцы, не эмигранты, а обыкновенные дачники со всеми своими синими эмалированными кастрюльками, керосинками «грэц», купальными чепчиками, велосипедами, сандалиями «скороход», крокетом... Быть может, их, этих дачников, было гораздо больше, чем обычно, но и это не вызывало особой тревоги: просто удачное лето, хорошая погода и, как писалось в «Одесском листке», «большой наплыв дачников, курортный сезон в разгаре», так что одну дачу занимали две или даже три приезжие семьи.

Бунины, например, делили дачу с одной богатой толстой дамой, писательницей, только что впервые напечатавшейся в «Вестнике Европы», что по тому времени было равносильно «вхождению в большую литературу». Дама охотно потеснилась со всем своим семейством — маленькой пухленькой дочкой и ничем не замечательным, но вполне корректным состоятельным чиновником-мужем — и уступила две комнаты с верандой Бунину, слава которого за последние годы заметно выросла. Теперь он был не только поэтом одиночества, певцом русской деревни и оскудения дворянства, но также автором поразительных по силе и новизне рассказов «Господин из Сан-Франциско», «Сны Чанга», «Легкое дыхание», которые сразу же сделали его едва ли не первым русским прозаиком.

Даже мои друзья — молодые и не очень молодые одесские поэты — в один прекрасный день, как по команде, признали его непререкаемым авторитетом: «Нива» дала своим приложением сочинения Бунина, что сразу же сделало его классиком.

Бунин имел вид дачника, но не банального дачника-провинциала в соломенной шляпе, рубашке-апаш и парусиновых туфлях. Бунин был дачник столичный, изысканно-интеллигентный, в дорогих летних сандали-

ях, заграничных носках, в просторной, хорошо выглаженной холщовой рубаше с отложным воротником, со сложенным вдвое стальным пенсне в маленьком наружном карманчике, подпоясанный не пошлым шелковым шнуром с потрепанными кистями — как, например, у моего папы, — а простым, но тоже, видать, очень не дешевым кожаным поясом, за который он иногда, несколько по-толстовски, засовывал руки; шляпу не носил, а уж если особенно сильно припекало, то вдруг надевал превосходнейшую настоящую панаму, привезенную из дальних стран, или полотняный картуз из числа тех, которые летом носили Фет, Полонский, а может быть, даже и сам Лев Толстой.

Вижу большое общество на дачной веранде. В сущности, не вижу, а заставляю себя увидеть, как бы шаря впотьмах вокруг таинственного механизма памяти и наугад касаясь грубыми пальцами самых его сокровенных узлов.

Все эти люди — беженцы из советской России: именитые адвокаты, врачи, литераторы, даже, кажется, сам академик Овсянко-Куликовский, знаменитый автор «Психологии творчества», статей о Тургеневе, редактор того самого недосягаемого, почтеннейшего «Вестника Европы», где еще совсем недавно был напечатан рассказик толстой дамы, уступившей полдачи Бунинным. Теперь она уже как следует, полностью «вошла в русскую литературу» и чувствовала себя в ней прекрасно.

Я, например, еще не вошел, а она уже вошла!

Она была не только толстая. Она была мощная, могучая. Щекастая. С круглыми мускулами по сторонам небольшого ротика. С твердым яблочком подбородка. Черноволосая, чернобровая, с калеными щеками, властная и в то же время так мило, чисто по-женски, млеющая между двумя знаменитыми академиками.

Нет, никогда еще в Одессе не съезжалось такое блестящее общество, правда — беженцы, политические эмигранты, отщепенцы, но все-таки!..

А впрочем, кто знает, кто знает.

Бунин в прекрасном, несколько саркастическом настроении. Он искоса смотрит на могучую даму, как бы прислушиваясь к шелковому треску ее корсета. Можно подумать, что он собирается тут же, не сходя с места, ее описать. Но описать не вообще, а одним штрихом. Сразу видно, что он ищет этот единственный, совершенно точный штрих, и я вместе с тем понимаю, что он втайне дает мне литературный урок.

Затем по его лицу я вижу, что он нашел необходимый штрих и что его находка драгоценна и единственна. Он делает рукой легкий жест, как будто бы издала проводит вокруг лица толстой дамы магический музыкальный овал.

Все замирают, ожидая, что он скажет.

— Так-с, — говорит он, делая указательным пальцем в воображаемом овале две запятушки кончиками вверх, в разные стороны. — Вам, Елена Васильевна, не хватает маленьких черных усиков, и вы — вылитый... Петр Великий.

И вдруг мы все увидели лицо Петра.

Дама багрово краснеет, не зная, как отнестись к этому сравнению: с одной стороны, в ее лице найдено нечто царское, и это хорошо, — в особенности принимая во внимание смутное революционное время, — с другой стороны, нечто мужское, и это плохо. Впрочем, главное заключается

в том, что ее «описал» знаменитый Бунин в присутствии знаменитого Овсяннико-Куликовского, и это решает все сомнения.

Она по-дамски и в то же время по-царски улыбается Бунину, хотя на всякий случай и грозит ему пальчиком:

— Ах, Иван Алексеевич, Иван Алексеевич, зачем вы мне делаете публично такие комплименты!

Мотаю себе на ус, обобщая бунинскую находку: «дамское лицо Петра».

Однажды и я попал в поле его дьявольского зрения. Он вдруг посмотрел на меня, нарисовал указательным пальцем в воздухе на уровне моей головы какие-то замысловатые знаки, затем сказал:

— Вера, обрати внимание: у него совершенно волчьи уши. И вообще, милсдарь, — обратился он ко мне строго: — в вас есть нечто весьма волчье.

...А у самого Бунина тоже были волчьи уши, что я заметил еще раньше!

Грустный золотистый день в конце лета. Мы провели его вдвоем, одни в опустевшей даче: соседи переехали в город, а Вера Николаевна отправилась на трамвае в город на привоз за продуктами, добывать которые становилось все труднее и труднее.

Накануне я принес Бунину — по его требованию — все мною до сих пор написанное: штук тридцать стихотворений и несколько рассказов, частью рукописных, частью в виде газетных и журнальных вырезок, наклеенных клеем на листы канцелярской бумаги. Получился довольно внушительный сверток.

— Приходите завтра утром, поговорим, — сказал Бунин.

Я пришел и сел на ступеньки, ожидая, когда он выйдет из комнат. Он вышел и сел рядом со мной. Впервые я видел его таким тихим, задумчивым. Он довольно долго молчал, а затем сказал — неторопливо, сосредоточенно — слова, которые я не могу забыть до сих пор, прибавив:

— Я своих слов на ветер не бросаю.

Я не смел верить своим ушам. Мне казалось, что все происходящее со мной — нереально. А он, немного помолчав, наклонил голову и, пристально рассматривая маленькую морскую раковинку среди гравия, вдруг стал говорить какие-то еще неизвестные мне стихи. Я никогда до сих пор не слышал, как он читает свои стихи. Он их произносил, как бы разговаривая с самим собой, бормоча и глубоко вздыхая во время пауз или цезур:

— «Настанет Ночь моя, Ночь долгая, немая. Тогда велит Господь, творящий чудеса, Светилу новому взойти на небеса. Сияй, сияй, Луна, все выше поднимай свой Солнцем данный лик. Да будет миру весть, что День мой догорел, но след мой в мире есть».

И прочел еще другое стихотворение:

— «Звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой, лик богоматери меж них сияет, благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня! Душа полна, душа строга — и тонко светятся рога молодой луны в закате дня».

День этот понял я как день моего посвящения в ученики, даже — быть может — подмастерья.

Память не сохранила подробностей нашей беседы. Может быть, этой беседы вообще не было. Было долгое молчание. Был грустный золотистый осенний день, штиль в море и в небе — белая, как облачко, дневная неполная луна.

Рядом со мной на ступеньках сидел в полотняной блузе совсем не тот Бунин — неприятно-желчный, сухой, высокомерный, — каким его считали окружающие. В этот день передо мной как бы на миг приоткрылась его душа — грустная, очень одинокая, легко ранимая, независимая, бесстрашная и вместе с тем до удивления нежная.

Я был поражен, что этот самый Бунин, счастливчик и баловень судьбы — как мне тогда казалось, — так глубоко не удовлетворен своим положением в литературе, вернее — своим положением среди современных ему писателей.

В самом деле: широкому кругу читателей он был мало заметен среди шумной толпы — как он с горечью выразился — «литературного базара». Его затмевали звезды первой величины, чьи имена были на устах у всех: Короленко, Куприн, Горький, Леонид Андреев, Мережковский, Федор Сологуб — и множество других «властителей дум».

Он не был властителем дум.

В поэзии царили Александр Блок, Бальмонт, Брюсов, Зинаида Гиппиус, Гумилев, Ахматова, наконец — хотели этого или не хотели — Игорь Северянин, чье имя знали не только все гимназисты, студенты, курсистки, молодые офицеры, но даже многие приказчики, фельдшерицы, коммивояжеры, юнкера, не имевшие в то же время понятия, что существует такой русский писатель: Иван Бунин.

Бунина знали и ценили — до последнего времени — весьма немногие истинные знатоки и любители русской литературы, понимавшие, что он пишет сейчас намного лучше всех современных писателей. Кригика — особенно в начале его литературной деятельности — писала о Бунине редко, мало, так как его произведения не давали материала для «проблемных» статей или повода для литературного скандалчика. По этой же причине имя его не упоминалось на афишах публичных лекций и диспутов, где царил низкопробный Арцыбашев со своими половыми проблемами.

Он прямо не говорил мне всего этого, но именно такие мысли сквозили в его отрывистых замечаниях относительно современной литературы, полных яда и сарказма.

Можно было сделать заключение, что из всей современной русской литературы он безоговорочно признает выше себя только Льва Толстого. Чехова же считает, так сказать, писателем своего уровня, может быть, даже немного выше... но ненамного. А остальные... Что же остальные? Куприн талантлив, даже очень, но зачастую неряшлив. О Леониде Андрееве хорошо сказал Толстой: «Он пугает, а мне не страшно». Горький, Короленко, в сущности, не художники, а публицисты, что несколько не умаляет их большие таланты, но... настоящая поэзия выродилась. Бальмонт, Брюсов, Белый — не более чем московская доморошенная декадентщина, помесь французского с нижегородским, «о закрой свои бледные ноги», «хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать», «хотел грубым басом, в небеса запускать ананасом...» и прочий вздор; Ахматова — провинциальная барышня, попавшая в столицу; Александр Блок — выдуманная, книжная немецкая поэзия; об лакейских «поэзах» Игоря Северянина — придумали же такое омерзительное слово! — и говорить нечего; а футуристы — просто уголовные типы, беглые каторжники...

В общем, Бунин повторял, только немного другими словами, при-

мерно то же самое, что он за несколько лет до того сказал в речи на юбилее «Русских ведомостей»:

«...чего только не проделывали мы с нашей литературой за последние годы, чему только не подражали мы, чего только не имитировали, каких стилей и эпох не брали, каким богам не поклонялись! Буквально каждая зима приносила нам нового кумира. Мы пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию — называвшуюся разрешением «проблемы пола», и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и «пролеты в вечность», и садизм, и снобизм, и «приятие мира», и «неприятие мира», и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм — и дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом «футуризм». Это ли не Вальпургиева ночь!»

Примерно эти и подобные им мысли высказывал Бунин, беседуя со мной на ступенях веранды.

Был он при этом как-то необычно тих, задумчив, углубленно-строг и в то же время горестно-нежен, как человек, одиноко переживающий какую-то непоправимую душевную утрату.

...Так себя чувствует человек, потерявший много крови...

Я думаю, это было чувство утраты родины.

Наступило время обеда, Вера Николаевна все еще не возвратилась. Тогда Бунин, заговорщицки поманив меня пальцем, пошел на цыпочках, воровской походкой через всю дачу в кухню, откуда — пошаркав там какой-то металлической посудой, — вскоре вернулся с холодными голубцами на сковородке, кастрюлей с компотом и большой краюхой ситного хлеба под мышкой. Все это он расставил на обеденном столе и молвил повелительно:

— Садитесь.

Я еще никогда не ел у Буниных. Они не отличались хлебосольством, были скуповаты. По-моему, они даже не держали кухарку, а столовались у соседей, куда иногда за компанию затаскивали и меня пить чай или ужинать в большой компании московских беженцев, где я познакомился с некоторыми известными людьми. Тут Бунин, не стесняясь, наваливал мне на тарелку всякой еды и приговаривал:

— Вы не стесняйтесь. Я знаю — у вас волчий аппетит. Ешьте. Питайтесь. Ваш молодой организм требует много пищи. Поэзия и молоденькие барышни ежедневно истощают вас. Не отрицайте. Я сам был молод, знаю!

Если же за столом было вино, купленное вскладчину, то Бунин забирал в полное свое распоряжение одну бутылку красного удельного, а остальные — как хотят. Меня же, как самого младшего, он назначал председателем стола и виночерпием, так что я, прежде чем, например, подружиться с Алексеем Толстым, — налил ему не один стакан вина.

Но вернемся к голубцам.

Их было на сковородке четыре штуки — золотистых, немного пригоревших, застывших в сале, — и Бунин, надев пенсне, разделил их поровну: два побольше, покосившись на меня, положил на тарелку себе, а два поменьше — оставил мне.

— Ешьте, не стесняйтесь. Я знаю: вы постоянно испытываете дявольский аппетит, особенно в гостях.

— Что скажет Вера Николаевна! — воскликнул я.

— А пусть не опаздывает. Впрочем, мы с вами сейчас расправимся со всем этим на скорую холостяцкую руку, затем отнесем посуду на кухню — и концы в воду.

В то время я действительно беспрерывно испытывал дьявольский голод и, навалившись на аппетитные капустные голубцы, в один миг грубо, по-солдатски расправился с ними, заметив про себя, что и моего учителя тоже никак нельзя упрекнуть в отсутствии аппетита: когда он ел, его борода плотноядно двигалась и по сухой шее проходили легкие судороги наслаждения, как бы сопровождающая каждый кусок холодных голубцов к месту назначения.

Когда же дело дошло до компота, он сказал, облизывая усы:

— Не будем пачкать глубоких тарелок. Рекомендую прямо так...

Мы быстро съели компот прямо из кастрюли, причем педантичный Бунин предварительно разделил ложкой — строго поровну — густое, разбухшее варено из самых разнообразных фруктов — абрикосов, слив, вишен, зеленых яблок, ранних груш и прочего, — строгим голосом потребовав от меня, чтобы я не заезжал за демаркационную линию, хотя она имела скорее символическое значение.

Мы дружно, в две ложки, навалились на компот, стараясь перегнать друг друга, а потом еще долго макали куски ситника в густую жижу и вылизывали божественно кисло-сладкие остатки, где попадались скользкие сливовые шкурки.

Не знаю почему, но именно этот компот как-то нас особенно сблизил, мы взяли с собой в сад оставшиеся абрикосовые косточки, и, сидя все на тех же ступенях, разбивали их кирпичом и, как дети, ели нежные белые зерна, покрытые жесткой кожурой...

Я засиделся до позднего вечера, даже, собственно говоря, до ночи, пропустив последний трамвай; Бунин пошел меня немного проводить, и мы еще долго ходили туда и назад вдоль большефонтанского шоссе по трамвайным рельсам, мимо дачи, садились на скамейку у калитки, и он вдруг начинал меня экзаменовать:

— Перед нами ночь. Как вы опишете ее в нескольких словах, но так, чтобы она была именно э та, а не какая-нибудь другая ночь? Видите, как много вокруг нас всего, — он сделал кругообразное движение своей сухой породистой головой, — а надобно выбрать только самое необходимое, как говорят: типичное. Ну?

Вокруг нас было действительно «много всего».

Редкие звезды, ослабленные желтоватым светом луны. Теплый степной ветерок. Силуэты акаций. Ограды дач. Звуки перепелов. Тишина. Далекий лай собак. Время от времени крик ослика. Серебристо-пыльная полынь, ее неповторимый ночной запах. Блеск трамвайных рельсов, как бы скользкий вдаль и там поворачивающий и гаснущий среди угольной темноты. Шорох кошки, а может быть, и ежика в пыльных кустах шиповника. Погашенный маяк.

Да мало ли чего еще!

Мы сели на скамеечку, и пока я с мучительным напряжением отбирал самые что ни на есть необходимые подробности, Бунин вдруг глухо забормотал какие-то стихи. Это был Фет:

— «...то блеск замороженной дали, то запах фиалки ночной...»

Он глубоко, горестно-покорно вздохнул, как бы прислушиваясь и желая понять смысл этих стихов, и снова пробормотал:

— «...то мельница, то соловей».

Он повернул ко мне свое узкое внизу лицо, поднял его к небу, и я увидел написанное на нем восхищение.

— То мельница, то соловей,— повторил он.— Вы понимаете, как это прекрасно? Лучше уже не скажешь! Он сидит ночью один, весь во власти охватившей его душу любви — единственной, неповторимой любви... сидит, окруженный запахами, звуками, какими-то неопределенными зрительными образами,— и его внимание не в силах сосредоточиться на чем-нибудь одном: то его полностью поглощает блеск замороженной дали; то вдруг он ничего не ощущает вокруг, кроме запаха ночной фиалки; то он слышит мельницу, заглушающую соловья; то — соловья, заглушающего мельницу; и все это — одна всепоглощающая любовь. «Мой ангел, мой ангел далекий, зачем я так сильно люблю»,— глухо, почти с отчаянием проговорил Бунин заключительную строчку.

Кто вернет мне эту ночь!

— Ну, так как же вы, милстивсдарь, опишете все это? — бодрым голосом сказал Бунин.

— Я бы описал так,— ответил я,— черный силуэт трамвайного столба с перекладиной в виде коромысла наверху и рядом яркая луна. Все.

— Молодец,— сказал Бунин,— именно так и надо,— и снова глухо забормотал стихи одно за другим, не делая между ними пауз и не оттеняя строф, из цикла «К Офелии» того же Фета: — «Офелия гибла и пела, и пела, сплетая венки; с цветами, венками и песнью на дно опускалась реки... Ах, много по жизни мелькнуло,— с глубоким вздохом прошептал Бунин,— дней светлых безумной тоски, и счастье давно потонуло, лишь песни плывут да венки...»

Такие слова, как «дней светлых безумной тоски», он старался как бы совсем не произносить, «пробросить», и я понял, что он стесняется за Фета, а самое главное для него: «лишь песни плывут да венки». Эту строчку он проговорил с таким глубоким чувством, сделал такой плавный и бессильный жест рукой, как бы провожая эти песни и венки, уплывающие куда-то по реке времени в невозвратимую даль.

Вслед за этим, без перерыва, он стал пускать вдаль уже свои собственные венки и песни, совершенно новые, которых я до сих пор не знал, иные из них, может быть, лишь сегодня написанные:

— «...Этой краткой жизни вечным измененьем буду неустанно утешаться я,— этим ранним солнцем, дымом над селеньем, в алом парке листьев медленным паденьем и тобой, знакомая, старая скамья. Будущим поэтам, для меня безвестным, бог оставит тайну — память обо мне: стану их мечтами, стану бестелесным, смерти недоступным — призраком чудесным в этом парке алом, в этой тишине...»

— «...Звезда дрожит среди вселенной... Чьи руки дивные несут какой-то влагой драгоценной столь переполненный сосуд? Звездой пылающей, пэтиром земных скорбей, небесных слез, зачем, о господи, над миром ты бытие мое вознес?»

Он говорил таинственно, как бы желая внушить мне какую-то великую, сладчайшую истину, только что, вот сию секунду, открывшуюся ему:

— «...В дачном кресле,— таинственно шептал он,— ночью, на балконе... Моря колыбельный шум... Будь доверчив, кроток и спокоен, отдохни от дум. Ветер приходящий, уходящий, веющий безбрежностью морской... Есть ли тот, кто этой дачи спящей сторожит покой? Есть ли тот, кто должней мерой мерит наши знанья, судьбы и года? Если сердце

хочет, если верит, значит — да. То, что есть в тебе, ведь существует. Вот ты дремлешь, и в глаза твои так любовно мягкий ветер дует — как же нет Любви?»

И опять, без перерыва:

— «На даче тихо, ночь темна, туманны звезды голубые, вздыхая, ширится волна, цветы качаются слепые — и часто с ветром, до :камьи, как некий дух в эфирной плоти, доходят свежие струи волны, вздыхающей в дремоте...»

Минутами мне казалось, что все эти стихи создаются тут же — сию минуту — при мне, что каждая строчка — и «волна, вздыхающая в дремоте», и «мягкий ветер», и в особенности гениальные «слепые цветы» (белые табаки и ночные красавицы!) как-то само собой, незаметно, из окружающей нас действительности превратились в элементы чистой поэзии.

Волшебство?

Часов в одиннадцать утра, спасаясь от страшной жары этого лета, я сидел в ванне, до краев наполненной холодной водой, куда из медного крана одна за другой с продолжительными, мертвыми паузами падали увесистые капли, производя короткие, однообразно-музыкальные удары разных тонов:

«...библь!.. бобль!.. бабль!.. бубль!..»

Они действовали успокоительно, усыпляюще, как бы отрешая от той странной, ни на что не похожей, неопределенной действительности, в которой мы все жили в это лето.

Это было через несколько дней после страшных взрывов артиллерийских складов, когда...

Вдруг в дверь ванной комнаты заглянул отец, и по его лицу я понял, что произошло какое-то невероятное событие.

— Иди, там к тебе кто-то пришел. Какой-то незнакомый господин. По-моему, это... Бунин.

Когда я, наспех одевшись и не успев как следует вытереться, с мокрыми волосами прибежал в крайнюю комнату, одну из тех двух, которые мы обычно сдавали жильцам и которые теперь пустовали, то действительно увидел Бунина. Сидя на стуле и заложив ногу за ногу, он весьма светски беседовал с папой, одетым почти так же, как Бунин, с той лишь разницей, что холщовая рубаха отца была более просторна, застирана и подпоясана крученым шелковым поясом с махрами, а сандалии были рыночные, дешевые и надеты на босу ногу. Да и борода по сравнению с постриженной бородкой Бунина имела вид довольно запущенный. Однако и у папы и у Бунина, как у двух русских интеллигентов, на груди на черных шнурах болтались одинаковые старомодные стальные пенсне, что делало их обоих отдаленно похожими на Чехова: Бунина — на Чехова молодежавого, а папу — на Чехова постаревшего.

Оказывается, я как-то сказал, что мы сдаем комнаты, и Бунин приехал с Большого фонтана, желая устроить у нас своих московских знакомых, беженцев, оказавшихся без жилья. Впоследствии я узнал, что этими беженцами были Алексей Толстой со своим семейством.

Бунин уже успел своими зоркими глазами осмотреть обстановку и, вероятно, уже составил представление о нашем житье-бытье.

Я думаю, это представление соответствовало тому, которое когда-то в юности составил Юрий Олеша о нашей квартире и обо мне:

«...Ему очень понравились мои стихи, он просил читать еще и еще, одобрительно ржал. Потом читал свои, казавшиеся мне верхом совершенства. И верно, в них было много щемящей лирики... Кажется, мы оба были еще гимназисты, а принимал он меня в просторной пустоватой квартире, где жил вдовый его отец с ним и с его братом — печальная, без быта, квартира, где не заведует женщина...»

Эту печальную, без быта, квартиру и увидел тогда Бунин. И, конечно, сразу понял, что для Алексея Толстого с его барскими замашками наши комнаты с продавленным диваном совсем не подходят.

Папа и Бунин степенно беседовали на разные темы. Поговорили о взрывах артиллерийских складов — «это большевики взорвали», убежденно сказал Бунин, — а затем перешли к темам хозяйственным.

На раскаленном подоконнике венецианского окна сушились некоторые мелкие принадлежности мужского туалета — выстиранные за неимением работницы собственноручно отцом в эмалированном тазике кусочком казанского мыла с синими жилками — воротнички, носки, платки.

— Если угодно, могу дать вам полезный совет, — говорил Бунин, — никогда не стирайте носки в горячей воде с мылом. Тщательно полощите их в холодной воде, отнюдь без мыла, — а затем не гладьте, а просто сушите на солнце. Тогда у вас никогда не будут потеть ноги. Ручаюсь, недавно я сам узнал этот способ и буквально ожил!

Посидев — как визитер — минут двадцать, поговорив о Жуковском и Тургеневе и дружно поругав модернистов, Бунин встал и попрощался с папой, корректно и коротко пожав ему руку.

— Рад был познакомиться.

— Ну, а как вы находите Валины произведения? — почти жалобно спросил папа, пересилив смущение.

— А вы как? — вопросом на вопрос ответил Бунин.

— Мне как отцу трудно судить, но его стихотворения, кажется, недурны в отношении рифм и размеров. А вот рассказы, по-моему, несколько фельетонны, малосодержательны и поверхностны. Вы не находите этого?

— Ну, это разговор длинный и не простой.

— Как вы думаете, из него может выйти что-нибудь путное?

— Трудно ответить в двух словах, — серьезно сказал Бунин, — время покажет.

И он удалился, не позволив мне его проводить.

Покраснев до корней волос, я стоял в полуоткрытых дверях и слушал молодой, твердый стук его каблучков, сбегавших с четвертого этажа вниз, наполняя лестничную клетку гулом и острым шелканьем.

Лишь впоследствии, еще ближе узнав Бунина, я понял подлинный смысл его посещения. Сдающиеся комнаты был лишь повод. На самом же деле — я в этом глубоко уверен — Бунину просто захотелось нагрянуть врасплох и посмотреть, как я живу, что из себя представляет наша квартира, каков из себя мой отец. Бунин был невероятно любопытен, и ему нужно было всегда, во всех подробностях знать окружающую его жизнь, видеть все своими беспощадно зоркими глазами.

Двойственное чувство осталось у меня после визита Бунина. С одной стороны, было лестно, с другой — как-то непонятно-горько: я вдруг как бы бунинскими глазами, со стороны, увидел своего постаревшего, одинокого, немного опустившегося отца с седыми, давно не стриженными семинарскими волосами и черными неглаженными брюками, нашу четырехкомнатную квартиру, казавшуюся мне всегда хорошо, даже богато обставленной, а на самом деле полупустую, с черной мебелью — рыночной подделкой под дорогую, «черного дерева», которое было обыкновенной дешевой сосной, о чем свидетельствовали потертости и отбитые финтифлюшки — сверху черные, а внутри белые; этот безвкусный стиль с тумбочками для цветов в виде дорических колонок, кажется, назывался в насмешку «бругага».

Керосиновая висячая лампа с бронзовым шаром, наполненным дробью, переделанная на электрическую. Две так называемые «картины» — мещанские, бумажные олеографии «под масло» в унизительно тоненьких золоченых багетах, которые повесили на стенку, так как они были получены «бесплатно», как приложения к «Ниве», что делало их как бы сродни всем русским писателям-классикам, тоже бесплатным приложениям к «Ниве», в их числе теперь и Бунину. Некогда довольно хороший кабинетный диван, много раз перебиваемый и теперь обитый уже потрескавшейся, дырявой клеенкой. Наконец самая дорогая — даже драгоценная — вещь: мамино приданое пианино, потертый инструмент с расшатанными металлическими педалями, на котором папа иногда, старательно и близоруко заглядывая в пожелтевшие ноты и роняя пенсне, нетвердо, но с громадным чувством играл «Времена года» Чайковского, особенно часто повторяя «Май», наполнявший мою душу невыразимо щемящей тоской.

Мы не были бедными или тем более нищими, но что-то вызывающее сочувствие, жалость было в нашей неустроенности, в отсутствии в доме женщины — матери и хозяйки, — уюта, занавесок на окнах, портьер на дверях. Все было обнаженным, голым...

Это, конечно, не могло укрыться от глаз Бунина. Он все замечал...

...и кастрюлю с холодным кулешом на подоконнике...

Уходя, он скользнул взглядом по моей офицерской шашке «за храбрость» с анненским красным темляком, одиноко висевшей на пустой летней вешалке, и, как мне показалось, болезненно усмехнулся. Еще бы: город занят неприятелем, а в квартире на виду у всех вызывающе висит русское офицерское оружие!

Он не знал, что к нам с обыском уже приходили австрийцы, требуя оружие. Я показал на свою шашку. Австрийский офицер, такой же молодой, как и я, весь темно-серый, вытуженный, в крагах и новеньком кепи, повертел ее в руках в замшевых перчатках, прочитал по складам надпись: «За храбрость» — и вернул мне со щегольской армейской любезностью, сказав, что я могу ее оставить у себя, так как «т а к о е оружие голыми руками не берут».

А в общем, все это было ужасно грустно.

Настала поздняя осень, а о возвращении Бунина в Москву по-прежнему не могло быть и речи. Советская власть, которой все пророчили близкую гибель, не только не гибла, но даже — по всем признакам — укреплялась.

В Германии произошла революция, кайзера скинули, немецкая армия капитулировала, немцы и австрийцы спешно покидали Украину,

так что заключение похабного Брестского мира, — что являлось главным обвинением против большевиков, — по сути дела уже теперь не имело никакого практического значения: Ленин оказался прав.

В Одессу же вместо немцев пришли их победители, так называемые «союзники», и на Юге начался почти двухлетний период, в течение которого власть переходила из рук в руки раз шесть, а то и больше, пока окончательно и навсегда не установилась советская власть.

Все это бурное, ни на что не похожее, неповторимое время Бунин прожил в Одессе на Княжеской улице в особняке своего приятеля художника Буковецкого, который предоставил писателю весь нижний этаж — три комнаты, — куда я и приходил, всякий раз испытывая невероятное волнение, прежде чем позвонить с черного хода.

Обычно мне открывала нарядная горничная на французских каблучках, в накрахмаленной наkolке и маленьком батистовом фартучке с кукольными карманчиками. Она была предоставлена в распоряжение Буниных вместе с комнатами и разителью не соответствовала той обстановке, которая царилa в городе, в России, в мире.

Жизнь Бунина в этих барских комнатах с массивными полированными дверями, с отлично натертыми паркетами, теплыми мраморными подоконниками венецианских окон, с жарко начищенными медными шпингалетами, с высокими чистыми потолками, отражавшими в летнее время зелень белых акаций, которыми была тесно обсажена тихая аристократическая улица, а зимой — голубые тени сугробов и размытые силуэты извозчичьих саней, с небольшим количеством самой необходимой, но очень хорошей мебели без всех этих мецанских этажерок, тумбочек, безделушек, салфеточек, ковриков, альбомов и накидок, — как нельзя больше соответствовала моему представлению об аристократе, столбовом дворянине, российском академике, человеке безукоризненного вкуса.

Здесь я уже видел не дачника, а настоящего оседлого горожанина, может быть, даже вынужденного политического затворника, выработавшего себе точнейший распорядок дня.

Он много работал. У меня создалось впечатление, что он пишет непрерывно. Когда бы я ни пришел, я неизменно видел дверь его рабочей комнаты, полуоткрытую в темноватый коридор, а за ней — окно, выходящее в тихий двор, небольшой стол и Бунина без пиджака в свежей сорочке с закатанными до локтей рукавами, обнажавшими сухие, мускулистые руки, который в круглых рабочих очках, делавших его похожим на сову, быстро писал, покрывая небольшие узкие листки писчей бумаги своей характерной убористой клинописью.

Он писал темно-зелеными чернилами автоматической ручкой с золотым пером, если не ошибаюсь, фирмы «Монблан», причем до конца испанную страницу не промокал, а нетерпеливо откладывал в сторону сохнуть; если же он что-нибудь вписывал в записную книжку, то махал ею перед собой, чтобы страничка скорее высохла.

Услышав мои шаги, он обычно, не оборачиваясь, говорил:

— Идите к Вере Николаевне, я сейчас кончу.

Я отправлялся в большую комнату окнами на Княжескую — их салон, — где меня встречала Вера Николаевна и, соблюдая некую светскую обязанность хозяйки дома, занимала меня необременительным разговором на разные общие темы, разумеется, не унижаясь до погоды.

Однако, будучи женщиной живого ума и чисто бунинского любопытства, она не выдерживала тона и вскоре переводила разговор на совсем другие, далеко не светские темы, задавая вопросы вроде:

— Ну, как у вас подвигается роман с очаровательной Наташей Н.? Не правда ли, она прелестна со своим по-детски большим ртом и длинными руками, настоящая Наташа Ростова. Смотрите, как бы ее маман в один прекрасный день, несмотря на весь свой аристократизм, не выставила вас за дверь. Стало быть, с Ирен А. все кончено? Ах, какой вы непостоянный — настоящий ученик Бунина. — Она грустно вздыхала. — И, позвольте вас спросить, кому это вы посвятили «чьи-то маленькие ножки отпечатали следы», что-то я никак не могу понять, чьи это маленькие ножки? Не слишком ли много ножек?

Она была в курсе всех моих романов, с некоторыми моими барышнями лично знакома и живейшим образом интересовалась моими любовными похождениями — впрочем, довольно невинными! — напоминая не строгую даму, жену академика, а скорее старшую сестру или даже замужнюю кузину.

— Ян,— говорила она входящему Бунину,— оказывается, у него в полном разгаре роман с Наташей.

— Ну, разумеется,— говорил Бунин.— Посмотри на него: щеки ввалились, под глазами синяки. Сразу видно — вместо того, чтобы работать, вы бог знает где шляетесь по ночам, надо полагать — до зари стоите под окном, ожидая, что она вам откроет и выпустит. Черта с два, милостивый государь, не на такую напали. Я хорошо знаю этих больше-ротых и длинноногих гимназисток!..

Бунин присаживался к круглому, не покрытому скатертью столу из цельного палисандрового дерева, на котором, целиком отражаясь, как в вишнево-красном зеркале, стояла штампованная из тонкой меди, вернее из латуни, чашка, служившая пепельницей — полое легкое полушарие с тисненым восточным орнаментом, вещица, по-видимому, купленная Буниным на константинопольском базаре Атмейдане, а может быть, в Смирне или Александрии.

Во всяком случае эта пепельница всегда мне напоминала восточные стихотворения Бунина, и в первую очередь, конечно, «он на клинок дохнул — и жало его сирийского кинжала померкло в дымке голубой: под дымкой ярче заблестали узоры золота на стали своей червонною резьбой во имя бога и пророка. Прочти, слуга небес и рока, свой бранный клич: скажи, каким девизом твой клинок украшен?» И он сказал: «Девиз мой страшен. Он — тайна тайн: Элиф. Лам. Мим».

В общем, эта пепельница была как бы тайной тайн: Элиф. Лам. Мим. И она отражалась в круглом столе.

Заложив ногу за ногу, Бунин точным движением пальцев сощелкивал в нее пепел папирсы.

Не знаю почему, но мне ужасно нравилась эта пепельница; она казалась верхом роскоши, почти музейной редкостью, предметом таинственного культа, особенно красивая на ледяной поверхности пустого, безукоризненно отшлифованного стола, среди этой барской комнаты, наполненной запахом дорогого турецкого табака «месаксуди» и благоговейной тишиной, отделенной от внешнего мира двойными зеркальными стеклами.

Теперь я думаю, что эта пепельница была самым дешевым рыночным сувениром из числа тех, которые сотнями привозили пассажиры пароходов Русского общества пароходства и торговли — «Ропит» — из своих малоазиатских рейсов. Но я был в нее просто влюблен и по своей еще не изжитой детской привычке думал: когда я вырасту большой, то непре-

менно у меня будет такая же точно пепельница, и я буду в нее сбрасывать пепел папирос из самого лучшего турецкого табака «месаксуди».

Тогда эта пепельница была еще совсем новая, блестящая, хотя внутри уже несколько потемнела, стала сизой от табачной золы и спичечных угольков, и сразу же, как только я ее впервые увидел, мне почему-то пришло на ум одно из новых стихотворений Бунина «Кадильница».

«В горах Сицилии, в монастыре забытом... стоит нагой престол, а перед ним, в пыли. могильно-золотая, давно потухшая, давным-давно пустая, лежит кадильница — вся черная внутри — от угля и смолы, пылавших в ней когда-то... Ты, сердце, полное огня и аромата, не забывай о ней. До черноты сгори».

Как я мечтал тогда, чтобы мое сердце сгорело до черноты! Но я не представлял себе, как это страшно.

— Ну-с, что скажете хорошенького?

— Написал новый рассказ.

— Разумеется, принесли?

— Вот он.

— Вера, не уходи. Сейчас Валентин Катаев прочтет нам свой новый рассказ. Мы вас слушаем.

Обычно, внимательно и терпеливо выслушав мой новый рассказ от начала до конца, Бунин не вдавался в его подробное обсуждение, а ограничивался двумя-тремя коротенькими замечаниями по поводу того, где у меня хорошее место и где плохое; почему именно одно плохо, другое — хорошо; и какие нужно из этого сделать практические выводы.

Он всегда касался мелочей, но неизменно приводил их к важным обобщениям. Так, например, я узнал, что в литературе нет запретных тем: важно лишь, с какой мерой такта будет об этом сказано, и я навсегда усвоил себе несколько бунинских рекомендаций: такт, точность, краткость, простота, но, разумеется, — и Бунин это подчеркивал много раз, — он говорил не о той простоте, которая хуже воровства, а о простоте как следствии очень большой работы над фразой, над отдельным словом — о совершенно самостоятельном видении окружающего, не связанном с подражанием кому-нибудь, будь то хоть сам Лев Толстой или Пушкин, то есть об умении видеть явления и предметы совершенно самостоятельно и писать о них абсолютно по-своему, вне каких бы то ни было литературных влияний и реминисценций.

В особенности Бунин предостерегал от литературных штампов, всех этих «косых лучей заходящего солнца», «мороз крепчал», «воцарилась тишина», «дождь забарабанил по окну» и прочего, о чем еще до Бунина говорил Чехов.

К числу мелких литературных штампов Бунин также относил, например, привычку ремесленников-беллетристов того времени своего молодого героя непременно называть «студент первого курса», что давало как бы некое жизненное правдоподобие этого молодого человека и даже его внешний вид: «студент первого курса Иванов вышел из ворот и пошел по улице», «студент первого курса Сидоров закурил папиросу», «студент первого курса Никаноров почувствовал себя несчастным».

— До смерти надоели все эти литературные студенты первого курса, — говорил Бунин.

И я тут же дал себе страшную клятву, что у меня в рассказах никогда не будет ни одного студента первого курса. Для того, чтобы поскорее на практике исполнить эту клятву, я в тот же день начал писать рассказ о некоем молодом человеке, но ни в коем случае не студенте, и тут же я сразу запнулся, потому что никак не мог придумать,

кто же будет мой молодой человек? Человека более зрелого возраста легко можно было сделать титулярным советником, штабс-капитаном, приказчиком, обер-кондуктором, мало ли кем. Со стариками дело обстояло еще проще: генерал, действительный статский советник, купец второй гильдии, сельский староста и тому подобное. А вот молодой человек...

Я вышел пройтись для того, чтобы на свободе придумать, кем бы сделать моего молодого человека. И тут я увидел на круглой тумбе афишу городского театра с черной лирой наверху, извещавшую о премьере какой-то оперы, где, между прочим, было напечатано: «декоратор Дмитриев». Превосходно, подумал я, пускай же мой молодой человек будет декоратор.

И вот я уже сижу за круглым лаковым столом, разложив возле турецкой пепельницы рукопись нового рассказа. Кашляя от волнения, я предвкушаю одобрение Буниным того факта, что мой молодой человек не студент первого курса и даже не подпоручик, а — вообразите себе! — декоратор: и шикарно, и вполне соответствует жизненной правде.

Я очень торопливо, с жаром прочел свой рассказ, где — помнится — были описаны любовные переживания молодого декоратора, первое свиданье, разрыв с любимой женщиной, ночное пьянство и даже — кажется — нюханье кокаина в какой-то подозрительной компании и наконец описание очень раннего, солнечного, еще до озноба холодного утра на Николаевском бульваре, где по гранитным ступеням знаменитой лестницы ходили большие розовые голуби.

Все это я описал с большим щегольством и, читая, время от времени бросал потайные взгляды на Бунина, желая прочесть по его лицу впечатление, которое производит на него моя проза, казавшаяся мне самому на редкость красивой.

Сперва замкнутое лицо Бунина выражало привычное профессиональное внимание. Я даже заметил, как он один раз значительно переглянулся с Верой Николаевной. Небось разобрало-таки старика! Но затем он начал заметно мрачнеть, нетерпеливо подергивая шейю, а к концу рассказа уже — к моему ужасу — не скрывал раздражения и даже начал довольно громко постукивать каблуком по паркету. Когда же я дошел до коронного места с розовыми от зари голубями, которые должны были, по моим соображениям, особенно понравиться Бунину, и не без некоторого скромного самодовольства провозгласил заключительную фразу рассказа, то Бунин некоторое время молчал, повернув ко мне злое лицо со страшными, грозно вопрошающими глазами, а затем ледяным голосом спросил:

— И это все?

— Все, — сказал я.

— Вот тебе и раз. Так какого же вы черта, — вдруг заорал Бунин, стукнув кулаком по столу с такой силой, что подпрыгнула пепельница, — так какого же вы черта битых сорок пять минут морочили нам голову! Мы с Верой сидим как на иголках и ждем, когда же ваш декоратор наконец начнет писать декорации, а оказывается, ничего подобного: уже все. Розовые голуби и — конец!..

За этим же круглым столом, перед этой же пепельницей с таинственными арабскими знаками однажды Бунин прочел мне только что законченный им — еще даже не высохли зеленые чернила — прелестный рассказ о смерти старого князя, и когда я спросил, долго ли он писал этот рассказ, Бунин ответил:

— Часа три.

Заметив мое изумление, он прибавил:

— Я вообще пишу быстро, хотя печатаю медленно. Первую часть «Деревни» я, например, написал что-то за две недели. Разумеется, обдумывал долго, но потом написал сразу, единым духом. Кое-что поправил при переписке и в корректуре: но это, как водится!

До этих пор я был уверен, что он пишет очень медленно, с массой черновиков, поправок, вариантов, отделявая каждую фразу, по десяти раз меняя эпитеты.

У меня сложилось впечатление, что подобного рода «флоберизм», и до сих пор еще весьма модный среди некоторых писателей, глубоко убежденных, что есть какое-то особенное писательское мастерство, родственное мастерству — скажем — шлифовальщика или чеканщика, способное превратить ремесленника в подлинного художника, — ни в какой мере не был свойствен Бунину, хотя он иногда и сам говорил о «шлифовке», «чеканке» и прочем вздоре, который сейчас, в эпоху мовизма, вызывает у меня только улыбку.

Сила Бунина-изобразителя заключалась в поразительно быстрой, почти мгновенной реакции на все внешние раздражители и в способности тут же найти для них совершенно точное словесное выражение.

Он сказал мне, что никогда не пользуется пишущей машинкой, а всегда пишет от руки, пером.

— И вам не советую писать прямо на машинке. После того, как вещь готова в рукописи, можете перепечатать на машинке. Но само творчество, самый процесс сочинения, по-моему, заключается в некоем взаимодействии, в той таинственной связи, которая возникает между головой, рукой, пером и бумагой, что и есть собственно творчество.

Говоря это, Бунин коснулся своей головы, затем пошевелил кистью руки, которая держала автоматическую ручку с золотым пером, коснулся листа бумаги его наплавленным платиновым кончиком и сделал на ней несколько закорючек.

— Когда вы сочиняете непосредственно на пишущей машинке, то каждое выстуканное вами слово теряет индивидуальность, обезличивается, в то время как написанное вами собственноручно на бумаге, оно как бы является материальным, зримым следом вашей мысли — ее рисунком, — оно еще не потеряло сокровенной связи с вашей душой — если хотите, с вашим организмом, — так что если это слово фальшиво само по себе, или не туда поставлено, или неуместно, бестактно, то вы это не только сейчас же ощутите внутренним чутьем, но и тотчас заметите глазами по некоторому замедлению, убыстрению и даже изменению почерка. Одним словом, ваш почерк — единственный, неповторимый, как часть вашей души — просигнализирует вам, если что: «Не то!», — сказал он, несколько видоизменив последнюю строчку своего стихотворения «Компас»:

«Не собьет с пути меня никто. Некий Nord моей душою правит, он меня в скитаньях не оставит, он мне скажет, если что: не то!»

Я часто наводил разговор на «Господина из Сан-Франциско», желая как можно больше услышать от Бунина о том, как и почему написан им этот необыкновенный рассказ, открывший — по моему мнению — совершенно новую страницу в истории русской литературы, которая до сих пор — за самыми незначительными исключениями — славилась изображением только русской жизни: национальных характеров, природы, быта. Если у наших классиков попадались «заграничные куски»,

то лишь в той мере, в какой это касалось судеб России или русского человека.

В нарушение всех традиций Бунин написал произведение, где русским был только замечательный язык и та доведенная до возможного совершенства пластичность, которая всегда выделяла русскую литературу из всех мировых литератур и ставила ее на первое место, все же остальное в «Господине из Сан-Франциско» — пейзаж, персонажи, сюжет — было иностранное, точнее сказать — интернациональное — пускай даже космополитическое! — а главное, ультрасовременное: с американским миллионером, трансатлантическим лайнером, жизнью люкс в первоклассных международных отелях, с барами, танго, автомобилями, коктейлями, радиосвязью, парижскими модами, безумным богатством, ужасающей нищетой и всем тем, что с особенной силой расцвело на земном шаре перед первой мировой войной и что, примерно в то же время, Ленин назвал высшей стадией капитализма — империализмом.

В «Господине из Сан-Франциско» как бы все время где-то незримо присутствует тень гибнущего «Титаника» и зловеще звучит заключительный аккорд всего повествования:

«А средина «Атлантиды», столовые и балльные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит гроб глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу...»

Даже повторить эти бунинские слова, переписав их своєю рукой, и то громадное наслаждение!

Еще до «Господина из Сан-Франциско» Бунин написал потрясающей силы антиколониальный рассказ — тоже полностью «иностранный» — «Братья», трагедию, разыгравшуюся между белым господином и цветным рабом на сказочно прекрасном острове Цейлоне. Этот рассказ мог бы даже показаться переводным, написанным, например, Редьярдом Киплингом, если бы — опять же! — не удивительный русский язык и не бунинская неповторимая пластика, доводящая его описания до стереоскопической объемности и точности, — свойство, которым не мог похвастаться ни один современный Бунину мировой писатель.

— Почему вас удивляет, что я написал такие «не русские» рассказы? Я не давал клятвы всю жизнь описывать только Россию, изображать лишь наш, русский быт. У каждого подлинного художника, независимо от национальности, должна быть свободная мировая, общечеловеческая душа; для него нет запретной темы; все сущее на земле есть предмет искусства. Общая душа, общая душа. «Счастлив я, — вдруг проговорил он, понизив голос до таинственного бормотания, — счастлив я, что твоя душа, Вергилий, не моя и не твоя». Понимаете: не моя и не твоя. А общая. В этом смысле я, если хотите, интернационален. Может быть, даже сверхнационален. Главное же, что я здесь, в «Гос-

подине из Сан-Франциско», развил — это в высшей степени свойственный всякой мировой душе симфонизм, то есть не столько логическое, сколько музыкальное построение художественной прозы с переменами ритма, вариациями, переходами от одного музыкального ключа в другой — словом, в том контрапункте, который сделал некоторую попытку применить, например, Лев Толстой в «Войне и мире»: смерть Болконского и пр.

Может показаться странным, почти невероятным, что в то время, когда вокруг бушевала гражданская война, передвинувшаяся с севера на юг, — в особняке на Княжеской улице за зеркальными стеклами продолжалась, скорее, впрочем, воображаемая, чем настоящая, жизнь совсем небольшого круга людей, занятых вопросами художественной литературы, поэзии, критики, чтением братьев Гонкуров в подлиннике, продолжением вечных московских споров о Толстом и Достоевском и о том, что такое симфоническая проза, впервые в русской и мировой литературе примененная в такой полноте лишь в «Господине из Сан-Франциско».

Кажется, именно тогда я впервые познакомился с некоторыми мыслями братьев Гонкуров.

«В наше время создать в литературе героев, которых публика не узнает, как старых знакомых, открыть оригинальную форму стиля — еще не все; нужно изобрести бинокль, при помощи которого ваши читатели могут увидеть существа и вещи через такие стекла, какими еще никто не пользовался; посредством этого бинокля вы показываете картины под неведомым до сих пор углом зрения, вы создаете новую оптику. Мы с братом придумали этот бинокль, а теперь я вижу, что вся молодежь пользуется им»...

Не пользовался ли Бунин этим биноклем? Чем черт не шутит!

Лучшие консерваторы в искусстве получаются из бывших революционеров. И наоборот.

«Воспоминания» Банвиля очень забавны. Ни слова настоящей правды, современники словно из волшебных сказок, но видит он их сквозь оптику, свойственную ему одному: странную, в высшей степени земную оптику»...

Земная оптика — это великолепно!

Не следует забывать, что я записываю здесь лишь то, что сохранила мне память из тех «литературных уроков», которые я почерпнул во время своего общения с Буниным, а он вовсе не был склонен к сидячей, кабинетной жизни; наоборот, он испытывал постоянную потребность находиться в толпе, разговаривать с прохожими, быть свидетелем уличных происшествий, а вовсе не давать, сидя дома, уроки мастерства молодым писателям вроде меня. Об этом свидетельствуют опубликованные впоследствии в виде совсем маленьких, крошечных рассказиков — миниатюр — различные беглые зарисовки с натуры вроде, например, «Ландо».

«У смерти все свое, особое. Возле ворот дачи стоит огромное старое ландо, пара черных больших лошадей: приехал из города хозяин дачи. Что-то необычное, чрезмерное в этом ландо и в этих лошадях. Почему? Оказывается, что лошадей и ландо дал хозяину дачи его приятель,

содержатель бюро похоронных процессий. Кучер, сидевший на козлах, так и сказал:

— Это ландо из погребательной конторы.

И, в довершение всего, черная борода кучера имеет цвет сухой ваксы: крашенная».

Земная оптика! Не мовизм ли это или во всяком случае его зарождение?

Почти каждый день, в любую погоду Бунин несколько часов подряд ходил по городу. Именно ходил, а не гулял, быстрым легким шагом, в коротком до колен демисезонном столичном пальтишке, с тростью, в профессорской ермолке вместо шляпы — стремительный, напряженно внимательный, сухощавый. Характер одесских улиц постоянно менялся в зависимости от политической обстановки. То как бы вновь воскресала дореволюционная жизнь с рысаками под синими сетками зимой, с цветочницами и менялами на углу Дерибасовской и Преображенской против проходных ворот дома Вагнера летом, с биржевыми зайцами и «лапетутниками» за мраморными столиками двух знаменитых одесских кафе — Фанкони и Робина, с ночными клубами, кабаре, шантанами, театрами миниатюр, с нарядными английскими яхтами Екатерининского и Черноморского яхт-клубов, которые уходили одна за другой мимо белокаменного маяка с медным сигнальным колоколом в перспективу открытого моря, слегка мглистого от заграничного ветра, с иллюзионами и военным оркестром под управлением Чернецкого на Николаевском бульваре.

То все это вдруг сметало в течение одной бурной ночи, в грозно опустевшем городе слышались лишь гулкие шаги красногвардейских патрулей, и окна особняков и банков дрожали от проезжавших броневиков с матросами, лежавшими на крыльях, выставив вперед винтовки и маузеры. То вдруг оказывалось, что город занят петлюровцами или даже какими-то «батьковцами», и тогда на всех углах появлялись чубатые хлопцы в ободранных солдатских шинелях без хлястиков, с нечищеными винтовками вверх прикладами, требуя предьявления каких-то удостоверений, а если удостоверений не было, то они пропускали и так, без удостоверений. То на улицах появлялись веселые ребята из британской морской пехоты, беглым шагом торопившиеся неизвестно куда, гоня перед собою футбольный мяч. То ходили по бульвару французские солдаты в синих шинелях, в гетрах, с двугорлыми алюминиевыми фляжками на боку, наполненными красным вином и водой. Проезжали странные двуколки с громадными колесами, которыми правили громадные негры с вылупленными удивленными глазами.

Я наблюдал Бунина на солдатской барахолке, где он стоял посреди толпы с записной книжкой в руках, невозмутимо и неторопливо записывая своей четкой клинописью частушки, которые выкрикивали два братишки — черноморские военморы, лихо отплясывая, положив руки друг другу на плечо и мотая широкими клешами, — модное «яблочко» или «Дерибасовскую», а вокруг стояли китайцы в армейских телогрейках, в черных обмотках и круглых кепках, держа в руках узорчатые складные веера из цветной папиросной бумаги, с ног до головы обвешанные своим традиционным китайским товаром: трещотками, гарусными птичками, маленькими растягивающимися бумажными драконами и тиграми на двух палочках, фонариками, свистульками, отрезами чесуци, туфлями на толстых подошвах из прессованной бумаги.

Помню доводящий до обморока, тошнотворный запах кунжутного масла, чеснока, едкого человеческого пота.

Но Бунин не обращал на это никакого внимания и спокойно работал, покрывая своими записями страничку за страничкой.

Самое поразительное было то, что на него решительно никто не обращал внимания, несмотря на его профессорскую внешность, которая никак не сливалась с базарной толпой, а может быть, именно вследствие этой внешности: кто знает, за кого его принимали? Мне даже тогда пришла в голову мысль: не принимают ли его здесь — этого худого костлявого барина в чудачьей шапочке, с автоматической ручкой в руке — за какого-нибудь базарного графолога, фокусника, мага или предсказателя судьбы, который продает листки со «счастьем», что было вполне в духе времени: никто не удивился, если бы вдруг увидел на его плече попугая или обезьянку в коленкоровой юбочке.

Эту картину напомнил мне впоследствии шанхайский рынок, «Храм мэра города», где среди золоченых идолов, в дыму курительных палочек, я вытащил из священной урны свернутую бумажку с предсказанием:

«Феникс поет перед солнцем. Императрица не обращает внимания, и трудно изменить долю императрицы. Но имя ваше останется в веках».

Непомерно громадная, однообразная толпа окружала меня, как бы желая стиснуть и поглотить. Я терял сознание среди розовых детских кофт с цветочками, воспаленно-красных атласных подушек и пуховых одеял, сундуков из сандалового дерева и свежих литографических портретов толстолицего китайца с опухшими глазами, мандарина в тулжурке с тесным стоячим воротником — великого кормчего Мао Цзэ-дуна, — и передо мной все время маячили маково-черные ряды висящих иероглифов таинственного предсказания. И я мучительно гадал: кто же феникс, и кто солнце, и кто императрица, и чье имя останется в веках?

Посмотрим!

Однажды, желая дать ему возможность заработать, знакомые уговорили Бунина выступить с чтением своего нового, еще неизвестного в Одессе рассказа «Сны Чанга». Он долго отказывался, уверяя, что это решительно никому не интересно, что все равно никто не придет, что широкая публика его абсолютно не знает и что занимать целый вечер чтением одного рассказа просто глупо: публика не выдержит и все это предприятие принесет устроителям одни только убытки. В конце концов его все-таки убедили, он дал согласие, но предупредил, что гонорар за выступление — «за позор», как он выразился, — желает получить вне всякой зависимости от сбора, хотя бы в зале было абсолютно пусто.

— Я не настолько богат, господа, чтобы публично срамиться, да еще и бесплатно, — сказал Бунин, невесело усмехнувшись.

Были расклеены по городу афиши, выпущены узкие программы, и точно в объявленное время в артистической комнате одесского музыкального училища, где обычно устраивались наиболее изысканные концерты для избранной публики и вечера поэзии нашей «Зеленой лампы», о которой я, может быть, когда-нибудь расскажу, — появился Бунин. Он был бледен, изысканно одет, в свежем белье и высоком крахмальном воротничке, между отворотами которого свободно умещалась его острая борода, не настолько длинная, чтобы закрыть широкий узел шелкового галстука — темного, с лиловыми разводами рисунка «павлиний глаз» и даже, кажется, жемчужной булавкой.

В плохо освещенной холодной артистической сидели устроители, среди которых главным лицом был муж толстой дамы-писательницы, похожей на Петра Великого, уже давно сидевшей в первом ряду почти пустого зала как раз против столика на эстраде, где зябко блестел традиционный графин кипяченой воды и стакан, и время от времени беспокойно поправлявшей на могучей груди аметистовую брошь.

Бунин, щелкая крахмальными манжетами, молча пожал всем нам руки и сел в стороне на диванчик, положив рядом с собой совсем небольшой квадратный портфель, скорее дамский, чем мужской, отличной желтой кожи английской выделки, в котором лежала рукопись рассказа.

Было совершенно ясно, что вечер уже провалился: публика не пришла.

— Ночное дежурство в бюро похоронных процессий, — немного помолчав, сказал Бунин, поглядывая на давно не отремонтированный лепной потолок. — Я ведь вас, господа, предупреждал, — прибавил он с горьковатой усмешкой, в которой нетрудно было прочесть неотступную мысль о своей литературной судьбе.

(Небось на Игоря Северянина или на Вертинского набился бы полный зал! Да и на Леонида Андреева тоже, не говоря уже о Максиме Горьком. Ничего не поделаешь — властители дум! А на меня кто пойдет? Только настоящие ценители...)

— Ну так что ж, милостивые государи, будем все-таки начинать или мирно разойдемся по домам? — спросил Бунин.

— Публика помаленьку собирается, — неуверенно сказал муж толстой писательницы, — подождем еще с четверть часика, да и начнем с богом.

— Даже как-то неловко, — проворчал Бунин, — в зале полтора человека. Я предупреждал, что на меня не пойдут.

— Побойтесь бога, Иван Алексеевич, если не на вас, то на кого же? — воскликнул кто-то из устроителей лживым голосом. — А все дело в том, что афиши поздно расклеили, да и заметок в газетах было мало, а главное, в том, что сегодня ночью предполагается вооруженное выступление гайдамаков... Так что — сами понимаете...

— Да уж вы меня не утешайте, — решительно сказал Бунин и поднес к глазам афишку, где ему сразу же бросилась в глаза глупейшая, чисто провинциальная опечатка: вместо «Сны Чапга» были жирным шрифтом напечатаны бессмысленные слова «Сны Чашка».

Лицо Бунина искривилось, как будто его внезапно ударили под вздох, и он даже вскрикнул «ой!», но сейчас же взял себя в руки и устало махнул рукой.

— А, черт с ним!

Быть может, потому, что за высокими окнами, за кремовыми воланами штор иногда на улице слышались одиночные винтовочные выстрелы, ударявшие в стекла, как тугие резиновые мячики, вызывая представление о темном, насторожившемся ночном городе с наглухо запертыми, забаррикадованными воротами и броневиками на углах, — кто-то вполголоса заговорил о поэме Блока «Двенадцать», которая лишь недавно проникла к нам с севера через демаркационную линию и сразу же вызвала среди молодежи восторг.

«Трах-тах-тах! — И только эхо откликается в домах...»

— Не понимаю, что находят хорошего в этих самых «Двенадцати» и до какой меры падения мог дойти поэт, состряпавший эти вульгарные,

дубовые частушки,— отрывисто сказал Бунин, передернув плечами,— Ванька с Катькой в кабаке, у ей керенки есть в чулке... До такого падения еще никогда не доходила русская литература. А ведь этот поэт — хотя он и всегда был манерный,— но все же поэт,— когда-то писал стихи о мадонне, о Прекрасной Даме «в сиянии красных лампад»... И потом что это за Иисус Христос в белом венчике из роз? Он, вероятно, хотел сказать в веночке. Венчик — это не веночек, а совсем другое. Тут даже нет элементарного чутья русского языка. Типичнейший модернизм!

Говоря это, Бунин смотрел прямо мне в лицо не то чтобы злыми, а прямо-таки ненавидящими глазами, причем щеки его ввалились, сделались как бы еще более костлявыми.

— А вы, разумеется, в восторге? Ну еще бы! Вы, наверное, и «Скифы» считаете великим пророческим произведением... Как же, «держали щит меж двух враждебных рас — монголов и Европы». И потом что это за стальные машины, где дышит интеграл? Ну, посудите сами, как это интеграл может дышать, да еще не где-нибудь, а в стальных машинах. Дичь какая-то. Декадентская чушь.

Я пришел в смятение потому, что уже давно и тайно от Бунина был влюблен в Блока, и если первая книга, которую я просил мне купить, была стихотворения Бунина, то вторая, которую я купил сам, на свои собственные деньги, была «Снежная ночь» Александра Блока.

Не могу сказать, чтобы мне тогда понравились «Двенадцать». Они во многом отталкивали меня, как — впрочем — всегда сначала отталкивает новая, еще небывалая в литературе, совершенно оригинальная форма, без которой невозможно новое содержание, тем более если этим содержанием является революция.

До революции я еще тогда не дозрел.

Но уже и тогда «Двенадцать» потрясли меня своей неслыханной живописью — достоверной, точной, вещественной, не реалистической, а материалистической, ни на какую другую не похожей.

Черный вечер. Белый снег. Сверху снежок. Под ним — ледок. Падающая баба — и, бац, растянулась. Огни, огни, огни. Оплечь — ружейные ремни. Электрический фонарик на оглобелке. Рвет, мнет и носит большой плакат: «Вся власть Учредительному собранию». Шоколад «миньон» жрала! Не видать в снегу друг друга за четыре за шага...

О, эти четыре шага! Не два, не три, а именно четыре. Как они — эти четыре роковые шага — ранили воображение не одного поэта. Как трудно было от них избавиться.

Я уже не говорю о гениальных строчках: «...нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной», — быть может, лучших во всей мировой поэзии.

Что же касается «Скифов», то я их признавал полностью, не только восхищаясь ими, но испытывая нечто вроде подлинного священного ужаса при чтении этих пророческих тяжеловесных ямбов, сохранивших власть над моей душой и над моим воображением до сегодняшних дней.

Все было в них согласно с моим тогдашним представлением о судьбах России, все находило во мне отзвук.

...«И дар божественных видений... и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений».

В особенности дар божественных видений.

Меня несколько не пугало, что «перед Европою пригожей... мы обернемся к вам своею азиатской рожей», не коробила «варварская

лира» и все резкости этой необыкновенной евразийской поэмы, открывшей для меня целый мир пробуждающегося Востока.

Ведь я был солдат, настоящий фронтовик, и меня было трудно чем-нибудь запугать, в особенности революцией. Солдаты любили революцию. Она была для них желанным избавлением от войны. В этом было мое преимущество перед Бунными, который до ужаса боялся и ненавидел солдат и матросов, совершавших величайшую в истории человечества Октябрьскую революцию; они все казались ему на одно лицо: тупые, жестокие, озверевшие от крови, разнузданные, не революционеры, а бунтовщики, погубители России.

Я же, проживший вместе с ними на войне почти два года, вместе с ними искавший и кормивший вшей, евшей и гучивший некоторых из них грамоте и даже читавший им в мокрой землянке под Сморгонью во время передышек между боями Гоголя и Толстого — чуть ли даже не «Анну Каренину», которая им, кстати, очень нравилась, — лежавший вместе с ними то раненый, то отравленный газами в полевых лазаретах на гнилой соломе, знавший все их самые сокровенные крестьянские, совершенно справедливые, мечты о земле, о свободе, о всеобщем мире, о свержении ненавистного дома Романовых, об уничтожении помещиков, кулаков и капиталистов, о грядущей революции и вполне сочувствующий этим мечтам, хотя они и не имели к моей личной судьбе прямого отношения — как мне тогда казалось! — я совсем не боялся этих людей — вовсе не жестоких и вовсе не кровожадных, а простых, добрых, хороших и справедливых русских крестьян и рабочих, измученных и доведенных до крайности преступной войной и вековой несправедливостью.

Это была настоящая Россия, а не та, которую выдумал Бунин, подавший свой постыдному страху перед революцией — ужасу, свойственному многим русским интеллигентам того времени.

Невольно вспоминалась мне автобиографическая заметка, написанная за два года до революции, где Бунин писал: «На первых порах чего только, наряду с похвалами моему художеству, не наслушался я! Иные унижались даже до того, что говорили, что я был просто испуган революцией, как помещик (каковым на самом деле я отроду не был)...»

Увы, как это ни больно, но теперь мне стало совершенно ясно, что Бунин именно испугался революции. Я думаю, в этом страхе перед революцией была главная трагедия Бунина, которую я наблюдал в годы, о которых пишу.

— Вы, конечно, не согласны со мной относительно «Скифов» и «Двенадцати»? — сказал он резко. — Боюсь, что вы, как и многие молодые люди вашего возраста и положения, ваши друзья, вступили на неверный, скользкий путь, который увлечет вас в пропасть... — Он снова пронзительно посмотрел мне прямо в глаза и усмехнулся. — Однако, господа, если начинать, то пора начинать. — И с этими словами он из боковой двери поднялся по лестничке на эстраду, сухо поклонился в ответ на легкие аплодисменты, затем уселся за шаткий столик, вынул из портфеля журнальный отгиск «Снов Чанга», взглянул на часы и, уже больше ни разу не посмотрев в полупустой освещенный зал, превосходно, четким, хорошо разносившимся голосом с великолепной дикцией прочел от доски до доски свой замечательный (тоже симфонический) рассказ, начинавшийся удивительными фразами, прозвучавшими, как траурные музыкальные аккорды:

«Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле. Некогда Чанг узнал мир и капитана, своего хозяина, с которым соединилось его земное существование. И прошло с тех пор

целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных песочных часах. Вот опять была ночь — сон или действительность? — и опять наступает утро — действительность или сон?»

Казалось бы, что за дело было всем этим людям, сидящим в разгар революции в осажденном городе, в холодном полупустом и дурно освещенном зале, до судьбы опустившегося пьяницы-капитана и его собаки Чанга, купленной в «пыльный и холодный день на широкой китайской реке» и привезенной потом на пароходе в Одессу?

Однако они просидели, не шевелясь, все сорок пять минут чтения, завороченные музыкой этой картинной симфонической прозы с ее перепадами ритма, синкопами и фразами, подобными мрачным аккордам, взятым руками великого органиста:

«...и вдруг распахивается дверь костела — и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина: перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины, — точно две сестры разных возрастов, — а надо всем этим — гул, громы, клир звонко вопиющих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие — и все собой покрывающие неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением...»

Звучащее видение!..

Лишь один раз, на миг, отвлеклись слушатели от «Снов Чанга», когда за окнами, в черной бездне осажденного города, послышалась короткая пулеметная очередь, взрыв ручной гранаты-лимонки и чей-то голос негромко произнес в середине зала:

— Господа, по-моему, это стреляют на Малой Арнаутской...

В эту ночь я провожал Бунина по темному, зловеще притихшему городу. Бунин был, как мне казалось, недоброжелательно молчалив. Желая его отвлечь от тяжелых мыслей, я все время делал попытки сказать ему что-нибудь особенно для него приятное.

— Иван Алексеевич, вас, вероятно, много переводили на иностранные языки?

— Боже мой!.. — раздраженно ответил он. — Ну, посудите сами: у меня, например, один рассказ начинается такой фразой: «На Фоминой неделе в ясный, чуть розовый вечер, в ту прелестную пору, когда...» Попробуйте-ка это сказать по-английски или по-французски, сохранить музыку русского языка, тонкость пейзажа... «В ту прелестную пору, когда...» Невозможно! А что я стою без этого? Нет, меня очень мало знают за границей... как, впрочем, и у нас в России, — с горечью прибавил он.

Как-то Бунин сказал мне, что если бы он был очень богат, то не стал бы жить на одном месте, заводить хозяйство, квартиру, библиотеку, гардероб, а путешествовал бы по всему земному шару, останавливаясь в хороших, комфортабельных гостиницах и живя там столько, сколько живется, а как только надоест — отправлялся бы налегке в другое место: один-два чемодана с самым необходимым. Ничего лишнего. Грязную сорочку не отдавать в стирку, а просто выбрасывать, потому что гораздо интереснее и легче купить новую. Костюмы и ботинки — то же самое. В чемодане же — записные книжки, бумага и всякие мелочи, к которым привык.

— Вроде вашей пепельницы?

— Именно.

Он говорил в шутливом тоне, но, я думаю, в этом заключалась большая доля правды.

На меня производило впечатление, что Бунины всегда живут как бы на бивуаке, среди чужой мебели, чужих картин, драпри, посуды, ламп. Своего у них было лишь одежда, да постели, да пара плоских кожаных английских чемоданов с наклейками заграничных отелей.

Кстати, об этих наклейках.

Однажды Бунин на мой вопрос, к какому литературному направлению он себя причисляет, сказал:

— Ах, какой вздор все эти направления! Кем меня только не объявляли критики: и декадентом, и символистом, и мистиком, и реалистом, и неореалистом, и богоискателем, и натуралистом, да мало ли еще каких ярлыков на меня ни наклеивали, так что в конце концов я стал похож на сундук, совершивший кругосветное путешествие,— весь в пестрых, крикливых наклейках. А разве это хоть в малейшей степени может объяснить сущность меня как художника? Да ни в какой мере! Я — это я, единственный, неповторимый — как и каждый живущий на земле человек,— в чем и заключается самая суть вопроса.— Он посмотрел на меня искоса «по-чеховски».— И вас, милостивый государь, ждет такая же участь. Будете весь обклеены ярлыками, как чемодан. Попомните мое слово!

У него была полная возможность много раз уехать из опасной для него Одессы за границу, тем более что — как я уже говорил — он был легок на подъем и любил скитаться по разным городам и странам. Однако в Одессе он застрял: не хотел сделаться эмигрантом, отрезанным ломтем; упрямо надеялся на чудо — на конец большевиков, гибель советской власти и на возвращение в Москву под звон кремлевских колоколов. В какую? Вряд ли он это ясно представлял. В прежнюю, привычную Москву? Вероятно, поэтому он остался в Одессе, когда в девятнадцатом году, весной, она была занята частями Красной Армии и на несколько месяцев установилась советская власть.

К этому времени Бунин был уже настолько скомпрометирован своими контрреволюционными взглядами, которых, кстати, не скрывал, что его могли без всяких разговоров расстрелять, и наверное бы расстреляли, если бы не его старинный друг одесский художник Нилус, живший в том же доме, где жили и Бунины, на чердаке, описанном в «Снах Чанга», не на простом чердаке, а на чердаке «теплом, благоухающем сигарой, устланном коврами, уставленном старинной мебелью, увешанном картинами и парчовыми тканями...».

Так вот, если бы этот самый Нилус не проявил бешеной энергии — телеграфировал в Москву Луначарскому, чуть ли не на коленях умолял председателя Одесского ревкома,— то еще неизвестно, чем бы кончилось дело.

Так или иначе, Нилус получил специальную, так называемую «охранную грамоту» на жизнь, имущество и личную неприкосновенность академика Бунина, которую и приколоты кнопками к лаковой, богатой двери особняка на Княжеской улице.

...К особняку подошел отряд вооруженных матросов и солдат особого отдела. Увидев в окно синие воротники и оранжевые распахнутые полушубки, Вера Николаевна бесшумно сползла вдоль стены вниз и потеряла сознание, а Бунин, резко стуча каблуками по натертому пар-

кету, подошел к дверям, остановился на пороге как вкопанный, странно откинув назад вытянутые руки со сжатыми изо всех сил кулаками, и судороги пробежали по его побелевшему лицу с трясущейся бородкой и страшными глазами.

— Если хоть кто-нибудь осмелится перешагнуть порог моего дома... — не закричал, а как-то ужасно проскрежетал он, играя челюстями и обнажив желтоватые, крепкие, острые зубы, — то первому же человеку я собственными зубами перегрызу горло, и пусть меня потом убивают! Я не хочу больше жить!

Мне тут же вспомнились строки его стихов:

«...веди меня, вали под нож в единый мах — не то держись: зубами всех заем, не оторвут!»

И я ужаснулся.

Но все обошлось благополучно: особисты прочитали охранную грамоту с советской печатью и подписью, очень удивились, даже кто-то негромко матюкнулся по адресу ревкома, однако не захотели идти против решения священной для них советской власти и молча удалились по притихшей, безлюдной улице мимо еще по-зимнему сухих стволов белой акации с грубой черно-серой корой, в глубоких трещинах которой угадывалась нежная лубяная желтизна.

В продолжение всей этой сцены я смотрел на улицу в окно, так что между моими глазами и отрядом особистов находился большой наружный термометр с шариком ртути, в котором лучисто отражалось уже почти по-весеннему яркое, но все еще немного туманное солнце.

И вдруг я снова увидел и сразу узнал ее, ту самую девочку с дачи Ковалевского, которую описывал по совету Бунина пять лет назад.

Теперь ей было лет семнадцать; она стояла среди матросов и солдат, читая охранную грамоту, в распахнутом армейском полушубке и белом сибирском малахае, отодвинутом с оливково-смуглого, вспотевшего лба на затылок. Она держала в маленькой крепкой руке драгунскую винтовку, и ее зубы были стиснуты, подбородок выдавался вперед, как башмак, а на темном лице лунно светились узкие, злые и в то же время волшебнo-обольстительные глаза.

Наши взгляды встретились, и она погрозила мне — враждебному ей, незнакомому молодому человеку, находящемуся в квартире контрреволюционера Бунина, — своей ладной короткой винтовочкой.

И мы снова ненадолго потеряли из виду друг друга, а жизнь, на миг превратившаяся в страницу Гюго, опять потекла своей чередой.

Удивительно, что когда вскоре я встретил ее снова, то узнал не сразу.

Начался трудовой, организационный период, — писал я по горячим следам событий в «Записках о гражданской войне».

«Всеми оставшимся в городе новая власть большевиков предоставила право собираться и коллективно обсуждать устройство своей жизни. В большом, очень — как мне тогда представлялось — изящно отделанном зале так называемой «Литературки», где еще так недавно лакеи во фраках прислуживали эстетам в бархатных куртках и актрисам с разрисованными глазами, теперь стояли рыночные стулья и принесенные из дворницкой скамейки, на которых сидели взволнованные, выбитые из привычной колеи люди, главным образом беженцы с севе-

ра. Они должны были определить свое отношение к советской власти, наконец-то настигшей их на берегу Черного моря».

«Бунин сидел в углу, опираясь подбородком о набалдашник толстой палки. Он был желт, зол и морщинист. Худая его шея, вылезшая из воротничка цветной накрахмаленной сорочки, туго пружинилась. Опухшие, словно заплаканные глаза смотрели пронзительно и свирепо. Он весь подергивался на месте и вертел шеей, словно ее давил воротничок. Он был наиболее непримирим. Несколько раз он вскакивал с места и сердито стучал палкой об пол».

Примерно то же самое впоследствии написал и Олеша.

«...Когда на собрании артистов, писателей, поэтов он стучал на нас, молодых, палкой и уж, безусловно, казался злым стариком, ему было всего лишь сорок два года. Но ведь он и действительно был тогда стариком! И мало того: именно злым, костяным стариком — дедом!»

Хотя Олеша и ошибся в возрасте Бунина, которому тогда было уже под пятьдесят, но важен не возраст, а впечатление от этого возраста. Оно совпадает и с моим впечатлением. Именно был тогда злой старик.

А мы, молодые, те самые, на которых он стучал тогда палкой, были Багрицкий, Олеша, я...

Про нас тогда говорили в городе с некоторым страхом, смешанным с удивлением:

— Эти трое!

Я продолжал бывать у Бунина, хотя было ясно, что наши дороги расходятся все дальше и дальше. Я продолжал его страстно любить. Не хочу прибавлять: как художника. Я любил его полностью, и как человека, как личность тоже. Я не чувствовал в его отношении к себе сколько-нибудь заметного охлаждения, хотя и заметил, что он все чаще и чаще очень пристально вглядывается в меня, как бы желая понять неясную для него душу современного молодого человека, зараженного революцией, прочесть самые его сокровенные мысли.

Он даже стал иногда как-то мелочно-придирчив, например, он заметил однажды, что я стал носить на руке в виде браслета золотую цепочку с какой-то висюлькой.

Нахмурился.

— Что это за фатовство? Вы не барышня, чтобы носить золотой браслет.

— Он совсем не золотой,— сказал я,— а медный, позолоченный, дутый.

— Тем более. Настоящий золотой — это еще туда-сюда. А дутый, да еще и фальшивого золота — совсем пошло. Запомните: человек должен пользоваться и украшаться — если уж он решил украшаться! — только настоящим, подлинным... Ничего поддельного, фальшивого! А что это болтается на нем за штука?

— Это осколок, который у меня извлекли из верхней трети бедра,— сказал я не без хвастовства, но все же покраснев до корней волос.

Бунин взял мою руку и опустил себе на ладонь острый обрывок меди с вдавленной трехзначной цифрой — кусочек центрального пояска немецкого снаряда, который мог — попади он в голову — в один миг прекратить мою жизнь; внимательно осмотрел осколок со всех сторон и спросил:

— Это сидело в вашем теле?

— Да, в верхней трети бедра,— повторил я с удовольствием.

— Ну, так и носили бы его на простой стальной цепочке. Это было бы гораздо лучше. А дутое американское золото не достойно вашего настоящего,— подчеркнул он,— осколка. Оно только унижает его. Как это было? Только не сочиняйте.

— Меня подбросило, а когда я очнулся, то одним глазом увидел лежащую под щекой землю, а сверху на меня падали комья и летела пыль и от очень близкого взрыва едко пахло как бы жженым целлюлоидным гребешком.

— Ну, носите на здоровье, если вам хочется казаться богаче, чем вы есть на самом деле,— подумав, сказал Бунин.

Было знойное лето, пустынный, вымерший город, закрытые лавки, молчаливый рынок, где приезжие мужики торопливо обменивали муку на городские вещи. Отсутствовали табак и спички.

Я принес Бунину большое увеличительное стекло, вынутое из желтого соснового ящика Афонской панорамы. Эта панорама, купленная во время нашего путешествия за границу, считалась очень ценной вещью и стояла на третьем месте после маминого пианино и стенных столовых часов с боем, выигранных некогда в лотерею-аллегри.

Круглое увеличительное стекло, вделанное в крышку ящика с латунным крючком, волшебным образом приближало выпукло увеличенные, по-литографски яркие открытки, крупнозернистые изображения знаменитой мечети Айя-София с пиками минаретов по углам или старинного кладбища в Скутари с беломраморными столбиками мусульманских надгробий и почти черными кипарисами на фоне лубочного, сплошь ультрамаринового неба без единого облачка.

Я завернул волшебное стекло в лист самой лучшей своей бумаги, на которой написал следующий мадригал:

«Ивану Бунину при посылке ему увеличительного стекла.

Примите от меня, учитель, сие волшебное стекло, дабы, сведя в свою обитель животворящее тепло, наперекор судьбе упрямой минуя «спичечный вопрос», от солнца б зажигали прямо табак душистых папирос.

В дни революций и тревоги и уравнивания в правах одни языческие боги еще царили в небесах. Но вот, благодаренье небу, настала очередь богам. Довольно Вы служили Фебу, пускай же Феб послужит Вам».

Оставив без внимания мою стилизацию, Бунин скрутил самодельную папиросу из остатков скверного черного табака, взял стекло и навел на кончик самокрутки пучок солнечных лучей, бивших в пыльное окно из города, охваченного мертвой тишиной.

В жгуче суженном до размера точки кружочке фокуса появился седой дымок — как будто бы где-то далеко в степи загорелась сухая скирда соломы,— и Бунин стал курить, подставив под папиросу знакомую пепельницу, которая на этот раз показала мне не так ярко начищенной самоварной мазью, как в былые дни.

— Благодарствуйте,— сказал Бунин, пожимая мне руку.— Вы меня выручили. Ваш должник!

Осенью опять переменилась власть. Город заняли деникинцы. И вот однажды темным, дождливым городским утром — таким париж-

ским! — я прочитал Бунину свой последний, только что тщательно выправленный и переписанный набело рассказ об одном молодом человеке — на этот раз я его из чувства упрямства сделал студентом, который вроде пушкинского Германа был игрок, одержимый магией во что бы то ни стало выиграть в карты много денег, в то время как другой молодой человек — его я из чувства все того же упрямства и противоречия сделал актером маленького бульварного театра миниатюр — завидует студенту и даже хочет его убить из револьвера, но не убивает по чистой случайности, причем все это разворачивается, разумеется, при участии обольстительной балерины, на фоне доживающего свои последние дни, разлагающегося, обреченного буржуазного города, осажденного Красной Армией. Как я сейчас понимаю, главная ценность рассказа заключалась именно в передаче ощущения социальной обреченности накануне революционного восстания, когда на окраинах, в рабочих кварталах, подпольщики достают спрятанное оружие и «новый день, обозначившийся светлой полосой за черными фабричными трубами, был последним днем Вавилона».

Бунин молча слушал, облокотившись на лаковый столик, и я со страхом ожидал на его лице признаков раздражения или — чего доброго — прямой злости. Но его глаза были утомленно сужены, устремлены куда-то вдаль, будто он и впрямь видел над по-верхарновски черными фабричными трубами кровавый, революционный расцвет, — и вся его фигура, даже расслабленные пальцы руки, в которых он держал дымящуюся папиросу над медной чашкой пепельницы, выражали глубокое огорчение, почти нескрываемую боль.

— Я здесь пытался применить ваш принцип симфонической прозы, — сказал я, окончив чтение.

Он взглянул на меня и сказал с горечью, как бы отвечая на свои мысли:

— Ну что ж. Этого следовало ожидать. Я уже здесь не вижу себя. Вы уходите от меня к Леониду Андрееву. Но скажите: неужели вы бы смогли — как ваш герой — убить человека для того, чтобы завладеть его бумажником?

— Я — нет. Но мой персонаж...

— Неправда! — резко сказал Бунин, почти крикнул: — Не сваливайте на свой персонаж! Каждый персонаж это и есть сам писатель.

— Позвольте! Но Раскольников...

— Ага! Я так и знал, что вы сейчас назовете это имя! Голодный молодой человек с топором под пиджачком. И кто знает, что переживал Достоевский, сочиняя его, этого самого своего Раскольникова. Одна фамилия чего стоит! Я думаю, — тихо сказал Бунин, — в эти минуты Достоевский сам был Раскольниковым. Ненавижу вашего Достоевского, — вдруг со страстью воскликнул он. — Омерзительный писатель со всеми своими нагромождениями, ужасающей неряшливостью какого-то нарочитого, противоестественного, выдуманного языка, которым никогда никто не говорил и не говорит, с назойливыми, утомительными повторениями, длиннотами, косноязычием... Он все время хватает вас за уши и тычет, тычет, тычет носом в эту невозможную, придуманную им мерзость, какую-то душевную блевотину. А кроме того, как это все манерно, надуманно, неестественно. Легенда о великом инквизиторе! — воскликнул Бунин с выражением гадливости и захохотал. — Вот откуда пошло все то, что случилось с Россией: декадентство, модернизм, революция, молодые люди, подобные вам, до мозга костей зараженные достоевщиной, — без пути в жизни, растерянные, душевно и физически искалеченные войной, не знающие, куда девать свои силы, способности, свои под-

час недюжинные, даже громадные таланты... Ах, да что говорить! — Он с отчаянием махнул рукой.

Может быть, он первый в мире заговорил о потерянном поколении.

Но наше русское — мое — поколение не было потерянным. Оно не погибло, хотя и могло погибнуть. Война его искалечила, но Великая Революция спасла и вылечила. Какой бы я ни был, я обязан своей жизнью и своим творчеством Революции. Только Ей одной.

Я сын Революции. Может быть, и плохой сын. Но все равно сын.

Это были последние месяцы перед нашей разлукой навсегда. Вот некоторые мысли Бунина того времени, поразившие меня своей необщепринятостью:

— Вы знаете, при всей его гениальности, Лев Толстой не всегда безупречен как художник. Есть у него много сырого, лишнего. Мне хочется в один прекрасный день взять, например, его «Анну Каренину» и заново ее переписать. Не написать по-своему, а именно переписать — если будет позволено так выразиться, — переписать набело, убрав все длинноты, кое-что опустить, кое-где сделав фразы более точными, изящными, но, разумеется, нигде не прибавляя от себя ни одной буквы, оставив все толстовское в полной неприкосновенности. Может быть, я это когда-нибудь сделаю, разумеется, как опыт, исключительно для себя, не для печати. Хотя глубоко убежден, что отредактированный таким образом Толстой — не каким-нибудь Страховым, а настоящим, большим художником — будет читаться еще с большим удовольствием и приобретет дополнительно тех читателей, которые не всегда могут осилить его романы именно в силу их недостаточной стилистической обработки.

Можно себе представить, какую бурю самых противоречивых чувств вызывали в моей слабой, молодой душе подобные мысли, высказанные моим учителем очень простым, даже обыденным тоном, лишенным какой бы то ни было рисовки или желания, как тогда любил выражаться — «эпатировать», но с той несокрушимой силой внутреннего убеждения, которая действует еще сильнее, чем сама истина.

Подобным образом говорить о Достоевском и Толстом! Это сводило меня с ума. Но... Почему бы в конце концов и нет? Я уже и тогда подозревал, что самое драгоценное качество художника — это полная, абсолютная, бесстрашная независимость своих суждений. Ведь в конце концов тот же самый великий Лев Толстой совершенно спокойно, не считаясь ни с чем, подверг уничтожающей критике самого Шекспира, взявши под сомнение не только ценность его мыслей, но и просто-напросто высмеяв его как весьма посредственного — точнее, никуда не годного — сочинителя. А что сделал Толстой с Вагнером, с современными французскими поэтами, с великими Бодлером, Верленом!.. Уму непостижимо. Он даже и до Пушкина добирался в конце своей жизни. Добирался, добирался!

Ну и что?

Толстой остался Толстым, Шекспир Шекспиrom, Вагнер Вагнером, Бодлер Бодлером. Все осталось на своем месте. Даже такому великану, как Лев Толстой, не удалось поколебать мировые струны.

Но это я понял гораздо позже, когда окреп сердцем и разумом. А в те дни со сладким ужасом слушал я слова моего учителя.

На мой вопрос о Скрябине, о его новаторской музыке, о его попытках каким-то образом соединить звук и цвет, о его странной оркестровке и небывалом контрапункте Бунин отозвался примерно так:

— Скрябин?.. Гм... Вы хотите знать, что такое Скрябин и что из себя представляет его музыка, например, «Поэма экстаза»? Могу вам рассказать. Представьте себе Большой зал Московской консерватории. Сияние люстр. Овальные портреты великих композиторов, громадный орган и перед ним симфонический оркестр — скрипки, пюпитры, ослепительные пластроны и белые галстуки музыкантов, каждый из которых в своей области знаменитость. Публика — самая изысканная: великие московские знатоки и ценители музыки, курсистки, профессора, артисты, богачи, первые красавицы, офицеры, — цвет московской интеллигенции. Легкий озноб ожидания. Зал наэлектризован. Сдержанное нетерпение доходит до высшей точки, но вот, вскинув фалды фрака, дирижер взмахнул палочкой — и началась знаменитая симфония — последнее, самое революционное слово современной модернистской, декадентской музыки. Ну-с... как бы вам описать эту симфонию наиболее популярно? Попробую. Итак, «ударил в смычки». Кто в лес, кто по дрова. Но пока еще более или менее общепринято, как и подобает в стенах знаменитой Московской консерватории. И вдруг совершенно неожиданно отчаяннейшим образом взвизгивает скрипка, как поросенок, которого режут: «И-и-ихх! И-и-ихх!» — При этом Бунин сделал злое лицо и, не стесняясь, завизжал на всю квартиру. — А потом взвился истошный, раздражающий вопль трубы...

— Иоанн, ты совершенно обезумел! — с ужасом воскликнула Вера Николаевна, вбегая в комнату и затыкая уши мизинцами.

— Это я популярно объясняю, что такое «Поэма экстаза» Скрябина, — сухо сказал Бунин, устремив на меня пронзительный взгляд. — А вы, конечно, в восторге от «новой музыки», как и подобает молодому современному поэту, поклоннику Достоевского и Леонида Андреева?

— Я никогда не слышал симфонических вещей Скрябина, но фортепьянные мне очень нравятся, — сказал я, желая быть независимым. (Я даже собирался писать рассказ, где главное действующее лицо играет прелюдию Скрябина...)

Но, взглянув на Бунина, на ядовитое выражение его геморроидального лица, неуверенно добавил:

— Но, конечно, можно, чтобы мой герой играл Грига...

— А может быть, Чайковского? — спросил Бунин с непонятной интонацией.

— Можно, конечно, и Чайковского, — сказал я.

— Вот-вот, — как-то вскользь радостным голосом бросил Бунин. — Григ или Чайковский, грустная природа Левитана, мягкий юмор Чехова... Геронья, разумеется, бывшая актриса. Желтые листья. Одиночество. Акварельные краски...

И вдруг неожиданно:

— Андерсена любите?

— Н... да.

— Я так и предполагал. Вера, оказывается, он любит Андерсена. Теперь пошла мода на Андерсена. Или даже на Александра Грина. Так вот, когда будете писать свой рассказ, то, кроме Грига, Чайковского, Левитана и Чехова, не забудьте Андерсена: упомяните бедного оловянного солдатика, обуглившуюся бумажную розу или что-нибудь подобное, если удастся, присоедините к этому какого-нибудь гриновского капитана с трубкой и пинтой персиковой настойки — и успех у интеллигентных провинциальных дам среднего возраста обеспечен. О нет, вы

напрасно улыбаются, милостивый государь. Именно эти дамы — поклонницы Грина и Грига — делают писателю славу, создают репутацию романтика, почти классика. Поверьте травленому литературному волку. Вы еще меня вспомнете не раз. Ах, — вдруг сказал он без всякой видимой связи, — да в этом ли дело? Самое главное — научиться писать просто.

— Вы ли пишете не просто? — воскликнул я.

— Нет, не то. Не так. А совсем, понимаете ли, совсем, совсем просто. Уж чтобы проще некуда! Существительное, глагол, точка, ну — может быть! — самое необходимое придаточное предложение, по-детски ясное. Как басня. Как молитва. Как сказка. Случилось соловью на шум их прилететь. Ворона видит сыр, ворону сыр пленил. А может быть, и так: «Сказка о Козе».

И начал как-то зловеще, таинственно, глухо:

— «Эти волчьи глаза или звезды — в стволах на краю перелеска? Полночь, поздняя осень, мороз. Голый дуб надо мной весь трепещет от звездного блеска, под ногою сухое хрустит серебро. Затвердели, как камень, тропинки, за лето набитые. Ты одна, ты одна, страшной сказки осенней Коза! Расцветают, горят на железном морозе несытые Волчьи, божьи глаза».

Здесь, конечно, тоже была простота, но совсем не та, о которой только что говорил Бунин: не басня или молитва, не сказка, а нечто вроде притчи. Скорее всего видение. О Козе и Волке. Коза и Волк с большой буквы. Страшное пророческое видение — притча, написанная серебром на черно-ворононом, уже почти зимнем небе: голый дуб, трепещущий от звездного блеска, и под ним одна, одна, совершенно одна, до ужаса одна отбившаяся в эту морозную полночь коза: старая, со впалыми жесткими боками, русская пищая коза с мудрым, иссохшим, истерзанным лицом Ивана Бунина, с исплуканными глазами великомученицы и в то же время великой грешницы, блудницы, не имеющей силы отвести взоров от карающих божьих глаз, которые расцветают, грозно горят на железном морозе, словно глаза какого-то древнего, мерцающего инеем волка-оборотня, и этот поджарый, шелкающий желтыми зубами волк есть в то же время как бы еще одно новое воплощение все того же Бунина — одновременно и Козы с глазами будды, и Волка, и жертвы, и узкобородого палача в длинной до земли кавалерийской шинели, и дьявола, и бога.

Самое ужасное заключалось в том, что я постепенно терял контроль над своим уходящим сознанием, погружаясь в тяжелый, призрачный мир неописуемых сновидений, чувствуя лишь свинцовое гудение крови, разогретой до сорокаградусной температуры по Цельсию, — по очереди превращался то в Козу, то в Волка, бредущих друг за другом по набитым тропинкам, затвердевшим на морозе, словно камень.

Меня крупно знобило, морозило от полярной стужи, не попадал зуб на зуб, предсмертная тошнота подступала к горлу, и ни капли тепла не было вокруг, как в брошенном стальном бронепоезде — среди бесконечных пространств, среди этих тонких, негреющих, госпитальных одеял навсегда замерзшего Ледовитого океана, над которым переливалась стеклярусом толстая короткая занавеска северного сияния, еще более усиленная стужу, и в глаза мне смотрела остановившаяся прямо надо мной голая электрическая лампочка Полярной звезды, — смотрела, смотрела, смотрела и никак не могла насмотреться на меня своим убивающим взглядом слабого накала.

Меня посещали пророческие видения, которые я тут же навсегда забывал, но одно из них все-таки оставило слабый след в моей памяти.

...человек, который, задыхаясь, бежал по каменным, раскаленным дворам монастыря Чойжин-ламы, одного из самых жестоких и грозных лам, носившего титул государственного оракула. Некогда Чойжин-лама обратился к маньчжурскому императору с просьбой дать имя его монастырю и получил название «Дарующий благоденствие», которое теперь было начертано на щите у входа в главный храм на маньчжурском, монгольском, китайском и тибетском языках.

Его преследовали. Он вбежал в храм, покрытый снаружи и внутри изображениями отрезанных человеческих голов и внутренних органов, висящих на разноцветных шелковых лентах. Эти изображения символизировали врагов религии и были призваны показать, что такая участь ждет неверующих и еретиков в загробной жизни.

Человек этот был Революционер и бежал из Города, временно захваченного Восставшими Ламами. Он надеялся спастись в храме, спрятавшись за сиденьем левого ряда, где во время богослужения находился один из высших Лам — халибо-лама, а перед ним были разложены предметы культа: колокольчики, бубны, литавры, барабаны, трубы, раковины и стальной молитвенный жезл очир, дающий жрецу силу и власть над человеческой жизнью. Вокруг были изображения рая, а также горячего и холодного ада с голыми фигурами терзаемых грешников. Три громадные коралловые маски, изображающие ужасного бога Жамсарана с разинутой пастью, смотрели на спрятавшегося человека зияющими глазами, а так как человек, пробегая в тесноте храма, задел плечом бронзовый гонг, то в воздухе волнами плыл приглушенный гул, колебля синеватые дымки тонких и длинных ароматических свечек, время от времени роняющих сизый пепел на серебряные подносы.

Затем послышался топот ног, обутых в монгольские сапоги, в храм вбежали Враги и схватили человека, уцепившегося обеими руками за небольшую позолоченную статую женщины — будды с обольстительно тонкой талией, скользящей улыбкой тонких козьих губ, коварно опущенными веками и стройными ногами, скрещенными таким образом, что их узкие позсоченные подошвы были каким-то образом повернуты вверх, к небу.

Человек бросился на пол. Но его схватили, поволокли, прижали к синему столбу с золотыми разводами, и бритоголовый Лама, скрипнув зубами, выхватил из-за пояса китайский пастушеский нож в сандаловых ножнах, выложенных мягким серебром, с треском вонзил узкое лезвие с глубоким желобком в грудь Революционера, просунул в багрово-красное, как бы раскаленное устье раны-цветка свою мускулистую, обнаженную до плеча руку борца и вырвал сердце, а распростертый труп человека отбросил ногой прочь с дороги, как падаль.

И этот труп Человека был Я, и это мое сердце привязали шелковым китайским шнурком к знамени контрреволюционного восстания, и оно полетело над всадниками, над развевающимися гривами лошадей, сбивавших копытами головки желтого мака, над острыми вершинами Хинганского хребта, над пустыней Гоби, где жарко свистел шелковый китайский ветер.

...Я лежал посреди раскаленного монастырского двора с вырванным сердцем, и на меня смотрели маленькие бронзовые львы, похожие на лягушат, сплошь покрытых зелеными улитками шерсти, над куриль-

ницами плыл угарный дым сухих трав, и желтая карета Богдо-Гэгэна промелькнула между красных золоченых столбов монастырских ворот с тяжелой, ностройной черепичной крышей, с поднятыми вверх углами, увешанными безмолвными колокольчиками. И в тот же миг я превратился в того железного, грубо сваренного колченогого человека с мучительно вывернутыми, воздетыми вверх обрубками рук и рваной дырой посередине прямоугольного туловища, которого я однажды — сорок лет тому вперед — вдруг увидел посреди кирпичных развалин взорванного фашистами Роттердама, и чайки мрачного Северного моря с отчаянными криками пролетали туда и назад сквозь брешь в моей груди, где некогда билось сердце...

О, если бы кто-нибудь знал, какая мука быть железным человеком-городом с вырванным сердцем, обреченным на вечную неподвижность и безмолвие на своем бетонном цоколе, и в то же время быть распростертым на льдине с мертвыми открытыми глазами, в которых отражается маленькая Полярная звезда.

И когда я уже не мог больше сопротивляться этой муке и готов был навсегда погрузиться в ледяную прорубь, в ту неизмеримую глубину, где по ледяному коридору в сказочно-зеленой воде двигался сигарообразный «Наутилус» и капитан Немо, скрестив на груди руки, судорожно вдыхал последние капли кислорода, меня начинали посещать божественные видения такой небесной красоты, что останавливалось бедное земное время и начиналось какое-то иное, высшее время, как бы навсегда сделавшее мое тело нетленным.

Я испытывал какой-то душевный восторг — «Поэму экстаза» — с высоким воплем трубы, взлетевшим над глухим шепотом скрипок, — достигший своей высшей мыслимой грани, высшего блаженства и там оставившийся навсегда.

Иногда я как бы всплывал на поверхность и начинал ощущать — хотя и очень слабо — свое истощенное, обессиленное тело, покрытое тонким лазаретным одеялом, пропускавшим полярный холод.

Ко мне частично возвращались чувства, и я слышал устойчивый запах иодоформа и карболки, делавший то странное пространство, среди которого я находился, похожим на непомерно громадный запущенный вокзал — некую сыпнотифозную Жмеринку моих военных кошмаров, — наполненный бетонным гулом, хаосом ручного багажа, из которого вдруг вблизи от меня появлялись знакомые фигуры отца в стареньком демисезонном пальто и каких-то пестрых старушечьих варежках и младшего брата Жени — будущего Евгения Петрова — в съеденном молью верблюжьем башлыке. Они стояли передо мной, в отчаянии опустив руки, и я видел слезы, которые текли по щекам и поседевшей бороде отца, и темные глаза Жени, полные боли, жалости и ужаса.

Я понимал, что они думают, будто я умираю, вот-вот, сию минуту на их глазах кончусь, а может быть, уже умер и тело мое костенеет, и в то же время всей своей пробуждающейся, ликующей душой я уже знал наверняка, что кризис прошел благополучно и что я теперь буду жить, жить, жить, очень долго, может быть даже вечно, и чувствовал начавшийся прилив жизни, но только ничего не мог им сказать, даже улыбнуться...

Я слышал их как бы очень удаленные, слабые голоса, повторявшие мое имя, но, кроме этого, я еще слышал гораздо более отдаленные воен-

ные звуки, каким-то образом дававшие мне понятие о положении в городе, о последних часах его Осады и об эвакуации, воплотившейся в обнаженный лес пароходных гудков.

Наверное, в тот час навсегда покидал родину мой Буни!

И я снова погрузился в глубину счастливых сновидений, а когда однажды проснулся, то по разным признакам понял, что вокруг меня уже началась какая-то совсем новая жизнь, и молодые поэты писали на чем попало: на оборотной стороне периодической таблицы Менделеева, разрезанной для удобства на прямоугольнички; на листах бледно-розовой тончайшей бумаги старого мира — так называемой аптекарской, поразительно непрочной, не способной пережить эпоху, почти невесома, распадающейся в руках, как пепел; или на плотных, устойчивых страницах, выданных из тюремной книги, куда — при старом режиме — вносились денежные поступления для арестантов и где четко чернели на не успевавшей еще пожелтеть бумаге печатные графы: «Порядковый номер», «Фамилия, имя, отчество», «Сумма руб. и коп.», «На какой предмет», «Разрешено или отказано». Книга эта после взятия города конницей Котовского и разгрома тюремного замка вместе со всем его архивом попала на рынок и была продана «на писчую бумагу».

Теперь — больше сорока лет тому вперед — я перебирал (или перебираю?) обетшалые листки с ломко-осыпающимися краями, как бы сожженными серной кислотой времени.

Стихи, правду сказать, были так же плохи, как и тогда, но кусочки бумаги, на которых они были нацарапаны, хранили следы моего еще не вполне определившегося почерка, вероятно, так же, как кора головного мозга хранит отпечатки всех впечатлений жизни под надежной охраной механизма памяти, ключом к которому наука еще не овладела.

То, что было тогда «тому вперед», теперь стало «тому назад».

Рассматривая и перебирая эти чудом уцелевшие в моих папках полуистлевшие бумажки, я как бы на ощупь прокладывал путь сквозь безмолвные области подсознательного в темные хранилища омертвевших сновидений, стараясь их оживить, и сила моего воображения оказалась так велика, что я вдруг с поразительной, почти осязаемой достоверностью и ясностью увидел внутренность тесной мазаной хаты, на две трети заваленной желтой душистой соломой, и закопченное устье вымазанной мелом печи с закругленными углами, что делало ее похожей на портал маленькой театральной сцены, в глубине которой разыгрывалась феерия какого-то пожара, тревожно освещавшая фигуру единственной зрительницы — девушки в домотканой юбке, выкрашенной луковой шелухой.

Она сидела на скамеечке перед печкой и грубой, но хорошенькой ручкой шипала кудель. На конце ссученной шерстяной нитки, танцую и крутясь, но не доставая на волосок мазаного глиняного пола, висело серое веретено. А босая девичья нога с очень короткими пальчиками и совсем уже короткими, еле прорезавшимися ноготками прилежно нажимала на рейку, и порхающий ветерок дул в лицо от крутящегося колеса.

Старуха иногда слезала задом с печки и, присев на корточки перед печью, запахивала в устье громадные охапки соломы, с трудом обхватывая их черными руками.

Солома быстро совершала цикл сгорания.

Сначала она ненадолго обволакивалась молочно-белым опаловым дымом, который сочился сквозь пористое тело соломенной охапки, через мгновение вспыхивала, охваченная со всех сторон чистым золотом пла-

мени, в котором был как бы сосредоточен и сохранен весь нестерпимый зной июльского полевого полудня, обжигающего лицо своим сухим целебным дыханием, и сейчас же, вдруг, делалась угрюмой, маково-красной; затем темнела, становясь маково-черной, мрачной, как бумажный пепел, и после этого глубина печки скучно пустела, как сцена театра с убранными декорациями и таким громадным пустым полом, словно там никогда ничего не представляли.

Тесная хата, еще совсем недавно наполненная жаром и светом, вдруг сразу, без перехода, делалась могильно-темной, холодной, выстуженной так, что молодой человек, разложивший свои листки на выскобленном столе перед крошечным окошечком, не без труда разбирал собственный почерк.

Этот молодой человек — совсем еще на вид юноша — был я.

Вернее сказать, он мог быть мною, если бы я обладал силой воскресить себя того, давнего, молодого... Но так как у меня нет этой волшебной силы, то сейчас, когда пишутся эти строчки, я могу считать его лишь некоторым своим подобием, несовершенным воплощением моего теперешнего представления обо мне самом того времени — если время вообще существует, что еще не доказано! — времени, оставившего единственный матерьяльный след в виде ветхих листков бумаги, исписанной дрянным карандашом номер четвертый, который не писал, а скорее цапал.

Меня того, прежнего, юного, уже нет. Я не сохранился. Карандаш исписался. А плохие стихи, нацарапанные на бумаге, легкой, как пепел, — вот они! — остались. Разве это не чудо?

«Пшеничным калачом заплетена коса вокруг милой головы моей уездной музы, в ком сочетается неяркая краса крестьянской девушки с холодностью медузы».

«С ней зимним вечером вдвоем не скучно нам: кудахчет колесо взволнованной насадкой и тени быстрых спиц летают по углам, крылами хлопая под визг и ропот редкий».

«О чем нам говорить? Я думаю, куря, она молчит, глядит, как в окна лепит — вьюга. Все тяжелей дышать. И поздняя заря находит нас опять в объятиях друг друга».

Эти стансы, сочиненные в духе так называемой «южнорусской школы», чрезвычайно нравились самому автору, в особенности то место, где «сочетается неяркая краса крестьянской девушки с холодностью медузы». Приведенные строки должны были дать представление о широком лице и о крупных, как бы немного студенистых, ничего не выражающих — лиловатых — глазах цвета хорошо известной мне черноморской медузы или — если угодно — головы Медузы Горгоны, что также соответствовало немного мифологическому стилю того романтического времени.

Если бы мне сейчас пришлось описывать глаза этой хорошенькой деревенской таракуцки! — впрочем, зачем? — то я скорее всего сравнил бы их с бараньими глазами врубелевского Пана, тем более что, сколько помнится, в окошке виднелся рожок желтого месяца, но это не меняло дела: стихи все равно никуда не годились, как подавляющее большинство описательных стихов, и, в сущности, были сочинены ради двух по-

¹ Т а р а к у ц к а — это маленькая высушенная тыквочка, которой обычно играли на Украине деревенские дети. Этим же словом в шутку называли хорошенькую, круглолицую девушку.

следних строчек — безусловно лживых, так как поздняя заря еще никогда не находила поэта и его сельскую музу в объятиях друг друга: невинная девушка обычно спала на печке вместе со старухой, а стихотворец устраивался на сухом глиняном полу под столом на рядне, на остатках сухого куриного помета и соломы, положив под голову полевую походную сумку с рукописями и укрывшись латаным-перелатанным бараньим кожухом, который удалось выменять в Балте на базаре за почти новую трофейную английскую шинель, полученную в хозяйственном отделе губревкома по записке С. Ингулова.

Стихи, по расчету молодого человека, должны были произвести сильнейшее впечатление на одну гражданку, с которой он познакомился незадолго до отъезда в командировку, не успев начать с ней романа, даже как следует ее не рассмотрев, но решив наверстать упущенное сейчас же после возвращения в город.

Пишу «гражданка» потому, что в то легендарное время дореволюционные слова вроде «барышня» или «мадемуазель» были упразднены, а слово «девушка» как обращение к девушке, впоследствии введенное в повседневный обиход Маяковским, еще тогда не вошло в моду и оставалось чисто литературным. Сказать же «молодая особа» было слишком в духе Диккенса, старомодно, а потому смешно и даже непристойно. «Красавица» — еще более смешно. «Дама» — оскорбительно-насмешливо. Оставалось «гражданка» — что вполне соответствовало духу времени, так как напоминало «Боги жаждут» Анатоля Франса, книгу, которая вместе с «Девяносто третьим годом» Гюго — за неимением советских революционных романов — была нашей настольной книгой, откуда мы черпали всю революционную романтику, эстетику и терминологию.

Теперь я бы просто сказал «девушка», тогда же можно было сказать только «гражданка», в крайнем случае «молодая гражданка» — не иначе!

...А под тип таракуцки она не подходила...

Я — или, вернее, он — предвкушал день, когда вдруг появлюсь в «коллективе поэтов» или на эстраде в «зале депеш» Югорсты — возмужавший, обветренный, полный впечатлений, слегка ироничный, совсем не сентиментальный, пусть даже грубый — и швырну на стол, покрытый кумачом, сверток новых стихов и начну их читать наизусть — конечно, нараспев! — разумеется, не все стихи, а только самые лучшие. Сначала одно или два. А потом по настойчивым требованиям восторженной, но бесплатной аудитории и все остальное: двенадцать лирических стихотворений, довольно длинную революционную поэму, написанную белым пятистопным ямбом, несколько старых сонетов из цикла «Железо», но, конечно, в первую очередь:

«...И поздняя заря находит нас опять в объятиях друг друга».

Не следует думать, что я — или, если вам угодно, тот молодой человек — находился в творческой командировке в деревне. Новорожденная советская республика посылала своих поэтов в командировки совсем другого рода.

Он был командирован отделением Югорсты с мандатом ревкома в один из самых глухих уездов, имея задание на вербовать для ежедневных бюллетеней как можно больше волостных и сельских корреспондентов. Для этой цели ему были выданы заранее заготовленные бланки с печатями, куда оставалось лишь вписать фамилию завербованного корреспондента — «волкора» или «селькора» — и вручить ему небольшую печатную инструкцию с перечислением всех его прав и обязанностей.

Прав было маловато, зато обязанностей вагон, как тогда любили выражаться, и в первую голову — обязанность бесстрашно бороться со всеми злоупотреблениями местных властей и нарушениями священной революционной законности.

Именно этот пункт первый означенной инструкции и спас мою жизнь — или, если угодно, жизнь героя этой повести, — о чем будет своевременно рассказано на этих страницах.

В мандате же, выданном ревкомом, предлагалось всем без исключения лицам, учреждениям и воинским частям оказывать всемерное содействие предьявителю сего, имеющему право пользоваться всеми без исключения видами транспорта до аэропланов, мотодрезин, воинских эшелонов и паровозов включительно.

На практике командированные пользовались преимущественно подводами, которые со страшной неохотой наряжали местные власти, замученные гужевой повинностью.

Я дал ему свою телесную оболочку и живую душу, но имени своего давать не захотел, опасаясь сделаться чем-то вроде человека без тени.

Я назвал его Рюрик Пчелкин. Чем не имя для русского молодого человека, рожденного в конце девятнадцатого века, совсем перед революцией, когда вдруг неизвестно почему в моду вошли изысканные великокняжеские: Игорь, Глеб, Олег, Рюрик, Святослав?

После этого я вздохнул с облегчением, отныне переложив все свои заботы на чужие плечи.

Рюрик Пчелкин целыми днями трясся на подводе по уезду, заезжая в волостные правления, где предьявлял свой мандат, и председатель волисполкома определял его на постой в какую-нибудь хату, куда его и водворял сотский, предварительно постучав в окошечко бузиновым батогом, символом своей власти.

— Эй, хозяйка, принимай уполномоченного!

— А, чтоб вам повылазило! Чего вы до меня причепились? Хиба не можно поставить человека у кого-нибудь другого?

— Не можно: очередь вашей хаты.

— Батьке вашему так.

После чего, постояв некоторое время перед дверью на вросшем в землю плоском ноздреватом камне, Пчелкин нажимал пальцем железную щеколду, неуверенно переступал через порог и входил в темные сени, а затем на ощупь в еще более темную хату, где остро пахло куриными перьями, сухой глиной и пшеничной половой.

Когда же глаза его после яркого вечернего света на улице наконец привыкали ко тьме, то он видел перед собою старуху в клетчатой понёве и степенно снимал кепку с наголо остриженной бледно-голубой головы, стараясь произвести впечатление человека самостоятельного, понимающего толк в деревенском обращении. Скромно пряча глаза, он размашисто крестился на икону, а затем преувеличенно низко кланялся хозяйке.

— А сам, наверное, в бога не веришь? — спрашивала не без иронии старуха.

— Верю, бабушка.

— Ну и брешешь, седай на скамейку. Здесь будешь спать.

— Покорно вас благодарю.

— Смотрите, какой цикавый! Ему еще сидеть у мамки под юбкой, а он уже ездит уполномоченным. Вы, извиняйте, по какому делу уполномо-

ченный? Если забирать хлеб по разверстке, то опоздали. Уже все. Чисто. А если по самогону, то не гоним, не занимаемся этим делом.

— Нет, я журналист.

Старуха с презрением собирала морщинистые губы на манер того, как затягивают на тесемочку кисет.

— Канцелярский, значит?

И никак невозможно было объяснить ей, что такое журналист.

А тем временем с печки, осторожно переставляя босые пятки по уступам припечки, уже спускалась, прижимая к груди поливленную миску с горкой голубого мака, сгорающая от любопытства хорошенькая таракуцка, делая вид, что ничуть не интересуется молодежьким цикавеньким уполномоченным, и на ее круглом лице, вымазанном огуречным рассолом, возле телесно-розового ротика прилипло к тугой пунцовой щеке белое огуречное семечко.

Примерно так было в каждой деревне, где Пчелкин с большим удовольствием останавливался на день или два, а случалось, даже и на три, по принципу: «сколько хватит вашей совести».

Там после городской голодовки он вволю отъедался серым пшеничным калачом, соленым свиным салом, нарезанным кубиками, квашеными зелеными помидорами, кулешом, мамалыгой и прочей грубой, но сытной деревенской едой, которой угощали его женщины, в конце концов примирившись с постояльцем, порядочно-таки отощавшим в губернском центре, где люди жили по карточкам, имевшим скорее символическое значение, так как по ним почти ничего не выдавалось.

...Вскоре после взятия Перекопа...

Может быть, хозяева-мужчины не так ласково обходились бы с ним, но одинокого уполномоченного по неписаному закону староста почти всегда посылал в хату какой-нибудь вдовы, солдатки или старухи, скучавшей без мужского общества, так что в смысле кормежки командировка в деревню отчасти напоминала теперешнюю путевку в дом отдыха.

По тому же неписаному закону, если командированный задерживался в хате на несколько лишних дней, то помогал женщинам по хозяйству, справляя какую-нибудь мужскую работу,— словом, ел хозяйский хлеб не даром.

Пчелкин не обладал достаточной физической силой и, как человек вполне городской, не привык к физическому труду, так что от него хозяйкам было мало пользы, однако он никогда не отказывался от работы, даже сам напрашивался на нее, чувствуя неловкость за свое дармоедство, и рад был поковыряться вилами в сухих табачных пластах старого навоза или перетасить на спине в плетеную клуню два-три не слишком тяжелых мешка с отрубями или кукурузными початками. Спасибо и за то!

Он был миловиден, черноглаз, а его наголо остриженная голова внушала сердобольным женщинам мысль, что он недавно переболел сыпным тифом, и они жалели его, кормили и даже иногда снабжали темно-зелеными, наждачно-жесткими листьями самосада, который он тонко нарезал перочинным ножом, и с удовольствием курил самокрутки, иногда употребляя вместо бумаги тонкие кукурузные листья. Он не оставался в долгу. У него в походной сумке всегда находился небольшой запасец иголок в черных конвертиках, катушки две ниток номер сороковой, дюжина перламутровых пуговичек на серебряной картонке и прочая дешевая галантерея, приобретенная на одесском базаре специально для товарообмена. Это научное слово теперь уже давно вышло из моды и оста-

лось лишь в учебниках, но тогда оно было осью, вокруг которой вращалась вся экономика.

Гражданин получал на работе паек, часть его менял на предметы, годные в свою очередь для обмена с деревней, совершая этот обмен на продукты сельского хозяйства, которые частью потреблял для поддержания своей жизни, частью менял на другие предметы первой необходимости, превращенные в свою очередь все на том же рынке в другие не менее необходимые предметы, пользуясь законами спроса и предложения, колебаниями цен и прочими тонкостями политической экономики эпохи военного коммунизма, и так далее до тех пор, пока товар окончательно не уничтожался, и человек, затянув потуже пояс, терпеливо ожидал выдачи нового месячного пайка или же нес на рынок что-нибудь из предметов домашнего обихода.

В деревне же этот самый товарообмен шел куда веселее, чем в городе, где человека обдирали как липку всяческие посредники, спекулянты и барышники, и давал — выражаясь научно — гораздо более высокий процент прибыли на основной капитал.

Одним словом, если, как выразился Маяковский, «мы диалектику учили не по Гегелю», то экономику мы усваивали далеко не по Марксу.

Не следует, однако, думать, что командировки в деревню представляли одно сплошное наслаждение. Отнюдь нет. Они были очень опасны. Уезды кишели недобитыми остатками дешикинцев, врангелевцев, петлюровцев, махновцев, бандами различных батек: Заболотного, Зеленого, Ангела, даже какой-то Маруськи Никифоровой, — которые хозяйничали по глухим дорогам, нападали на удаленные сельсоветы, забивали подвод, лошадей, убивали продармейцев, сельских коммунистов, различных инструкторов губревкома, а потом и губисполкома, посылавшихся из центра для организации расширения посевной площади, что было решительно необходимо, так как отовсюду поступали сведения о зловещих признаках надвигающегося неурожайного, голодного года.

Банды срывали работы по восстановлению народного хозяйства, сеяли смуту. Их было трудно искоренить. Действуя вдоль границы, они в случае необходимости легко переправлялись через Днестр и укрывались в королевской Румынии.

Командировку в деревню можно было без преувеличений приравнять к отправке на фронт, на самые передовые позиции.

В подобной обстановке и протекала деятельность молодого инструктора Югросты, забиравшегося вербовать своих корреспондентов в такие глухие углы, что если бы его там укукошила какая-нибудь банда, то вряд ли об этом кто-нибудь узнал. А ведь никакого оружия, кроме карандаша, ему не полагалось, и в критическом случае он мог рассчитывать на свое красноречие, резвость ног либо на чудо.

Командировка приближалась к концу. Оставалось объехать две три волости и можно было возвращаться в центр.

Корреспонденты вербовались главным образом из деревенской интеллигенции: волостных писарей и сельских учителей, таких же зеленых юнцов, как он сам, едва окончивших учительскую семинарию и уже успевших побывать на войне в звании вольноопределяющихся второго разряда, а затем и прапорщиками, которых преследовала по пятам оскорбительная поговорка: «Курица не птица, прапорщик не офицер».

На первый взгляд дело обстояло просто: поговорить по душам с хорошим человеком, сверстником, может быть даже фронтовым това-

ришем, в два счета его разагитировать, вручить служебное удостоверение с круглой советской печатью с серпом, молотом и колосьями, выдать печатную инструкцию и ехать себе помаленьку дальше, зевая по сторонам и сочиняя в уме стихи, которые так приятно было потом записывать вечером на ночлеге под кудахтанье прялки, при свете сальной плоски — каганца — или даже лучины, с которой отваливались лентообразные угольки и, шипя, гасли в подставленном корыте с водой.

Боже мой, я еще помню лучину! А ведь только что по телевизору с нашего искусственного спутника передавали панораму Луны!

Однако не все учителя и писари охотно соглашались стать советскими корреспондентами; кое-кого приходилось долго уговаривать; некоторые же довольно решительно, хотя и мягко отказывались под разными благовидными предлогами вроде того, что не слишком образованные, не решаются выступать в печати, боясь осрамиться, и опасаются как бы из этого — откровенно говоря — не вышло какой-нибудь неприятности, а какой — понимай как знаешь.

Подчас от подобных намеков Пчелкину делалось не по себе и хотелось поскорее выбиться из этой глуши, где пропадешь ни за полушку — сгинешь без следа и никто не узнает, что ты погиб как герой за молодую советскую власть!

В отличие от прошлых разов, когда он ехал на подводе один, теперь заведующий транспортным отделом уездного исполкома в целях экономии тягловых средств присоединил Пчелкина к некоему товарищу, отправлявшемуся по командировке из центра на рессорной бричке в глубинные волости уезда с целью там агитировать за расширение посевной площади и борьбы с кулацким влиянием на середняков и незаможников, что значит по-украински бедняков.

Кажется, его послал на село все тот же неугомонный Сергей Ингулов.

Товарищ сидел в кабинете председателя уисполкома — стол, покрытый плюшевой малиновой скатертью, графин с пожелтевшей водой, полоскательница и лопнувший стакан, — уткнувшись в развернутые листы московского иллюстрированного журнала «Безбожник» под редакцией бывшего нашего же одесского большевика Емельяна Ярославского, так что его лицо скрывалось за небывалой графикой художника со странным, зловещим даже несколько, псевдонимом Моор. Это были карикатуры, изображавшие самого бога Саваофа в водевильном, старомодном пенсне, но с круглым сияньем над лысой головой, затем — равнина в пейзах, с черно-полосатым телесом на плечах, рядом с ним мулла в чалме, похожей на головку чеснока, и наконец нашего православного батюшку с пьяными глазками и земляничкой носа, и стихи первого пролетарского поэта Демьяна Бедного — кощунство, к которому тогда еще не все привыкли, казавшееся настолько чудовищным, что не было бы ничего удивительного, если бы вдруг разверзлись небеса и оттуда из черной тучи упала зигзагообразная, ослепительно белая молния, в один миг испепелив безбожный журнал вместе с редактором, карикатуристами, стихотворцем и всеми годовыми подписчиками.

Почувствовав на себе посторонний взгляд, товарищ опустил журнал, и вдруг оказалось, что он — священник с узкой бородкой, длинным носом, слегка побитым оспой, и дерзкими петушиными глазами под высокомерно вздернутыми, изломанными бровями пророка. Стальное пенсне с черным шнурком, заложенным за ухо, под длинные

патлы, сидело на носу, прижимая его своими пробочками, значительно ниже, чем полагается, и это придавало его лицу нечто вызывающее.

— Нуте-с, молодой человек,— произнес он в нос,— так это, стало быть, вас подсудобили мне в компанионы? Хотя я, видите ли, и предпочитаю путешествовать без попутчиков, так сказать соло, но поскольку наша молодая советская власть еще не имеет достаточных средств, чтобы предоставить каждому своему гражданину отдельную подводку, то я не возражаю, чтобы вы воспользовались местом в моем драндулете. Однако предупреждаю: не переносу, чтобы меня стесняли, и если вы будете вертеться на сиденье и напирать на меня сбоку, а в особенности донимать меня дорожной болтовней, то я немедленно попрошу вас покинуть драндулет и продолжать свой путь по образу пешего хождения.

Оказалось, это тот самый «красный поп», о котором Пчелкин уже слышал и который теперь добровольно отправлялся в глубинные волости агитировать за увеличение посевных площадей. Но, кроме этого, у него была еще и другая цель, неизвестная центру: он был проповедником идей новой, революционно-христианской церкви, недавно созданной им самим в своем воображении, и теперь решил воспользоваться своей командировкой для того, чтобы совершить некий религиозный переворот, свергнуть всю российскую церковную иерархию сверху донизу, от могучих князей церкви до местных деревенских батюшек, погрязших — по его мнению — во всяческих мирских сквернах, и водрузить на развалинах ниспровергнутой им старой церкви знамя нового, чисто мистического христианства, основанного им.

Ехать с ним на одной бричке было истинной мукой.

Он оказался человеком мнительным, капризным, крайне самонадеянным, с уязвленным самолюбием, необыкновенно высокого мнения о своей личности, которую при старом режиме не сумели оценить официальные властители русской православной церкви, все эти «консistorские крысы», вечно его затиравшие и строившие всяческие козни, не желая рукоположить его в сан архиерея. Сам же он считал себя избранником бога, воинствующим апостолом с огненным мечом в руке.

Багровой краснотой своей длинной шершавой шеи он напоминал индюка.

Всю дорогу, как только тронулись, он не переставая говорил и спорил, придираясь к каждому слову и даже междометию своего спутника. Выведав окольными путями, что молодой человек поэт, он стал ядовито высмеивать новую поэзию и живопись, называя картины импрессионистов и барбизонцев яичницей с луком, а Врубеля и Чурлэниса, перед которыми молодой человек преклонялся,— «художниками от слова «худод», причем всем своим длинным костлявым телом напирал на попутчика, который чудом удерживался на краю сиденья, испытывая боль от железных перильцев, впившихся в его зад.

Когда же священник стал поносить Маяковского, говоря, что «ему медведь наступил на ухо», то ли дело поэт Апухтин, молодой человек не выдержал и закричал на всю степь, что он сам ни уха ни рыла не смыслит в искусстве, а является самым отъявленным консерватором и контрреволюционером, что подобным типам не место в новом, коммунистическом сегодня и что он больше не желает находиться в его обществе.

С этими словами Пчелкин выскочил из брички и некоторое время с яростной независимостью шел по дороге, изо всех сил стуча своими военными башмаками с отваливающейся подошвой по чугунно-твердым колеям и грудкам замерзшей дороги, среди таких же замерзших полей,

несмотря на конец зимы, совершенно лишенных снежного покрова, кое-где зеленеющих чахлыми озимыми, страшными своей зловещей обнаженностью и чернотой, сулящих неурожайный год, быть может прямой голод.

Он сразу же разбил себе ноги в кровь и принужден был сесть обратно, сделав вид, что ничего не произошло. Так повторялось несколько раз, в особенности же бурная сцена разыгралась, когда священник назвал Бунина жалким декадентиком, потому что у него в одном стихотворении говорится, что, дескать, «заплакали чибисы», а затем — «на пашнях — лиловая грязь».

— Декадентская чепухенция! Как это могут птицы плакать и что это за, извольте ли видеть, лиловая грязь. Где это вы видели лиловую грязь? Надумано, вычурно, модернисто-с!

— Но ведь он классик, классик! — кричал Пчелкин чуть не плача. — И я не позволю так говорить об академике. Наконец я сам его ученик.

— Оно и видно, что ученик. Лиловая грязь! Ха-ха-ха!

Когда к вечеру наконец добрались до ночлега, Пчелкин наотрез отказался продолжать дальнейший путь вместе с ним и устроился на ночь отдельно.

По селу сразу пролетел слух, что из центра приехал весьма грозный «красный поп» и будет завтра, в воскресенье, служить в местной церкви обедню и произнесет проповедь. Почему-то все это очень встревожило селян.

Придя утром в церковь посмотреть, что там делается, Пчелкин увидел своего попутчика на амвоне в пасхальной глазетовой ризе — ветхой и все же весьма нарядной своей мерцающей белизной, — с крестом в костлявой руке, простертой над праздничными платками испуганных старух, стоявших в первом ряду.

Местный батюшка, добрый старичок, стоял рядом, не зная, куда девать детские коротенькие ручки, и, сконфуженно потупясь, смотрел то вниз на свои ноги в разношенных мужицких сапогах со следами засохшего навоза, то вверх на всевидящее око в лучистом треугольнике, грубо написанное в куполе доморощенным живописцем на фоне полинявшей синьки звездного неба, посреди которого на куче облаков, и сам отчасти напоминая кучевое облако, восседал кудлатый старик Саваоф, сердито прислушиваясь к тому, что говорил внизу приезжий протодиакон.

А он сначала говорил о расширении посевных площадей, все больше и больше раскалялся и вдруг, неожиданно взглянув на местного батюшку, как петух на зерно, без малейшей паузы сел на своего любимого конька и понес, не стесняясь в выражениях, разоблачать ненавистных ему князей так называемой святой, так называемой православной, так называемой равноапостольской церкви.

— Разве это апостолы! — кричал он, все больше и больше распаляясь. — У апостолов Христовых были чаши деревянные, зато головы золотые, а у этих, извините за выражение, апостолов-самозванцев чаши золотые, да головы деревянные!

И он выразительно постукал костяшками пальцев по перилам амвона, а потом показал наперстным крестом на съездившегося местного батюшку:

— Чревоугодник, пьяница, прелюбодей!

При последнем слове попадая в черном шелковом платье, стоявшая посередине, перед самым амвоном на почетном месте, сначала поблелела, а потом пошла красными пятнами, заметалась, но бабы ее успокоили, а мужики в праздничных, белых, очень длинных бараньих кожу-

хах с черными воротниками или еще в армейских походных шинелях с пожелтевшими, обдрипанными полами — хохлы и молдаване, — недавно воротившиеся домой после разгрома барона Врангеля и войны с польскими панями, стояли молча, угрюмо свесив усы, и Пчелкину показалось, что в воздухе вдруг пролетело — дуновение не дуновение, тень не тень, — а нечто до того страшное, что у него невольно ослабели ноги, и он, ежась под отчужденными взглядами, выбрался на паперть и побрел к себе на квартиру.

На рассвете его разбудил негромкий, но настойчивый стук в окошечко. Это был молодой учитель, сегодня завербованный в волкоры.

— Коллега, — проговорил он шепотом, — что я вам кажу. Не тратьте времени, а лучше езжайте отсюда, пока не поздно. Я вам достал у добрых людей подводу, она вас довезет до соседней волости, а отсюда тикайте. Тикайте и тикайте.

В голосе своего коллеги Пчелкин уловил нечто такое, что с ног до головы прохватило его ознобом, тем самым дуновением смерти, которое он так явственно ощутил днем в церкви.

В те времена люди научились понимать друг друга не только с полуслова, но даже с полувзгляда, полувздоха, с полумолчания.

Пчелкин схватил под мышку сумку с бумагами и через минуту, подпрыгивая на твердых досках подводы, куда не успели впопыхах постелить соломы, уже катил по твердому шляху, идущему под изволок. Стало развидняться. Потом совсем развиднелось. День был холодный, сухой, хмурый. Вокруг простиралась черная смерзшаяся земля с копнами старой соломы и ветряными мельницами, махавшими своими крыльями на горизонте, как будто куда-то бежали.

Успокоившись и осмотревшись, Пчелкин по своей привычке начал складывать в уме стихотворение на тему окружающей его природы. На этот раз он олицетворил ее:

«...И, распустив стремительную косу, в рубашке из сурового холста, бежит Весна в полях необозримых, и ядовитой зеленью озимых за ней горит степная чернота».

Бегущая босиком Весна была все тем же вариантом хорошенькой таракуцки, «уездной музыки», и не вполне отвечала душевной тревоге, которая все никак не могла рассеяться, хотя зловещая колокольня деревенской церкви уже давно скрылась за косогором.

Он вспомнил, как в деревенских окошках теплились огоньки свечей и как истово молились в церкви старухи, прося у бога снега на поля. Это более соответствовало его душевному состоянию.

«...Когда в селе перед весной просили снега на хлеба, цвела молебственной свечою даром каждая изба. О том, чтоб минула засуха, в надежде темный лоб крестя, молилась каждая старуха, крестилось каждое дитя...»

Уже стихи запели, как скрипка, но вдруг на дороге как из-под земли вырос конный отряд и преградил путь. Сначала Пчелкину показалось, что это эскадрон красной кавалерии, и он даже успел порадоваться, как хорошо стали у нас обмундировывать красноармейцев: один в одно, с новенькими звездочками на фуражках.

Но в тот же миг над ним заржала, вздернутая на трензелях, лошадиная голова, роняя травянисто-зеленую пену, и красавец командир в белом башлыке с позументом за спиной наклонился к Пчелкину с седла:

— Ты кто таков, мать-перемать? Уполномоченный?

— Я журналист.

— А ну, канцелярская крыса, гэтъ с подводы!

— Журналист — это совсем не то, что вы думаете, — с насильственной улыбкой прошептал Пчелкин.

— А ты скедова знаешь, что я думаю?

— Я пишу в газете.

— В газете? А ну, хлопцы, дайте ему под зад. Смотри на него: распоряжается у нас на селе все равно, как у себя в хате. Чуть чего — давай ему подводу.

— Товарищ, это недоразумение. Я имею право. У меня мандат ревкома.

— Смотрите, найшелся живой товарищ. Ах ты, краснозадая гнида! Отведите его в кукурузу, а подвода нехай заворачивает обратно.

Все это произошло в одно мгновение, и теперь, вдруг очутившись среди несрезанных стеблей прошлогодней кукурузы, которые тесно стояли вокруг него, шелестя жесткими мечевидными листьями и сузив горизонт до двух шагов в окружности, Пчелкин понял, что попал в руки банды, переодетой в красноармейскую форму, и что его ведут расстреливать, грубо подталкивая в спину прикладами драгунок, резко пахнувших керосином и оружейным маслом.

Ужас охватил его душу, помрачил рассудок, а его тело ослабело, внутренние органы перестали повиноваться приказам нервных центров, парализованных внезапной спазмой, и он вдруг стал постыдно и неудержимо испражняться, в то время как атаман банды, подбоченясь в седле с бархатным комбриговским чепраком, вынимал из поданной ему сумки бумаги Пчелкина и равнодушно читал их одну за другой по складам, пока вдруг не наткнулся на печатную инструкцию; она его заинтересовала, так как в ней содержался пункт первый о борьбе со всеми злоупотреблениями местных советских властей и нарушениями законности.

Как ни странно, но именно это и спасло Пчелкина.

— Почекайте, хлопцы, — сказал атаман. — Сначала посмотрите, чи он не жид, и если нет, то отпустите его ко всем чертям. И нехай он больше не суется, куда не треба, и не попадается нам на глаза.

Весьма быстро и грубо удостоверясь, что Пчелкин не иудей, хлопцы сунули ему в руки сумку с бумагами, дали коленом под зад и, крикнув: «Бежи, студент!» — для острастки пустили ему вдогонку две или три пули, нежно просвистевших над головой и унесшихся по крутой траектории в зловеще нахмуренное мартовское утреннее небо.

Любая из этих остроконечных, конических пуль могла ошибиться и ударить в его голову, разнести ее вдребезги и навсегда уничтожить тот божественный мир любви, красоты и поэзии, который и был тем, что называлось единственной, неповторимой, драгоценной человеческой жизнью Пчелкина со всеми стихами — своими и чужими, уже родившимися и еще не рожденными или только что им понятыми, — как, например, волшебные сумасшедшие строки Велемира Хлебникова и Николая Бурлюка:

«И вот плывет между созвездий, волнуясь черными ужами, лицо отшельника и возмездий, глава отрублена ножами... О призраке прелести во гьме! Царица, равная чуме!.. Нет, ведро на коромысле не коснулось плеча. Кудри длинные повисли точно звуки скрипача».

Только подобные безумные строки могли возникнуть в мозгу в миг насильственной смерти!

«Мы воду пьем — кто из стакана, а кто прильнув к струе устами, среди весеннего тумана, идя полными берегами. Не видно звезд, но сумрак светел, упав в серебряные стены. В полях наездницы не встретил, лишь находил обрывки пены. Но сквозь туман вдруг слышу шепот и вижу, как, колебля иву, струя весны, забывши ропот, несет разметанную гриву...»

Только на волосок от уничтожения навсегда среди черных замерзших полей своей дикой родины могли пронестись в памяти Пчелкина божественные звуки:

«С легким вздохом тихим шагом через сумрак смутных дней по равнинам и оврагам древней родины моей, по ее лесным цветам, по не вспаханым полям, по шуршащим очеретам, по ручьям и по болотам каждый вечер ходит кто-то, утомленный и больной, в голубых глазах дремота греет вещей теплотой. И в плаще ночей широком плещет, плещет на реке, оставляя ненароком след копыта на песке».

Я описываю природу — звезды, лес, мороз, море, горы, ветер, разных людей. Это все мои краски. Но разве литература, поэзия, созданная гением человека, не является частью природы? Почему же я не могу пользоваться ею, ее светящимися красками, тем более что звезды мне еще нужно воплотить в слово, обработать, а стихи гениальных сумасшедших поэтов уже воплощены, готовы — бери их как часть вечной природы и вставляй в свою свободную прозу!..

...со всеми его страстями, догадками, постоянной жаждой любви и нетерпеливым ожиданием возвращения в город и свидания с девушкой — «молодой гражданкой», — той самой, которая обещала ему блаженство...

Азраил, посланный по его душу, прошумел своими черными бумажно-пепельными крыльями, заметался зигзагами, подымаясь то вверх, то падая вниз, как громадная гудящая оса, но промахнулся...

«Как я боялся! Как бежал! Но Эрмий сам внезапной тучей меня покрыл и вдаль умчал и спас от смерти неминуемой».

Пчелкин бежал, как заяц от охотников, спотыкаясь, и падая, и ломая палки кукурузных стеблей, лупивших его по голове, бежал, прижимая к груди сумку, на бегу приводя в порядок свою одежду, и драпал до тех пор, пока вдалеке не стих перестук подков удалявшегося на рысях бандитского отряда.

«След копыта на песке».

И в мире настала тишина. Он был жив, но его убитая душа лежала в поломанной кукурузе на чугунной земле в ожидании воскрешения, подобно тому как другая его душа, почерневшая от смерти, уже давно

лежала на батарее под Сморгонью, и еще, еще одна душа мучительно расставалась с телом на койке сыпнотифозного госпиталя под звуки буддийских барабанов под священными ламаистскими письменами, похожими на таблицу элементов Менделеева.

И все они обязательно воскреснут, потому что они бессмертны.

Оставив свою расprostертую душу валяться среди сухой кукурузы в ожидании воскрешения и ощущая в своем слабом теле рождение новой души, Пчелкин шагал среди черно-зеленых полей, обходя стороной деревни и хутора, стремясь поскорее добраться до уездного города, никому больше не попадаясь на глаза.

Двое суток он пробирался к Балте, старательно обходя населенные пункты, ночуя в скирдах соломы, белых от снега, в одиноких плетеных клунях на кочанах кукурузы с каменными янтарно-желтыми зернами, питаясь кормовой свеклой, случайно оставшейся в земле после уборки.

«Умывался ночью на дворе — твердь сияла грубыми звездами. Звездный луч, как соль на топоре, стынет бочка с полными краями... Тает в бочке, словно соль, звезда, и вода студеная чернее, чище смерть, соленее беда, и земля правдивей и страшнее».

Повторяя эти стихи Мандельштама, он брел один, под низким огромным небом, под сине-пороховыми тучами, которые сгущались над его головой, становясь тяжелыми, как глыбы антрацита, каждый миг готовые обвалиться на Пчелкина.

И все это — как ни странно — казалось ему прекрасным, величественным, как произведение небывалого революционного искусства, полное божественного смысла и нечеловеческой красоты.

Бедняга от страха совсем сбрендил.

Дунуло лютым холодом. Посыпался снег. Началась завируха, смешавшая небо с землей. Он остановился, и ему представилось, что это, «нахмуря грозные брови, ужасным ликом посинев», сам бог Саваоф снизошел к мольбам людей и «отдал бурям на землю сеять белый сев...»

«А я в метели, я в тревоге, один перед тобою, бог, бесславно гибну на дороге среди занесенных дорог».

Здесь бог являлся всего лишь вариантом пушкинского Петра: «лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен, он весь, как божия гроза». Пчелкин обогатил ужасный лик чугунной синевой бури и вьюгой, но зато бесславная гибель среди занесенных дорог и особенно белый сев снега звучали довольно самостоятельно.

Впоследствии — много лет тому вперед — я пришел к убеждению, что в России всегда был, есть и будет всего один-единственный бессмертный поэт, национальный гений, в разное время носящий разные имена.

И в наше время тоже. Их было на моей памяти несколько.

Даже будучи на грани уничтожения, мысль Пчелкина ни на один миг не могла избавиться от образа молодой женщины, «гражданки», ранившей его душу, и неподвижно преследуя его, не давая отдыха ни

днем, ни ночью, как неустранимая идея, утомляя его мозг своей близостью, подлинностью, почти осязаемостью, достоверностью прелестных подробностей, которые тем не менее не могли удовлетворить его жажды обладания, потому что он уже любил ее со всей страстью, а она — конечно — об этом даже и не догадывалась и скорей всего давно уже забыла его, так как они виделись всего лишь несколько раз мимолетно в суете «зала депеш» и «коллектива поэтов» и за все время сказали друг другу всего лишь несколько десятков ничего не значащих слов.

И все-таки он ее любил — с каждым днем все сильнее, все отчаяннее, — а может быть, это ему только казалось? — но она стояла перед ним днем и ночью и в миг смерти, неустранимая, страстно-желанная — в своей белой меховой шапке-малахае с очень длинными наушниками, которые лежали на ее груди, как две косы по пояс.

Когда она однажды сняла эту сибирскую шапку, то под ней оказалась как бы другая — черно-курчавая шапочка волос, которыми она встряхнула, так как они слезались.

Он уже забыл, как она была одета, кажется, на ней была солдатская стеганка с чересчур длинными рукавами, которые она подвернула, чтобы они не закрывали кисти ее маленьких смуглых рук с грубо остриженными пестро-мраморными ноготками, тонкую, но крепкую талию тесно обхватывал офицерский пояс с колечками, ветхая суконная юбка едва закрывала колени, ноги были в черных солдатских обмотках и почти детских башмаках на пуговицах.

Смуглое, землисто-матовое, прелестной красоты лицо с несколько мрачными, во всяком случае какими-то несговорчивыми глазами, с синей пороховинкой маленькой родинки на нежной щеке и смуглым пушком над бледными девичьими губами — чувственными и вместе с тем обманчиво-невинными.

Он все время видел перед собой эти плавающие губы; они как бы все время приближались к его губам и длились, длились, длились во сне и наяву, как бесконечный поцелуй, не дающий удовлетворения.

Он увидел ее такой в первый раз. Потом ее внешность немного изменилась. Кажется, она успела зимой переболеть брюшным или возвратным тифом и когда снова появилась в «зале депеш» — похудевшая — и сняла свою белую шапку с длинными наушниками, то оказалось, что ее голова острижена под ноль, как у пригостишки, и она вынулась из шапки, как орешек из скорлупы: небольшая пропорциональная голова с твердыми ушками, одно из которых было запачкано школьными чернилами, и белой, почти голубой кожей, просвечивающей сквозь неровные дорожки, грубо проложенные машинкой больничного цирюльника.

Было известно, что она работает машинисткой в административно-хозяйственном отделе губчека, посещает совпартшколу при губнаробразе и готовится поступить в Свердловский университет в Москве.

По-видимому, для того, чтобы расширить свои знания литературы, она усердно посещала «коллектив поэтов» и «зал депеш» Югорсты, где каждый день выступали пропагандисты и писатели. Она приходила одна и садилась впереди с независимым и несколько презрительным видом, как человек, принадлежащий к высшему классу, внимательно слушала рассказы и стихи, но никаких чувств не выражала.

— Гражданка, я замечаю вас здесь не первый раз, — обратился к ней однажды Пчелкин. — Вы, кажется, поклонница поэзии? Или, может быть, поэтов?

— Я здесь повышаю свое общее развитие, — ответила она.

— А оно нуждается в повышении?

— Конечно.

— А мои стихи вам нравятся? — сурово, но не без кокетства спросил он.

— Нравятся,— ответила она просто.

— Польщен. А я сам?

— Тоже.

Это признание сразу же разрушило его представление о ней как о местной Теруань де Мерикур, фурии революции, сухой партийке, презирающей мелкобуржуазную богему и не признающей легкомысленного отношения в любви. Он был, однако, разочарован той легкостью, с которой она так явно пошла навстречу его заигрываниям, и он, зачислив ее в список своих поклонниц, потерял к ней значительную часть интереса. Победа показалась ему слишком легкой. Однако он от нее не отказался, а только отложил, желая продлить удовольствие сближения.

— Надеюсь, вы не поэтесса? — спросил он небрежно.

— Надейтесь,— ответила она, и как раз в этот миг он наконец заметил главную прелесть ее лица: маленькую подкожную пороховинку туманно-голубой родинки на смугловатой скуле, которая так шла к ее наголо стриженной голове, ничуть не делавшей ее похожей на мальчика, а, наоборот, еще больше подчеркивающей ее женственность.

— Возможно, мы с вами скоро увидимся,— небрежно сказал он.

— Я тоже так думаю,— ответила она, удивляясь, что он не предложил ее проводить.

— Салют и братство! — сказал он, подняв для приветствия руку над головой.

Она в ответ прощально улыбнулась.

Он чувствовал себя победителем, и лишь проснувшись среди ночи в неотапливаемой комнате с алмазно-заиндевевшими обоями на железной кровати, вдруг понял, какого дурака он сваял. Его уже неотступно преследовали мысли о ней. Надо было не валять дурака, а ковать железо, пока горячо. Мысленно он уже с ней целовался, держа на весу ее легкую руку, и, опережая события, складывал стихи:

«Когда в моей руке, прелестна и легка, твоя рука дрожит, как гриф послушной скрипки, есть в сомкнутых губах настойчивость смычка, поющего пчелой над розою улыбки»

«Роза улыбки», конечно, была похищена из арсенала его друга Юрия Олеси.

Пчелкин видел эту бледную розу ее улыбки, а маленькая родинка выросла до размера плавающей над ней пчелы. Дурак! Вместо того, чтобы все это представлять, он мог наслаждаться вполне реально, осязаемо.

«О да, блажен поэт,— продолжал он сочинять в потемках ледяной комнаты с изморозью на подушке,— но мудрый, но не тот, который высчитал сердечные биенья и после написал, что «поцелуй поет», а тот, что не нашел для страсти выраженья».

Он не нашел для страсти словесного выражения и готов был, не смотря на глубокую ночь и осадное положение, бежать к ней, но он не только не знал ее адреса, но даже не поинтересовался, как ее зовут.

Он больше не мог заснуть. Он испытывал то чувство, которое великий русский поэт, носивший одно время в девятнадцатом веке имя Пуш-

кин, определил с пугающей пронизательностью: «душа тобой уязвлена»... Именно уязвлена. Его душа уже была уязвлена, отравлена. Она нарывала. Он ни о чем не мог думать, кроме как о ней. Она неустрашимо стояла перед ним — с мерцающим, лунным светом своих узких белков, — завладев всеми его мыслями и желаньями. Он не представлял себе, как дотянет до следующей встречи. Но на другой день ему было приказано безотлагательно выехать в уезд. Ему и в голову не могло прийти отказаться, потому что любое служебное поручение в то время принималось как выполнение Священного Революционного Долга.

Сама Революция распоряжалась тогда судьбами людей.

...Он стоял среди метели, которая кружилась вокруг него, лепя мокрым снегом в лицо и застилая окрестности льющейся мутью поземки. Он шел всю ночь без дороги, наугад и на рассвете очутился на задах какой-то деревни. Силы оставили его. Он готов был лечь под залепленный снегом плетень и заснуть мертвым сном. Уже почти ничего не сообщая, он постучал в окошко, где светился огонек, его впустили, и он тотчас повалился как убитый на кучу сухих кукурузных листьев возле печки, дышавшей на него золотым жаром, а когда поздно утром проснулся, то весеннее вымытое небо синело в окошке, и оказалось, что он находится в нескольких верстах от Балты, которая блестела и мерцала в солнечном тумане, как слюда, всеми своими стеклами и церковными крестами.

Во дворе, среди навозных куч, ударивших в нос, как нашатырь, сверкали зеркальные артерии ручейков, ослепляя привыкшие к темноте глаза, пахло мокрым черноземом и слышался отдаленный перезвон церковных колоколов.

Дойдя до околицы города, он увидел глазетовые хоругви странной церковной процессии, в которой участвовали красные знамена уездных учреждений, услышал церковное пенье, непонятным образом смешанное со звуками духового оркестра.

— Какой сегодня праздник? — спросил он бабу, которая несла на плече толстую мраморную плиту свиного сала, наполовину завернутую в чистую хустку.

— Це не праздник, — строго ответила она, — а це радянська власть вместе с церковью хоронят того самого красного попа — героя — и с ним еще чи трех, чи двух продармейцев, а также — кажут — ще якогось канцеляриста с города Одессы, что днями банда батьки Заболотного вбыла на селе Ожила. Хиба ж вы не чулы?

— Не чул, — не слыша собственного голоса, сказал Пчелкин.

— Как же! Налетели утречком скрозь переодетые красноармейцами, вытащили их всех из хат и тут же расстреляли, а сами тем же ходом дс Днестра и обратно на ту сторону, в Румынию.

Над городом плыл похоронный звон — с томительно редкими промежутками тонкие колокола резко ударяли ля бемоль, — слышалось надгробное пенье, смешанное с тактами духового оркестра, тяжелой отдышкой медных труб, толчками турецкого барабана, тянуло слащаво-металлическим дымком росного ладана, а Пчелкин стоял, прижав к груди сумку со стихами, как бы присутствуя на собственных похоронах. Он не знал, что в одесских «Известиях» уже появилась телеграмма о гибели на бзевом посту поэта-журналиста Пчелкина и что его отец, старик Пчелкин, остановившись возле щита с пропитанной клейстером свежей газетой и прочтя телеграмму, сначала сел на тротуар, делая руками плавательные движения, а потом лег, повернулся лицом к стене дома,

поджал ноги, как бы желая удобнее поспать, и его приплюснутая, как блин, старая чиновничья фуражка без кокарды с пропотевшим кожаным ободком в середине свалилась с головы, открыв багрово-красневшую плешь, и ангел смерти, попевший как раз вовремя, прошумев черными крыльями, быстро и почти безболезненно, как хороший дантист, вынул — не вынул, а скорее вывернул крупным поворотом окровавленной десницы — его душу, и его тело стало медленно, блаженно остывать и остывало до тех пор, пока не сравнялось с температурой окружающего воздуха и тротуара, выложенного голубыми плитками лавы — примерно около пятнадцати градусов выше нуля по Цельсию, и в дальнейшем перенимая температуру окружающей его среды — приемного покоя, городского морга, нетопленной пустой церкви и наконец кладбищенской земли, навалившейся на крышку дешевого лилового гроба, выданного бесплатно в коммунальном отделе его соседям...

И только тогда, на третий день после погребения, его сын — еще ничего не зная — вернулся из командировки и вдруг все узнал, ужаснулся и теперь с чувством ужаса перед бездной смерти, открывшейся перед ним, с чувством независимости, освобождения, щемящего душу сиротства и страстной запоздалой нежности к отцу стоял перед глиняным холмиком могилы, которая уже стала оседать и проваливаться под двумя или тремя жалкими проволочными венками с бумажными цветами и серыми коленкоровыми лентами, с газетными буквами надписей, также бесплатно полученными в коммунальном отделе.

Рядом с этой новой могилой была старая могила с железным крестом «под березу», как бы сваренным из самоварных труб и раскрашенным под мрамор свитком, на котором масляной краской было написано черными печатными буквами нежное имя его матери.

Здесь же, покосившись в разные стороны, чернели совсем старые дубовые кресты над еле заметными холмиками бабушки и дедушки, которых Пчелкин не помнил. Мать он тоже почти не помнил, и в его представлении она была в шляпке с пером, с мылом, но каким-то отвлеченно-строгим замерзшим лицом, и всегда казалось непостижимым, что после смерти она не уничтожалась, а до сих пор под землей в тесном гробу лежит тщательно одетая дама в корсете на китовом усе с щеточкой на подоле длинного муарового платья, в атласных туфлях, сшитых на живую нитку, и с бумажной полоскою на ледяном лбу.

Он стоял один среди длинных игл новорожденной кладбищенской травы, растущей из-под земли, усыпанной седыми угольками панихиды, испытывая такую мучительную жалость и любовь, а главное, такую неискупимую вину перед отцом, которого, сам того не сознавая, убивал всей своей жизнью: корью, дифтеритом, скарлатиной, когда заплывал далеко в море, войной, где каждая пуля и каждый осколок, благополучно пролетавшие мимо сына, тысячу раз убивали отца неминуемо, ежесекундно, — где ядовитый немецкий удушливый газ фосген травил его по ночам и одно лишь представление о хлор-циане медленно разрушало его легкие, доводя до кровавого кашля... в то время, как он — его сын — ничего этого не понимал и жил как живется, редко думая о смерти, и десятки раз умирал, не жалея жизни, и в то же время упивался этой жизнью, неповторимым величием эпохи, в которую имел счастье родиться, — эпохи войн и Революций.

Потупив голову, он как бы видел сквозь слои желтой и черной земли четкий рисунок отцовского гроба с кистями по углам и неудобной.

выкрашенной охрой крышкой с жестяными накладными «ветками Палестины» над белым запавшим лицом с почерневшими веками.

Он был один во всем этом мире, испытывая странное чувство освобождения, от которого захватывало дух и вместе с тем не только не давало желанной свободы, но, наоборот, приковывало к земле страшной силой такого горя, самую возможность которого он даже не мог себе раньше представить. Но все же это была свобода, и для того, чтобы она стала полным освобождением — совершенной идеальной свободой, — надо было освободиться от всего матерьяльного, что связывало его с отцом. От всего, кроме любви к нему. Любовь была неистребима.

Это был акт отчаяния, восторг самосожжения, когда в затхлой, запущенной маленькой комнатке отца, где даже обои еще как бы хранили разные сухие стариковские запахи, вдруг появились два старьевщика все еще в традиционных котелках, но уже в советских толстовках под лапсердаками, два выходца из-под обломков рухнувшего старого мира, и они стали оценивать имущество покойного, рассматривая на свет сильно поношенные, поредевшие суконные брюки, чесучовый пиджак, узконосые штилеты на крючках с овальными, слоистыми протертостями до дыр на подметках, бросая их в кучу на разостланное рядно.

Пчелкин стоял, отчужденно прислонившись к двери, курил самокрутки, слезы текли по его юношеским щекам, жгучее наслаждение полной свободы, открывшейся перед ним, как пропасть, kloкотало в горле, и он неподвижно смотрел, как разные домашние вещи летели в кучу: гремящий шахматный ящик, пожелтевшие воротнички и манжеты «композиция», манишки, чернильница с высохшими мухами в середине, плюшевый фамильный альбом с латунными застежками, увеличенная фотография матери в черной деревянной раме — да, да, и портрет матери тоже! Пусть у него ничего не останется! Пусть он вступит в новую жизнь, освобожденный от всех чувств и вещей!..

Здесь я расстаюсь с Пчелкиным...

«Кто может знать при слове — расставанье, какая нам разлука предстоит, что нам сулит петушьё восклицанье, когда огонь в акрополе горит, и на заре какой-то новой жизни...»

И на заре какой-то новой жизни... И на заре какой-то новой жизни... И на заре какой-то новой жизни...

Чувствуя на себе любопытные, даже восхищенные взоры, я вышел на эстраду «зала депеш» и с торжеством бросил на стол сверток своих новых стихотворений. Я подошел к рампе и стал читать наизусть. Когда я дошел до строчки, на которую возлагал так много надежд:

«И поздняя заря находит нас опять в объятиях друг друга» — то голос мой запел, как виолончель. Но я напрасно старался: ее не было в зале, она не пришла на мое выступление.

— Увы, — сказал мне за кулисами мой друг поэт Э., — пока ты метался, как вялая листва, по уезду, вербуя сельских корреспондентов, и воевал с бандами, твоя возлюбленная прицепила тебе чайник. Она теперь гуляет с небезызвестным Петькой Соловьевым, который, несмотря на весь свой былой шик, скромно служит в губтрамоте, в поте лица трудясь над восстановлением городского транспорта.

При этом Э., пуская слюни сквозь дырку от выбитого переднего зуба и ядовито шипя, прочитал не вполне цензурную эпиграмму по поводу моего неудачного романа.

В этот же день я увидел ее на бульваре Фельдмана против клуба красных моряков. Она шла под руку с долговязым Петькой Соловьевым, которого я до сих пор знал больше понаслышке как одного из лучших теннисистов рижельской гимназии. Однако мне его приходилось видеть на гимназической спортивной площадке — красавца и щеголя — с золотым жетоном в виде теннисной ракетки, прицепленным ко второй пуговице его диагоналевой куртки. На войне он был тоннягой-артиллеристом. Теперь он шел в толстовке и сандалиях на деревянной подошве, держа под руку мою бывшую любовь и нежно к ней наклонившись. Она держала связку учебников и весело улыбалась, глядя на него снизу вверх своими темными узкими глазами, в глубине которых как бы таинственно мерцал лунный свет. Я обогнал их и сказал:

— Драссс...

— Драссс...— ответил, узнав меня, Петька и тонно приложил руку к старой артиллерийской фуражке без кокарды.

Она повернула ко мне лицо, продолжавшее сиять от счастья и любви.

— Салют и братство, гражданка! — сказал я, приветствуя ее поднятой рукой.— Ваше сердце оказалось непостоянным!

Она сузила глаза, нахмурилась, своенравно вздернула подбородок и вдруг совсем по-детски лукаво показала мне кончик языка, как бы желая этим сказать: проворонил! — и в ту же минуту я вдруг узнал ее.

Это была та самая девочка в матроске, которая некогда прошла мимо нас с Бунинным по гравию на даче Ковалевского, а затем несколько лет спустя в группе матросов пыталась ворваться в особняк на Княжеской улице, а теперь училась в совпартшколе, та самая я, которую я много лет тому вперед мимолетно встречу в разные моменты своей жизни: сначала средних лет, потом пожилую и наконец совсем старую — среди мерцающих оленьих рогов уральской сорокаградусной зимы и разноцветных дымов, выползающих, как бараны, из целого леса магнитогорских труб.

Она отвернулась от меня, прижалась кудрявой головой к плечу Петьки Соловьева, и они, повернув за угол, где стоял громадный щит-плакат под Матисса работы художника Фазини — два революционных матроса в брюках клеш с маузерами на боку на фоне темно-синего моря с утюгами броненосцев — вошли в столовую ЕПО — Единого Потребительского Общества, — по всей вероятности, обедать по талонам, то есть съестъ квадратную плитку сухой ячменной каши, политой сверху несколькими каплями зеленоватого машинного масла, и выпить кружку морковного чаю с двумя ландринками.

Жгучая страсть, ревность, тоска пронзили мгновенно мою душу, но так же быстро и прошли, уступив место другим страстям, другой любви.

Я потерял ее из виду, так и не узнав ее имени.

Что касается Петьки Соловьева, то он, будучи офицером, оказался замешанным в контрреволюционном заговоре, и я прочел его имя в

списке расстрелянных, наклеенном на афишную тумбу. Быть может, это именно о нем какой-то тюремный остряк сочинил куплеты на мотив очень известной в то время сентиментальной песенки Вертинского «Три юных пажика покидали навеки свой берег родной».

«Три типа тюрьму покидали: эсер, офицер, биржевик. В глазах у них слезы сверкали, и где-то стучал грузовик».

(Тогда расстреливали в гараже.)

«Один выходил на свободу, удачно минув гараж; он продал казенную соду и чей-то чужой экипаж. Другой про себя улыбался, когда его в лагерь вели; он сбытом купюр занимался от шумного света вдали. А третий был штабс-капитаном, он молча поехал в гараж, и там был наказан наганом за Врангеля и шпионаж. Кто хочет быть штабс-капитаном, тот может поехать в гараж!»

И все же меня мучило, что не знаю ее имени.

...Муравей, ползущий по цветку, не имеющему имени, переползает на мой подставленный палец, который для него, может быть, представляется продолжением цветка, потом он ползет по моей обнаженной, соленой от морской воды руке, пробирается в дебрях волосков, ощущает лапками мою теплую, загоревшую на солнце эпидерму и все же не может по этим ничтожным частностям представить себе все мое неизмеримо громадное, сложное тело, все его тайны, тысячи, миллионы его нервных узлов, зрительных, обонятельных механизмов, мозговых центров — словом, всего меня как произведение искусства, как личность, как нечто неповторимое, как галактику, — он не знает, как я называюсь, как мое имя, и это мучит: для него я всего лишь невоплощенный будда, лишенный жизненного назначения и какой бы то ни было идеи.

Я ползу по волосатой руке громадного мироздания, но я отличаюсь от муравья хотя бы тем, что не похож на нотный знак; тем, что у меня есть фантазия, тем, что я могу назвать вечность вечностью, а время называть временем, хотя и не знаю, что это такое.

Я могу воплотить любую свою идею в нечто зрительное, объемное, в художественный образ, хотя это бывает почти всегда мучительно трудно, но не потому, что не могу создать образ, а потому, что отсутствует идея, нечего воплотить.

Но зато какое счастье охватывает душу, когда ею овладевает мысль, страстное желание воплотить ее, дать ей имя...

Наконец я сам дал ей имя: Клавдия Заремба. Да, именно так: Клавдия Заремба. Или Зарембо?

Что меня заставляет писать о ней, о мало мне знакомой — может быть, даже выдуманной — женщине Клавдии Зарембе? Привычка вообще писать, сочинять, выдумывать? Не думаю. На мою душу постоянно воздействуют извне миллионы ощутимых и неощутимых раздражителей, которые вдруг начинают со страшной настойчивостью требовать, чтобы я воплотил их в нечто матерьяльное, объемное.

Откуда идут эти настойчивые требования написать портрет молодой женщины, героини первых лет революции?

В те годы Сергей Ингулов обвинял молодых писателей в том, что они не пишут о Революции и отмалчиваются, ссылаясь на то, что нет сюжетов, нет героинь.

«Да,— писал Ингулов в харьковском «Коммунисте»,— это не та героиня, которая должна в литературу революционной эпохи прийти вместо тургеневской Елены, вместо гончаровской Верочки, вместо Веры Павловны Чернышевского. Она не характеризует нашу эпоху, но она вышла из этой эпохи. Поэтому о ней расскажу», а дальше и рассказал историю девушки из совпартшколы, молодой коммунистки, помогшей органам губчека ликвидировать опасный контрреволюционный заговор. Для того, чтобы взять эту организацию, чрезвычайной комиссии надо было ввести в нее своих людей. Во главе организации стоял молодой врангелевский штабс-капитан. И надо было начинать с него. Это было очень трудно. Офицер был чрезвычайно осторожен, ни с кем не знакомился и внутри своей организации был связан только с несколькими офицерами, им же привлеченными к работе. Однако он не нашел в себе достаточно сил, чтобы побороть свое желание познакомиться с девушкой, которую он вот уже несколько дней подряд встречал на улице и в столовой ЕПО. Он уступил своей слабости. Познакомился. Она не знала, кто он. Он не знал, кто она. В губчека ей объяснили, с кем она познакомилась, и приказали влюбить в себя штабс-капитана. Задание было выполнено с лихвой: она не только влюбила его в себя, но влюбилась сама и не скрыла этого от заведующего секретно-оперативным отделом губчека, который взял с нее слово, что, несмотря ни на что, она доведет дело до конца. Девушка торопила. Она говорила, что больше не может вынести этой пытки. Но дело с ликвидацией заговора затягивалось, так как взять следовало не только верхушку, а и хвосты. Она твердо исполнила свой партийный революционный долг, ни на минуту не выпуская из виду своего возлюбленного до тех пор, пока они не были вместе арестованы, сидели рядом в камерах, перестукивались, пересылали записки. Затем он был расстрелян. Она освобождена.

«Писатели и писательницы,— гремел Ингулов,— трагики и поэты, акмеисты и неоклассики, о ком рассказываете вы нам? Вы художники, вы не можете не воспринимать революционного быта, жизни — не классов, не слоев, не групп,— отдельных людей в революции...»

«Поэты и поэтессы, вы сумели воспеть любовь Данте и Беатриче, разве вам не постичь трагической любви штабс-капитана и девушки из партшколы?»

«Почему же вы молчите?»

Как сейчас вижу сердитое лицо моего старшего товарища и друга Сергея Ингулова, здоровое, цвета сырого мяса, с раздвоенным, как помидор, подбородком. В пенсне с толстыми стеклами без ободков, с несколько юмористически сжатыми губами провинциального фельетониста, слегка подражающего Аркадию Аверченко, и вместе с тем вольное, даже иногда грозно-беспощадное лицо большевика-подпольщика, верного ленинца, как бы опаленное пламенем тех незабвенных лет.

Но и его в некий срок не пощадил ангел смерти, прошумев над ним складками своих черных шелковых одежд, и на лету вырвал из него пламенную душу, оставив на земле — неизвестно где! — непо-

движно распростертое, бездыханное тело человека, так и не успевшего услышать ответ на свой вопрос:

«Кто же была она, эта девушка из партшколы?»

...И что испытала она, ожидая развязки, в тот до ужаса знойный июльский день, пылающий, как багровый цветок бигнии, куда с угрожающим ворчанием медленно вползала оса, мягко расталкивая крыльями внутренние органы нагретого солнцем цветка, преграждавшие ей дорогу в тупик, откуда уже не было возврата.

Весь город — его пустынные каменные улицы, его гранитные мостовые, неподвижное море, бездыханная перистая листва акаций, сухие фонтаны — в эти страшные часы солнечного удара как бы весь помещался внутри закрывшегося багрового цветка, — весь город вместе с портовым маяком, а главное, вместе с громадным, многоэтажным зданием, которое как бы возглавляло и подавляло все прочие строения и в котором в эти часы что-то готовилось на вечер.

Клавдия Заремба не знала в точности, как это делается. Но она сама была заперта в одной из камер этого здания, и все, что совершалось вокруг, в страшной близости от нее, сейчас же превращало ее догадки в нечто абсолютно достоверное.

Цветок бигния имел еще другое название: текола.

Клавдия Заремба знала этот дом сверху донизу, все его парадные и черные лестницы, закоулки.

Не так давно — до революции — это был новый доходный дом какого-то акционерного общества на шикарной полузагородной улице против парка и славился своими дорогими барскими квартирами в пять, шесть и даже восемь комнат со всеми удобствами: ванными, ватерклозетами, газом, лифтами, с конюшнями и гаражом во дворе, с цветниками, круглым бассейном, мраморными скамейками, плакучими японскими деревцами посредине газонов и асфальтовыми дорожками, которые вели от калиток в кованой железной ограде к парадным входам дома, освещенным по вечерам матовыми электрическими плафонами, где жили очень богатые семьи.

Теперь здесь у всех входов и выходов стояли часовые частей особого назначения: китайцы, латыши, русские солдаты экспедиционного корпуса, вернувшиеся из Франции.

Дом этот возвышался над всем городом, как Акрополь, а ночью один донизу был освещен ярким электричеством среди погруженных во мрак домов.

Бессонный, как совесть, он беспощадно озарял самые темные закоулки человеческого сознания, где, быть может, еще гнездились преступные мысли, порожденные моралью старого мира.

Но не менее страшен казался этот дом в разгар лета, в конце мучительно-нескончаемого июльского дня, когда время по декрету переводилось на три часа вперед, так что, когда по солнцу было еще только пять, городские часы показывали восемь вечера и вступал в силу комендантский час, после наступления которого появление на улицах без специального пропуска каралось расстрелом на месте.

Ослепительное солнце стояло еще высоко над крышами, а уже город был зловеще безлюден, в пустынных улицах по тротуарам косо

и жарко дрожали зеркальные отражения оконных стекол, стучали шаги одинокого патруля, и дома изредка содрогались от проезжавшего мимо запертых ворот военного грузовика.

Что осталось у нее в памяти от этих дней?

Стена пустынной комнаты с громадным, роскошным письменным столом, на синем сукне которого лежал маузер в деревянной кобуре, кожаный диван и над ним, прямо по дорогим кабинетным обоям, размашисто написанные широкой кистью золотой краской слова: «Смерть контрреволюции».

Это был кабинет начальника секретно-оперативной части, из венецианского окна которого над верхушками Александровского парка с его обезглавленной колонной виднелась полоса кубово-синего одичавшего моря без единого паруса, без единого дымка на горизонте.

Встретившись через очень много лет с человеком, который тогда сидел за письменным столом, она напомнила ему эту золотую надпись на обоях, но он с удивлением посмотрел на нее:

— Не было такой надписи, дорогуша, ты что-то напутала.

— Уверяю тебя, была. Как сейчас вижу.

Он нахмурился.

— Это тебе показалось.

— Клянусь.

— Ну так кто-то из нас псих.

— Значит, ты.

Но прошло еще очень много времени — тому вперед,— и они встретились в центральной поликлинике возле кабинета зубного врача перед массивной ясеневой дверью с начищенной медной шишкой, среди квадратных колонн из искусственного мрамора и декоративных растений в фаянсовых горшках на теплом толстом подоконнике громадного окна, из которого открывался вид на ветхие особнячки Сивцева Вражка и на мягкий голубой силуэт высотного здания с вышками, обелисками и приземистым шпилем.

— Здравствуй, Викентий.

— Здравствуй, товарищ Заремба. Ты заметила, что мы с тобой встречаемся раз в семнадцать лет? Ты полностью?

— Полностью.

— Я тоже полностью, и даже уже на пенсии. Персональный пенсионер. Вот, брат. Делаю себе новые мосты.

— Я то же самое. Больше половины зубов потеряла.

— А ты тем не менее здорово прибавила. Сколько ты тянешь? Килограммов семьдесят?

— Зачем уточнять?

— А была хрупкая девушка, мечта поэта.

— Хрупкой никогда не была. Была тонкая, но плотная. И все-таки я утверждаю, что на обоях было написано: «Смерть контрреволюции». Хоть что хочешь, а было.

— Ты знаешь, действительно было,— засмеялся он.— Я потом вспомнил. Хотел даже тебе позвонить, но у нас там, вообрази себе, не было ни одного телефона-автомата.

— Ишь ты какой веселенький!

— А что! Знаешь, как это произошло: мы в отделе готовились к первомайской демонстрации и надо было написать на знамени какой-нибудь подобающий лозунг. Мы приложили кумачовое знамя к стене,

растянули, и Ангел Смерти — ты его помнишь, нашего Колю Березовского, по кличке Ангел Смерти? — красивый был парень и хорошо рисовал, царство ему небесное,— так он взял здоровую кисть и золотой краской написал: «Смерть контрреволюции». Краска прошла сквозь материю, и буквы отпечатались золотом на обоях.

— Вот видишь. А ты еще спорил.

— Прости, душенька. Однако ты нам тогда здорово помогла. Помню, как ты переживала!.. Страшное дело!

Они смотрели друг на друга, вспоминая себя такими, какими были в те времена. Он довольно смутно представил ее в своем кабинете совсем молодой, в трофейном английском френче, со стриженной, как у мальчика, головой, худой от голода, с несколько запавшими глазами, неподвижно устремленными на золотую надпись над кожаным адвокатским диваном. А она вспомнила его довольно суетливым человечком лет тридцати с внешностью мелкого ремесленника, каковым он в действительности и был до революции — типичный русский уездный портной-неудачник в ситцевой рубашке и жилетке с сине-вороненой пряжкой сзади, с яростно веселым выражением коротконосого, плебейского лица, истерзанного ненавистью к классовым врагам, которых он поклялся всех до одного уничтожить, стереть с лица земли, не зная ни пощады, ни жалости, ни усталости. Его однообразно темные глаза в форме вишенки внимательно, даже как бы предупредительно смотрели на собеседника, так что могло сложиться впечатление, что он человек добрый, даже жалостливый. Но ничто не могло быть более ошибочным, чем это впечатление: он был беспощаден, неподкупен и принципиален.

С детских лет хлебнувши в жизни много горя, несправедливости и унижений, сначала от зверя-хозяина, а потом от своих заказчиков — пехотных офицеров захолустного гарнизона, на которых он никогда не мог угодить, которые часто не платили ему за работу, требовали бесконечных переделок, перешивок, пригонок, которые били ему морду и вытаскивали в три шеи из собрания, куда он приходил за деньгами с раздвинутой щекой. подвязанной цветным платком и с черно-свинцовым сиянием под заплывшим глазом, он так ненавидел их, что у него кровь оглушительно стучала в висках и перехватывало дыхание, и он готов был истребить их всех до одного, сколько бы их ни было на свете, истреблять без усталости, день и ночь, планомерно и яростно-хладнокровно и делать это до тех пор, пока на земном шаре не восторжествует Справедливость и Владыкой Мира станет Труд.

В тот день у него на письменном столе была разложена выполненная акварельными красками цветная схема контрреволюционной офицерской организации со всеми ее разветвлениями и связями, где каждый член преступной организации был изображен в виде условного знака — кружка, треугольника, ромба, квадратика с именем заговорщика, и Заремба прочитала в центре на зеленом треугольнике имя своего возлюбленного, к которому сходились все нити заговора.

Он допросил ее для проформы, все время суетясь, стараясь быть радушным хозяином и приговаривая:

— Сейчас я сбегая за кипятком... Попьем с тобой чайку... Бери ландринку, хлебца. Небось проголодалась. Ты нас здорово выручила. спасибо тебе за это от имени Революции. И не переживай. Вытри щеки. Вот на тебе платочек. Поверь мне, этот подлец, твой штабс-капитанишка, не стоит слез. Был бы их верх — он бы всех нас развесил на фонарях и железнодорожных переходах; и тебя тоже, несмотря ни на что — будь в этом уверена. Или мы их, или они нас. Пей чайку. Потерпи до завтра. Нынче мы их всех ликвидируем. Завтра можешь спокойно выходить на работу

Вечером из своей камеры она слышала, как их привезли на грузовике из тюрьмы и вызывали куда-то по одному и как через некоторое время в коридоре раздавался топот ног, звуки борьбы, тяжелое дыхание, окрики. Она прильнула к окошечку в двери и увидела часть сумеречного коридора, оклеенного грязными бумажными обоями, и засиженную мухами голую электрическую лампочку на толстом витом шнуре, которая только что стала слабо накаляться, освещая все вокруг призрачным красным светом, и по этому коридору конвойные волокли, толкая в спину и хватая за плечи, громадного, костлявого, длинноносого парня с потным лицом, побитым оспой, с длинными обезьяньими руками, низким вогнутым лбом и далеко выдающимся дегенеративным затылком, известного налетчика, грабителя, разбойника, запросто убивавшего топором целые семьи, не жалея старух и маленьких детей, а кроме того, добровольного палача деникинской контрразведки, лично повесившего несколько десятков рабочих-коммунистов на железнодорожном переходе станции Одесса-Главная, по фамилии Ухов. Теперь его тащили из камеры для того, чтобы вывести в расход, и он, рыдая от ужаса и буйствуя, время от времени теряя сознание или делая вдруг отчаянные попытки вырваться, убежать и куда-нибудь спрятаться — хотя бы под скамейку, — не переставая слюнил своими толстыми мокрыми губами огрызок карандаша и норовил как можно разборчивее, громадными буквами написать на обоях свою фамилию Ухов. Его тащили, а он все писал, разрывая обои, одно за другим — Ухов, Ухов, Ухов, Ухов... — пока его не подхватили под мышки и понесли, а карандаш в последний раз провел по обоям глубокую рваную борозду и обломился...

Заремба хотела в последний раз посмотреть на Петю Соловьева, но их всех так быстро, почти бегом, провели по коридору фотографировать, что она его не заметила, легла в угол своей общей камеры и потеряла сознание, а потом обморок перешел в странный, почти летаргический сон, продолжавшийся несколько суток, а когда она очнулась, то увидела, что лежит на белой койке в больнице, и с большим трудом припомнила, что с ней было.

Года два после этого ее лечили и возили по санаториям, и в конце концов она выздоровела.

Несколько раз мы сталкивались с ней мимолетно, иногда узнавали друг друга, иногда не узнавали; молча проходили мимо или обменивались несколькими словами, и тогда в ее изменившемся стареющем лице я угадывал черты маленькой девочки в матроске или девушки из совпартшколы, в которую так страстно и так ненадолго влюбился.

Однажды я увидел ее на мраморной лестнице поликлиники; она шла вниз с одышкой, располневшая, почти седая, с толстыми ногами, обутыми в тесные туфли на высоких каблуках, которые, очевидно, причиняли ей страдание.

— Здорово, парень, — сказала она печально. — Как живешь? Ты уже дедушка? А я уже бабушка. Вспоминаешь ли ты когда-нибудь нашу молодость? Ну, топай, топай.

Сколько раз я брался за перо, чтобы исполнить совет покойного моего друга и старшего товарища Сергея Ингулова и написать роман о девушке из совпартшколы. Может быть, это был единственный настоящий сюжет, алмаз, который стоило, не жалея времени и сил, ограничить, превратив в сверкающий бриллиант. Но каждый раз я чувствовал свое

бессилие, тема была во много раз выше меня, и ее нельзя было обрабатывать так себе, в старой манере, которой она никак не поддавалась.

Девушку из совпартшколы нужно было писать совершенно по-новому, небывало и, как сказал бы Осип Манделъштам, «на разрыв аорты». А я еще к этому не был готов.

«Как жалко, что нам не хватило времени написать наш «Революционный катехизис искусства»,— с горечью воскликнул Эдмон Гонкур.

И как не хватало этого катехизиса мне, тогда еще не открывшему мовизма.

«...На протяжении всех 300 страниц с топотом опрокидывать все священные мнения, вековое восхищение, академические программы профессоров эстетики, всю эту старую веру искусства, еще более лишенную критического духа, чем религиозная вера...»

Нет, нет, успокойтесь, товарищи, это не я написал, а Гонкур!

«Интеллектуальное «наплеватьство» на всеобщее мнение: самая редкая смелость, какую я когда-либо встречал, и, только обладая этим даром, можно создавать оригинальные вещи...»

Короче говоря, нужно было быть не Бунным, а по крайней мере Маяковским.

«...я ищу... чего-то, что не походило бы на роман. Отсутствие интриги для меня недостаточно. Я хотел бы, чтобы сама структура была другой, чтобы эта книга носила характер мемуаров одного лица, написанного другим... Решительно слово «роман» уже не определяет книги, которые мы пишем. Я хотел бы дать им другое название».

...Если не мемуары, не роман, то что же я сейчас пишу? Отрывки, воспоминания, куски, мысли, сюжеты, очерки, заметки, цитаты...

Но все равно мне не под силу заполнить этими жалкими обломками своей и чужой памяти ту неизмеримую, вечную пропасть времени и пространства, на краю которой я врываюсь до рассвета, измученный, истерзанный тяжелыми мыслями.

Иногда я сам себе напоминаю счастливого царя, вдруг без всякой видимой причины заболевшего бессонницей.

Сказка о подушке.

С некоторого времени царь потерял способность спать. Лучшие врачи и маги не могли излечить его от этого смертельного недуга. Ни одно снотворное не действовало на царя. День и ночь он метался на своей постели с открытыми глазами, и его мозг был истощен постоянной, непрерывной, бесконечной работой воображения. Он умирал. Казалось, ничто не может его спасти. И вот однажды, глухой ночью, когда ангел смерти уже совсем низко летал над его головой, в спальню царя тайно пробралась босиком самая молодая, и самая прелестная, и самая любимая из его жен в тончайших, полупрозрачных шальварах в пестрых цветочках, потрогала своими нежными пальчиками изголовье царя и сказала:

— Дорогой, мне кажется, я знаю причину твоей болезни. Не можешь ли ты ответить мне на один вопрос: давно ли ты спишь на этой подушке?

— Давно.

— А когда ее перебивали в последний раз и подсыпали в нее нового пуха?

— Сравнительно недавно.

— И, конечно, это делала твоя первая, главная жена?

— Ну да, по обычаю.

— Так вот что я тебе скажу, любимый: старушка переложил пуха. Я ничего не хочу сказать о ней плохого. Она это сделала любя, чтобы тебе было лучше. Но потрогай — она ее так набила, что подушка стала, как каменная. Разве на ней заснешь? Дай, милый, я выпущу из нее лишний пух, и ты сразу забудешь, что такое бессонница.

Она вспорола своими проворными ручками наволоку и вынула несколько горстей драгоценного пуха, затем взбила подушку, царь положил на нее свою голову, почувствовал воздушную прохладу и легкость и заснул блаженным сном, а младшая жена выгнала полотенцем ангела смерти в форточку и, поцеловав своего повелителя и возлюбленного, удалась так же неслышно, как и пришла.

Но сказка на этом, однако, не кончается.

Царь стал сразу же засыпать, как только ложился, и спал долго и сладко до самого позднего утра, когда ему приносили кофе с молоком. Сначала ему это очень нравилось, но потом он заметил, что совсем перестал перед сном размышлять о судьбах своего царства и даже немного поглупел. Тогда он позвал к себе молоденькую жену и шепнул ей на ухо:

— Старушка, конечно, тогда сильно переложил пуха, это верно, но ты — о самая моя любимая! — делала мой сон слишком легким, счастливым и бездумным. А для царя это не годится. Не можешь ли ты добавить в подушку совсем небольшую горсточку пуха, чтобы я засыпал не сразу и у меня было бы немного времени для полезных размышлений?

— С удовольствием, дорогой, — ответила младшая жена и добавила в подушку царя одну, совсем маленькую горсточку лебяжьего пуха.

— Вот теперь будет в самый раз, — сказал царь, и с той поры ежедневно перед сном его посещали самые важные мысли.

Разумеется, эти мысли не всегда были веселые, но зато они всегда озаряли его душу светом истины.

«Век. Известковый слой в крови больного сына твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь, и некуда бежать от века-властелина... Пылает на снегу аптечная малина... Два сонных яблока у века-властелина и глиняный прекрасный рот. Ужели я предам позорному злословью — вновь пахнет яблоком мороз — присягу чудную четвертому сословью и клятвы крупные до слез?»

Пылала на снегу аптечная малина, и в агонии красных огней и вагонов в лице изменялась столица...

«Один: я заметил знамена у ложа и черную флейту над пультом; я видел, как с глиною борется, лежа у гроба, измученный скульптор. Другой: как столетье стояла минута, проверенной совести проба. Он был неподвижен, во френче, как будто диктующий лозунг из гроба. И третий: с мешками у глаз среди зала, седая и руки сухие, жена, неподвижно дежуря, стояла у тела в ногах, как Россия...»

Во сне сквозь шум темных крыльев я услышал стук в дверь. Стук судьбы. Я проснулся и долго не мог понять, где я нахожусь, медленно

всплывая на поверхность из таинственных глубин сновидений, не успевших еще дойти до сознания.

Передо мною стояла большая фигура очень высокого человека в фетровой шляпе, и я услышал слова, сказанные знакомым голосом — баритональным басом, — который как бы мягко сходил на низы:

— Вы рады?

Он мог этого не спрашивать. Конечно, я был рад. Но меня удивило, что он не на бегах, хотя был беговой день, тринадцатое апреля. Он вошел в комнату, уже еле-еле тронутую приближающимися сумерками, поставил палку в угол, а шляпу повесил на пуговку самой верхней полки шведского книжного шкафа, предварительно попробовав пальцами, крепко ли она держится, эта самая пуговка, которую он в прошлый раз оторвал, так что мне пришлось обернуть ее стерженек бумагой.

Снимая пальто и бросая его на валик дивана, он рокошущим приглушенным басом приговаривал:

— Рад, что вы рады, и рад, что рад аппарат. Аппарат прекрасный, аппарату рад, — рад и я и мой аппарат. Узнаете?

— Конечно. «Баня».

— А знаете, откуда это попало в «Баню»?

— Не знаю.

— Из детства. Купили фотографический аппарат. Вся семья очень радовалась. Немедленно выразил это стихами: «Мама рада, папа рад, что купили аппарат». Это и было мое первое стихотворение. — Он помолчал, высморкался, вытер свой гриппозный нос. — Когда будете писать воспоминания о Маяковском — не забудьте этого факта. Пригодится. Или продайте кому-нибудь другому.

— Обязательно!

Затем он спросил традиционное:

— Как живете, караси?

— Ничего себе, мерси, — ответил я столь же традиционно.

Это было двестише из моей уже давно изданной детской книжечки под названием «Радиожираф», которое понравилось Маяковскому, и он пустил его в ход, так что в нашей компании, а потом по всей Москве и дальше оно сделалось как бы шуточным военным паролем.

Он вообще часто подхватывал чью-нибудь крылатую фразу и в течение долгого времени не расставался с ней, повторяя на все лады, так что иногда создавалось впечатление, что это придумал он сам.

Так, одно время он без конца повторял шуточный стишок Ильфа: «Марк Аврелий, не еврей ли?»

Знаменитые рекламные строчки Маяковского: «Нигде кроме, как в Моссельпроме» — стали пословицей, но другой подобный же афоризм: «Кто куда, а я в сберкассу» — был сочинен Васей Лебедевым-Кумачом, хотя это также приписывали Маяковскому.

Вообще, как человеку очень известному и популярному, ему приписывалось множество чужих острот и шуток, подобно тому как почти все анекдоты и эпиграммы некогда приписывались Пушкину.

Кстати, выражение: «Инцидент исперчен» — вместо «исчерпан» я слышал еще до революции. Его придумал друг моей юности, большой остряк Арго. От него это выражение и пошло по рукам, пока им окончательно не завладел и не закрепил навсегда за собой Маяковский.

В этот день он острил скорее по привычке. Мне показалось, что нынче он что-то не весел, озабочен, будто все время прислушивается к чему-то. Наверное — подумал я тогда — замучил грипп.

С некоторым беспокойством следил я за всеми его передвижениями, так как обычно, входя в мою комнату, он учинял небольшой шуточный дебош, безвредный, но пугающий своей стремительностью.

Одним движением смахивал он с письменного стола рукописи, засовывал под диван книги, ставил на подоконник, за портьеры, как за кулисы, письменные принадлежности, бутылочки с чернилами, коробку канцелярских скрепок.

— Запомните,— приговаривал он ворчливо,— у писателя на столе должно быть абсолютно пусто. Шурум-бурум к черту! Это отвлекает.

В особенности его раздражал небольшой матово-серебряный юбилейный прибор в стиле модерн, доставшийся мне в наследство от моего полтавского дяди, известного в свое время земского деятеля. Я держал прибор исключительно из уважения к памяти дяди.

С непосжимым проворством фокусника Маяковский рассовывал все составные части этого юбилейного прибора — подсвечники без свечей, ножик для разрезания, пресс-папье без промокашки, две пустые чернильницы с серебряными колокольчиками крышечек, спичечницу,— с глаз долой, куда попало: в книжный шкаф, под кресла, даже в устье голландской печки, если дело было летом.

Совершая все эти забавные безобразия, он рычал из Хлебникова: «И тополь земец, и вечер темец, и моря речи, и ты — далече».

Этим он как бы отдавал долг вежливости моему дяде, который был земец.

Думаю, что подобного рода торопливое освобождение стола от посторонних предметов была скорее всего привычка игрока, не теряя золотого времечка, готовить зеленое поле для ночного сражения.

На этот раз он ограничился лишь тем, что с нескрываемым презрением покосился на юбилейный прибор и, отодвинув в сторону легковесный серебряный подсвечник, присел боком на угол стола, обтянутого зеленым сукном, и в такой позе — полусидя-полустоя — сказал, отвечая на мой вопросительный взгляд:

— Ни за чем. Пришел просто так. Вы удивлены? Напрасно. Посидеть с человеком. Как гость. Хотите — «будем болтать свободно и раскованно»?

И в ту же минуту надолго замолчал, ушел глубоко в себя.

Его по-украински темно-карие, несколько женские глаза — красивые и внимательные — смотрели снизу вверх, отчего мне всегда хотелось назвать их «рогатыми».

Рогатые глаза. Глупо. Но мне всегда так хотелось. Может быть, в этом и есть самая суть мовизма — писать как хочется, ни с чем не считаясь.

В углу его крупного, хорошо разработанного рта опытного оратора, эстрадного чтеца с прекрасной артикуляцией и доходчивой дикцией, как всегда, торчал окуроч толстой папиросы высшего сорта, и он жевал его, точнее сказать перетирали синеватыми искусственными зубами, причем механически двигались туда и сюда энергичные губы и мощный подбородок боксера.

В его темных бровях, в меру густых, таких, которые, как я заметил, чаще всего встречаются у очень способных, одаренных юношей,— было тоже нечто женское, а лоб, мощно собранный над широкой переносицей, был как бы рассечен короткой вертикальной морщиной, глубоко черневшей треугольной зарубкой.

С недавнего времени он почему-то отрастил волосы, и они развалились по середине лба на стороны, придавая несвойственный ему вид семинариста, никак не соответствующий тому образу Маяковского — футуриста, новатора, главаря, который сложился у меня с первых дней нашего восьмилетнего знакомства, то есть с самого начала двадцатых годов.

Теперь, когда он стал памятником, очень трудно представить его себе не таким, как на площади Маяковского, на невысоком цоколе, с семинарскими волосами. Между тем почти все время, за исключением самого начала и самого конца своей писательской жизни, он коротко стригся, иногда наголо, машинкой под ноль, и его голова — по-моему, иногда даже просто начисто выбритая — определенностью своей формы напоминала яйцо, о чем свидетельствуют фотографии разных лет, в том числе одна из самых похожих работы друга Маяковского, художника и фотографа левовца Родченко, где великий поэт с наголо остриженной головой, с внимательными агатовыми глазами сидит без всякой позы на простом венском стуле с гнутой спинкой прямо посреди какой-то пустынной комнаты, похожей на кухню.

Передо мной, облокотившись задом на стол — на тот самый стол, за которым мы — Асеев, Светлов, Олеша, Крученых, Маяковский, — бывало, резались до утра в девятку, без умолку остря, в клубах зеленого табачного дыма, — стояли уже почти памятник, во всяком случае на его знаменитом лице лежали чугунные тени хмурого апрельского предвечерия, холодного и сырого.

У него было затрудненное гриппозное дыхание, он часто сморкался, его нос с характерной бульбой на конце клубнично краснел. Он привык носить с собой в коробочке кусочек мыла и особую салфеточку, и, высморкавшись, он каждый раз шел в кухню и там над раковиной мыл руки этим своим особым мылом и вытирался собственной, особой салфеточкой, причем, доставая их из кармана, по своей неизменной привычке, начинал перекладывать из кармана в карман различные предметы: из заднего кармана брюк извлекал, например, пачку бледно-зеленых двадцаток, приготовленных для уплаты фининспектору подоходного налога, и перекладывал ее в боковой карман пиджака, а на место пачки двадцаток засовывал маленький маузер, извлеченный из левого кармана брюк вместе с кусочком мыла, завернутого в салфетке, а мыло и салфетку перекладывал в правый карман, откуда на миг доставал стальной кастет и быстро прятал его обратно, причем заодно проверял, на месте ли в нагрудном кармане авторучка, или, как он любил ее называть несколько высокопарно — «стилб».

«Вот вам, товарищи, мое стилб, и можете писать сами!»

Подобные операции с перекладыванием вещей он производил довольно часто. Доставая один какой-нибудь предмет, он как бы приводил в движение некий скрытый механизм, после чего происходил неотвратимый, законченный цикл перекладывания предметов, их появления и исчезновения, щелканья, чем-то напоминавший движение механических фигурок в тире, приведенных в движение метким выстрелом в маленькую красную мишень.

И вверх ногами рушилась на своей оси железная фигурка убитого человечка...

— Катаич,— сказал он, пряча в карман последний предмет,— вот вы южанин. Скажите, как вы переносите север? Часто простужаетесь?

— Беспеременно.

— И я то же самое. До сих пор никак не могу привыкнуть к этому паршивому климату. Апрель называется!.. Разве это апрель? Гибну, как обезьяна, привезенная из тропиков.

Он снова высморкался, и характерным жестом глубоко, обеими руками одновременно заправил сорочку под ремень своих просторных брюк — узких в бедрах, широких в шагу,— в глубоком кармане которых часто лежала его «краснокожая паспортина» — «молоткастый, серпастый советский паспорт».

Именно тогда мне в голову пришла простая мысль, догадка, объяснявшая многое в его характере, в особенностях его творчества. В сущности, он был человеком из другой страны, южанин. Приезжий. И до сих пор никак не мог акклиматизироваться. Заморский страус. Во всяком случае именно так назвал он себя в стихотворении «России».

«Вот иду я, заморский страус... Я не твой, снеговая уродина. Глубже в перья, душа, уложись! И иная окажется родина, вижу — выжжена южная жизнь. Остров зноя. В пальмы овазился... Ржут этажия. Улицы плятятся. Обдают водой холода. Весь истыканный в дымы и в пальцы переваливаю года».

Впервые понял я, как ему трудно переваливать года.

«Что ж, бери меня хваткой мёрзкой! Бритвой ветра перья обрей. Пусть исчезну, чужой и заморский, под неистовства всех декаблей».

Я повторял про себя эти строчки, а он — их творец, в любую минуту готовый исчезнуть, чужой и заморский, весь истыканный в дымы и пальцы,— внимательно смотрел в мое маленькое окно почти на уровне земли, выходящее во двор извозничьего трактира, одного из тех чайных, каких в то время осталось еще довольно много по переулкам Сретенки.

Двор был заставлен кончавшими свой век ободранными пролетками, и лошади с надетыми на морды торбами заглядывали в окошко, встречаясь взглядами с Маяковским, по-видимому, чувствуя его хорошее к себе отношение.

Очень медленно, чересчур медленно, темнело в этот неопределенный час между концом дня и началом вечера в одном из бедных переулков, куда не долетал глухой мельничный шум по-китайски многолюдной, пешеходной Сретенки, и мы вдвоем с Маяковским в еще не освещенной комнате — он уже знаменитый на весь мир поэт, и я, так и не написавший до сих пор «Девушки из совпартшколы»,— оба, как мне тогда казалось, уже далеко не молодые — ему тридцать семь, а мне — господи, неужели? — уже тридцать три — и жизнь прошла! — все это вместе вызывало во мне страшную, безвыходную горечь, ощущение безвозвратно ушедшей молодости, чуть ли не наступившей старости, когда все прошло и больше уже ничего не будет или, как тогда говорилось в нашем кружке: «Больше ничего не покажут».

А впереди, на сумеречной стене, водянисто-пепельная тень неопределенных очертаний, которую можно было при желании истолковать как угодно, даже как пепельные одежды летящего Азраила.

«И день сгорел, как белая страница: немного дыма и немного пепла».

Может быть, именно вот так — в дореволюционные годы — сидел в своей петербургской конурке некий непризнанный литератор, жалкий подражатель Достоевского, — и вдруг на пороге — весь темный, в темной широкополой шляпе, в шерстяном кашне, тихий, неясный, как сон, — Александр Блок, который пришел навестить собрата. Пришел ни за чем. Просто так. Посидеть с человеком. Как гость. По литературной традиции. Ходят же люди в гости друг к другу. Ведь ничего нет страшнее, когда не куд а человеку пойти. И так далее.

Было во всем этом острое ощущение традиционного русского писательского быта, возможно, даже смены поколений, горечь неизбежного отмирания. И то, что мне представилось явление Александра Блока, было понятно.

Маяковский любил Блока, едва ли не считал его самым великим русским поэтом со времен Пушкина.

Он никогда об этом не говорил. По крайней мере прямо. Но я чувствовал, что это именно так.

Однажды в начале двадцатых годов Маяковский вернулся из заграничной поездки — кажется, из первой своей заграничной поездки, — вернулся домой, в Москву, в квартиру Бриков в Водопьяном переулке у Мясницких ворот, наискосок от почтамта, полный впечатлений, и был крайне удивлен, даже потрясен, когда на другой же день «Известия» прислали к нему интервьюера. Это воспринялось как нечто из ряда вон выходящее, еще небывалое.

Несмотря на бурно разворачивающийся нэп, в советских центральных газетах продолжал царить строгий стиль военного коммунизма, не допускавший ни малейшей бульварщины, желтизны, сенсаций, свойственных буржуазной прессе. И, уж разумеется, никаких интервью, в особенности с поэтом-футуристом, вернувшимся из заграничной поездки. Однако времена, по-видимому, менялись. Нэп наступал. И вот первая ласточка: сотрудник «Известий», явившийся к Маяковскому взять интервью.

Взвинченный, веселый, изысканно-вежливый, сверкающий всеми красками своего неповторимого юмора, Маяковский в парижском пуловере, с узким ремешком карманных часов на лацкане пиджака — было сверхмодно носить часы в нагрудном карманчике пиджака, — с наголо стриженной головой — гигиенично, современно, конструктивно, а также потому, что: «Причесываться? На время не стоит труда, а вечно причесанным быть невозможно!» — шагая среди своего полуразобранного багажа, расшвыренного по всей комнате, то и дело наступая новыми заграничными башмаками на коробки, свертки, на раскладную гуттаперчевую ванну-таз, отбрасывая из-под ног цветные резиновые губки, нераскупоренные флаконы с аткинсоновской лавандой и зелено-полосатые жестянки с тальком для бритья «пальмолив», Маяковский в одно и то же время и усаживал сотрудника «Известий» за стол, и наливал ему «напареули», и придвигал тарелку с громадными свежими пирожными «от Бартельса», и краем рта, показывая синеватые зубы, победно улыбался, глядя на членов редакции «Лефа», собравшихся на заседание по случаю возвращения из-за границы своего главного редактора.

Проходя мимо, сказал:

— Как вы думаете, если бы — вообразите себе! — не я вернулся из Парижа, а Блок, то прислал бы ему Стеклов сотрудника взять интервью для «Известий»?

Уверен, что вечно в душе Маяковского жил Александр Блок, тревожа его, заставляя завидовать и восхищаться.

Блок был совестью Маяковского.

Однажды в какой-то редакции среди общего разговора, шума, гама, острот Маяковский вдруг ни с того ни с сего как бы про себя, но достаточно громко, чтобы его все услышали, со сдержанным восхищением, будто в первый раз слыша музыку блоковского стиха, от начала до конца сказал на память без единой запинки волшебное стихотворение:

— «Ты помнишь? В нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда кильватерной колонной вошли военные суда...»

Глаза Маяковского таинственно засветились:

— «Четыре — серых...» — сказал он и помолчал. Было видно, что его восхищает простота, точность, краткость и волшебство этих двух слов: «четыре — серых». Целый морской пейзаж.

— «Четыре — серых. И вопросы нас волновали битый час, и загорелые матросы ходили важно мимо нас».

Он даже при этих словах сделал несколько шагов взад-вперед, на один миг как бы перевоплотившись в загорелого французского матроса в шапочке с красным помпоном, и закончил стих, неожиданно вынув из кармана, предварительно в нем порывшись, маленький перочинный ножик — возможно, воображаемый.

— «Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран — и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман!»

Маяковский протянул слушателям воображаемый ножик и даже подул на него, как бы желая сдуть пылинку дальних стран.

Голову даю на отсечение, что в это время он видел вдали перед собой мираж своего «острова зноя, овазившегося в пальмы».

Главная сила Маяковского было воображение.

«Океан — дело воображения, — писал он где-то. — И на море не видно берегов, и на море волны большие, чем нужны в домашнем обиходе, и на море не знаешь, что под тобой.

Но только воображение, что справа нет земли до полюса и что слева нет земли до полюса, впереди совсем новый, второй свет, а под тобой, быть может, Атлантида, — только это воображение есть Атлантический океан».

Гениально просто, но именно в этом и заключается самая суть поэзии.

Антагонизм литературных направлений. Не выдумка ли это? По моему, не существует никаких литературных направлений. Есть одно только направление в искусстве: всепокоряющая гениальность. Даже просто талант. И — воображение.

Ленин назвал Достоевского архискверным, что не помешало ему подписать декрет о сооружении Достоевскому памятника.

Однажды я был свидетелем встречи Маяковского с Мандельштамом. Они не любили друг друга. Во всяком случае считалось, что они полярные противоположности, начисто исключаящие друг друга из литературы. Может быть, в последний раз перед этим они встретились еще до Революции, в десятые годы, в Петербурге, в «Бродячей собаке», где Маяковский начал читать свои стихи, а Мандельштам подошел к нему и сказал: «Маяковский, перестаньте читать стихи, вы не румынский оркестр». Маяковский так растерялся, что не нашелся, что ответить, а с ним это бывало чрезвычайно редко. И вот они снова встретились.

В непосредственной близости от памятника Пушкину, тогда еще стоявшего на Тверском бульваре, в доме, которого уже давным-давно не существует, имелся довольно хороший гастрономический магазин в дореволюционном стиле.

Однажды в этом магазине, собираясь в гости к знакомым, Маяковский покупал вино, закуски и сласти. Надо было знать манеру Маяковского покупать! Можно было подумать, что он совсем не знает дробей, а только самую начальную арифметику, да и то всегда лишь два действия — сложение и умножение.

Приказчик в кожаных лакированных нарукавниках — как до революции у Чичкина — с почтительным смятием грузил в большой лубяной короб все то, что диктовал Маяковский, изредка останавливаясь, чтобы посоветоваться со мной.

— Так-с. Ну, чего еще возьмем, Катаич? Напрягите все свое воображение. Копченой колбасы? Правильно. Заверните, почтеннейший, еще два кило копченой «московской». Затем: шесть бутылок «абра-дюрсо», кило икры, две коробки шоколадного набора, восемь плиток «золотого ярлыка», два кило осетрового балыка, четыре или даже лучше пять батонов, швейцарского сыра одним большим куском, затем сардинок...

Именно в этот момент в магазин вошел Осип Мандельштам — маленький, но в очень большой шубе с чужого плеча до пят, — и с ним его жена Надюша с хозяйственной сумкой. Они быстро купили бутылку «кабернэ» и четыреста граммов сочной ветчины самого высшего сорта.

Маяковский и Мандельштам одновременно увидели друг друга и молча поздоровались. Некоторое время они смотрели друг на друга: Маяковский ядовито сверху вниз, а Мандельштам заносчиво снизу вверх, и я понимал, что Маяковскому хочется как-нибудь получше сострить, а Мандельштаму в ответ отбрить Маяковского так, чтобы он своих не узнал.

Я изучал задранное лицо Мандельштама и понял, что его явное сходство с верблюдиком все же не дает настоящего представления о его характере и художественно является слишком элементарным. Лучше всего изобразил себя сам Мандельштам:

«Куда как страшно нам с тобой, товарищ большеротый мой! Ох, как крошится наш табак, шелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом... Да, видно, нельзя никак».

Он сам был в этот миг деревянным шелкунчиком с большим закрытым ртом, готовым раскрыться как бы на шарнирах и раздавить Маяковского, как орех.

Сухо обменявшись рукопожатием, они молчаливо разошлись; Маяковский довольно долго еще смотрел вслед гордо удалявшемуся Мандельштаму, но вдруг, метнув в мою сторону как-то особенно сверкнувший взгляд, протянул руку, как на эстраде, и голосом, полным восхищения, даже гордости, произнес на весь магазин из Мандельштама:

— «Россия, Лета, Лорелея».

А затем повернулся ко мне, как бы желая сказать: «А? Каковы стихи? Гениально!»

Это была концовка мандельштамовского «Декабриста»:

«Все перепуталось, и некому сказать, что, постепенно холодея, все перепуталось и сладко повторять: Россия, Лета, Лорелея».

По отношению к прошлому будущее находится в настоящем. По отношению к будущему настоящее находится в прошлом. Так где же нахожусь я сам?

Неужели для меня теперь нет постоянного места в мире?

Или «теперь» это то же самое, что «тогда»?

— Ну так что же,—сказал теперь Маяковский, усаживаясь на диван,— вы хозяин. Я гость. Занимайте.

— Я вас?

— Меня!

— Мчать болтая, будто бы весна — свободно и раскованно?

— Вот именно.

Ох, какие мы были тогда остряки!

— Давайте. Расскажите что-нибудь раскованно о Блоке. Вы ведь с ним встречались?

— Хотите: о моей одной исторической встрече с Александром Блоком? Еще до революции. В Петрограде. У Лилички именины. Не знаю, что подарить. Спрашиваю у нее прямо: что подарить? А у самого в кармане... сами понимаете. Нищий! Дрожу: а вдруг захочет торт — вообразите себе! — от Гурмэ или орхидеи от — можете себе представить! — Эйлера. Жуть! Но она потребовала книгу стихов Блока с автографом.

— Но как же я это сделаю, если я с Блоком, в сущности, даже не знаком. Тем более — футурист, а он символист. Еще с лестницы, чего доброго, спустит. — Это ваше дело. — Положение пиковое, но если Лиличка велела... О чем тут может быть речь?.. Сшатался с лестницы. Слышал, живет на Офицерской. Мчусь на Офицерскую. Пятый этаж. Взбежал. Весь в пене. Задыхаюсь. Дверь. Здесь. Стучусь. Открывают. — Не могу ли видеть поэта Александра Блока? — Как доложить? — Так прямо и режу: — Доложите, что футурист Маяковский. — А сам думаю про себя: нахал, мальчишка, апаш, щен, оборванец. Никому не известен, кроме друзей и знакомых, а он — Блок! Нет, вы только вообразите себе, напрягите всю свою фантазию: Александр Блок. Великий поэт. Сам! Кумир. По вечерам над ресторанами. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, ай. Стою. Жду. Сейчас спустят с лестницы. Ну что ж... Не так уж высоко. Всего пять этажей. Пустяки. Но все-таки... Однако нет, не спустили. Услышав мой голос, выходит в переднюю. Лично. Собственноручно. Впервые вижу вблизи. Любопытно все-таки: живой гений. При желании могу даже потрогать. Александр Блок. Величественно и благосклонно. С оттенком мировой скорби: — Вы Мая-

ковский? — Я Маяковский! — Рад, что оказали мне честь, — и этак многозначительно: — Знал, что вы придете. Чувствовал. Давно жду встречи с вами, — и вводит в свой кабинет. Ну, конечно, кабинет не то что ваш, с юбилейной чернильницей от полтавского земства! Сами понимаете: книги, корректуры. Письмо трагической актрисы. «Розы поставьте на стол, и приходилось их ставить на стол». — Садитесь. — Сажусь. Не знаю, куда спрятать ботинки. Один из них с латкой. Неловко. Сижусь, как на еже. Несколько раз порываюсь что-нибудь насчет книги стихов с автографом. Но он не дает сказать ни одного слова. Сам! Подавляет величием. И что самое ужасное: чувствую, что придает моему визиту всемирно-литературное значение. Высший исторический смысл. Свиданье монархов. Встреча символизма и футуризма. — Мы, говорит, уходим, а вы, говорит, приходите. Мы прошлое, вы будущее. Футуризм идет на смену символизму. Вы наша смерть. Принимаю в вашем лице грядущее Мира. И, конечно, русской литературы, хотя вы и бросаете Пушкина с парохода современности. (Дался им всем этот несчастный пароход современности. Даже мама говорила: «Зачем тебе это, Володечка?» Знал бы, не подписывал бы.) И вообще, говорит, Маринетти. У вас, Маяковский, «особенная статья». С радостью и печалью принимаю ваш приход ко мне. Это было predetermined. В один роковой миг будущее всегда появляется на пороге прошлого. Я прошлое. Вы будущее. Вы — возмездие. У нас с вами будет длинная беседа. — И так далее, по принципу: «...громя футуризм, символизмом шпынял, заключив реализмом».

(А дома Лиличка с нетерпением ждет автографа! Представляете мое состояние? Без этого автографа мне хоть совсем не возвращаться. Сказала — не пустит. И не пустит. Положение безвыходное.) А он все свое: мировая музыка, судьбы мира, судьбы России... — Вы согласны? — спрашивает. — Не так ли? А если не согласны, то давайте спорить. В споре рождается истина. Хоть мы идем и разными путями, но я глубокий поклонник вашего таланта. Даже если хотите — ученик. Ваш и Хлебникова. Хлебников гений. Вы до известной степени тоже. — Ну, тут он для красного словца немножко загнул, потому что, как впоследствии выяснилось, один из вариантов его стихотворения «День приходил, как всегда: в сумасшествии тихом» содержит такие строчки:

«Хлебников и Маяковский набавили цену на книги, так что приказчик у Вольфа не мог их продать без улыбки».

— Вот как уел! Эта строфа, — заметил Маяковский, — тогда почему в печать не попала. А жаль! Все-таки реклама. Хотя и была воткнута ироническая шпилька в футуристические зады. Но не в этом дело. Дело в том, что время неумолимо шло, а собственноручной подписи Блока все нет и нет! Терпел час, терпел два, наконец не выдержал. Озверел. Лопнул. Прерываю Блока на самом интересном месте: — Извините, Александр Александрович. Договорим как-нибудь после. А сейчас не подарите ли экземплярчик ваших стихов с собственноручной надписью. Мечта моей жизни!

Отрешенно улыбается. Но вижу — феерически польщен. Даже не скрывает. — У меня ни одного экземпляра. Все разобрали. Но для вас... — Только подождите, не пишите Маяковскому. Пишите Лиле Юрьевне Брик. — Вот как? — спросил с неприятным удивлением. — Впрочем, говорит, извольте. Мне безразлично... — И с выражением высокомерия расчеркнулся на книжке. А мне того только и надо. — Виноват. — Куда же вы? — Тороплюсь. До свиданья. — И кубарем вниз по лестнице. По улице. Одна нога здесь, другая на Невском. Так что брюки трещали в ходу.

Вверх по лестнице. В дверях — Лиличка. — Ну что? — Достал! — Расси-
лась. Впустила.

Вполне понимаю Маяковского: Лиля Брик — одна из самых преле-
стных женщин, которых мне когда-либо приходилось встречать!

Смеркалось.

Я хотел включить свет, но Маяковский остановил меня величествен-
ным мановением руки:

— Не надо. Будем экономить электроэнергию.

Я сбегал на Сретенку в «гастроном» купить что-нибудь поесть, но
полки были пустые, в витрине виднелись деревянные муляжи окороков и
красных головок голландского сыра, а в отделе закусок были выставлены
штабеля пачек злакового кофе и возвышались горы чего-то тошнотворно-
перламутрового под угнетающей надписью «бычьи семенники».

Но шампанское еще имелось, хотя и в ограниченном количестве.

Я принес бутылку полусухого «абрау-дюрсо» и поставил на зеленом
сукне письменного стола.

— К сожалению, больше ничего не достал.

Он усмехнулся половиной лица, и характерная для его улыбки тол-
стая складка оползла вокруг его рта, сделав выражение его лица с косы-
ми скулами еще более саркастическим.

— Фазанов не достали? — деловито спросил он.

— Фазанов не достал.

— Я вам никогда не рассказывал?

— Про что?

— Про фазанов.

— Нет.

— Много потеряли. Из эпохи моей голодной юности. Мою авто-
биографию, надеюсь, читали? Называется «Я сам». Там есть глава
под заглавием «Куоккала». Начинается эпически: «Семизнакомая систе-
ма (семипольная). Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье
«ем» Чуковского, понедельник — Евреинова и т. д.». Так вот о Евреино-
ве. Вы знаете, что такое Евреинов? Нет, вы не знаете, что такое Евреи-
нов. Известнейший в свое время режиссер, сноб, теоретик, эстет, созда-
тель знаменитого «театра для себя». Барин, дворянин, любил покрови-
тельствовать молодым гениям. Пытался их даже подкармливать. Я был
в то время молодой гений. Прихожу однажды к Евреинову подкармли-
ваться. Голодный, как черт. Вола б съел.

— А, Маяковский! Рад вас видеть. Вытирайте ноги и входите. Вы,
наверное, не против хорошего ужина, по лицу вижу. Гении всегда голо-
дают. Но сейчас мы это все устроим. Фазанов любите?

(Господи, думаю, каких там еще фазанов! Мне бы любительской
колбасы с французской булкой фунта полтора да чаю с сахаром в на-
кладку стаканов шесть. А то каких-то фазанов! Но ничего не поделаешь,
театр для себя.)

Принимаю великосветский вид и небрежно роняю:

— Фазанов? Обожаю!

— Превосходно.

Великолепным жестом Евреинов нажимает кнопку электрического
звонка, и появляется горняшечка в кружевной наколке.

— Поля,— говорит томно Евреинов, запахиваясь в шелковый ха-
лат,— молодой гениальный поэт проголодался. Пойдите на кухню, узнай-

те там, остались ли от обеда фазаны, и велите подать молодому человеку.

— Слушаюсь.

— Садитесь, Маяковский. Сейчас вам подадут холодных фазанов. По-моему, это самый изысканный завтрак: холодные фазаны. Бисмарк всегда ел за завтраком — холодных фазанов.

И он, подлец, так вкусно произнес на немецкий манер слово «фазаны», что у меня потекли слюни прямо-таки, как вожжи.

— Однако, я вижу, вы большой гурман, — говорит Евреинов, и в это время входит горничная.

— Николай Николаевич, фазанов не осталось.

— Видите, Маяковский, к сожалению, фазанов не осталось, — огорченно произносит Евреинов, разводя руками. — Ничего не поделаешь. Придется вам сегодня остаться без ужина.

Представьте себе, Катаич, я чуть не заплакал от огорчения. А он ничего. Завел разговор о Гордоне Креге и Метерлинке. Это у него и называлось «театр для себя».

— Выпьем по этому случаю шампанского, — предложил я.

— Сколько раз я говорил вам, чтобы вы никогда не произносили этого глупого слова. Только выскочки и парвеню кричат на весь кабак: «Шампанского!» А всякий уважающий себя человек должен говорить «вино». А уж все окружающие должны сразу понять, что раз вы говорите вино, то имеете в виду именно шампанское, а не что-нибудь другое. И в ресторане никогда не кричите: «Шампанского!» Заказывайте официанту вполголоса, но внушительно: «Будьте так добры, принесите мне вина». Он поймет. Уж будьте уверены. Принесет, что надо.

Чтобы не вызвать язвительной полуулыбки у Маяковского, который не переваривал «хлопанья пробок», хотя и вполне признавал волшебную звукопись «шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой» и «вошел — и пробка в потолок», — я снял железную скобку, почти совсем бесшумно отвинтил пробку «абрау-дюрсо» и скромно налил в наши стаканы шипучее вино. Маяковский его только пригубил. Видно, не хотел пить. Он вообще пил немного, преимущественно легкое виноградное вино, в чем сказывалось его грузинское происхождение.

«Только нога ступила в Кавказ, я вспомнил, что я — грузин».

Водку совсем не признавал. С презрением говорил, что водку пьют лишь чеховские чиновники.

Мы долго молчали, думая каждый о своем. Не знаю, о чем думал Маяковский, но он все время как бы к чему-то прислушивался, ожидал чего-то. Я же думал о нем, которого с давних пор страстно любил как поэта, считая его равным Пушкину.

Каким же, в сущности, был этот человек, задумчиво, но прямо сидевший в темноватой комнате на диване под ленинградской афишей моего провалившегося «Авангарда»?

Горький однажды сказал при мне полушутя-полусерьезно, что он уже не человек, а учреждение. В чем-то он был прав. Про Маяковского же, несмотря на всю его громадную общественно-политическую, в том числе и организационную, работу поэта-главаря, новатора, создавшего новый русский поэтический язык, работу, которую Маяковский неустанно вел не меньше Горького, его никак нельзя было назвать учреждением. Он всегда оставался только человеком — великим художником слова, новатором-революционером с очень сложным, противоречивым харак-

тером и нежной, легко ранимой душой, «истыканной в дымы и в пальцы».

Недавно в этой же комнате Мейерхольд, засидевшись до зари, со свойственной ему страстью и преувеличениями развивал план тургеневских «Отцов и детей» для постановки в кинематографе.

Фильм должен был начаться с черной классной доски, на которой Базаров рисует мелом схему человеческой грудной клетки — белые ребра и в них — как в темнице — за решеткой — нарисованное человеческое сердце, бьющееся сначала ритмично и размеренно, подчиняясь закону кровообращения, а потом трепещущее, скачущее и вдруг замирающее в последней конвульсии.

— Базаров нигилист? Вздор! — торопливо говорил Мейерхольд своим сиплым голосом, закидывая назад узкую голову с большой беспорядочной шевелюрой так, что его носатый профиль полишинеля временами принимал как бы совсем горизонтальное положение. — Базаров умирает не от заражения крови! Базаров умирает от любви. Его убивает страсть к женщине. Да, да, вот именно! Безумная страсть! Базаров обводит углем на своей груди место, где у него колотится сердце. Он сам с ужасом замечает, что его сердце сжимается от любви, от страсти, от желанья! План постановки разработан у меня до последнего кадра.

— Кто же будет Базаров? — спросил я.

— Охлопков, — ответил Мейерхольд, — я вижу Охлопкова. Только Охлопкова, и никого другого. — И вдруг, повернув ко мне лицо, которое в фас казалось настолько узким, что как бы имело только два измерения и в третьем вовсе не просматривалось, воскликнул: — Нет! Не Охлопков! Ведь Базаров был футурист! Есть только один настоящий Базаров, который сможет умереть от любви: Маяковский! Тем более что он сам очень хороший актер. Зина, ты согласна, что Маяковский очень хороший актер в жизни? Он должен сыграть у меня Базарова. Он уже много раз снимался для синематографа. Но только не попадал в руки настоящего режиссера. Наконец — он автор нашего театра. Мы его уговорим. Решено!

И тут же он стал развивать уже совсем другой план, план постройки для его театра совершенно нового помещения.

— Это будет театр-арена. Зрители вокруг. Почти вокруг. Вокруг на три четверти, на четыре пятых. Товарищи, представьте себе, — все больше и больше распалаясь Мейерхольд, взбивая длинными пальцами свою высокую шевелюру и шагая, как на шарнирах, по комнате, то сгорбившись в три погибели, то закидывая голову назад и резко поворачиваясь. — Для открытия — «Отелло». Совершенно пустая сцена, где абсолютно ничего нет, кроме громадного, во всю арену, одноцветного ковра. Ярко-малинового. Что? Зеленого? Вот видите, Зина находит, что зеленого. Она не совсем права, но тем лучше. Громаднейший во всю арену без единой морщины темно-зеленый ковер, ослепительно ярко освещенный сверху всеми прожекторами; и в самом центре этого ковра... Нет! Не в центре, а чуть-чуть вне центра, но все-таки посередине — маленький... — Он сделал паузу и, сладостно зажмурившись, протянул руку, как бы держа в своих пальцах, длинных, как у Паганини, нечто воздушно-легкое, маленькое, волшебное. — И посередине этого ярко освещенного зеленого... — он разжал пальцы, — маленький, совсем крошечный, но пронзительно заметный из самых отдаленных точек зрительного зала — кружевной платочек с вышитой в уголке земляничкой. Больше ничего!

Это и есть «Отелло». Это и есть подлинный, настоящий Шекспир. Не правда ли, это гениально просто?

Гениально-то гениально, подумал я, но ведь все-таки Шекспира, а не Маяковского мечтает он поставить для открытия своего ультрасовременного, нового театра-арены. Почему же все-таки не Маяковского? Неужели время Маяковского — зенит его славы — прошло или во всяком случае проходит?

Не стал ли это чувствовать с некоторых пор и сам Маяковский?

Все тяжелее становилось ему переваливать года. Это уже был совсем не тот Маяковский первых лет Революции, которого я некогда увидел в Харькове, в дни поволжского голода.

Очень хорошо об этом у Олеси:

«Мы с Валентином Катаевым сидели в ложе и с неистовым любопытством ждали выхода на сцену того, чье выступление только что возвестил председатель. На сцене не было ничего, кроме столика, за которым сидел президент — по всей вероятности, люди из городского комитета партии, из редакций, из руководства комсомола. Пустая огромная сцена, в глубине ее голые стены даже с какими-то балконами...

Не только я и Катаев — два молодых поэта — охвачены волнением. Назад мы не оглядываемся, так что не можем определить, что переживает весь театр, но те, что сидят за столиком, — люди бывалые, да еще и настроенные, как это чувствуется, скептически, — вперились, видим мы, глазами туда, в тайну кулис.

Я был уверен, что выйдет человек театрального вида, рыжеволосый, почти буффон... Такое представление о Маяковском могло все же возникнуть у нас: ведь мы-то знали о желтой кофте и о литературных скандалах в прошлом!

Совсем иной человек появился из-за кулис!

Безусловно, он поразил тем, что оказался очень рослым; поразил тем, что из-под чела его смотрели необыкновенной силы и красоты глаза... Но это вышел, в общем, обычного советского вида, несколько усталый человек, в полушубке с барашковым воротником и в барашковой же, чуть сдвинутой назад шапке».

Хорошо помню и я этот вечер — Ингулов в президиуме! может быть, рядом с ним и Клавдия Заремба! — и Маяковского, так прекрасно описанного Олешей. Однако я бы не сказал, что Маяковский был в полушубке с барашковым воротником и барашковой шапке. Это не точно. Я бы сказал так: на Маяковском было темно-серое, зимнее, короткое до колен полупальто с черным каракулевым воротником и такая же черная — но не шапка, а скорее круглая неглубокая шапочка, действительно несколько сдвинутая на затылок, открывая весь лоб и часть остриженной под машинку головы.

Он вышел сбоку и, сделав строевой шаг с левой ноги вперед, громко сказал, как бы подавая самому себе команду:

— Раз-з-з!

Но это не был счет шагов, а первый слог его знаменитого «Левого марша»:

«Раз-ворачивайтесь в марше! Словесной не место кляузе. Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер».

Это была его программная вещь, и с особенной энергией он отбивал ее твердый революционный ритм, точно гвозди вколачивал в голые доски сцены.

«Левой! Левой! Левой!»

Потом он, не передохнув, прочитал от начала до конца свою громадную, совсем недавно написанную, но уже известную нам с Олешей анонимную поэму «150 000 000», потрясшую нас своим неистовством:

«Выдь не из звездного нежного ложа, боже железный, огненный боже, боже не Марсов, Нептунов и Вег, боже из мяса — бог-человек!»

Чугунно шагая по эстраде, он сделал такой жест, как будто вдруг выхватил из кармана на бедре пистолет и направил его в зрительный зал:

«Пули, погуше! По оробелым! В гушу бегущим грянь, парабеллум!»

Затем его голос загремел яростно, и он не произнес, а как-то проскрежетал:

«Самое это! С доньшка душ! Жаром, жженьем, железом, светом, жарь, жги, режь, рушь!»

И когда он дошел до стиха:

«Мы тебя доконаем, мир-романтик!» —

то нам с Олешей показалось, что он смотрит прямо на нас своими прекрасными грозными глазами, и мы даже немного подались в глубь ложи, прикрыв глаза, как от слишком яркого света.

«Вместо вер,— продолжал греметь Маяковский,— в душе электричество, пар. Вместо нищих — всех миров богатство прикарманьте!»

И тут впервые до нас полностью дошла безусловно самая страшная, беспощадная, кровавая строчка во всей мировой революционной поэзии, которая, когда мы читали ее глазами в книге, как-то ускользала от нас, а теперь неожиданно раскрылась во всей своей невероятной силе, обрушилась на нас, как взорванная стена.

«Стар — убивать. На пепельницы черепá!»

Это было так страшно, что даже потом, когда, переменив манеру чтения, Маяковский почти пропел в стилизованно-русской частушечной манере строчки об Америке:

«Мир, из света частей собирая квинтет, одарил ее мощью магической. Город в ней стоит на одном винте, весь электро-динамо-механический», мы уже не могли оценить их по достоинству. И лишь когда Маяковский, до последней степени усталый, вытирая шапкой блестящую от пота свою коротко остриженную голову, в последнем усилии напрягая свой рокошущий, уже сорванный голос, бросил в черный молчаливый зал концовку своей героической поэмы:

— «...цвети, земля, в молотье и в сеятьбе. Это тебе революций кровавая Илиада! Голодных годов Одиссея, тебе!» —

мы очнулись — и то не сразу — и впервые поняли, что собой — по-настоящему — представляет Маяковский, его подлинный масштаб.

По самой своей духовной сути он был поэт трагический и только на этом пути мог создавать действительно гениальные вещи.

Тема вечной неразделимой любви и смерти всегда находилась в центре его творчества, его человеческой личности. Каждая его поэма — хождение души по мукам, гибель и затем апофеоз воскресения для новой, неслыханно прекрасной и справедливой, вечно счастливой, идеальной общечеловеческой жизни.

В поэме «Владимир Ильич Ленин» — то же самое. Тема смерти переходит в апофеоз:

«Выше солнце!.. Стала величайшим коммунистом-организатором даже сама Ильичева смерть... Рабы, разгибайте спины и колени! Армия пролетариев, встань, стройна! Да здравствует революция, радостная и скорая! Это — единственная великая война из всех, какие знала история».

...Он жаждал Революции радостной и скорой...

Одна из моих любимейших вещей Маяковского — «Хорошо!», где в трагическом зареве уличных октябрьских костров так неповторимо-прекрасно «тонула Россия Блока», тоже заканчивается апофеозом: «Жизнь прекрасна и удивительна».

Я уже не говорю о поэме «Про это» с потрясающим романсом о мальчишке-самоубийце.

«Вата снег. Мальчишка шел по вате. Вата в золоте — чего уж пошловатей?! Но такая грусть, что стой и грустью ранься! Расплывайся в процыганенном романсе.

Мальчик шел, в закат глаза уставя. Был закат непревзойдимо желт. Даже снег желтел к Тверской заставе. Ничего не видя, мальчик шел. Шел, вдруг встал. В шелк рук сталь. С час закат смотрел, глаза уставя, за мальчишкой легшую кайму. Снег хрустя разламывал суставы. Для чего? Зачем? Кому? Был вором-ветром мальчишка обыскан. Попала ветру мальчишки записка. Стал ветер Петровскому парку звонить:

— Прощайте... Кончаю... Прошу не винить...

До чего ж на меня похож!»

Когда я впервые услышал эти строки-исповедь, прочитанные Маяковским с эстрады Политехнического музея перед стулом, на котором висел его пиджак и узкий галстук, мне сразу же представился другой Маяковский, автор поэмы «Люблю», нищий мальчишка, мечтающий о вечной, единственной, великой любви.

«Любить? Пожалуйста! Рубликов за сто. А я, бездомный, ручища в рваный в карман засунул и шлялся, глазастый».

Для Маяковского — да и для всех других поэтов — время шло по вертикали сверху вниз; так он и записывал свои строки. Для меня же

время идет по горизонтали — туда или даже иногда обратно, — поэтому я записываю стихотворные строчки в одном направлении — по течению времени.

Однажды ночью мы шли с ним по горизонтали пустынной Мясницкой — он заходил ко мне в Мыльников, и я пошел проводить его до Лубянского проезда, ныне Серова, — и я попросил его как-нибудь прочесть мне «Облако в штанах».

Он остановился, посмотрел на меня исподлобья и неожиданно рывкнул на всю улицу, разевая свою львиную пасть:

— Редчайшая бестактность!

Я струхнул.

— Почему же бестактность? Простите... Но мне давно уже... так хотелось... Почти все ваши вещи слышал в вашем исполнении... А «Облака» не слышал... не пришлось...

Он взъярился еще пуще.

— «Облако в штанах!» — заревел он. — А почему вы не просите меня прочесть «Хорошо!»? Почему?

В голосе его я уловил горечь.

— Что? Думаете, «Облако» лучше? А я считаю, что «Хорошо!» лучше. «Хорошо!» — лучшее мое произведение. И вообще, — снова поднял он свой разъяренный голос, — никогда не смейте просить поэта прочесть что-нибудь старое, вчерашнее. Нет хуже оскорбления. Потому что у настоящего мастера каждая новая вещь должна быть лучше прежних. А если она хуже, то значит поэт кончился. Или во всяком случае — кончается. И говорить ему об этом — феерическая бестактность! Зарубите себе на носу. Фе-е-ри-чес-кая!..

Я понял, что, совсем не желая того, коснулся самого его больного места:

«Все меньше любитя, все меньше дерзаетя, и лоб мой время с разбега крушит. Приходит страшнейшая из амортизаций — амортизация сердца и души».

...Сумерки продолжались. Маяковский пронизательно посмотрел на меня и улыбнулся половиной лица.

— Катаич, у меня сложилось такое впечатление, что у вас назначено свиданье, вам надо сломя голову мчаться, чтобы не опоздать, а вы стесняетесь сказать мне это.

«Я был молод, когда познакомился с Маяковским. — пишет Олеша, — однако любое любовное свидание я мог забыть, не пойти на него, если знал, что час этот проведу с Маяковским».

Я тоже любил Маяковского не менее сильно, чем Олеша, и я тоже был молод, но даже ради него не мог нарушить данного слова.

Он поощрительно кивнул мне головой.

Оставив Маяковского одного в своей комнате, я вышел из дома и, мобилизовав все виды транспорта, слетал туда и обратно — извинился, отменил, перенес, поцеловал, обнял — и, вернувшись минут через сорок, нашел его все на том же месте возле совсем посиневшего окна.

— Простите, — сказал я.

Он невесело улыбнулся одной щекой.

— Понимаю вас.

И пояснил своим любимым четверостишием из «Онегина»:

— «Я знаю: век уж мой измерен; но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я».

В этот миг вдруг раздался звонок до сих пор молчавшего телефона.

По-видимому, наступил тот московский час, когда знакомые начинали перезваниваться, сговариваясь, где бы провести сегодняшний вечерок. В последнее время почти каждый день почему-то собирались у меня, так что моя квартира превратилась в подобие ночного клуба.

Едва я успел снять трубку, как Маяковский стремительно шагнул ко мне и сделал повелительный жест рукой, обозначавший приказание, прежде чем ответить, прикрыть телефонную трубку, что я и выполнил.

— Кто звонит? — спросил Маяковский.

— Сейчас узнаем.

Дальнейшее происходило так: я спрашивал, кто говорит, закрывал ладонью трубку и вполголоса сообщал Маяковскому имя звонившего, а он, несколько мгновений подумав, утвердительно или отрицательно, но чаще отрицательно кивал головой. Иногда прибавлял при этом что-нибудь вроде: «Пусть приходит» или «А ну его к черту», а то еще и значительно похуже, после чего я покорно говорил в трубку: «Я сегодня вечером занят» или «Приходите».

В этот день как раз звонило особенно много разного народа, и Маяковский, как золотоискатель, самым тщательным образом промывал звонки, оставляя редкие крупинки чистого золота: тех людей, которые должны были сегодня вечером составить ему компанию.

Было трудно понять, чем он руководствовался при этом выборе. Удивляло, что он отверг некоторых своих общепринятых друзей, товарищей по «Лефу», и сделал это с выражением — я бы даже сказал — яростного отвращения: «А, пошел он к...»

Такая же участь постигла и одного очень известного поэта другого лагеря, позвонившего мне в этот вечер.

— Не надо, — буркнул Маяковский, махнув рукой, и повернулся спиной к телефону.

Он недавно вступил в РАПП и, конечно, уже страшно раскаивался. Поспешил. Погорячился. Сделал ложный шаг. Я думаю он уже понимал, что, в сущности, РАПП такой же вздор, как и «Леф». Литературная позиция — не больше.

До живого же Маяковского — человека, поэта, сложного и очень противоречивого — независимого и одинокого, как Пушкин, — большинству из них не было никакого дела. Для них — и для футуристов в прошлом, а ныне «лефов» в том числе — он был счастливая находка, выгоднейший лидер, человек громадной пробивной силы, за широкой спиной которого можно было пролезть без билета в историю русской литературы. Рай для примазавшихся посредственностей, оперативных молодых людей, бряцавших своим липовым лефовством, которые облепили Маяковского со всех сторон, общими усилиями принижая его до своего провинциального уровня, выросли на нем, как ракушки на киле океанского корабля, мешая его ходу.

Он был в отчаянии, он не знал, как от них избавиться от всех этих доморощенных «лефов», невежественных и самонадеянных теоретиков,

высасывающих теорию литературы из гимназических учебников старших классов...

Каких только монстров не было среди них!

Был даже один среднего размера карлик — страшный новатор, формалист и революционер в искусстве, разумеется, превратившийся с течением времени в самого вульгарного, благонамеренного научно-образного строчкогона-консерватора, имеющего репутацию большого знатока литературы: фельдшер, выдающий себя за доктора медицины.

Поэт, неустанно боровшийся за освобождение человека от всех видов духовного рабства, незаметно для самого себя превратился в раба, по рукам и ногам скованного предрассудками так называемой литературной борьбы, которую совсем недавно сам же публично назвал «литературным мордобоем — не в буквальном смысле слова, а в самом хорошем».

Ну, пусть даже так: в самом хорошем смысле. Но страшно подумать, сколько он потратил своих драгоценнейших душевных сил на весь этот вздор.

Теперь он как бы вдруг на моих глазах сбросил с себя эти оковы и стал безгранично свободным, как и подобало поэту, одна лишь поэма которого стоила в тысячу раз дороже всех внутрилитературных скандалов и направлений, вместе взятых.

Пора великих превращений начиналась для него с возвращения внутренней свободы, душевной раскованности. Ему уже не надо было в угоду чьей-то выдуманной теории наступать на горло собственной песни, вычеркивать из своих стихов поразительные по силе куски, как это случилось со знаменитым:

«Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят — что ж?! По родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь».

За одно это четверостишие — по-моему — ему нужно было поставить памятник, а ему пришлось в угоду кому-то или чему-то публично за это четверостишие каяться, называя его «райским хвостиком, приделанным к одному из своих неуклюжих бегемотов-стихов»,

добавляя при этом:

«Несмотря на всю свою романсовую чувствительность (публика хватается за платки), я эти красивые, подмоченные дождем перышки вырвал».

Какие же унижения при этом должен был испытать он, мастер, отлично знающий настоящую цену этим своим строчкам!

Что же заставило его так несправедливо, а главное, неверно называть одни из своих лучших строк «подмоченными»?

А бесконечные унижения, связанные с оскорбительным прохождением через тогдашний Главрепертком комедии «Баня», где он так блестяще дрался на два фронта — против правых оппортунистов и левых загибщиков?

Сначала все шло как будто хорошо.

Чтение в фойе театра Мейерхольда — там, где сейчас Зал имени Чайковского. Окна — на Триумфальную, ныне площадь Маяковского с его памятником, на месте которого тогда был зеленый провинциальный сквер, и вокруг него, как заводные игрушки, бегали, роняя искры, еще не вполне устаревшие электрические трамваи, те самые московские трамваи времен юного Маяковского, о которых он так замечательно сказал:

«Язык трамвайский вы понимаете?»

И еще более замечательно:

«...тысячью поцелуев покрою умную морду трамвая».

Над домиком трамвайной станции, над нестриженной зеленью сквера виднелись отовсюду знаменитые часы — как сказал бы Олеша, «бочка счастья», — знаменитые электрические часы, под которыми обычно назначались в Москве наиболее важные любовные свидания, в том числе, конечно, назначались и самим Маяковским.

Пыльное, особенно бесприютное какое-то при свете буднего дня фойе, где ничего не говорило о том, что это фойе всемирно известного театра режиссера-новатора, каждая новая постановка которого — событие, драка, скандал.

Скрипучие старые венские стулья, расставленные как попало перед маленьким кухонным, ничем не покрытым столиком с графином водопроводной воды и полоскательницей, уже полной скисших огурков.

Но зато какие люди! Цвет театрального мира, цвет художественной интеллигенции.

Писатели, которых притащил с собой Маяковский, были: Эрдман, Зоценко, Бабель, Вольпин...

Наконец сам Мейерхольд, элегантно-затрапезный, с вьющимся, полуразвязанным, узким, сильно поношенным, но тем не менее явно парижским галстуком, заброшенной назад, за плечи носатой головой и музыкальными руками, так странно движущимися, что можно поклясться, что их не две, а по крайней мере четыре, как у индийского божества. Это не я придумал. Так его написал Борис Григорьев, кажется, даже в цилиндре: несколько рук в белых перчатках. А может быть, и не Григорьев. Не помню.

Кажется, даже пришли кое-кто из мхатовцев. Так сказать, лазутчики из враждебного лагеря. Аки. Наверное — Марков Паша, как мы его тогда называли, со своими вздернутыми короткими черными бровями, как у самурая, и простодушно-ядовитейшей улыбкой. Он уже давно, втайне, охотился за Маяковским, желая заставить его написать пьесу для МХАТа. Маяковский — на сцене Художественного. Вот был бы номерок! Скандал на весь крещеный мир!

(—Хо-хо-хо,— захлебываясь, хохотал Марков.)

— А, собственно, почему бы и нет? Ведь сам мастер Мейерхольд из тех же конюшен. Бывший актер Художественного театра. (Играл Треплева, играл Шуйского в «Царе Федоре».)

Марков недавно, путем невероятных трудов и хитростей, затащил Маяковского во МХАТ на «Дни Турбиных» Булгакова. Маяковский улизнул после третьего акта.

На вопрос Маркова:

— Ну, что вы скажете? —

Маяковский ответил:

— Не знаю. Не видел хвоста. Поэтому не могу и определить, что это за зверь ваш Булгаков: крокодил или ящерица.

Сняв по своему обыкновению пиджак и повесив его на спинку стула, Маяковский развернул свою рукопись — как Мейерхольд любил говорить: манускрипт, — хлопнул по ней ладонью и, не теряя золотого времени на предисловие, торжествующе прорычал:

— «Баня», драма в шести действиях! — причем метнул взгляд в нашу сторону, в сторону писателей; кажется, он при этом даже задорно подмигнул.

Он читал отлично, удивив всех тонким знанием украинского языка, изображая Оптимистенко, причем сам с трудом удерживался от смеха, с усилием переводя его в однобокую улыбку толстой, подковообразной морщиной, огибающей край его крупного рта с окурком толстой папиросы «госбанк».

После чтения, как водится, начались дебаты, которые, с чьей-то легкой руки, свелись, в общем, к тому, что, слава богу, среди нас наконец появился новый Мольер.

Как говорится, читка прошла «на ура», и по дороге домой Маяковский был в прекрасном настроении и все время допытывался, не кажется ли нам, что в шестом действии чего-то не хватает?

— Чего же?

— Не знаю. Вам как автору всемирно популярной «Вишневой квадратуры» должно быть виднее. Нет, нет, не сердитесь, это я люблю.

— Любя вставили мой водевильчик в свою высокую комедию?

— Зато какая реклама! Так все-таки чего же не хватает у меня в шестом действии?

— Не знаю.

— А я знаю, — подумав, сказал Маяковский. — Еще должен быть какой-то вставной номер о пафосе наших дней. Без этого нет равновесия. Я его завтра утром напишу.

Когда мы на другой день встретились с ним случайно на Большой Дмитровке, против ломбарда, — он сразу же сказал:

— Только что написал. Именно то, чего не хватало.

Он достал из бокового кармана вчетверо сложенный лист графленой бумаги, но не стал в нее смотреть, даже не развернул, а, продолжая идти по улице, — под ногу прочел «Марш времени».

— «Шагай, страна, быстрее, моя, коммуна у ворот. Вперед, время! Время, вперед!»

— Как вы думаете, Мейерхольду понравится?

— Он будет в восторге. В этом же самая суть нашей сегодняшней жизни. Время, вперед! Гениальное название для романа о пятилетке.

— Вот вы его и напишите, этот роман. Хотя бы о Магнитострое. Названье «Время, вперед!» дарю, — великодушно сказал Маяковский, посмотрев на меня строгими, оценивающими глазами.

Однако вскоре на пути «Бани», к общему удивлению, появилось множество препятствий — нечто весьма похожее на хорошо организованную травлю Маяковского по всем правилам искусства, начиная с псевдомарксистских статей одного из самых беспринципных рапповских крити-

ков, кончая замалчиванием «Бани» в газетах и чудовищными требованиями Главреперткома, который почти каждый день устраивал обсуждения «Бани» в различных художественных советах, коллективах, на секциях, пленумах, президиумах, общих собраниях и где заранее подготовленные ораторы от имени советской общественности и рабочего класса подвергали Маяковского обвинениям во всех смертных литературных грехах — чуть ли даже не в халтуре.

Дело дошло до того, что на одном из обсуждений кто-то позволил себе обвинить Маяковского в великодержавном шовинизме и издевательствах над украинским народом и его языком.

Никогда еще не видел я Маяковского таким растерянным, подавленным. Куда девалась его эстрадная хватка, убийственный юмор, осанка полубога, поражающего своих врагов одного за другим неотразимыми остротами, рождающимися мгновенно.

Он, первый поэт Революции, как бы в один миг был сведен со своего пьедестала и превращен в рядового, дюжинного, ничем не выдающегося литератора, «протаскивающего свою сомнительную пьеску на сцену».

Маяковский не хотел сдаться и со все убывающей энергией дрался за свою драму в шести действиях, которая сейчас, когда я пишу эти строки, уже давно и по праву считается классической.

— Слушайте, Катаич, что они от меня хотят?— спрашивал он почти жалобно.— Вот вы тоже пишете пьесы. Вас тоже так режут? Это обычное явление?

— Ого!

Я вспомнил экземпляр одной из своих пьес, настолько изуродованной красными чернилами, что Станиславский несколько дней не решался мне его показать, опасаясь, что я умру от разрыва сердца.

Маяковский брал меня с собой почти на все читки. По дороге обыкновенно советовался:

— А может быть, читать Оптимистенко без украинского акцента? Как вы думаете?

— Не поможет.

— Все-таки попробую. Чтобы не быть великодержавным шовинистом.

И он пробовал.

Помню, как ему было трудно читать текст своего Оптимистенко «без украинского акцента». Маяковский всю свою энергию тратил на то, чтобы Оптимистенко получился без национальности, «никакой», бесцветный персонаж с бесцветным языком. В таком виде «Баня», конечно, теряла половину своей силы, оригинальности, яркости, юмора.

Но что было делать? Маяковский, как мог, всеми способами спасал свое детище. Все равно не помогло. К великодержавному шовинизму на этот раз, правда, не придирались, но зато обвинили в «барски-пренебрежительном отношении к рабочему классу».

— Что это за Велосипедкин! Что это за Фоскин, Двойкин, Тройкин! Издевательства над рабочей молодежью, над комсомолом. Да и образ Победоносикова подозрителен. На кого намекает автор? И прав товарищ Мартышкин, когда отмечает, что характеры, собранные Маяковским, далеко не отвечают требованиям единственно правильной марксистской теории живого человека. Так что учтите это, товарищ Маяковский, пока еще не поздно, пока вы еще не скатились в мелкобуржуазное болото.

— Запрещаете?

— Нет, не запрещаем.
 — Значит, разрешаете?
 — Не разрешаем.
 — А что же?
 — А то, что сделайте для себя надлежащие выводы, если не хотите из левого попутчика превратиться в попутчика правого, а то еще и похуже...

Маяковский метался по фанерному закутку среди приказов и пожелтевших плакатов, как бы с трудом пробиваясь сквозь слоеные облака табачного дыма, висевшего над столом с блюдечками, наполненными окурками, с исписанными листами газетного срыва, с обкусанными карандашами и чернильницами-непроливайками с лиловыми чернилами, отливающими сухим металлическим блеском. И за его острыми, угловатыми движениями с каменным равнодушием следили разнообразные глаза распаренных многочасовым заседанием членов этого адского художественного совета образца тысяча девятьсот двадцать девятого года, как бы беззвучно, но злоуще повторяющих в такт его крупных шагов: «Очернительство... очернительство... очернительство...»

Особенно душил его сам председатель, доведя Маяковского до того, что однажды он в поезде «Красная стрела» Москва—Ленинград, стоя в коридоре международного спального вагона, держа в руке стакан чаю в тяжелом мельхиоровом подстаканнике, поставив толстую подошву своего башмака на медную панель отопления, яростно перетирая окурки боковыми зубами и глядя в окно на проносящиеся мимо парные телеграфные столбы — одна опора прямо, другая отставлена в сторону, что делало их похожими на двух чечеточников, — вдруг начал читать только что сочиненные им злейшие эпиграммы. Одна была на поэта С. и заканчивалась цитатой из Крылова: «И рылом подрывать у дуба корни стала», в другой говорилось: «И бард поет, для сходства с Байроном на русский на язык прихрамывая», а третья была такая: «Подмяв моих комедий гдыбы, Главрепертком сидит Гандурин.— А вы ноктюрн сыграть могли бы на этой треснувшей бандуре?»

Он прочел эти эпиграммы, окружив рот железными подковами какой-то страшной, беспощадной улыбки.

Такую железную улыбку я видел у него несколько раз, в частности в тот день, когда я познакомил его в редакции «Красного перца» с Булгаковым, которого Маяковский считал своим идейным противником.

Булгаков с нескрываемым любопытством рассматривал вблизи живого футуриста, лэфовца, знаменитого поэта-революционера; его пронзительные, неистовые жидковато-голубые глаза скользили по лицу Маяковского, и я понимал, что Булгакову ужасно хочется померяться с Маяковским силами в остроумии.

Оба слыли великими остряками.

Некоторое время Булгаков молча настороженно ходил вокруг Маяковского, не зная, как бы его получше задрать. Маяковский стоял неподвижно, как скала. Наконец Булгаков, мотнув своими блондинистыми студенческими волосами, решил:

— Я слышал, Владимир Владимирович, что вы обладаете неистощимой фантазией. Не можете ли вы мне помочь советом? В данное время я пишу сатирическую повесть, и мне до зарезу нужна фамилия для одного моего персонажа. Фамилия должна быть явно профессорская.

И не успел еще Булгаков закончить своей фразы, как Маяковский буквально в ту же секунду, не задумываясь, отчетливо сказал своим сочным баритональным басом:

— Тимерзяев.

— Сдаюсь!— воскликнул с ядовитым восхищением Булгаков и поднял руки.

Маяковский милостиво улыбнулся.

Своего профессора Булгаков назвал: Персигов.

Из воспоминаний о Маяковском. Стружки.

— Володя, ты совсем перестал заниматься французским языком!

— Тише, Лиличка, не спугни: он у меня сам собой зреет во рту, как колос.

— Сколько должно быть в пьесе действий?

— Самое большое пять.

— У меня будет шесть.

В конце вечеринки:

— Ну, товарищи, Олеша уже начал говорить по-французски. Пора расходиться.

— Сначала вы всех любите и вас все любят. И все идет хорошо. Потом вас все любят, кроме одной, именно той, которую вы любите. И так всегда.

— Плюну я, кажется, на все и буду читать свои стихи из-под полы по рублю за строчку.

— Коля звезда первой величины.

— Вот именно. Первой величины, четырнадцатой степени.

— Чего бы вы хотели больше всего на свете?

— Иметь карликового бегемотика, ручного, чтобы он сидел под столом, как собака.

— А есть такие?

— Своими глазами видел в Америке. Стоят 6000 долларов штука.

...Вот он теперь опять передо мной — то сидит, то встает, то ходит, то поворачивается в совсем уже темной комнате с посиневшими окошками,— воплощенная метафора из «Облака».

«Меня сейчас узнать не могли бы: жилистая громадина стонет, корчится. Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется! Ведь для себя не важно и то, что бронзовый, и то, что сердце — холодной железкою... И вот, громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошечное»...

Ну и так далее.

Прислушивался. Ждал. Сказал ходовую фразу, популярную тогда в нашей компании:

— Чарли ждет гостей, а гости не пришли.

Но как раз в этот миг в передней раздался звонок. Шум голосов. Вспыхнул свет. Восклицания. Все изменилось. Еще звонок. Еще восклицания. Стали подваливать выбранные Маяковским гости...

Что же было потом? Обычная московская вечеринка. «Завернули на огонек». Сидели в столовой. Чай, печенье. Бутылки три рислинга. Как большая редкость — коробка шоколадного набора: по краям бумажные кружевца, а в середине серебряная длинногорлая фляжечка ликерной конфеты. В виде экспромта, забавного курьеза остатки от обеда — миска вареников с мясом, которые еще больше подчеркивали случайный характер вечеринки, ее полную непреднамеренность. Сидели тесно вокруг стола. Стульев, конечно, не хватило. Мы с Маяковским рядом на большой бельевой корзине, покрытой шкурой бурого медведя.

Маяковский опирался локтем на громадную тяжелую медвежью голову, изредка ее приподнимал за черное рыло и нежно заглядывал в стеклянные карие глазки и в узкую крашеную пасть с белыми зубками и желтыми клыками.

Он был совсем не такой, как всегда, не эстрадный, не главарь. Притихший. Милый. Домашний.

— Владимир Владимирович, хотите вареников?

— Благодарю вас.

— Благодарю вас да или благодарю вас нет?

Можно себе представить, каким фейерверком острот, шуток, каламбуров взорвался бы в другое время Маяковский, не упускавший ни малейшего повода устроить блестящий словесный турнир и, разумеется, выйти из него победителем. В этой области у него не было соперников. И вдруг ему предлагают вареников — простых, обыкновенных, общечеловеческих вареников с мясом. Какой богатейший материал для остроумия, для словесной игры!

Однако в этот вечер Маяковского как будто подменили. Он вежливо отвечает:

— Да, благодарю вас.

Он, который даже в парикмахерской требовал:

«Причешите мне уши».

За столом в этот вечер острили все, кроме Маяковского. Молодые мхатовские актеры, львы, все время задирали знаменитого поэта и остролова, вызывая на турнир остроумия. Не без опаски пробовали свои силы. Но он либо отмалчивался, либо вяло отбивался. Можно было подумать, что он вдруг под действием какого-то странного волшебства потерял дар остроумия.

Но зато в нем в полную силу засияло другое качество — драгоценный дар душевного тепла, доброты, нежности, скромности, всего того, что он так застенчиво таил в своем большом жарком сердце.

Молодой Борис Ливанов, в те времена еще подававший большие надежды, красавец актер ростом почти с Маяковского, ну, может быть, на два пальца ниже, обаятельный простака и герой-любовник, уже хлебнувший сладкой отравы сценического успеха, весельчак и душа-парень, жаждал померяться остроумием с Маяковским и все время задирался, подбрасывал ему на приманку едкие шуточки, однако безрезультатно. Маяковский отмалчивался. Не отставал от Маяковского и молодой Яншин, тоже уже знаменитый на всю Москву, прославившийся в роли Лариосика в наимоднейшей пьесе Булгакова «Дни Турбиных», — тоненький, немного инфантильный, мягко ритмичный, полный скрытого мягкого юмора, не лишенного, однако, большой дозы сарказма. Такому — пальца в рот не клади, не доверяй его детской улыбке!

Если наскоки Ливанова на Маяковского имели характер железных перчаток, вызова на турнир, то реплики Яншина, сказанные слабым

невинным комедийным голоском и поданные в духе дружеской шуточки, жалили Маяковского исподтишка, но тоже без видимого результата. Они не могли вывести Маяковского из того странного лунатического состояния, в которое он как бы погружался все глубже и глубже, лишь изредка приходя в себя — всплывая на поверхность — и оглядываясь по сторонам, ища точки опоры.

Человеческая память обладает пока еще не объяснимым свойством навсегда запечатлеть всякие пустяки, в то время как самые важные события оставляют еле заметный след, а иногда и совсем ничего не оставляют, кроме какого-то общего, трудно выразимого душевного ощущения, может быть, даже какого-то таинственного звука. Они навсегда остаются лежать в страшной глубине на дне памяти, как потонувшие корабли, обрастая от киля до мачт фантастическими ракушками домыслов.

Память моя почти ничего не сохранила из важнейших подробностей этого вечера, кроме большой руки Маяковского, его нервно движущихся пальцев — они были все время у меня перед глазами, сбоку, рядом, — которые машинально погружались в медвежью шкуру и драли ее, скубали, вырывая пучки сухих бурых волос, в то время как глаза были устремлены через стол на Нору Полонскую — самое последнее его увлечение, — совсем молоденькую, прелестную, белокурую, с ямочками на розовых щеках, в вязаной тесной кофточке с короткими рукавчиками — тоже бледно-розовой, жерсе, — что придавало ей вид скорее юной спортсменки, чемпионки по пинг-понгу среди начинающих, чем артистки Художественного театра вспомогательного состава.

Это уже была не таракуцка, а девушка модного типа «ай добль-добль ю», как мы тогда говорили, цитируя стихи Асеева.

С немного испуганной улыбкой она писала на картонках, выломанных из конфетной коробки, ответы на записки Маяковского, которые он жестом игрока в рулетку время от времени бросал ей через стол и, ожидая ответа, драл невычищенными ногтями пыльную шкуру медведя, «царапая логово в двадцать ногтей», как говорилось в его до сих пор еще кровоточащей поэме «Про это».

Картонные квадратики летали через стол над миской с варениками туда и обратно. Наконец конфетная коробка была уничтожена. Тогда Маяковский и Нора ушли в мою комнату. Отрывая клочки бумаги от чего попало, они продолжали стремительную переписку, похожую на смертельную молчаливую дуэль.

Он требовал. Она не соглашалась. Она требовала — он не соглашался. Вечная любовная дуэль.

Впервые я видел влюбленного Маяковского. Влюбленного явно, открыто, страстно. Во всяком случае тогда мне казалось, что он влюблен. А может быть, он был просто болен и уже не владел своим сознанием. Всюду по квартире валялись картонные кусочки, клочки разорванных записок и яростно смятых бумажек. Особенно много их было в корзине под письменным столом.

В третьем часу ночи главные действующие лица и гости — стати, о которых мне нечего сказать, кроме хорошего, — всего человек десять, — стали расходиться.

Маяковский торопливо кутал горло шарфом, надевал пальто, искал палку и шляпу, насморочно кашлял.

— А вы куда? — спросил я почти с испугом.

— Домой.

У него всегда было два дома. Комната у Бриков и комната в большом доме на Лубянской улице, где он работал: большое, конструктивно-целесообразное шведское бюро желтого дерева; стул; железная кровать; на пустой стене небольшая распространенная фотография Ленина на трибуне; та самая комната, в которой:

«Я и Ленин — фотографией на белой стене».

Сюда пришел я однажды к Маяковскому пригласить его сотрудничать в «Красном перце» и помню его коротко остриженного под машинку, веселого, задиристого, боевого, полного жизни и энергии; он тотчас же изъявил готовность тряхнуть стариной, вспомнить сатириконовские времена. Тут же, стоя во весь свой могучий рост возле этого самого шведского бюро, он предъявил журналу свои условия и обязался приходить на все редакционные, так называемые темные (от слова «тема») заседания, что исполнял всегда с точностью настоящего, профессионального журналиста.

На первом же заседании он буквально завалил нас темами, мелочишками, идеями, подписями под рисунками, так что журнал сразу засветился всеми красками «маяковской сатиры», его неповторимого юмора.

Мне казалось, что это было очень давно, вечность назад, хотя на самом деле прошло не больше шести лет. Как сказал бы Бунин:

«Прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных песочных часах»...

Внешне Маяковский мало изменился, почти совсем не постарел, но в то же время был уже совсем другим, явно отягощенным жизнью, которая каждый день требовала от него нечеловеческого творческого напряжения, отдачи всего себя без остатка делу Революции.

В передней была обычная суматоха, толкотня, назначение свиданий, неразбериха кашне, шапок, пальто, кепок; расталкивая всех локтями, подавали дамам манто. Всклициания. Извинения. Кто-то зевал — сладко, откровенно, предрассветно, по-московски.

Слышу трудное, гриппозное дыхание Маяковского.

— Вы совсем больны. У вас жар! Оставайтесь, умоляю. Я устрою вас на диване.

— Не помещусь.

— Отрублю вам ноги.

— И укроете меня Энциклопедическим словарем «Просвещение», а под голову положите юбилейный прибор вашего дяди земца?.. Нет! Пойду лучше домой. На Гендриков.

В голосе его слышалось глубокое утомление.

— Кланяйтесь Брикам. Попросите, чтобы Лиля Юрьевна заварила вам малины.

— Брики в Лондоне,— мрачно пробормотал он, и мне вдруг стало поразительно ясно, как ему одиноко по вечерам в пустой квартире на Гендриковом.

— Что же вы один будете там делать?

— Искать котлеты. Пошарю в кухне. Мне там всегда оставляет котлеты наша рабыня. Люблю ночью холодные котлеты.

Я чувствовал, что ему совсем плохо.

Прощаясь, Ливанов по московской привычке поцеловался со мной. Маяковский в это время подавал пальто Норочке. Увидев, что мы с Ливановым целуемся, он вдвинулся между нами, ревниво отстранил

Ливанова и, наклонившись, приблизил ко мне свое длинное скуластое лицо, показавшееся мне в сумерках передней громадным, чугунно-черным. Я никогда еще не видел его так близко и не представлял себе, каким пугающим оно может быть вблизи. Он как бы через увеличительные стекла заглянул в мои глаза — с торопливой нежностью, с отчаянием, — и я почувствовал на своем лице колючее прикосновение его скуластой небритой щеки. Потом он поцеловал меня громадными губами оратора, плохо приспособленными для поцелуев, и сказал, впервые обращаясь ко мне на ты, — что показалось мне пугающе-странным, так как он никогда не был со мной на ты:

— Не грусти. До свиданья, старик.

И сейчас же — огромный, неповоротливый, со шляпой, надвинутой на нос, с горлом, закутанным шарфом, — вышел вслед за Норой Полонской на темную, совсем не освещенную лестницу, где Яншин, приговаривая что-то своим юмористическим театральным голосом, водил по воздуху зажженной спичкой, отчего по голой стене лестничной клетки как бы пролетела тень — черно-пепельных крыльев Азраила.

...Он зигзагами метался на небольшой высоте, облетая старинные шатровые колоколенки и повторяя ломаные повороты московских улиц и переулков, метался по предрассветному городу, шуршал над крышами угловатыми складками обугленных одежд, выставив вперед на вытянутой руке обоюдоострый меч.

Очень поздним утром меня разбудил повторный телефонный звонок. Первого я не услышал.

— Только что у себя на Лубянском проезде застрелился Маяковский.

Он выстрелил себе в сердце из маленького карманного маузера, и в тот же миг время для него уже потекло в другую сторону, «все перепуталось, и некому сказать, что, постепенно холодея, все перепуталось и сладко повторять»:

— Россия, Лета, Лорелея».

Сблизив головы, мы сидели в пустой, холодной пивной на Никольской против Гиза, за ярким от солнца ясеневым столиком, желтизну которого усиливали лаковые отражения жигулевского пива, падавшие из наших стаканов, к которым мы так ни разу и не прикоснулись губами, охваченные холодом сиротства, и говорили вполголоса о Маяковском — все о нем, все о нем, — напрягая все свои умственные и душевные силы, тщась объяснить то, что было, в сущности, так просто и что казалось нам тогда необъяснимым.

— Если бы Брики были в Москве, он бы этого не сделал, — время от времени повторял Бабель с горестным изумлением, почти с ужасом поднимая брови и оглядывая нас — Олешу и меня — своими маленькими, детскими кругленькими глазками — робкими, наивными и вместе с тем полными скрытого лукавства, озорства и еврейской иронии, сейчас неуместной.

Его круглые, немодные, стариковские очки в тонкой оправе как нельзя больше соответствовали характеру его лица с большим, лысым, покатым, но неровным лбом, с некоторыми вогнутостями над бровями, что делало выражение его лица еще более удивленно-напряженным. Утиный нос, срезанный на самом кончике, и тонкие улыбающиеся

губы, изогнутые ижицей, как бы готовые каждый миг раскрыться для того, чтобы медлительно произнести ядовитейшее замечание, как он любил выражаться: «Замечание из жизни».

— Слушайте, я вам сейчас скажу замечание из жизни,— обычно говорил он,— недавно побывал я в нашей с вами родной Одессе.— Саркастически-благостный взгляд из-под очков.— Пошел на привоз. На наш с вами знаменитый привоз. Надеюсь, вы еще не забыли его? Такой же самый, как был при нас. Сидит торговка перед своей корзинкой с куриными яичками и на весь привоз стонет: «Ох, эта мне дороговизма!».

Но сейчас его лицо растерянно, бледно, на порозовевших веках слезы.

— Слушайте меня, поймите: мы все в этом виноваты. Все люди, которые его любили по-настоящему. Его нужно было обнять, может быть, поцеловать, сказать, как мы его любим. Просто, по-человечески пожалеть его. А мы этого не делали. Мы стеснялись быть сентиментальными. Мы обращались с ним, как с бронзовым. Уже как с памятником. А он был самый обыкновенный человек. Подверженный простудам. Вечно в гриппу. Со слабыми нервами. Почему, ах, почему вы его отпустили среди ночи, не оставили у себя?

— Но разве я мог хоть на один миг предположить, что...

— Вот именно, именно! Все относились к нему, как к бронзовому. А он был «боже из мяса — бог-человек». А главное,— тут Бабель снова посмотрел на нас — на Олешу и на меня — не то вопросительным, не то пророческим взглядом.— А главное,— медлительно проговорил он,— Маяковский был слишком идеалист. Вы знаете женщин, которые слишком страстно отдаются своей любви. Это прекрасно, но это трагично. Чаще всего они гибнут, будучи не в состоянии вынести ни малейшего охлаждения, неизбежного при длительной связи. Жизнь оказывается для них слишком матерьяльной. Их души слишком нежны, слишком легко ранимы. «Любовная лодка разбилась о быт». Это как раз тот случай. Перечтите внимательно все его стихи. Мы просто ослепли, лишились разума!

Олеша отрывисто поддакивал. Кивая своей великолепной большой головой, причесанной а ля Титус, с квадратным подбородком, что не соответствовало его небольшому росту, он говорил:

— Да, да. Совершенно верно. Бабель бесконечно прав. «Она — Маяковского тысячи лет, он здесь застрелился у двери любимой», «Не поставит ли лучше точку пули в своем конце», «Мяукал кот. Коптел, горя, ночник. Звонюсь в звонок. Аптекаря!.. Протягивает. Череп. «Яд». Скрестилась кость на кость. Кому даешь? Бессмертен я, твой небывалый гость»,— понимаете, товарищи: он был небывалый гость в нашем мире! Помните? «...И вдруг я плавно огибаю прилавок. Потолок разверзается сам... Над домом вишу».— Олеша посмотрел своими серыми глазами слоненка вверх, как бы наблюдая человека, висящего над домом,— от возбуждения он стал, как всегда, немного шепелявить.

— «Над бандой поэтических рвачей и выжиг»,— сказал Бабель, не слушая Олешу.— Ведь это же не просто так, для красного словца. Это написано кровью сердца. Значит, есть банда. Понимаете?

— Подождите,— сказал Олеша.— Это не самое странное. Самое странное, даже, я бы сказал, необъяснимое при всей своей матерьяльности, было то, что я видел вчера в Гендриковом переулке, где еще совсем недавно мы играли в карты до рассвета... Вы знаете что это? Мозг Маяковского. Я его уже видел. Почти видел. Во всяком случае мимо меня пронесли мозг Маяковского.

И Олеша, перескакивая с образа на образ, рассказал нам то, что

потом с такой поразительной художественной точностью появилось в его книге — «Ни дня без строчки».

«...вдруг стали слышны из его комнаты громкие стуки — очень громкие, бесцеремонно громкие: так могут рубить, казалось, только дерево. Это происходило вскрытие черепа, чтобы изъять мозг. Мы слушали в тишине, полной ужаса. Затем из комнаты вышел человек в белом халате и сапогах — не то служитель, не то какой-то медицинский помощник, словом, человек посторонний нам всем; и этот человек нес таз, покрытый белым платком, приподнявшимся посередине и чуть образующим пирамиду, как если бы этот солдат в сапогах и халате нес сырную пашу. В тазу был мозг Маяковского»...

Молодой Олеша, молодой Бабель, молодой я. Конечно, сравнительно. Мы-то сами себе казались уже не молодыми. С легкой руки Асева считалось, что:

«Мы никогда не встретим сорок».

Подбирались к сорока. Особенно остро ощущали это сегодня, когда вместе с Маяковским уходила какая-то часть нашей жизни.

— Теперь мы особенно нежно должны любить друг друга, — говорил Бабель, глядя меня и Олешу по плечам.

А «он» в это время лежал в правом крыле особняка на улице Воровского — бывшей Поварской, — описанного Толстым в «Воине и мире». Доме, где жили Ростовы.

Зал был узкий. Гроб был узкий, красный, по росту Маяковского — длинный. Над гробом узкая, резко обрезанная, четырехугольная черная декоративная плоскость. Она начиналась низко над изголовьем гроба и, постепенно расширяясь, косо уходила вверх, в никуда. Конструкция работы лефовца Лавинского, как бы на миг приоткрывшая что-то бесконечное, бездонное, готовое навсегда затвориться.

Гроб был мелкий, стоял не высоко, и тело спящего Маяковского в новом заграничном костюме с артистически-изогнутой кистью руки, будто бы вот только что, сию минуту, выпустившей из побелевших пальцев стил, виднелось почти целиком, стройное, длинное, молодежское, с темными волосами, неестественно гладко зачесанными — чего при его жизни никогда не было, — а наискось через нахмуренный лоб, через переносицу тянулся свежий, синевато-чугунный шрам — след падения после того, как он выстрелил себе в сердце, и мишень шелкнула, и механизм сработал, зажужжал и комната стала вращаться вокруг него вместе с шведским бюро, железной кроватью и фотографией Ленина на белой стене, и уже ничем нельзя было помочь и вернуть роковой порыв, и даже повернуть голову, прижатую страшной силой земного притяжения к полу, и постепенно холодея, все перепуталось... все перепуталось... все перепуталось...

В край гроба упирались ноги в больших, новых, очень дорогих башмаках заграничной работы на толстой подошве со стальными скобочками, чтобы не сбивать носки, предмет моей зависти, о которых Маяковский позавчера сказал мне в полутемной комнате: «вечные».

Я стоял с черно-красной повязкой на рукаве — в почетном карауле у его изголовья и против себя — по ту сторону лежащего Маяковского — видел его маму, маленькую старушку, и сестер в трауре, которые сидели на стульях, не спуская глаз со спящей головы их Володи.

«Алло! Кто говорит? Мама? Мама! Ваш сын прекрасно болен! Мама! У него пожар сердца. Скажите сестрам, Люде и Оле,— ему уже некуда деться».

Потом я увидел как бы все вокруг заслонившее, все облитое сверкающими слезами скуластое темнугубое лицо мулата. Я узнал Пастернака. Его руки машинально делали такие движения, как будто он хотел разорвать себе грудь, сломать свою грудную клетку, а может быть, мне только так казалось.

Народу было еще не слишком много. По углам гроба бесшумно сменялся почетный караул. Не помню, была ли музыка. Наверное, была. Но она не могла заглушить тишины. Со двора по лестнице поднимались один за другим его читатели, главным образом молодежь, вузовцы, школьники, рабочие, красноармейцы, курсанты — юноши и девушки. Они шли цепочкой один за другим — заплаканные, помертвевшие — мимо узких вазончиков с длинными, бледными парниковыми розами, расставленными снизу вверх на каждой ступеньке и вдоль стены коридора, который вел к его гробу.

Они проходили мимо, видя его, быть может, впервые в жизни. Среди них несомненно была Клавдия Заремба в старой кожаной куртке и красной женотделовской косынке, которые в то время уже становились редкостью. Она плакала и вытирала слезы согнутым указательным пальцем. Она еще была молода, и в глубине ее узких таинственно-темных глаз как бы светилась лунная ночь. Она узнала меня и грустно улыбнулась.

— Видишь, какая стряслась беда,— сказала она, крепко, по-мужски, пожав мне руку, и вышла из зала.

...Потом она уехала на работу в Монголию...

А он все лежал, и лежал, и лежал на спине, уже начисто выбритый, в спокойной, совсем несвойственной ему позе, и только нахмуренный лоб со шрамом говорил о том, с каким нечеловеческим напряжением он писал и чего стоили ему его гениальные поэмы... Уже, собственно говоря, и не он, а лишь его телесная оболочка — лицо цвета магнолии и гладко причесанная голова.

«И в подошвах его башмаков так неистово виделись гвозди, что, казалось, на дюйм выступали из толстых подошв... Он точил их — но тщетно! — наждачным километром Ниццы, он сбивал их булыжной Москвою,— но зря! И, не выдержав пытки, заплакал в районе Мясницкой, прислонясь к фонарю, на котором горела заря».

...На бульваре в Сочи черномазый глазастый мальчик проворно слезил на старую магнолию и принес мне мглисто-зеленую ветку с громадным цветком. И мальчик и цветок напомнили мне Маяковского.

«Маяк заводит красный глаз. Гремит, гремит мотор. Вдоль моря долго спит Кавказ, завернут в бурку гор. Чужое море бьет волной. В каюте смертный сон. Как он душист, цветок больной, и как печален он! Тяжелый, смертный вкус во рту. Каюта — узкий гроб. И смерть последнюю черту кладет на синий лоб».

Он уже давно существовал в каком-то другом измерении, я же продолжал двигаться во времени и пространстве, как обычно, и однажды лет тридцать тому вперед, выйдя из лифта на последнем этаже, в мокрых

дождевиках, «импервсеблях», по которым как бы еще продолжали струиться отражения разноцветных огней Пасси,— жена и я очутились перед коричневой дверью. Лет сорок назад эта дверь, вероятно, была еще совсем новая, и в теплой лестничной клетке хорошо пахло дорогой масляной краской, полированным деревом, начищенной медью.

Помню маленькую желтую книжечку на столе у Бунина — «Дверь ста печалей» Киплинга, которая вышла тогда под его редакцией. Оказывается, Бунин очень признавал Киплинга, что меня тогда крайне удивляло. Что общего между Буниным и Киплингом? Мне даже подумалось тогда, что Бунин несколько рисуется любовью к Киплингу или взялся за его редактирование лишь для того, чтобы подработать во время своей тогдашней полуэмиграции. Впоследствии я понял, что между ними, как это ни странно, много общего: ощущение наступившей в мире эпохи империализма, художественный космополитизм при остром чувстве своей национальной исключительности.

...В этой лестничной клетке я уже однажды побывал тридцать лет назад, когда на несколько недель попал в Париж, и бросился разыскивать Бунина, и очутился перед этой дверью — молодой, взволнованный, в шегольском габардиновом темно-синем макинтоше на шелковой подкладке, купленном у Адама в Берлине, в модной вязаной рубашке, в толстом шерстяном галстуке, но в советской кепке, побывавшей уже вместе со мной на Магнитострое, сдвинутой немного на ухо — под Маяковского.

Я несколько раз постучал в дверь, но, не получив ответа, уже было собрался уходить, как вдруг дверь напротив щелкнула, отворилась, и я увидел знакомое «еще с тех пор» лицо друга Бунина, художника Нилуса. Это он некогда жил в Одессе в особняке Буковецкого на Княжеской улице, на чердаке, и часто, не застав Бунина дома, я взбирался по крутой лестнице в его мастерскую, описанную в «Снах Чанга», и читал ему, вместо того чтобы читать Бунину, свои новые рассказы и стихи. У него была запоминающаяся внешность, и, по-моему, именно с него написал Бунин портрет композитора из рассказа «Ида».

«Господа,— сказал композитор, заходя на диван и валясь на него своим коренастым туловищем,— господа, я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу.— Раскиньте же нам, служающий, самобранную скатерть как можно щедрее,— сказал он, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазками.— Вы мои королевские замашки знаете».

А может быть, Бунин написал героя «Иды» с Ипполитова-Иванова?

Теперь уже королевских замашек не было; был обносившийся коротенький пиджачок, который он придерживал опухшей рукой на горле, но широкое, монголоподобное лицо с узкими глазками осталось, хотя и заметно постарело, утратило былое оживление.

— Что вам угодно, месье? — спросил он по-французски.— Вы, вероятно, разыскиваете господина Бунина, но его в данное время нет в Париже.

— Здравствуйте, Петр Александрович,— сказал я по-русски.

Он осмотрел меня с ног до головы, еще более сузил свои татарские глазки, но без всякого удивления, очень просто, как будто бы мы расстались вчера.

— Иван Алексеевич в департаменте Приморские Альпы, в Грассе, в квартире никого нет. Заходите ко мне, Валя. Я читал в газетах, что вы в

Париже. А моих тоже никого дома. Жена и дочь в Гренобле. Я один, как перст. Что бы вам прийти позавчера? Вы бы его еще застали.

Видно, мне уже не судьба была застать его когда-нибудь.

Без преувеличения могу сказать, что вся моя жизнь была пронизана мечтой еще хоть раз увидеться с Буниным.

Я провел несколько часов в неубранной квартире Нилуса, где так по-русски на столе стоял простой эмалированный кухонный чайник и лежали глубоко русские щипчики для того, чтобы колоть твердый рафинад, хотя сахар был французский, хрупкий, маленькими кубиками. Мы пили чай вприкуску, дуя в блюдечки, и спорили, спорили до тех пор, пока у нас не осипли голоса.

Он кричал, что у нас в Советском Союзе нет свободы, а я кричал, что у них во Франции нет свободы. А потом мы оба со слезами любви и умиления кричали о Бунине, о его гениальности, неповторимости, недооцененности... А потом он начинал расспрашивать про Россию, и я рассказывал ему о гигантском строительстве, о Днепрострое, похожем в своих строительных лесах на осажденную Троию, и о Магнитогорске — металлургическом гиганте, волшебным образом возникающем в пустынных пугачевских степях, где стремительно бегут косые коричневые башни буранов и вихри срывают палатки и несут их под облаками, как стадо диких гусей...

Париж, конечно, был, как всегда, обольстителен, но мне не хватало в нем Маяковского. Я жил в отеле, который мне некогда порекомендовал Маяковский. Его уже не было на свете, а в моей записной книжке сохранился небольшой список монпарнасских отелей, продиктованных мне Маяковским, и среди них отель «Распай», где я и поселился. Сам Маяковский, ярый «монпарнасец», обычно останавливался неподалеку, в отельчике «Истрия» на Рю Кампань Премьер, в маленьком дешевом номере. Он «сидел» в баре кафе «Куполь», где его всегда можно было застать, когда он бывал в Париже. На стене «Куполя» имеется почетная доска, длинный список знаменитых завсегдатаев этого заведения, где можно прочесть имя Маяковского. Я стал завсегдатаем «Куполя». Без Маяковского «Куполь» казался мне пустым. Здесь по утрам я работал над продолжением своей хроники «Время, вперед!», которая печаталась глава за главой в «Красной нови», а фигура Маяковского как бы незримо стояла возле моего столика. Его «Марш времени» гремел над советской страной, приступившей к неслыханному трудовому подвигу первых пятилеток. Я был весь переполнен ритмами рождающегося социализма и все никак не мог оторваться от своей хроники и писал, писал, писал, где только мог и на чем только мог: в записной книжке, на бумажных салфетках, на коробках из-под сигарет...

Магнитогорск стал уже для меня городом Маяковского, и я нетерпеливо ждал свидания с первой, уже почти готовой, самой большой в мире домной, стремительно шагающей по строительной площадке в своем железном расстегнутом пальто, на голову выше всех остальных объектов, плывущих в облаках раскаленной степной пыли навстречу облакам и буранам.

Вскоре я уехал в Москву, торопясь отдать очередные главы в журнал и целый день качаясь на диване в пустом купе, глотая жадно новые неизвестные мне стихи и рассказы Бунина, приводившие меня в восхищение и вместе с тем как-то тягостно меня не удовлетворявшие, в чем мне было трудно самому себе признаться. И мне хотелось плакать

от отчаяния, думая о той страшной трагедии, которую пережил Бунин, о той непоправимой ошибке, которую он совершил, навсегда покинув родину. И у меня не выходила из ума фраза, которую мне сказал Нилус:

— Какие же у Ивана тиражи? Пятьсот, восемьсот экземпляров.

— У нас бы его издавали сотнями тысяч, — почти простонал я. — Поймите, как это страшно: великий писатель, который не имеет читателей. Зачем он уехал за границу? Ради чего?

— Ради свободы, независимости, — строго сказал Нилус.

Я понял: Бунин променял две самые драгоценные вещи — Родину и Революцию — на чечевичную похлебку так называемой свободы и так называемой независимости, которых он всю жизнь добивался, в чем я убедился, получив от него уже после войны, в 1946 году, одну из лучших его книг «Лику», где прочел следующие, глубоко меня потрясшие места:

«Я заходил в библиотеку. Это была старая, редкая по богатству библиотека. Но как уныла была она, до чего никому не нужна!.. Брал... всякие «Биографии замечательных людей»: все затем, чтобы в них искать какой-то поддержки себе, с завистью сравнивать себя с замечательными людьми... «Замечательные люди!» Какое несметное количество было на земле поэтов, романистов, повествователей, а сколько уцелело их? Все одни и те же имена во веки вечные! Гомер, Гораций, Вергилий, Дант, Петрарка... Шекспир, Байрон, Шелли, Гёте... Расин, Мольер... Все тот же «Дон-Кихот», все та же «Манон Леско»... В этой комнате я, помню, впервые прочел Радищева — с большим восхищением. «Я взглянул окрест — душа моя страданиями человечества уязвлена стала!» Этот язык, этот строй души я понимал.

«...Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него... Писать! Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать, а вовсе не затем, чтобы «бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее настроений и течений!»

«Социальные контрасты!» — думал я едко, в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины... На Московской я заходил в извозчицью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые, алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мною два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам... Наблюдение народного быта? Ошибаетесь — только вот этого подноса, этой мокрой веревочки!»

(Ах, этот знаменитый русский трактир, кто из поэтов не увлекался его красками. Помните, у Маяковского: «Влюбляйтесь под небом харчевен в фаянсовых чайников маки!»)

«...Сидя в санках, — читал я у Бунина в то время, как мимо окон пробегали маленькие домны Бельгии, — вместе с ними ныряя и спускаясь из ухаба в ухаб, поднимаю голову — ночь, оказывается, лунная: за мутно идущими зимними тучами мелькает, белеет, светится бледное лицо. Как оно высоко, как чуждо всему! Тучи идут, открывают его, опять заволакивают — ему все равно, нет никакого дела до них! Я до боли держу голову закинутой назад, не свожу с него глаз и все стараюсь понять, когда оно, сияя, вдруг все выкатывается из туч: какое оно? Белая маска с мертвеца? Все изнутри светящееся, но какое? Стеариновое? Да, да, стеариновое! Так и скажу где-нибудь!»

Он и меня учил этому. «Опишите воробья. Опишите девочку». Но что же получилось? Я описал девочку, а она оказалась «девушкой из совпартшколы», героиней Революции. А Революции меня учил Маяковский. «Опишите Магнитогорск. Время, вперед». И девушка из совпартшколы, вернувшись из Монголии, превратилась в бригадира бетонщиков и прошла по лесам коксохима в кожаной старой куртке и выгоревшей на степном солнце красной косынке.

Иногда на некоторое время я снова превращался в Пчелкина, который продолжал заниматься поэзией, а стихи Пчелкина были так себе, в духе раннего, еще очень сырого мовизма.

«Весну печатью ледяной скрепили поздние морозы, но пахнет воздух молодой лимонным запахом мимозы, и я по-зимнему бегу, дыша на руки без перчаток, туда, где блещет на снегу весны стеклянный отпечаток.— Был май, стояли ночи лётные и в белом небе без движения висели мертвые животные аэростатов заграждения.— Уже давно, не день, не два, моя душа полужива, но сердце ходит, дни кружатся, томя страданием двойным, что невозможно быть живым и трудно мертвым оставаться.— Когда я буду умирать, о жизни сожалеть не буду, я просто лягу на кровать и всем прощу и все забуду.— Величью цезаря не верь, есть только бронзовая дверь, во тьму открытая немного, и два гвардейца у порога.— То очень медленно, то быстро неуловимая звезда, всегда внезапная, как выстрел, блеснувши, гасла без следа».

У них у обоих учился я видеть мир — у Бунина и у Маяковского... Но мир-то был разный.

Бунин думал, по-видимому был глубоко убежден, что он совершенно независимый, чистый художник, изобразитель, ничего общего не имеющий ни с «социальными контрастами», ни с «борьбой с произволом и насилием, с защитой угнетенных и обездоленных» и уж, конечно, ничего общего не имеющий с Революцией, точнее сказать, никак не принимающий ее, даже прямо враждебный ей.

Это была лишь детская иллюзия, порыв к воображаемой художественной независимости.

Если бы Льву Толстому, который начисто отрицал всяческую Революцию, был глубоко ей чужд, считал ее делом абсолютно не моральным, в один прекрасный день сказали, что он зеркало русской революции, то он бы, наверное, был возмущен до глубины души, совершенно искренне считая, что это вздор. И, однако же, это истина.

Бунин хотел быть совершенно свободным от каких бы то ни было обязательств по отношению к обществу, в котором он жил, по отношению к родине. Ему думалось, что, попав в эмиграцию, он добился своего. За границей он казался сам себе совершенно свободным писать все, что ему вздумается, не подчиняясь ни государственной цензуре, ни суду общества. До Бунина не было никакого дела ни французскому государству, ни парижскому обществу, ни католической церкви. Он писал все, что хотел, не сдерживаемый никакими моральными обязательствами, даже иногда простиыми приличиями. Как изобразитель он рос и к концу своей жизни достиг высшей степени пластического совершенства. Но отсутствие морального давления извне привело к тому, что Бунин-художник перестал выбирать точки приложения своих способностей, своих душевных сил. Он не смог справиться с «тысячеглавой гидрой эмпиризма», о которой говорил Гёте, и она поглотила его, вернее он был разорван на куски, как глубоководная рыба, привыкшая к постоянному

давлению десятков, сотен, может быть тысяч, атмосфер и вдруг оказавшаяся на поверхности, почти не испытывая больше никакого давления.

Для него художественное творчество перестало быть борьбой и превратилось в простую привычку изображать, в гимнастику воображения.

Я вспомнил его слова, некогда сказанные мне, что все можно изобразить словами, но все же есть предел, который не может преодолеть даже самый великий поэт. Всегда остается нечто «невыразимое словами». И с этим надо примириться. Может быть, это и верно. Но дело в том, что Бунин слишком рано поставил себе этот предел, ограничитель. В свое время мне тоже казалось, что он дошел до полного и окончательного совершенства в изображении самых сокровенных тонкостей окружающего нас мира, природы. Он, конечно, в этом отношении превзошел и Полонского и Фета, но все же — сам того не подозревая — уже кое в чем уступал Иннокентию Анненскому, а затем Пастернаку и Мандельштаму последнего периода, которые еще на какое-то деление передвинули шкалу изобразительного мастерства.

Но все равно ему всегда было далеко до Пушкина, который сказал в «Барышне-крестьянке» — «маленькие пестрые лапти...».

Все эти мысли пронеслись в моей голове в то время, как мы, позволив, стояли перед дверью Бунина и вслед за тем она щелкнула, отворилась и я на фоне совсем не парижской, а какой-то весьма старорежимной, московской запущенной прихожей увидел перед собой Веру Николаевну, высокую, нескладную, дурно одетую, глубокую старуху, опустившуюся, добрую, бессильную барыню, в больших стоптанных туфлях, сохранившую в своих повадках нечто свойственное московской курсистке старых времен из либеральной семьи. Ее некогда светло-льняные легкие волосы давно уже поредели, побелели, как снег, но все еще были убраны жидким узлом на затылке, а заострившийся хрящеватый нос с лазурными прожилками возле некогда прекрасных голубых глаз, ее чистый лоб — по-прежнему чем-то напоминали греческую богиню. Я думаю, ей уже шел девятый десяток.

Радостно и грустно, сквозь слезы, рассматривала она нас, и я чувствовал даже как бы нечто родственное в ее измученном, прозрачно-белом, бескровном добром лице.

— Вот мы и свиделись наконец с вами, Валя,— сказала она, покачивая немного трясущейся головой,— а вашу жену мы себе с покойным Иваном Алексеевичем именно такой и представляли, детей же ваших никак не могли себе вообразить. Ивану Алексеевичу это казалось как-то совсем невероятно: дети Вали Катаева! Знали только, что есть мальчик и девочка.

— А недавно появилась еще и внучка,— сказал я не без хвастовства.

— Боже мой, боже мой,— воскликнула Вера Николаевна, сплетая и расплетая свои старческие пальцы.— Ведь мы, Валя, виделись с вами последний раз сорок лет назад. Сорок лет! Мы даже не успели проститься.

— Я лежал в сыпняке.

— Мы это знали. Иван Алексеевич даже порывался поехать к вам в госпиталь... Но ведь вы знаете Ивана Алексеевича... его боязнь заразиться... Он был уверен, что вы не выживете, а я верила... И молилась за вас и верила... А потом еще сколько раз... И то, что я снова вижу вас, того самого, живого... Но не будем лучше об этом говорить... Все это невероятно, невероятно... А вы помните,— вдруг с оживлением ска-

зала она помолодевшим голосом светской дамы,— Наташу Н.? Какая была прелестная девушка, не правда ли? И вы так подходили друг другу. Мы с покойным Иоанном исподтишка любовались вами. И потом часто, часто вспоминали.

У меня хорошая память, но, как ни странно, именно эту прелестную шестнадцатилетнюю девушку я почему-то очень быстро забыл, никогда больше о ней не думал, и только сейчас, после слов Веры Николаевны, вдруг на меня нахлынули воспоминания о каких-то лунных, поразительно ярких ночах над серебристым морем, жарком полуночном ветре, торопливо бегущем по серебристым кустам степной долины с ее странным, неприятно-бальзамическим ароматом, о веточке слишком ярко-белого при лунном свете жасмина с желтой серединкой каждого светящегося цветка, которая украшала аристократически-маленькую черноволосую головку Наташи, своим большим ртом и оживленно страстными глазами напоминавшую Наташу Ростову.

Быть может, за это сходство и запомнил Бунин ее, а в паре с ней и меня?

Нет слов, она была хороша, но я не запомнил ее, а на всю жизнь врезалась в мою память та маленькая босая девочка, которую Бунин несколькими годами раньше, на даче Ковалевского, велел мне описать!

— Так вот вы какая! — обратилась Вера Николаевна к моей жене и поцеловала ее в мокрую от слез щеку.— Иван Алексеевич любил Валу, всегда о нем помнил, все о нем знал, читал все, что он написал, и гордился его успехами. Ведь Иван Алексеевич был литературным крестным отцом вашего мужа,— прибавила она, строго взглянув на жену, а я смотрел на нее с тем же тревожным вниманием, с каким некогда молодой Бунин смотрел на луну, желая возможно точнее определить, какая она? Стеариновая?

Мне кажется, я нашел определение того белого цвета, который доминировал во всем облике Веры Николаевны. Цвет белой мыши с розоватыми глазами.

Она повела нас в столовую, и опять меня поразила запущенность, чернота ненатертого паркета, какой-то ужасно дореволюционный русский буфет с прожженной в нескольких местах доской, обеденный стол, покрытый тоже какой-то дореволюционной русской клеенкой, рыжей, с кружками от стаканов в разводах, с обветшалыми краями и на проволочной подставке обожженный газом чайник, разнокалиберные русские кузнецовские и французские лиможские чашки и среди них — тарелка с меренгами — украшение стола.

— Ваши любимые,— сказала она, заметив удовольствие, с которым я посмотрел на меренги.

— Откуда вы знаете, что я люблю меренги?

— Помню,— грустно ответила она.— Однажды вы сказали, что когда разбогатеете, то будете каждый день покупать у Фанкони меренги со взбитыми сливками.

— Неужели я это говорил?

— Конечно. Еще Иоанн ужасно над этим смеялся: как мало ему нужно для счастья! Разве вы не помните, как однажды у Наташи Н. за чаем вы съели все меренги, так что ее великосветская маман едва не отказала вам от дома?

— Вы и это помните!

— Я все помню,— грустно сказала она, покачивая трясущейся головой.

Тут же я представил себе, как она под зонтиком в старом «импер-веабли» шла под дождем на сияющую ртутно-белыми лампами витрин площадь Мюзетт в кондитерскую и как мадемуазель в кружевном фартучке, оставив розовый пальчик с отделанным перламутровым ноготком, осторожно брала широкими серебряными щипцами хрупкие меренги со взбитыми сливками и укладывала их рядом, как детей, в картонную коробку.

— Вот — Иван Алексеевич, тот, которого вы знали,— сказала она, вводя нас в маленькую комнату, где на стене на темных ветхих обоях был устроен как бы небольшой иконостас — фотографии Бунина разных лет и среди них — «тот Бунин, которого я знал», — наиболее известная, дореволюционная его фотография: Ив. Бунин, академик, в зените славы, на всю жизнь запомнившиеся мне черты надменного лица с треугольной шегольской бородкой и дальнорезками, как бы заплаканными глазами.

Была здесь фотография и другого Бунина, того, которого я не знал,— молодого, в черной бурке на плечах и дворянской фуражке, а также Бунина последних лет, без усов и бороды, с наголо выбритым мускулистым старческим лицом, но все с тем же острым взглядом, может быть еще более высокомерным, непреклонным, как бы говорящим: к прошлому возврата нет! — но все с теми же узкими козьими щеками, так что в нем без труда узнавался прежний Бунин.

— Вообразите себе,— говорила Вера Николаевна, следя за выражением моего лица, с каким я разглядывал фотографии Бунина.— В один прекрасный день является из парикмахерской без усов и без бороды. Я так и ахнула! Первое время никак не могла примириться: что-то актерское, иностранное, голое, а потом привыкла. Но объясните мне, бога ради, зачем это ему понадобилось!

Я уже много раз до этого видел фотографии бритого Бунина и привык к его новому лицу. Для меня старый и новый Бунин как бы слились в нечто единое, мало чем отличающееся от моего привычного представления о нем. Это был все тот же человек, художник, поэт, учитель, великий изобразитель природы, тот самый, который, будучи еще совсем молодым человеком, написал:

«Вот капля, как шляпка гвоздя, упала — и, сотнями игол затоны прудов бороздя, сверкающий ливень запрыгал» — строки, удивительные тем, что потом множество раз на всякие лады повторялись, как свои, разными посредственными прозаиками и поэтами, наивно уверенными, что это именно они открыли сходство упавшей капли со шляпкой гвоздя, не подозревая, что магическая сила этого образа заключается не в зрительном сходстве с гвоздем, а в звуках «пля» и «шля», вызывающих в представлении читателя не произнесенный поэтом, но как бы таинственно присутствующий за пределами словесной ткани звук этой самой капли, похожей на шляпку гвоздя,— звук шлепанья по воде пруда.

Хотя должен заметить, что старик Некрасов задолго до Ивана Алексеевича написал: «Светлые, словно из стали, тысячи мелких гвоздей шляпками вниз поскакали».

Однажды, желая как бы навсегда покончить с прошлым, Бунин решительно сбрил усы и бородку, бесстрашно обнажив старческий подбородок и энергичный рот, и уже в таком обновленном виде, во фраке с крахмальным пластроном на широкой груди, получил из рук шведского короля диплом Нобелевского лауреата, золотую медаль и небольшой

портфель желтой тисненой кожи, специально расписанной красками в «стиле рюс», которого Бунин, кстати сказать, не переваривал.

Показала нам Вера Николаевна также и пожелтевшую французскую газету, где во всю страницу и во весь рост все в том же фраке, с выставленным вперед голым католическим подбородком был изображен лауреат «При Нобель» Жан Бунин, и во всем этом было что-то бесконечно горькое, я бы даже сказал, жестоко бессмысленное.

— Вот здесь, на этом «сомье» Иван Алексеевич умер.— И Вера Николаевна подошла к продавленному, на ножках, покрытому ветхим ковром матрацу, в изголовье которого на столике стояла старинная, черно-серебряная икона-складень, с которой Бунин никогда не расставался, возил с собой повсюду. Тут же на стене висело еще несколько иконок в золоченых окладах, крестильных крестиков и даже, кажется, граненых пасхальных яичек, но все это лишь подчеркивало нищенский вид ложа, на котором умер Иван Бунин.

— Как это было? — спросил я.

— Иван Алексеевич обладал железным здоровьем, он почти никогда не болел. Врачи говорили, что у него грудь молотобойца. У него за всю его жизнь была одна-единственная болезнь. Вы знаете эту единственную болезнь Бунина, — сказала Вера Николаевна с полуулыбкой, обратившись ко мне, как к «своему человеку», перед которым нечего стесняться.— Геморрой. Но от геморроя не умирают, — грустно улыбнулась она.— Иван Алексеевич умер просто от старости. Ему уже было восемьдесят три года. В последнее время он очень ослабел. Его нужно было на руках носить в ванну, чтобы выкупать. Не желая его оставлять одного ночью, я спала вместе с ним на этом сомье, ложась у него в ногах — тихонько, калачиком, лишь бы не потревожить.

— Седьмого ноября — в тот самый день, когда вы праздновали годовщину своей Революции, — вечером он заснул и спал все время довольно спокойно. Но вдруг в третьем часу вскочил, как от удара электрического тока, и, толкнув меня, сел на постели с выражением такого непередаваемого ужаса на лице, что я похолодела и поняла — это конец. При свете мутных ночных огней Пасси мне даже показалось, что остатки его серо-белых волос поднялись над худой плешивой головой. Он что-то хотел сказать, может быть даже крикнуть, дернулся всем своим старческим, костлявым телом и вдруг рот его странно разинулся, нижняя челюсть отвалилась вот так...

Вера Николаевна с привычным автоматизмом изобразила предсмертную конвульсию Бунина, ее рот странно разинулся, нижняя челюсть отвалилась, и я вдруг как бы воочию увидел перед собой лицо Бунина в последний миг его жизни, обезумевшие белые глаза Иоанна Грозного, череп, покрытый холодным потом, черный провал разинутого рта с отвалившейся челюстью.

— И он свалился на кровать мертвый. Я подвязала ему челюсть салфеткой, привела в порядок его еще теплое тело, сложила на груди его высохшие руки, закрыла глаза, надавив на веки большими пальцами, и до утра никому не стала звонить. Остаток ночи, нашей последней ночи, провела я, по-прежнему лежа у его холодеющих ног, на рваной простыне, под совсем прохудившимся одеялом, вспоминала нашу с ним мучительно трудную жизнь вдвоем, нашу былую любовь, наши скитания, и плакала, плакала, плакала одна с ним наедине до тех пор, пока не выплакала всех слез. С тех пор я уже больше не в состоянии плакать. У меня вечно сухие глаза. Нет слез, нет больше слез.

Через некоторое время — вскоре — я узнал, что Вера Николаевна умерла, и я представил себе Пасси, площадь Мьюэтт, маленькую улицу Жак Оффенбах и на некоторое время опустевшую квартиру, давно не отремонтированную, запущенную, с застарелыми запахами несвежего постельного белья, с немывтыми окнами, за которыми по вечерам виднелись огни Парижа, с ванной комнатой, где на веревочках сушилось штопаное белье и на дне облупившейся ванны желтела не спущенная вода, а в уборной черные толстые трубы отстойника и чугунный бачок сочились ржавыми каплями холодной воды и деревянное сиденье стояло в сыром угле, как хомут, и плитки пола были слегка заслякочены, а в открытые двери кухни виднелась покрытая пожелтевшими листьями «Фигаро» газовая плита с невымытыми кастрюлями, а в углу, перевязанная шпагатом, стояла стопка авторских экземпляров «Темных аллей».

Но была прелестная французская весна, слегка дождливая, с голубыми просветами в мутном движущемся небе, с солнечным туманом над грифельными черепичными крышами старинных городков, над готическими и романскими соборами, над лугами, рощами и цветущими каштанами — розовыми и белыми — вокруг замков и нормандских ферм, и мы возвращались в Париж из поездки по берегам Ла-Манша.

Зимой я летал в Магнитогорск, а когда вернулся в Москву, то через некоторое время получил из Магнитогорска письмо, написанное неразборчивым, незнакомым мне почерком.

«Что же ты не зашел, собака, навестить меня, когда приезжал к нам. Я уже давно живу в Магнитогорске у своей старшей, нянчу ее пацанов, конечно, уже на пенсии, но на общественных началах читаю у нас в домоуправлении лекции по истории партии. Последнее время сильно болею. Сломала ногу. Лежу дома, а то бы тебя разыскала. Недавно меня положили в клинику, резали, зашили, сказали, что все в порядке, ничего нет, скоро поправлюсь. А по-моему, врут. Тоже гуманисты нашлись! Чувствую, что скоро отдам концы. Может быть, больше никогда не увижуся. Одному тебе признаюсь перед смертью: я любила его и не забывала ни на минуту всю свою жизнь. Ты знаешь кого. Но моя совесть перед нашей Революцией и перед собой чиста: не я его предала, а он предал Родину. И мы его казнили. Это только справедливо. Я не жалею. Он заслужил смерть. Но я его все-таки любила. Хочешь знать правду — и сейчас люблю, пишу это перед смертью. Сердце у меня давно вырвано. Прощай, старый товарищ. Царапаю тебе потому, что больше никого не осталось из друзей того времени. Вряд ли переживу эту зиму. Все хуже мне и хуже. Они меня утешают, что я еще встану на ноги, но я чувствую правду. Я ее не боюсь. Привет тебе и братство, как мы говорили друг другу в то незабвенное время. А все-таки наша Революция победила! Я знаю, ты меня тоже любил, но только на одну минуточку, на один миг. И за то тебе спасибо, ты бы меня не узнал — такая страшная.

Жму руку. Твоя Заремба Клавдия».

Вскоре я узнал, что она умерла, и представил себе... нет, не представил, а вообразил вид Урала с высоты нескольких километров — двух или трех. Уральские горы сплошь покрывали темные зимние тучи, непроницаемые для глаза, и лишь в одном месте из-под них, подобно ключу среди волнистой пустыни, выбивались какие-то дымы, которые я сначала принял тоже за тучи, но потом по их оттенкам понял, что это дымы невидимого внизу Магнитогорска, и самолет, полуопрокинувшись

над ними, описывал круг и снижался, чтобы идти на посадку. Вокруг стемнело. Потом я ехал с аэродрома к центру в машине, которая как бы с усилием пробивалась сквозь плотные облака сорокаградусного мороза, среди гипсовых уральских снегов, леденцово освещенных медно-розовым кружочком крещенского солнца, лишённого лучей. Впереди до половины небосвода возвышалась как бы некая гора, состоящая из разноцветных — угольно-черных, ярко-белых, рыже-коричневых, лимонных, аметистовых — дымов, медленно вылезавших, как бараны, из двухсот труб металлургического комбината, который длинно лежал в сумраке у подножия этой дымовой горы скоплением покрытых инеем доменных печей, мартенов, висящих в воздухе газопроводов, извивающихся, как огромные удавы, эстакад, высоковольтных передач. Машина как бы въезжала в темную пещеру дыма, но по мере продвижения вперёд дымные стены раздавались на стороны, солнечные лучи проникали сквозь топазовые глыбы пара и дыма, нарядный январский день горел вокруг, и на фоне густой ляпис-лазури неба, над низкими узорчатыми оградами, отлитыми из магнитогорского чугуна, отчетливо выступали сады и аллеи, обросшие толстым слоем инея. Каждое дерево и каждый куст — карагач, сирень, тополь, липа, — которые я видел еще саженцами, теперь представляли чудо зимней красоты: иные из них напоминали волшебные изделия русских кружевниц, иные стояли вдоль палевых и розовых многоэтажных жилых корпусов, как некие белокаменные скульптуры, иные были разительно схожи с хрупкими кустами известковых кораллов синеватого подводного царства, иные — с ветвистыми оленьими рогами, пантами, осыпанными мельчайшими, пылевидными осколками уральских самоцветов, и город Магнитогорск, потонувший в облаках солнечного тумана, был сказочно хорош в своем царственно-русском горностаевом убранстве — город осуществленной мечты, — провозжавший в последний путь под звуки медного духового оркестра грузовик с красным, очень ярким, почти светящимся, как брусок раскаленного железа, гробом, в котором, вытянув руки со сжатыми смугло-известковыми пальцами, лежала, навсегда закрыв глаза, Клавдия Заремба — девушка из совпартшколы.

А ночью волшебным сияли ярчайшим зелено-голубым светом сплошные клетчатые окна кислородного завода и облака пара клубились над теплым Магнитогорским морем, куда, как таинственный град Китеж, ушла навсегда старинная казачья церковь бывшей крепости Магнитной, упомянутой Пушкиным в «Истории Пугачева».

...Пепельница. Салют и братство. Ангел Смерти. Заморский страус. Книга сновидений. Девушка из совпартшколы. Клавдия Заремба. Пчелкин. Два поэта...

Посмотрев вокруг, я с удивлением увидел цветущие каштаны и кладбищенскую стену с открытыми воротами.

— Господа, может быть, вы пожелаете посетить это русское эмигрантское кладбище? Здесь есть любопытная церковка в древнем новгородском стиле, построенная по эскизам покойного русского художника Александра Бенуа. И, если хотите, можете здесь же увидеть могилу «При Нобель» Бунина, которого вы, кажется, знали. Гастон, останьтесь. Мы выйдем на несколько минут.

Носатый старик со следами военной выправки, в пенсне, с белой пуговичкой слухового аппарата в ухе — по-видимому, из бывших русских — продавал у кладбищенских ворот очень крупные французские ландыши. Я выбрал в плоской камышовой корзине букетик и вдруг узнал его: это был Петька Соловьев, тот самый, но только постаревший

лет на сорок пять. Вероятно, смятение, даже ужас выразились на моем лице, потому что он улынулся заученной, самолюбивой улыбкой, показав неисправные зубы, и сказал:

— Да, да. Не падай в обморок. Ты не ошибся. Это именно я сам.

— Но ведь тебя расстреляли,— пробормотал я.— Я собственными глазами читал в газете список.

— Я тоже собственными глазами читал этот список. Однако — ничего подобного. По дороге из тюрьмы в гараж я выскочил из грузовика и драпанул через стенку второго христианского кладбища. Они выстрелили по мне пару раз из винтовок и наганов, но промазали, а вместо меня во избежание неприятностей Ангел Смерти вывел в расход для равного счета какого-то налетчика и подсунул в список вместо меня.

Сначала я остолбенел, но потом пришел в себя. А почему бы, собственно говоря, и нет? Ведь бывали же подобные случаи в то время.

— И что же ты здесь делаешь? — спросил я, чтобы что-нибудь спросить.

— Сам видишь. Кто я? Ни то ни се. Политикой не занимаюсь, так что ты меня не бойся. Я лояльный. Иногда читаю ваши газеты, слушаю радио и завидую вам. Дурак я был. Честно говорю, как перед богом. Горько мне, понимаешь. Внуки у меня французы,— сказал он, и мне показалось, что он собирается заплакать.— Жизнь как в печке сгорела!

— Клавдию Зарембу помнишь? — спросил я.— Она совсем недавно умерла в Магнитогорске.

— Как — говоришь?

— Заремба Клавдия.

На его лице выразилось тупое напряжение, как у глухонемого.

— А кто она?

— Тогда была комсомолка.

— Ах, та, черненькая комсомолочка... Да-да... Что-то такое смутно припоминаю... Но ведь прошло столько лет! — прибавил он, как бы извиняясь.— Разве все запомнишь...

И он стал переключивать в своей корзине букетики.

О чем нам еще было говорить?

Могила Бунина оказалась совсем не такой, как представлял сам Бунин, в середине своей жизни, еще живя в России:

«Могильная плита, железная доска, в густой траве растающая в землю... Под эту же плиту приду я лечь — и тихо лягу, с краю».

И не такой, которая виделась ему уже в изгнании:

«Пылай, играй стоцветной силою, неугасимая звезда, над дальнею моею могилою, забытой богом навсегда!»

Смотритель кладбища, небрежно одетый русский господин, с несколько иронической улыбкой на потертом, но еще вполне приличном лице — чем-то неуловимо похожий на моего Петьку Соловьева,— повел нас по прямой аллейке, мимо православных крестов и высоких надгробий, и остановился возле серого гранитного креста не совсем обычной формы, напоминающего скорее какой-то каменный орден, может быть даже георгиевский крест, но только приземистый, темный, тяжелый.

— Вот ваш Бунин, любуйтесь,— сказал смотритель.— А что касается креста, то знатоки уверяют, что это копия какого-то не то древнерусского, псковского, не то византийского памятника старины, найден-

ного когда-то, как-то, при каких-то раскопках — не сумею вам точно сказать, при каких, так как я в области археологии полный профан, — что же касается места могилы, то, как видите, не слишком на задворках и вокруг вполне приличное общество, — сказал он, указывая гостеприимным жестом на соседние могилы, где можно было прочесть несколько некогда очень известных русских фамилий, ныне уже давно у нас забытых.

— Их тащат к нам со всего мира: из Англии, из Швейцарии, даже везут из Америки на пароходах. Ничего не поделаешь. Наиболее уважаемое православное эмигрантское кладбище. Скоро не останется ни одного свободного участка. Уже начинаем в одной могиле хоронить по два человека, разумеется одной фамилии. Например, в могилу Ивана Алексеевича Бунина — у него в ногах — пришлось недавно закопать Веру Николаевну. Так что теперь наконец они навсегда соединились, лежа под одним крестом.

Он хозяйственно подгрел ногою к сторонке несколько черепков битых вазонов, какие-то засохшие цветы, еще не успевшие полинять траурные ленты, проволочный остов небольшого, по-французски круглого венка...

— Остатки ее похорон, — заметил зритель брезгливо. — До сих пор не удосужились убрать этот мусор. Придется сделать серьезный нагоняй сторожу. Эге, — сказал он, посмотрев тревожно на небо, где над голубыми елочками, над купами цветущих каштанов, из-за которых выглядывали синий купол и белые стены прелестной древнерусской церковки, как-то незаметно сгруппировались темноватые тучи, сильно разбавленные свинцовыми белилами, и вдруг вверх, как бы по пороховому шнуру, побежал летучий огонек, над самой головой блеснуло, сухо затрещало, как подожженная шутиха, и мелкие раскаты сухого апрельского грома посыпались вниз, напоминая грохот небольшого горного обвала.

...Московское время десять часов. В эфире эстрадные мелодии...

Неужели всему конец?

Голубой ливень повис над вьющимися кладбищенскими розами, над желто-красными пальчиками бигоний, над каменным крестом с золотыми именами Бунина и Веры Николаевны, смиренно лежащей у него в ногах, милой, доброй, старой русской женщины — московской курсистки, — на могилу которой я и положил букетик ландышей, но при этом не мог не вспомнить стихи Ивана Алексеевича:

«В голых рощах веял холод... Ты светился меж сухих, мертвых листьев... Я был молод, я слагал свой первый стих — и навек сроднился с чистой, молодой моей душой влажно-свежий, водянистый, кисловатый запах твой!»

— А где любимая пепельница Ивана Алексеевича, — спросил я во время последнего свидания с Верой Николаевной, — помните, та самая, которая всегда стояла на лаковом круглом столе, на Княжеской, в доме Буковецкого? Сохранилась ли она?

— Вы ее запомнили? — спросила Вера Николаевна, и робкая черта оживления тронула ее бескровное, белое, старческое лицо.

— На всю жизнь, — ответил я.

Тогда она, постояв некоторое время на одном месте и глядя прямо мне в глаза с нежной, глубокой грустью, пошла в другую комнату и скоро вернулась, держа в крупных ревматических руках так мучительно знакомую и дорогую для меня пепельницу.

— Эта? — спросила Вера Николаевна.

Я ничего не ответил, не в силах оторвать глаз от этой гонкой латунной чашки, пиалы, с восточным орнаментом, которая теперь показалась мне гораздо меньше, чем была когда-то, как будто бы уменьшилась от старости. Теперь она не была начищена суконкой и не блестела, как жар, и внутри сплошь почернела, как та лампада, которую однажды нашел Бунин в горах Сицилии...

Бигнония. Ода Революции. Четырежды благословенная.

«Ты, сердце, полное огня и аромата, не забывай о ней. До черноты сгори».

Или лучше всего так:

«Играй же, на разрыв аорты, с кошачьей головой во рту,— три черта было,— ты четвертый: последний, чудный черт в цвету!»

1964—1967
Переделкино.



Д. САМОЙЛОВ

★

СМЕРТЬ ПОЭТА

Я не знал в этот вечер в деревне,
Что не стало Анны Андревны,
Но меня одолела тоска.
Деревянные дудки скворешен
Распевали. И месяц навешен
Был на голые ветки леска.

Провода электрички чертили
В небесах невесомые кубы.
А ее уже славой почтили
Не колонные залы и клубы,
А лесов деревянные трубы,
Деревянные дудки скворешен.
Потому я и был безутешен,
Хоть в тот вечер не думал о ней.

Это было предчувствием боли,
Как бывает у птиц и зверей.

Просыревшей тропинкою в поле,
Меж сугробами, в странном уборе
Шла старуха всех смертных старей.
Шла старуха в каком-то капоте,
Что свисал, как два ветхих крыла.
Я спросил ее: «Как вы живете?»
А она мне: «Уже отжила»...

В этот вечер ветрами отпето
Было дивное дело поэта.
И мне чудилось пенье и звон.
В этот вечер мне чудились в лесе
Красота похоронных процессий
И торжественный шум похорон.

С Шереметьевского аэродрома
Доносилось подобие грома.
Рядом пели деревья земли:
«Мы ее берегли от удачи,
От успеха, богатства и славы,
Мы, земные деревья и травы,
От всего мы ее берегли».

И не ведал я, было ли это
Отпеванием времени года,
Воспеваньем страны и народа
Или просто кончиной поэта.
Ведь еще не успели стихи,
Те, которыми нас одаряли,
Стать гневливой волною в Дарьяле
Или ветром в молдавской степи.

Стать туманом, птицей, звездой
Иль в степи полосатой верстою
Суждено не любому из нас.
Стихотворства тяжелое бремя
Прославляет стоустое время.
Но за это почтут не сейчас.

Ведь она за свое воплощенье
В снегиря царскосельского сада
Десять раз заплатила сполна.
Ведь за это пройти было надо
Все ступени беззвучного ада,
Чтоб себя превратить в певуна.

Все на свете рождается в муке —
И деревья, и птицы, и звуки.
И Кавказ. И Урал. И Сибирь.
И поэта смежаются веки.
И еще не очнулся на ветке
Зоревой царскосельский снегирь.

* * *

Химера самосохраненья!
О, разве можно сохранить
Невыветренными каменья
И незапутанною нить!

Но ежели по чьей-то воле
Убережешься ты один
От ярости и алкоголя,
Рождающих холестерин;

От совести, от никотина,
От каверзы и от ружья —
Ведь все равно невозвратима
Незамутненность бытия.

Но есть возвышенная старость,
Что грозно вызревает в нас,
И всю накопленную ярость
Приберегает про запас,

Что ждет назначенного срока
И вдруг отбрасывает щит,
И тычет в нас перстом пророка,
И хриплым голосом кричит.

Выезд

Помню — папа еще молодой,
Помню выезд, какие-то сборы.
И извозчик лихой, завитой,
Конь, пролетка, и кнут, и рессоры.

И еще допотопный трамвай,
Где прицепом — старинная конка.
А над Екатерининским — грай.
Все впечаталось в память ребенка.

Помню — мама еще молода,
Улыбается нашим соседям.
И куда-то мы едем. Куда?
Ах, куда-то зачем-то мы едем...

А Москва высока и светла.
Суматоха Охотного ряда.
А потом — купола, купола.
И мы едем, все едем куда-то.

Звонко цокает кованый конь
О бульжник в каком-то проезде.
Куполов угасает огонь,
Зажигаются свечи созвездий.

Папа молод. И мать молода.
Конь горяч, и пролетка крылата.
И мы едем незнамо куда.
Все мы едем и едем куда-то.



ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА

★

ИЗ «ПСКОВСКОЙ ТЕТРАДИ»

РЕКА ВЕЛИКАЯ

Здесь люди так добры, и так просты
их строгие, замедленные речи.
Большое солнце смотрит с высоты.
Простор январский бел и бесконечен.

А там течет Великая река —
напрасное, старинное прозвание:
она неширока, неглубока —
но это не прозвание, а призвание.

Здесь кровь текла великая. Беда
великая по городу шагала.
Здесь рать текла великая. Вода
рвалась и алым цветом закипала.

Пойдешь по льду, по голубому льду —
услышишь сквозь морозные кристаллы
столетнюю, стожерлую пальбу
и черный звон сторукой синей стали.

И льду — красно. И горлу — горячо.
А пядь земли — невидимая малость.
Но за холмом, за лесом, за плечом
великая Россия начиналась...

ПСКОВА

А ты что скажешь, тихая Псковá,
вся в камушках, вся в утках краснолапых,
в косынках белых... В беленьких церквушках,
построенных не богу — просто так.
Так вырезает добрая рука
из дерева
лошадок деревянных.
Все на потеху людям!
Этот труд — не труд,
улыбка...

Летним днем иду по берегу.
Щебенка. Камень.
Песок, покрытый гошей муравой.
Заборы. Гроздь кисловатых яблок.
И пес бредет неведомо куда,
на солнце дальше по-стариковски щуря
глаза...
А на Пскове — всё женщины стирают.
В косынках белых женщины стирают
мужчинам всей земли.
Плывут рубахи,
усталые холщовые рубахи,
и дышат полной грудью.
Облака
над головами медленно проходят...
Скажи мне, сколько лет тебе, вода?
И сколько лет здесь женщины стирают
и тяжкими руками напрягают
любви и верности крутые паруса?
Скажи мне, сколько слез в тебе, Пскова?..

.

Михайловское!.. Плакать, плакать
под соснами, под звездами, в тиши,
и в Сороги вечерней долго плавать,
и темные тревожить камыши.

И на исходе северного лета
с самой судьбой смешать черновики...
Здесь немотой измаялись поэты.
Здесь дети декламируют стихи.



ВАДИМ РАБИНОВИЧ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Не понимаю речь реки,
и ветра свист не понимаю.
Что говорят в начале мая
голодные бурундуки?

Сова — кому она кричит?
Что знает каменная глыба?
О чем весь рыбий век молчит
в песок зарывшаяся рыба?

Но слышу в шелесте дубрав,
в немолчном тараторе птичьем:
умрете, так и не поняв,
великого разноязычья!

Пускай уж не понятен дождь,
чужда лесных зверей беседа...
Поймет ли пакистанский вождь
брамина, ближнего соседа?

Бог с ними, с рыбой и совой,
и с глыбой каменной — бог с ними!
Договоримся ль мы с тобой,
пустой исполнены гордыни?

* * *

Ручей лесной не замучу,
ружье оставлю и патроны,
и уток молодых не трону,
и первый снег не затопчу.

И ветки яблонь не погну,
не сдую первоцвет узорный,
недвижных рыб в тиши озерной
не растревожу, не вспугну.

Неслышно, словно по золе,
как ветра легкое дыханье,
как давнее воспоминанье,
пройду по утренней земле.

Но птица ждет. И зверь пуглив.
И рыбы в тину прячут спины,
всей чешуею чуя спиннинг,
носы в корягу углубив.

Живой с живым накоротке.
Здесь травка каждая близка мне.
О, только бы не ждалн камня
в моей душе, в моей руке.



О ЧИЕ РКИ ИНАШИ ИХ ДНЕ И

В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ

★

НА ПЕЧОРУ, ЗА СЕМГОЙ

А в трактир, говорит, привезли теперь свежей семги, так мы закусим.

Н. Гоголь.

Видать, понимали толк в семге гоголевские герои! Да и мы не дураки по этой части. Только редко подают семужку в нынешних трактирах, и дома — на столе — она гость не частый.

Я отправился в торгующие организации Москвы, где документально подтвердили, что в столице с семгой дело швах. Еще десять лет назад москвичи получали в год до тысячи тонн семги и лосося. А к 1966 году положение ухудшилось ровно в пять раз: получено и продано всего лишь двести тонн. Разделите эти двести тонн на шесть миллионов столичных жителей, и каждому достанется в год один бутерброд с семгой весом в тридцать три грамма. А если бы я, к примеру, ухитрился съесть за год целый килограмм семги, то три десятка моих соседей видели бы эту рыбу только во сне.

Почему же ее стало так мало? Неплохо бы разобраться в этой семужьей проблеме: что к чему?

С такими мыслями спустился я в подвальчик на Пушкинской площади и взял билет на самолет до Нарьян-Мара.

Конечно, современный самолет — прекрасная вещь: быстро, удобно. Вылет из Москвы почти не обременяет: билеты регистрируют мгновенно, вещи отправляют одновременно с тобой, но ты их не видишь и не касаешься коленом, чтоб не «стибрили» в суматохе. Доставка в аэропорт, посадка, отлет — что называется, на уровне мирового стандарта.

Правда, на протяжении месяца, совершая перелеты по Северу, я убедился, что образцовый порядок на столичных линиях в далекой глубинке вспоминается, как красивый сон. Но до Архангельска летел в самом радужном настроении.

Рядом со мной оказался симпатичный белозубый паренек, стриженный бобриком, в джинсах, кедах и пестрой вязаной безрукавке, — Володя Павлов, десятиклассник из-под Свердловска, направлявшийся в Архангельск к тетушке.

До встречи с ним у меня бродили шальные мысли: а вдруг не выйдет с семгой? Теперь все сомнения были позади.

— А тетушка моя ихтиолог, — сказал Володя. — Собирается в экспедицию к Баренцеву морю. И я хочу поработать в ее отряде: и свет повидать, и маленько подлататься. Мечтаю будущим летом в политехнический, вот и пойдут деньги на экипировку.

Я стал исподволь «подбираться» к его тетушке. А в Архангельске, обеспечив бронь на первый же самолет до Нарьян-Мара, отправился к ней на «смотрины».

Валентина Петровна Корнилова работает в ПИНРО¹, на набережной Ленина, и найти ее лабораторию не составляло труда. Но был обеденный перерыв, и девушки из лаборатории сказали, что она пошла встретиться с племянником.

— А как узнать ее? Племянника-то я видел, а с ней никогда не встречался.

Вышло замешательство: одна девушка сказала, что их начальницу узнать можно по светло-коричневому плащу, другая — что она в сиреновой вязаной кофте. Сходились только на том, что Валентина Петровна на вид строгая, в очках. В руках у нее сумочка и зонтик в чехле.

И я стал прежде всего присматриваться на набережной к очкам и к зонтику. И не ошибся, потому что остальные приметы не сошлись. И я узнал ее лишь потому, что за ней устремился из переулка Володя.

Мы разговорились и скоро составили план: я завтра улетаю в Нарьян-Мар, жду ее с отрядом два дня, занимаю для нее номер в гостинице. А потом мы вместе двинемся по просторам Печоры вниз, до Коровинской губы, и я посмотрю, как изучают рыбу. И, чтоб она не передумала, я на всякий случай добавил:

— В тягость вам не буду и расспросами не утомлю. А тянуть невод, варить обед — это меня не смущает...

С архангельского почтамта я отправил телеграмму в Нарьян-Мар. И девушка рассмешила меня, когда сказала, пробежав глазами текст:

— Я понимаю, что вы архангельский. Но как ваша фамилия? У нас все архангельские!

Пришлось объясниться. Девушка пожала плечами и — для страховки — приписала мое имя рядом с фамилией: я заплатил на три копейки дороже.

Нарьян-Мар открылся минут за десять до посадки. В разрывах серых, низко плывущих облаков, непрерывно посылающих мгlistый дождик, показалась зеленая тундра вся в озерах, протоках и рукавах, с низкорослым кустарником, местами седая от ягеля, с одинокими пирамидальными лиственницами, словно общипанными полярным ветром.

Снова налетела тучка, дождь забарабанил по крыше автобусика «малой вместимости» и назойливо сопровождал нас до городка — километров семь. А в Нарьян-Маре улыбнулось солнце. Но пока я добирался до гостиницы — неистовствовали комары, безнаказанно пользуясь тем, что у меня заняты руки.

Шла суббота, полдень, надо было торопиться, чтоб обеспечить деловые встречи на воскресенье и понедельник и хоть что-либо узнать до приезда Корниловой.

С секретарем окружкома мы уговорились встретиться, как только я вернусь из Коровинской губы. А тем временем я познакомился с Федором Михайловичем Фофановым — инспектором рыбнадзора в необозримом районе северной Печоры.

От окружкома до его конторы минут двадцать ходу по дощатому тротуарам под комариный писк — фактически через весь городок.

Дома деревянные, в два этажа, поместительные, квартиры на четыре, с зимними рамами (их редко выставляют даже летом), без украшений над окнами — городок молодой, детище первой пятилетки, когда старинная резьба по дереву не была в почете. Палисадники маленькие, и чаще в них виден картофель, чем кустарники или цветы. И ни одного крупного дерева, ни одного цветника!

По дороге встретились два хороших магазина, ненецкий краеведческий музей и пустынный рынок, где один-единственный купец грузин громко плакался санитарному врачу:

— Ты понимаешь, куда я заехал: край света! Обратного не могу — копейки денег нет! И что ты придумала этот ящур? Смотри, я ем яблоко и — ничего! — Он отгрыз половину и проглотил, почти не жуя. — Я тебе все яблоки вымою, только скажи! Хочешь, в магазин сдам за полцены? Вай-вай, что за люди, хочешь им добра, а они — вот! — Он дернул себя за рыжую бороду и заскрипел зубами.

¹ ПИНРО — Полярный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

Контора Федора Михайловича стояла на берегу залива, против деревушки Кармановки, которая была исконным поселением до закладки городка. Десятки лодок и катеров покачивались у песчаной отмели. Трое ребятешек, засучив штаны, выхватывали на корявые удочки довольно крупную плотву, а четвертый таскал за ними по мокрому песку кукуаны с рыбой.

Фофанов — мужчина седой и грузный, в очках, с виду очень строгий — мельком взглянул на часы, когда я представился: рабочий день подходил к концу, визит мой был явно не ко времени.

— Самовар-то у вас есть? Дома, конечно, — спросил я.

— Как положено. — Он усмехнулся.

— Если завтра зайду, почаевичаем? — (Сам был службистом, понимаю, что нынче не время.)

— Прошу часам к десяти. А сейчас не домой тороплюсь, надо выехать на водоем.

— Происшествие?

Он замялся, подержал в руках капроновую бобину, что лежала на столе.

— Начальство. Говорит, надо поглядеть, как дела в Куйском рукаве. А я так полагаю, что рыбалка: семга любого манит не хуже красной девицы!

— Но ведь не положено?

— Да ведь начальство! — сказал он многозначительно. — А впрочем, семги ему не видать! Но уха будет: зельдь на подходе, сиг, пелядь. Вы тоже небось рыболов, иначе зачем лететь в такую даль?

— Не скрою. И спиннинг есть!

— Я вам разрешаю: покидайте блесну. Только тут еще никто не поймал. В прошлом году один майор был — дона, скажу вам, — а уехал пустой. Поймайте, прошу вас! Я тогда категорически запрещаю появляться в Нарьян-Маре со спиннингом. А то вроде бы запрет полный, а оснований для него не вижу...

Перед вечером я раздобыл старую консервную банку и отправился за червями.

Ну, это целая рыбацкая баллада! Ребятишки, по слухам, доставали червяков в кустарнике, там, где пасут скот. Я же перелопатил тонну песчаной земли, переворочил все навозные кучи, что попались на глаза, и свалился в изнеможении, когда на правой ладони засадил кровавый мозоль. Но не сдался — накопал опарышей, белых личинок синей мухи. С ними и отправился к протоке за городской баней.

Сновали моторки, люди посмеивались над незнакомцем, неудобно приладившимся на чьей-то лодке, косо осевшей на отмели.

Но рыбалка была лихая: плотва, язи, окуни, ерши, даже три сижка. Рыба не крупная, но шла она споро. Я увлекся и не сразу заметил, как появилась муть на поверхности, от лодки до берега вода разлилась метра на два — начался прилив.

Конечно, проще простого бы снять ботинки, сползти в воду и — к себе в номер. А я прыгнул, лодка дрогнула, и пришлось сушить носки.

Чай у Федора Михайловича был отменный. Самовар пыхтел, мурлыкал и отдувался. И под него славно шел мужской разговор.

Поначалу условились, что в понедельник моторист Фофанова завезет меня километров за сорок вверх, где Печора расходится на два коренных рукава. И там я буду стараться поймать семгу, чтобы вышло запрещение ловить ее со спиннингом в районе Нарьян-Мара.

Но это мимоходом. Главное же было — работа Федора Михайловича с инспекторами. И семга. И сиг.

Необозримы границы территории Фофанова. На севере — от Мезенского участка (Канин Нос) до Ямало-Ненецкой фактории (остров Торосовой) — пятнадцать градусов по земному шару, вдоль южного побережья Баренцева моря. На юг по реке Печоре — километров сто, где начинаются земли Коми АССР. И для

инспекции на всей этой территории Фофанову дозволено держать шестнадцать помощников и двадцать два работника флота. Это капля в море! Правда, удалось объединить вокруг себя около трех сотен общественных инспекторов, которые в 1965 году раскрыли тридцать семь крупных нарушений.

Можно полагать, что в труднодоступных районах тундры значительная часть браконьеров, ворующих ценную рыбу у государства, остается безнаказанной. Сказывается и то, что Фофанов со своими товарищами знает всех, кто может промышлять воровски, и крепко держит их на примете. Сам он в Нарьян-Маре давно, был директором рыбозавода и со всеми рыбаками на короткой ноге. Да и сотрудники у него хорошие. К примеру, Владимир Чуклин на Куйской Печоре раскрыл за 1965 год более шестидесяти нарушений из двухсот тридцати. Чуклин — человек молодой, активный, он уроженец здешних мест. Восемь лет работает на Печоре после армии и является хорошей опорой Фофанову в районе Ольхового Куста, где река перекрыта сложной системой неводов.

Федор Михайлович — человек партийный, государственный, и его беспокоит многое, что связано с использованием природных богатств Печоры. И самое большое место — пресловутое перекрытие реки.

В устье Печоры три основные протоки — Ольховый Куст, Куйский рукав и судоходный Пойловский фарватер. Сейчас две первые протоки начисто перекрыты четырнадцатью неводами, которые наглухо закрывают ход всякой рыбе. Свободна от неводоу только Пойловская Печора, но и там установлено электрическое заграждение.

Рыба, устремляясь по излюбленным протокам, натывается на невод (на Сз-вере каждая сеть называется неводом), ищет выхода и попадает в ловушку. В этой ловушке дно реки устлано белой клеенкой, и каждая рыба проецируется как темно-серебристая сигара.

Всю рыбу, зашедшую в ловушку, брать не разрешается: надо пропускать часть на нерест. Положено пропускать пятьдесят процентов. Но через ловушки пропускают только тридцать два процента (четыре рыбины из одиннадцати). Предполагается при этом, что недостающие восемнадцать процентов сами проходят по Пойловскому судоходному рукаву.

— А откуда взялись эти восемнадцать процентов? Кто их проверял?

— Хоть убейте, не знаю! — Федор Михайлович махнул рукой. — Кто-то когда-то высказал такое предположение на основании случайных выловов. Так и пошло.

Словом, все твердят про эти восемнадцать процентов, некоторые уверовали в эту цифру. А она, в общем, «потолочная», дутая.

Придумал это перекрытие начальник Архангельского областного управления Рыбколхозсоюза Федор Антонович Пономарев в 1963 году. В первый год дело едва не заглохло из-за малой механизации. А затем вошло в практику рыболовства и стоит по сей день прочно.

Раньше на промысле семги на Печоре было занято восемьсот рыбаков. Перекрытие дало возможность сократить штат в двенадцать раз. При самых простых подсчетах себестоимость деликатесной рыбы уменьшилась. Все это кое-кому вскружило головы. Но...

Но семги стало значительно меньше. До войны, при дедовской технике (отлов шел плавными и ставными сетями), брали четыре тысячи центнеров. В 1957 году — при хищническом лове — взяли семь с половиной тысяч центнеров. А в 1965 году едва набрали две тысячи при плане в две тысячи шестьсот центнеров.

— Понимаете: рыба стала умнее — она заворачивает из Печоры в Каратайку и в Кару. Часть семги гибнет в неводах перекрытия, и водолазы частенько вынимают уснувшую тухлую рыбу. Старые рыбаки не раз говорили мне, что достают семгу из сетей в таких шарах (протоках), где она раньше никогда не встречалась. Значит, ищет обходных путей, чтобы миновать перекрытие. Более того, перекрытие и активный промысел сига (для него применяется мелкая ячея

в сетях, сечением в пятьдесят миллиметров) почти ликвидировали в Печоре такую ценную рыбу, как нельма: раньше ее добывали до тысячи центнеров в год, теперь не набираем и полтора ста.

Федор Михайлович сквозь очки поглядел на меня, как бы взвешивая, можно ли довериться.

— Склоняюсь, — сказал он четко, — что перекрытие нужно снимать. Конечно, пойдет крик: «Ретроград!..» — и все такое прочее. Но, на мой взгляд, с рыбой надо сходить в честном поединке и не мешать ей перекрытием идти на нерест!

— А как Иван Кузьмич? Секретарь ваш?

— Это вы у него спросите! — улыбнулся Фофанов. — Ему уже попало прошлой осенью. Но мнение у него, между прочим, вполне определенное...

В понедельник прилетела Валентина Петровна Корнилова с лаборанткой и с племянником. И начались у нее осложнения с катером, который должен был доставить экспедицию в Коровинскую губу. Отъезд задерживался минимум на сутки, у Володи образовалось «окно», и я взял его с собой. На полуглиссере Фофанова отправились мы вверх по Печоре к рыбакам, у которых состоял бригадиром пожилой коми Иван Тимофеевич Асташов.

Нарьян-Мар расположен не на реке, а в Кармановском заливе, и, чтобы попасть в русло Печоры, надо километра четыре протянуть вдоль пристани, мимо причалов и резко завернуть влево за протокой, где я рыбачил в первый вечер, на траверзе мощного лесозавода.

Пейзаж тут портовый, индустриальный. Высокие краны на грузовой пристани, где островерхим терриконом сложен уголь. У завода мы развернулись и отсалютовали сигналом лесозавозам из ФРГ, Бельгии, Голландии, Польши и Франции, которые принимали лес с причала.

Полуглиссер быстроходен и удобен: сорок километров мы прошли за час с четвертью. От него не может спастись бегством ни один браконьер! Мотор с «Волги», четыре места в кабине, два — за ее дверью, в кормовой части. Но чтобы попасть в салон, надо становиться на задние мягкие сиденья. Видно, что-то не продумали сормовцы в конструкции: хоть бы догадались сделать вторую дверь по борту...

Печора широка в Пойловском рукаве, куда шире Оки за Рязанью. Но глазу почти не на чем остановиться — однообразные ивы на плоских песчаных берегах. И на редких буграх в тундре — ажурные пирамиды геодезистов.

Наконец показалась приличная горушка — возле нее Печора разделяется на два рукава. А чуть ближе — удивительный пляж из золотистого песка на обширном мыске правого берега. И у самой воды — большой полотняный шатер рыбаков в нижнем Баюре. Там мы высадились и без долгих слов заработали ложками, загремели кружками: сами рыбаки только отвалились от ухи и от чая и позвали нас к самодельному столу.

Шесть громадных псов, привязанных со всех сторон шатра, оберегали несложное хозяйство бригады, включая сети, бочки, ящики, лодки и соль.

Рыбаки были в унынии: сидели здесь десятый день, но ни одна «белая» рыба (так называют семгу и нельму с сигом и пелядью) в сети не вошла. Теперь они надеялись на ряпушку (по-местному — зельдь), да и она еще не подвалила.

— Комаров кормим, — с досадой сказал Асташов и хлопнул себя по шее. — На уху берем самую малость. Семги еще не видали. Наверно, перекрытие вредит. Раньше-то до сего дня брали и десяток и два. А в последние годы пусто: кажись, одна всего и заскочила, дыру в неводе сделала, и все. С неводом мучимся, спасу нет — одна рванина. — Он кивнул в сторону трех своих товарищей, которые латали крылья и мотню в ветхой сетке.

— Я слышал: невод вам подошлют завтра. И еще говорят, что зельдь на подходе.

— Вот бы! Тогда первый улов вам — за хорошую весть!

Увидев нашу снасть, Иван Тимофеевич посоветовал:

— Берите лодку, покидайте под горой: там вода чище и омутов больше. А не пофартит, можно на удочки попробовать: мелочи везде много.

Володя сел за весла. Я наладил спиннинг, и пошла милая сердцу работа. Жужжала катушка, со свистом летела блесна и тяжело плюхалась в воду. Тащил я приманку раз пятьсот: и по дну, и вполводы, и поверху. Стало вечереть, заняло правое плечо. А семги не было!

— Отдохнем, старик! — сказал я Володе.

И мы направились к рыбацкому пляжу, где неподалеку от берега дрожала на течении красная вешка с засохшей веточкой лиственницы на макушке. И началась рыбалка, о которой даже нельзя мечтать в Подмосковье! Словно в очередь подплывали к нам язи до килограмма весом. Они уступили место плотве — крупной, похожей на лещей. За плотвой двинулись окуни, да какие — просто лапти!

— У-у-у! — восторгался Володя, таща рыбину. А нам уже и ногами нельзя было двигать в лодке — всюду билась и трепетала рыба.

Подали голос рыбаки: торопили с ужином, собираясь на ночной замет. Мы причалили, и сейчас же послышался стрекот моторки. Юркий и веселый человек — он назвался Николаем Дмитриевичем — ловко выпрыгнул на берег и кинул под ноги изумленным рыбакам три конца новой капроновой сети...

Ночь была, как у нас под Москвой в осеннее туманное утро, — и темновато, и все видать кругом.

Асташов маячил вдалеке, стоя на корме лодки, рыбаки выбирали новую сеть по первому разу. Слышно было только дружное кряхтенье бригады. И вдруг Иван Тимофеевич, раскатисто захохотав, крикнул:

— Пошла, лапушка! Гости, костер давайте, да поярче! И ночка у нас ладная, ай-ай-ай!

Скоро все мы кинулись вынимать из ячеек серебристую ряпушку, и она словно таяла в руках. Все пересмеивались и торопили друг друга, чтобы поскорее выйти на новую тоню.

— Конечно, не густо — килограммов тридцать. Но дорог почин, — балагурил Николай Дмитриевич.

Мы с Володей порыбачили с берега. Потом искупали собак, которые, спасаясь от комаров, рыли себе глубокие ямы в песке и валялись там, чтобы придавить кровососов. Я взял глухого пса по кличке Диксон. Он пошел за мной послушно, и, когда я окунул его, чтоб не намочили уши, он благодарно лизнул мне руку.

А ряпушка все подваливала и подваливала. И рыбаки, уже без сна целые сутки, тенями двигались от лодки к берегу и клевали носом, когда выбирали рыбу и складывали ее в бочку...

Наутро Николай Дмитриевич завел мотор. И мы — с ветерком — помчались в Нарьян-Мар.

У Валентины Петровны настроение было испорчено. Старый рыбак и трое мальчишек, нанятых рабочими, до полудня отсиживались в Кармановке, хотя отъезд был назначен на десять часов утра. Катер же прибыл в первом часу, и моторист заявил категорически:

— Только доставлю вас к месту — и все! По Коровинской губе ездить не буду: Вольнёц дал такой приказ!

— Не смогу вас взять, — потупилась Валентина Петровна. — Возвращаться-то как? Туда никаких рейсов нет. Отвезу вас до деревни Андег. Там наш отряд работает на семге. Девушки расскажут много интересного. А от них ходит каждый день в Нарьян-Мар катер с рыбой.

Я поблагодарил Валентину Петровну и помог перетащить рюкзаки, мешки и ящики в лодки, которые наконец прибыли из Кармановки.

Катер двинулся во главе экспедиции, на первой лодке разместились рабочие, на второй — мы. Жара была несусветная, и мы на воде блаженствовали. Часа через полтора миновали большое селение Никитцы, где даже на улицах зеленели высокие ивы, а под ними ребята гоняли футбольный мяч.

Потом подвалила гроза. Похолодало, засвистел ветер, белые барашки закачались по сердитой реке, и хлынул дождь — не окатный, но очень нудный. Я стал коченеть в легкой и скоро промокшей штормовке. Валентина Петровна выдала мне полушубок — маленький, не по росту. Он прикрывал спину и плечи, но и это было хорошо.

Вода помутнела, серое небо опустилось на наши головы, волна часто обдавала нас с носа и с борта. Так мы двигались часа четыре, пока не показалась деревушка Месино, где был расположен основной приемный пункт семги и где до прошлого года поселялись каждое лето девушки из ПИНРО. Весной 1966 года бурный ледоход покaleчил деревушку: часть домов раздавило льдом, часть сдвинуло с места. Не пострадали только цехи приемного пункта, а домик ихтиологов был снесен в болото. Из-за этого девушки перебрались на левый берег Печоры, чуть ниже Месино, — в деревню Андег.

Она и показалась за первым поворотом — последнее коренное селение в низовьях Печоры. На некрутом берегу выстроились впритык деревянные домики, серые от дождя и ветров, с подслеповатыми оконцами. У причала сидела девочка, закутанная в дождевик, и подпирала спиной покрытые брезентом ящики с лимонадом и питьевым спиртом. Рядом мокли весы. Чуть выше по берегу дождь барабанил по крыше легкого складского помещения.

Рыбаки стали промышлять насчет спирта. А мы с Валентиной Петровной отправились в отряд, к девушкам. Они обещали найти ночлег у кого-нибудь из колхозников. Я сказал, что хоть Валентина Петровна и не хочет брать меня с собой, все же я провожу ее до Коровинской губы и вернусь в Андег с катером поутру.

И мы тронулись дальше.

В разговоре выяснилось, что Валентина Петровна вот уже пятнадцать лет изучает состояние сига в Печоре. И очень довольна выводами прошлогодней экспедиции: сиг разводится хорошо, ловят его успешно. В 1960 году рыбаки взяли 975 тысяч экземпляров, в среднем по 318 граммов каждый, — 3100 центнеров. А в 1965 году отловили числом меньше (720 тысяч), зато более крупного (до 560 граммов) и сдали государству 4 тысячи центнеров. Сиг будет и дальше увеличиваться в весе, лишь бы не было перебора за счет основного стада.

Нужен повседневный контроль, и она договорилась об этом с Фофановым. Но ее очень беспокоит судьба наваги: в Болванской губе уже не первый год берут всего 2300 центнеров, когда можно брать в шесть раз больше.

— Беду я вижу: ловят наважку частой ячеей, мелкую, весом до двадцати граммов. Это разбой! Может, прозвучат мои слова ересью, но если глядеть на дело с перспективой, то года на два надо резко сократить, а то и совсем закрыть промысел наваги. Рыбнадзор своего мнения еще не высказал. А рыбаки тем временем снимают в неводе два-три обруча, чтобы ячейка в мотне стала уже, и ловят недорослей. Запретить это Фофанов не может: на него из Москвы давит Миронов, на того еще кто-то, и безобразие считается узаконенным!..

Печора перед Коровинской губой разделяется на десятки шаров, и даже опытный наш моторист трижды сбивался с пути. Уже пошел двенадцатый час нашего сидения в лодке, когда катер приблизился к сенокосным угодьям. Женщины в черных накомарниках, словно в парандже, мужчины, закутанные белыми платками, кинулись на борт катера и на разных языках — ненецком, коми и русском — принялись объяснять нам дорогу, оживленно размахивая руками. Из высокого стога вылезли ребятишки и тоже стали что-то кричать. Видимо, на дальнем Севере такая неожиданная встреча — целое событие.

Словом, еще пять-шесть крутых виражей под комариный звон — и, распуговая уток на отмелях, мы причалили к пустынному поселению. Это был край земли

Печорской, последнее зимнее пристанище рыбаков, где проживал круглый год только рыжий дед Андрей Степанович со своей старухой, исполняя многочисленные обязанности: сторожа, хранителя рыбацкого имущества и радиста. Над огромным сараем, куда рыбаки сдают свой зимний улов, высоко были прибиты деревянные буквы. «Афониха» — это название поселка. Жилой домик деда, еще две хатки поблизости и общежитие рыбаков с баней. Вот и все.

Я пробыл в Афонихе три часа, пока отдыхал моторист перед обратной дальней дорогой. Поставил самовар, помог Валентине Петровне навесить балаганы от комаров и поговорил с дедом. Он только что вернулся из Сочи, куда уезжает каждое лето.

— Теплом запасаясь на долгую зиму. И маленько отдыхаю от комаров, — сказал Андрей Степанович. — Опять же фрукты, я их тут не вижу. И на людей поглядеть охота: со старухой-то за сорок лет все переговорено... Конечно, может, когда и в нашу Афониху станут люди ездить. Но сейчас боятся комаров.

Дед был прав. Туристам, рыбакам и охотникам тут раздолье. Июль и август — полоса светлых еще ночей; сумерки — короче воробьиного носа, пляжи — лучше, чем в Евпатории, теплых дней — больше пятидесяти. Рыбы и дичи — вдоволь. В августе поспевают голубика и морощка. В тундре — обилие зелени и удивительные по окраске мхи, из которых школьники делают картинные гербарии. Люди ласковые, гостеприимные. Но... комар, комар! Я не мог пробыть на воле и десяти минут, чтобы не задавить на себе сотню кровососов. Как же истребить этих злодеев на благодатных просторах Печоры?..

После бессонной ночи, часов в семь утра, когда ихтиологи в Андеге собирались проверять контрольные неводы, я позавтракал у них и с Андреей — сынишкой начальницы отряда Зои Федоровны Кульковой — отправился на рыбалку.

Когда мы с Андреей несли в двух целлофановых мешочках килограмма четыре отличной (по московским понятиям) рыбы, встретился на улице пожилой ненец: коротконогий, с длинным торсом и большой головой, укутанной под картузом легким белым платком. Он глянул на улов и рассмеялся:

— На кой тебе эта рыба?

— А тебе только семга годится?

— Ага! И нельмушка хороша, и сиг.

— Берешь семгу-то?

— Дык как не брать? Живем рядом, без рыбы нельзя. Только поубавилась она: кругом по реке заборы, нешто охота ей в петлю лезть? И строгости большие: поймашь — и сиди в кустах дотемна, пока не уберутся начальники. А нешто это справедливо? Я тут всегда жил и всегда семгу ел. А пришли начальники и говорят: «Не смей! Это валюта!» А мне валюта не нужна, мне рыбу надо. Что ж я, за соленой треской должен в Нарьян-Мар ехать?

— И все ловят?

— Все, у кого невод есть. Мне вчера одна попала — еще уха на столе стоит, не съедена. А это не рыба! — ткнул он пальцем в окуневую голову...

В Андеге, как и во всей округе, признавали только «белую» рыбу. И даже девушки-ихтиологи фыркнули, увидев наших окуней, язей и плотву. Но когда мы с Андреей очистили и зажарили в сухарях дюжину самых крупных окуней, настроение переломилось.

— Вкуснятина! А мы-то окуней из невода выпускали! — сказала Зоя Федорова.

Позднее я убедился, что местные женщины, избалованные «белой» рыбой, просто ленились чистить окуней: они их варили и подавали на стол с чешуей. А это морока — хуже, чем грызть мелкие пустые семечки!..

Утром я отправился с Зоей Федоровной и Светланой на контрольный невод, где описывали и метили семгу.

Небо хмурилось, ветер еще не затих, и барашки играли, как в кипящем

котле. Катер прихватил нашу лодку, и — мимо деревни Месино — мы ходко пошли на дальний контрольный пункт ихтиологов.

Зоя Федоровна — в резиновых сапогах и в теплых брюках, в штормовке и в меховой черной шапке, как истая рыбацка, — сидела на носу и пыталась ввести меня в курс дела.

— Удивляюсь я безразличию хозяйственников к нашей работе. В прошлом году они плохо поставили перекрытие у Ольхового Куста — и его снесло. Пострадали наши наблюдения, нарушился и план отлова семги. На участке, куда мы сейчас едем — он называется Конец-Куст, — к основной стенке не приставили пятьдесят метров полотна, и невод получился недоброкачественный. И я не вижу всей картины подхода семги. А на открытом рукаве Пойловской Печоры от случая к случаю производится пропла́в.

— Что это?

— Плавные сети. Их надо заводить до установки перекрытия, а с ними опоздали. И начало подхода рыбы я установить не смогла. С Волинцом, начальником окружного Рыбакколхозсоюза в Нарьян-Маре, — стычки ежегодно, будто разным богам молимся!..

За разговором незаметно добрались до контрольного невода. Его прямоугольник поставлен был так, что рыба в поисках выхода попадала в квадратный загон, который стоял на глуби, далеко от берега. Катер расположился с одной стороны загона, мы, в лодке, — с другой. И рыбаки начали выбивать мотню.

Засверкали в ячейках серебристые сиги, ударила хвостом по воде пелядь — родная сестра омуля; темную спинку показала щучка, оранжевые плавники — крупный окунь. И вдруг вздрогнула и затряслась в руках сеть, будто пустили по ней ток. Серебристой торпедой вылетела в воздух семга — в ярких пятнах, как ночная бабочка, — оперлась на хвост и мгновенно юркнула в воду.

— Не больно-то хорошо, одна пока, — заметил старший рыбак.

Я отлично видел эту семгу: она словно замерла и колодой держалась над нижним полотнищем мотни. А сеть снова дернулась.

— И еще одна! — Зоя Федоровна оперлась руками в правый борт лодки. — Но я ее не вижу.

— Сейчас покажет себя.

Рыбак наклонился над водой и отпрянул: рыба плеснула ему в лицо холодными брызгами. Подняли мотню повыше. Рыбак ловко схватил семгу за хвост и за голову и сунул ее острым рылом в корыто с водой, чтоб не уснула, пока ихтиологи будут колдовать над ней.

Зоя Федоровна ловко сняла пинцетом несколько чешуек с боковинки, Света упаковала их в половинку листка контрольной книжечки. Затем измерили длину рыбы, прокололи шильцем кожу за спинным плавником и закрепили капроновой нитью алую целлофановую пластинку с номером. И я даже не успел ахнуть, как помеченная семга послала нам привет прощальным взмахом хвоста.

Так же пометили и вторую рыбу. А всю мелочь забрали с собой, и описали, и обмерили ее, пока двигались в сторону деревни Месино, на приемный пункт семги.

Часа два я простоял за весами, куда доставляли слегка подмороженную семгу в неглубоких продолговатых ящиках. Семга была некрупная — до четырех килограммов, длиной до семидесяти сантиметров. С десятка рыб оказалось покрупнее — до семи килограммов. И только один самец с уродливой нижней челюстью едва не вытянул двадцати килограммов.

После записи всех наблюдений рыба отправлялась на разделочный стол к рабочему, который стоял в бетонной яме до пояса, острым ножом делал два надреза на брюхе, деревянной лопаточкой выгребал внутренности и спихивал по желобу загустевшую рыбью кровь.

Потом семгу переправляли в чан, где ее тщательно промывали женщины. И дальше — в большие деревянные ванны, где ее густо засыпали крупной каменной солью, которая в отличие от выварной называется бузой и бузаном.

Процесс, в общем, простой. Но на всех операциях люди делали дело профессионально, с уверенностью и ловкостью, отличающими настоящего мастера.

Через мои руки прошло в тот день сто семь рыбин. Из них выгребли ведра розовой недозревшей икры, сердец, печени и «пупков». В обеденный перерыв работницы без шума все это разделили между собой и унесли в посуде, принесенной из дому для такого случая. Говорят, нет вкуснее ухи из семги и ее потрохов. Я отведал, но такого мнения не разделил: уха слишком жирна и сладка, что никак не вяжется с перцем и лавровым листом, обязательно идущими в приправу.

Вечером мы разговорились с Зоей Федоровной обо всем семужьем комплексе. Перед отъездом из Москвы я обновил в памяти статейный материал, изложенный в известной всем ихтиологам книге «Промысловые рыбы СССР», она роскошно издана Пищепромиздатом в 1949 году.

В огромном томе Л. С. Берг и другие ученые спели, как говорится, гимн балтийскому лососю, который на Белом море и на Печоре называется семгой. «При небольшой солености мясо семги, весьма нежное, жирное, тонкого вкуса, является одним из лучших рыбных продуктов,— писал Л. С. Берг.— Особенно ценится крупная, упитанная семга из Северной Двины».

Не прошло и двадцати лет с тех пор, как появились эти строки, а с северо-двинской семгой получилась беда: отловы ее резко сократились. Большая северная река превращается в отстойник грязных вод, дно ее местами напоминает торцовую мостовую: впритык лежат на нем топляки. А на «мостовой» семга не хочет нереститься. Так же бревном извели семгу и в реке Мезень. Если исключить некоторые реки Кольского полуострова, единственным пристанищем для лососевых осталась матушка Печора. Какие же на ней семужьи проблемы?

Изучает их в Архангельске ПИНРО, к сожалению, недавно — всего семь лет. Зоя Федоровна стоит лагерем в Андеге четвертый год. Скажем прямо: поздновато взялись за рыбу, которой уготована на Севере печальная судьба осетровых в южных морях. Да и само изучение, мягко говоря, носит кустарный характер. И пока еще не потеряно время, сделать надо многое: ведь человек лишает рыбную элиту возможности продолжить свой род, но только он — человек — и может спасти ее в наш век технического прогресса!

Зоя Федоровна Кулькова — энтузиаст своего дела. Но у нее в отряде нет постоянных кадров: каждый год приезжают новички, которых надо приохотить к семге наново.

Сейчас у нее четыре сотрудника. Опытной, знающей можно считать только Розу Фюдр, но и она многие годы специализировалась по сигу. Остальные — молодежь. Все старательные и исполнительные, но им еще нужно учиться.

И вообще одного отряда Кульковой недостаточно. Чтобы изучать лососевых рыб на серьезной основе, в ПИНРО нужна специальная лаборатория для комплексного изучения печорской семги.

Почему этого не сделано до сих пор? Причин много. Почти нет ученых, хорошо знающих семгу. Недавно еще был отличный знаток этой рыбы Петр Игнатьевич Новиков. Но он ушел на пенсию. Его могла бы заменить кандидат биологических наук Валентина Петровна Корнилова. Но у нее больше лежит душа к сигу.

Рыбная промышленность, которая могла бы широко финансировать ПИНРО, явно скупились и дает институту слишком узкое задание — только по исследованию промышленных запасов семги в Печоре. А лаборатория по изучению семги могла бы исследовать и прибрежное состояние рыбы в море (нагул, питание, гидробиологию и ряд других вопросов) и установить истинную картину на местах нерестилищ.

— Сейчас мы не знаем точно численности стада семги в Печоре, — сказала Зоя Федоровна. — А чтобы его узнать, надо хотя бы на один год полностью перекрыть Печору — и Ольховый Куст, и Куйский рукав, и судоходную Пойловскую Печору. Что это даст? Мы будем точнее знать, сколько рыбы в реке, и откажемся от мечения семги, попадающей в контрольные неводы. Да и не дают мне покоя

те пресловутые восемнадцать процентов семги, которые якобы проходят Пойловским рукавом. Ей-богу, цифра эта дутая!

Я отметил про себя, что Зоя Федоровна полностью согласна со старым Фофановым: никак нельзя действовать в науке на глазок!

— И с перекрытием мне не все ясно,— продолжала она свою мысль.— Понимаю, что основное стадо проходит по Куйскому рукаву и забор поставлен на месте. Но ведь он, несомненно, отпугивает часть стада. Правда, подтвердить свой вывод не могу: не хватает фактов.

— А нужно ли это перекрытие? Ведь уже раздаются голоса против него.

— Я слышала. Но ничего не смогу сказать, пока не обработаю данные нынешнего лета. Не знаю, связано ли это с перекрытием, но второй год я наблюдаю измельчение стада печорской семги. Симптом весьма тревожный. И чтобы хоть как-то спасти положение, надо уделить больше внимания отбору семги во время пропуска.

— Что вы предлагаете?

— Если перекрытие сохранится, нужно усовершенствовать пропускное устройство: отлавливать только мелкую рыбу, а крупную непременно пропускать на нерестилища. Действовать так же, как в животноводстве,— давать ход элите, самым сильным и плодовитым особям.

— Да это же не так трудно сделать!

— Не скажите! Тут и навязший в зубах закон вала, и связанный с ним заработок. А кому нужен для заработка вал, тот всегда будет самоуправничать. Вот вам детская задачка по арифметике. Проходит одиннадцать рыб — семь надо отловить, четыре пропустить. Вал, план, зарплата — они присутствуют незримо. Что выгодно рыбаку?

— Ухватить тех, которые покрупнее!

— Вот именно! И хоть рядом сидят сотрудник Фофанова и наш лаборант Вася, да разве всегда уследишь за действиями рыбаков? Будто бы случайно придавят семгу покрупнее — и довольны. И потом, что за должность у Васи с рыбинспектором? Сидеть и — не пущать! А надо так сделать, чтоб рыбаки сами оберегали элиту. Иной раз хочется из своего кармана заплатить за каждую пропущенную на нерест крупную семгу! Да это пустой разговор...— Зоя Федоровна вздохнула.— Три года назад мы запустили в Печору триста килограммов осетров. И вот пятого августа — две недели назад — один осетр зашел в пропускное устройство. Не успел наш Вася крикнуть, как рыбаки разделали этого осетра: семь килограммов икры — по рукам, мясо разрубили на части. А наука? Плевать на нее хотели! Это же безобразие, что такую рыбу не пропустили на нерест!..

— Меня тоже беспокоит это перекрытие. Откуда оно взялось?

Зое Федоровне пришлось прочитать единственному слушателю небольшую лекцию. Рыбсловные заборы, в том числе и семужьи,— древние орудия лова. Но на Севере они были запрещены почти сто лет назад, потому что рыбаки прошлого столетия перегораживали Печору намертво и не пускали производителей на нерест.

Вспомнили об этих заборах в тяжелые годы Великой Отечественной войны, и первые перекрытия в низовьях Печоры установили летом 1943 года. Однако сняли их той же осенью: никто из рыбаков не соблюдал режима пропуска. Инициатором существующего сейчас перекрытия был старейший работник рыбной промышленности (ныне пенсионер) Никандр Михайлович Кузнецов. В ПИНРО активно защищает этот способ ловли старший научный сотрудник О. В. Гермашев. Опираясь на этих ученых, построил перекрытие Ф. А. Пономарев, о котором уже упоминалось выше.

— Понимаете: всякий разговор о снятии перекрытия будет встречен в штыки. Да и занимают меня другие вопросы — как бы проникнуть на места нерестилищ. Тогда бы я знала о семге все!

— Но ведь они не в Архангельской области, где расположен ваш ПИНРО?

— Да, в Коми АССР. Это верховья рек Илыч, Щугор, Уса, Ижма, Цильма,

Пижма и Унья. Но тут география ни при чем: ПИНРО должен изучать семгу по всему бассейну Печоры.

— Разумно. А вы не прикидывали, сколько в печорском стаде семги? И каковы перспективы отлова на перекрытии?

— Ориентировочно восемьдесят тысяч рыб. За год ловим около двух тысяч центнеров. На мой взгляд, это не более сорока пяти процентов возможного отлова. Вероятно, правы старые рыбаки, когда говорят, что из-за перекрытия семга стала проходить не коренными руслами, а открытыми маловодными шарами. А может быть, ее значительно меньше восьмидесяти тысяч. Но и это определить нельзя, если не вести исследования на нерестилищах. Да и то не исключено, что норвежцы ловят нашу семгу в Баренцевом море. А для нас это море — темный лес!..

Я пробыл в Андеге пять дней. Сиверко закончился, потянуло теплом с юга. И катер — сборщик семги — при ослепительном солнце и мягком ветерке доставил меня в Нарьян-Мар за три часа.

Подкупила меня аккуратность секретаря окружкома партии Ивана Кузьмича Швецова: он ждал меня с утра и даже справлялся в гостинице о моем приезде.

Разумеется, я хотел сразу взять быка за рога — повести разговор о семге. Но Ивану Кузьмичу хотелось поговорить о делах литературных.

Посудачили о московских новостях, о книгах. В Нарьян-Маре две хорошие библиотеки, и никто не испытывает книжного голода. Понравился мне и книжный магазин со свободным доступом покупателей к прилавкам и стеллажам. И все московские газеты и журналы аккуратно доставляются к обеду текущего дня.

Постепенно зашел разговор о благоустройстве города, о зелени. Я сказал, что уныло выглядят поселения без единого кустика, да и на городских улицах хороших деревьев нет.

— Вот эти березки перед зданием окружкома посажены тридцать лет назад, когда заложили город в теперешних его границах. — Иван Кузьмич распахнул окно. — Карлики. У нас в Рязани таким, ну, пять—семь лет, не больше. Аллея елочек перед Домом культуры разбита три года назад. Видите, деревья стали сохнуть. Идет неплохо только ива, но хочется видеть и иную зелень.

— Я встречал в тундре одиночные лиственницы, они растут хорошо. И невдалеке от почты у вас раскинулась рябинка. И карликовые тундровые березки очень нарядны. — заметил я.

— Дал задание. Садовники обещают сделать посадки осенью. Видно, в городе придется разводить только то, что растет в тундре, — вздохнул он.

— Давно вы тут, Иван Кузьмич?

— Семь лет, а до того в Архангельске годов десять. Совсем от Рязанщины оторвался: заполярный кадр! Скучаю по Оке и по... арбузу. Семь лет тут не видал.

Я удивился: при теперешних-то путях сообщения?!

— Торговля! — ответил он с ноткой осуждения. — Нет гибкости. Осенью завалят апельсинами, лимонами, грейпфрутами. Продукты дорогие, их можно возить самолетами. А арбуз? Весу много, места много, а цена — грош! Самолетом выходит накладно: арбуз-то дороже ананаса потянет. Вот и тащат баржой из Архангельска. Товар, как знаете, осенний, море штормит, в закрытых трюмах духота. Попадет к нам астраханский арбуз через месяц. По дороге — перевалка да морская тряска. Свинья. и то не каждая, кинется на такой товар..

Подошли наконец и к рыбе.

— А как быть с семгой, с перекрытием? Говорят люди: может, снять его и вернуться к исконным способам лова — наплавающим и ставным сетям? — в лоб спросил я.

— Кто вас знает, заезжих литераторов, — усмехнулся Иван Кузьмич. — Еще в ретрограды запишете?!. Я рискнул заикнуться об этом, да меня так одернули, что пока помалкиваю. Но, разумеется, не отстану: только идти против перекрытия надо с точными фактами, я их сейчас и собираю. Одно ясно: такую рыбу, как

семга, эта штука отпугивает. У нас уловы не увеличиваются, а норвежцы дают к столу в шесть раз больше нашего. Раньше хоть присылали из Норвегии бирки, которыми девушки в Андеге метят семгу. А теперь и этого не делают. Видно, много стало наших бирок, потому и помалкивают...

Когда мы прощались, Иван Кузьмич сказал:

— Помогите с кинотеатром. Намечали мы открыть его к годовщине Октября. Теперь окончание строительства отнесено на тысяча девятьсот шестьдесят девятый год. Будто не знают люди, где мы живем. Так и скажите в Москве: за Полярным кругом — всю осень, зиму и весну с непогашенной электрической лампочкой. Куда денешься, если хорошего кинематографа нет? Конечно, мы не Норильск, тому все дают безотказно. Но и мы — центр Ненецкого округа. Пусть не тянут...

Самолет рейса № 82 ушел из Нарьян-Мара почти вовремя: какие-то пятнадцать минут не в счет. Но над городом Печорой нас вынудили сделать три больших круга: под нами неистовствовала гроза.

Я спустился по трапу и потащил вещи к зданию аэровокзала по мокрому, побитому асфальту. Рядом шла многочисленная семья; они не раз останавливались на перекуток, перекидывая из рук в руки то малых ребятшек, то громоздкие мешки и баулы. А помочь некому: здесь не то что в Москве — ни носильщика, ни тележки.

Печора состоит из двух обособленных поселений: собственно Печоры и новой ее части — города Канина, где расположены административные учреждения, аэровокзал, порт, гостиница, магазины.

Я зашел в гостиницу и попросил забронировать номерок через пятидневку. Меня записали в книгу и действительно сделали потом все, что было в их силах. С номерами трудно и здесь. Гостиница маленькая, а людей приезжает много.

Такси не попало, да и не было особого смысла гоняться за ним: от гостиницы всего полкилометра пути до порта. И я поплелся туда, согреваясь от солнца и от вещей, неизбежных в дальней дороге. И — радовался. Красиво разбили печорцы свои скверы, озеленили каждую маленькую куртинку между хорошо асфальтированным тротуаром и проезжей частью. Бесхитростно, а отлично получилось: на синих громадах цветущих васильков бархатные соцветия алых, белых и розовых маков! А кругом сосны, еще не засохшие от тесной близости с человеком!

И как только я сдал вещи на речном вокзале, сейчас же бросил открытку в Нарьян-Мар Ивану Кузьмичу: вот, мол, простое решение вопроса о клумбах в Заполярье. Цвета подобраны мило, глаз отдыхает.

Но радужное мое настроение скоро омрачилось. Катер до селения Усть-Щугор, объявленный отходом в шестнадцать часов, не показался и в двадцать. Пассажиры стали наседали на девицу из справочного бюро. Та кинулась в город и через час привела начальника речного вокзала.

Выяснилось, что на воде произошел печальный, но, к сожалению, рядовой случай: катер «ВТ-58» сломал винт из-за малой межени на Печоре. Надо ждать, когда придет с реки Усы катерок «М-45», изготовленный в Белоруссии для самых ближних перевозок. Да еще не известно, как посмотрит капитан на внеочередной рейс.

«Сорок пятый» причалил около двадцати двух часов. Минут сорок торговались с командой, еще час ушел на заправку горючим. Тронулись близко к полуночи, когда еще догорала поздняя вечерняя заря.

Идти предстояло больше полусуток, но ни о каком лежачем месте мечтать не приходилось. Хорошо хоть, что в поместительный носовой отсек, не занятый командой, нам удалось пропустить женщин с детьми. А сами мы пораспихались на палубе. И сидели там, пока не погасла северная заря и не перекипела обида на глупые и досадные мытарства на речном вокзале.

Я восторженно быстро: очаровала меня красота здешних мест. Печора сдана с обоих берегов бескрайними лесами, закат очень долго отливает золотом по

левому борту. Кто-то еще рыбачил возле берегов, из зарослей камыша срывалась иногда маленькая стая уток и долго тянула цепочкой на фоне золотисто-алой полоски северо-запада. Да и рядом было на что посмотреть: по палубе разгуливали бородатые и волосатые двадцатилетние ребята в джинсах, смело расклеванных вниз от колен, и распевали песни-самоделки, из которых я не мог запомнить ни одного куплета. Геологи укладывались в спальные мешки, выпив спирта и закусив консервами. Глядя на них, захотелось в буфет. Но он бездействовал.

А далеко за полночь холодок на палубе стал прохватывать крепко. И все пассажиры стали искать укрытие. Я держался на скамье, пока не начал дрожать в руке карандаш с блокнотом. Сжалился надо мной дежурный матрос.

— Присобиривает, батя? — усмехнулся он. — Я иду на вахту. Можешь подремать в моей каюте.

Я и подремал. Но едва обогрелся, как матрос закончил вахту.

Было уже светло, но солнце еще скрывалось за молочной пеленой тумана. Мы начали вызывать буфетчицу, однако она не больно-то торопилась ставить чайник.

Печора сильно обмелела. К дебаркадерам катер подваливать не мог и оставался на рейде. К нам подбиралась лодка с пассажирами, которые рвались на наш катер, и забирала тех, кто отмучился за ночную поездку. Геологов высадили прямо в Печору, и они побрели по колено в воде к нефтяной вышке на крутом берегу. Пятерых сбросили на песчаный остров против Приуральска. В неурочный час никто не приехал за ними, и они кричали перевозчику очень долго — пока мы разворачивались на мелководье, выбирались на фарватер и двигались вверх по реке.

— Из графика выбились, пойдет теперь ералаш! — грустно заметил кто-то.

Но все это были мелочи, и бывалые пассажиры уже привыкли к ним. Потом открылся буфет, кто-то выпил вина, кто-то чаю, стало обогрывать солнце, и терпеливые люди махнули на все рукой.

Я же не мог оторвать глаз от реки и от берегов.

Места были удивительные: перекааты, где вода кипела, как в гейзере, каменные уступы над фарватером и по их гребню — живописные деревушки. Гуще и плотнее стали леса. Возле города Печоры елки почти все с прогонистыми тонкими макушками, из-за чего гребенка леса на горизонте кажется щербатой. А тут ели — до неба и все ровные, с густой пирамидальной кроной, разлапистые у самой земли, и под их ветвями приволье грибам и таким птицам, как глухари и рябчики.

Но не только эта удивительная красота привлекала взгляд. Всюду валялись бесхозные, бросовые бревна. Они торчали из воды, зарывшись комлем в песчаное дно, и катеру приходилось маневрировать, чтоб не напороться носом. Бревна качались на поднятой нами волне, тысячами валялись на песчаных отмелях. За Приуральском и в районе селения Конец-Бор на береговых срезках обсыхали плоты длиной в полкилометра. А один плот на берегу казался бесконечным.

— Сколько же в нем добра? — спросил я пожилого старожилы, который не менее меня был возмущен этой бесхозяйственностью.

— Тридцать тысяч кубометров, не меньше. А пока катер доберется до Подчерья, увидим еще сотни тысяч! Ведь это уму непостижимо, до чего мы богаты! Возьмем, к примеру, любое бревно. Свалить его, сучья убрать, вывезти — пускай все это стоит два рубля. Так только на нашем пути «обсыхает» по берегам до миллиона рублей! А по всей-то Печоре и не сосчитать. Да разве бедняк на такое способен?

— Хозяина, что ли, нет?

— А чей это лес? Тавра на комле нет, спихнул в воду — и загорай! Да нешто уберут его до зимы? Ни в жисть! И зимой не управятся. Вы никогда не видали, что тут по весне делается?

— Не приходилось.

— Каждая глыба льда, ну, скажи, — громадный еж, из него во все стороны

торчат бревна. И мчатся к Баренцеву морю. А там у норвежцев фирма: вылавливает печорский лес, пускает в дело и кладет доходы в карман. Да посмеиваются: вот, мол, чудачки, золотую жилу ни за грош отдают!.. Если по-хозяйски вопрос ставить, как пора запретить сплав леса: возить надо только в сухогрузных судах или на баржах.. Хочу такое предложение сделать.

— На лесопункте, что ли?

— Да, в Кырты. Это за Щугором. Я там не первый год лес валю...

В Усть-Щугор мы прибыли с опозданием на шесть часов — после обеда. Одиноким дебаркадер торчал у пологого берега, усеянного круглыми ядрами валунов и сотнями бревен, уже присыпанных песком.

Деревни не было видно за лесным отрогом. И пожилая женщина, сошедшая с катера вместе со мной, заметив, что я замешкался, сказала в сердцах:

— Дальше-то не смогли отодвинуть пристань! — Она попросила помочь ей перекинуть вещи через плечо. — Пойдем, тут версты две с гаком. С самой весны требуем перенести пристань к деревне, где она спокон веков стояла. Так нет: примкнули незнамо где, даже на лошади не проедешь — камень на камне. Гляди под ноги, а то свернешься!

И я постепенно узнал от спутницы, что во всей этой истории сыграло определенную роль элементарное безразличие водников к пассажирам. Дебаркадер годами стоял под крутым левобережным яром у самой деревни. Место там глубокое, но узкое. Катерам приходилось пятиться, чтобы выйти из протоки в Печору, и сразу же тянуть к правому берегу, где проложен судоходный путь. Капитаны заартачились: не желаем делать всякие такие маневры! Им и помирволили. А против деревни работает сейчас землечерпалка, и ей ничего не стоит за два часа расширить протоку, чтобы выбить козырь у капитанов. Да кому до этого дело? Пассажир, он все стерпит: старуха побурчит, мужичок лишний раз матюкнется, а молсдежь сдюжит, вот и все!

— Жалились кругом, да ничего не вышло. Топай, топай! Небось замерз ночью, вот и нагреешься! — шутила моя спутница.

Мы плелись ровно час, выворачивая ноги на валунах. Потом запыхтели в гору и без сил свалились на лужайку против скотного двора.

— А где же Щугор? — спросил я, отдышавшись.

— Выше деревни, с версту будет. — Она глянула на мои удочки. — Только запретный он, ловить нельзя. Придется тебе к рыбинспектору, к Ивану Пыстину, глядишь — и позволит, раз ты так далеко забрался. Живет он не у нас, мы его деревню утром проехали. Но должен нонче нагрянуть: суббота, людишки за рыбой кинутся, ему глядеть надо. Ну и выпить желательно. Ведь не всякого виноватого охота под протокол тянуть: люди-то кругом свои, они этого Ивана еще ползунком помнят. И у каждого, кто нарушил, бутылка на столе, как от нее отвернешься? Но Иван не шалопутный, он порядок знает...

Еще когда летел из Нарьян-Мара в Печору, сидел я в самолете рядом с главным инженером геодезической экспедиции Я. А. Брезинским. Он и посоветовал мне найти в Усть-Щугоре его земляка — ленинградца Константина Кондратьева, старого рыбака, который возил экспедиционный отряд вверх по Щугору несколько лет назад.

Кондратьевы жили на противоположном конце деревни, и я не враз добрался туда. Деревня, как и все по Печоре, — сплошное нагромождение деревянных домов с маленькими кустиками в палисадниках. Ни воробья, ни грача, столь привычных в средней полосе. И вдруг — почтовые голуби: два, три... пять. Какой-то любитель завез их года четыре назад, и они пока единственные птицы в Усть-Щугоре. Я вспомнил, как в 1915 году появились первые воробьи в Мурманске: они пришли вместе с человеком, который проложил железную дорогу и доставил лошадей и зерно. За конским навозом и зерном прибыли воробьи. И в городе Печоре они уже появились, а тут их нет.

В доме у Кондратьевых никого не было. Но я докричался, и с огорода появилась девчушка лет десяти — не в меру строгая, без улыбки.

— И чего кричите? — взяла она меня в оборот. — Мама с Надей на сенокосе, папка на работе. Чего вам?

— Вещи хочу поставить, умыться с дороги. Да и проголодался — спасу нет!

Она молча схватила мой чемодан, распахнула дверь, которая была подперта дрючком. А подружки, высунувшись из кустов, уже кричали ей:

— Валь, ну, Валь! Давай скорей!

— Играете ль во что?

— Ну да: недосуг мне!

Валя показала мне холодную вареную картошку, вытащила из погреба соленого харнуса.

— Вот вам! Дрова наколоты, растопляйте печку, чай в буфете! — И умчалась.

Я вскипятил чайник, позавтракал, лег в балаган, но комары и там не зевали. Сходил в лес, посидел на лавочке над рекой. И кое-как дождался вечера, когда приехала хозяйка со старшей дочерью.

Следом за ними прибыл с лесопункта из Кырты и Константин. И все закрутилось в доме по-доброму — даже появилась на столе семга. И хозяин навесил мотор на лодку, чтобы приезшему не терять времени даром. На вечерней зорьке двинулись мы с ветерком по Печоре, в устье Щугора и дальше — до Медвежьего ручья.

Кондратьев, как и добрая половина жителей Усть-Щугора, — поселенец послевоенный, из бывших строителей железной дороги Печора — Воркута. Сел у Щугора прочно.

— Здесь и женился на своей Настасье: она у меня из коми, тутошняя, маленько постарше, но хозяйка — первый сорт. Годов десять был рыбаком, потом возил всякие экспедиции по Щугору, теперь на лесосплаве. Рубль хороший, не жалуюсь. Собираюсь на пенсию выходить, да не все документы в порядке. Надо в Печору писать, там я одного человека знаю, работал с ним: Брезинский Яков Андреевич.

— А я как раз виделся с ним: вчера прилетели из Нарьян-Мара.

— Ну, тогда ладно. Пошлем ему письмишко: мол, жив Костя, поклон шлет и просит выслать справку о работе в отряде.

На гом и договорились...

Я сидел на банке, любовался Щугором и думал: как посмотрит инспектор, если я случайно подцеплю семгу на блесну? Сказал об этом Константину.

— Иван? Да что ж он, чурбан, что ли? Вы из Москвы колесили и, значит, без рыбы уедете? Против моего гостя он — ни-ни! Слух был, что сейчас на реке товарищ Мостовой — это главный рыбинспектор из Сыктывкара. Ну, поздороваемся: велико ли дело одна семужка, тут ее каждый ловит. Чудно, ей-богу, — видеть рыбу да не взять! Не на продажу? А для спортивного интереса какой черт поперек станет?

Мотор работал исправно. Печорская вода — чуть мутноватая от дождей и катеров — давно сменилась прозрачной и быстрой водой горного Щугора. Безмолвно встретила нас река, и где-то в еловых и осиновых зарослях приглушила рокот мотора. По дороге попала лишь лодка с бородатыми туристами. И они, как заговорщики, предупредили нас:

— Глядите в оба, Мостовой проехал ко вторым воротам!

— Ловкачи! — сплюнул Костя, когда мы разъехались. — Их тут недели две ищут, они где-то наловили семги, ух ты! А вот даже Мостовому не попались!

Часа через два мы добрались до Медвежьего ручья. И вдруг мотор «сел». Встали на якорь, разбирали мотор трижды: продували, промывали — ни в какую! Настроение испортилось. Прятались в лесу от дождя: я нашел две сыроежки на краю болота. Поздно вечером повернули к дому — на веслах, даже не обмокнув

блесну в прозрачной воде Щугора! И только перед выходом в устье Константин сказал:

— Еще в одном месте проверю. Если не найду, завтра на другом моторе поедем.— Помолчал.— А вообще мне на веслах в деревню никак нельзя.

Доискался он, когда совсем стемнело: не срабатывала заглушка. Кое-как прикрепили ее проволокой, мотор заревел. Авторитет Константина был спасен: к деревне мы подъехали лихо.

Но я был благодарен мотору за то, что он забарахлил. Весь долгий вечер было тихо, ничто не мешало нашему разговору.

Константин все расспрашивал, что говорят ученые про семгу. И почти по каждому пункту возражал, опираясь на свой многолетний рыбацкий опыт. И даже тому не верил, что большая часть семги погибает после первого нереста.

— Ей-богу, выдумки! Я еще недавно каждый год ловил семгу килограммов в тридцать и того больше. Что ж, она до таких лет и на нерест не ходила?

Я говорил, что семга нерестится осенью, главным образом в сентябре. Грунт ей пригоден лесчано-галечный, течение быстрое. Самка вырывает на дне реки яму или гнездо длиной до двух-трех метров, откладывает туда икру и засыпает песком или гравием, мощно работая хвостом.

— Насчет осени — согласный, это точно. А что самка строит гнездо — чистая липа! Вы бы взглядели, как нерест идет.— картина: и кино не надо! Стоит самка на мели, вода чистая, как вымытое стекло: даже видать, как у нее каждый плавник дрожит. Вокруг нее самцы — два, три, а то и больше. Их сразу отличишь: рыло у них безобразное, будто к нижней губе нащепку приклеили, и нос, как у орла, крючком, на себя-то не больно и похожи. И самцы роют яму рылом, оно, видать, и приспособлено для такого дела. А кругом — всякая-всякая рыба, как на ярмарке! И всего больше хариусов. Стоят они, как сигары, головами к тому месту, где самка хочет класть икру, ждут не дождутся, чтоб полакомиться. Ну, не стерпит какой-либо семгин кавалер, что затевается злодейство, озлится на эту банду, да как развернется! И головой, боком, хвостом так и шурнет этих хариусов. Они, конечно, врассыпную, а чуть погода опять на месте, головами к яме, дышат жадно и знай шевелят плавниками, чтоб удержаться на течении. Отложит наконец самка свою икру и поплывет себе куда-то. А самцы — на часах, охраняют потомство от извергов. Допускаю: самцу с таким противным рылом больше не жить, мы часто подбираем этих обессиленных лошаков. А самка и в другой и в третий год может икру бросать...

И никак не хотел признать Константин, что семга в реке — перед нерестом — ничем не питается.

— Вашим бы ученым только сказки рассказывать, да и то не рыбакам, а несмышленым детям. Ишь ведь что придумали: не питается семга в реке. Умора, ей-богу! А я сам видал, как она хариусов заглатывает не хуже щуки! Такой хищник — не дай бог! И на блесну мы ее ловим от водополя до ледостава. Намедни взял трех у этого Медвежьего ручья, когда на сенокосе был. А в деревне у нас дачник. Он-то на Щугор и носа не жмет, на Печоре, против пристани, в любой вечер берет рыбину запросто, а там семга никогда не нерестится... Вы этим ученым скажите: поезжайте, мол, на Щугор, да с рыбаками покалякайте. В кабинете — это не наука. Конечно, я другого дела не касаюсь, я про семгу говорю...

В спорах прошла и часть ночи, когда мы сидели в хате. И подключился к нам рыбинспектор Иван Пыстин: он ввалился близко к полуночи, когда зажгли свет.

— Гляди-ка! — словно удивился Константин.— Аль пронюхал, что у меня гость?

— Да вы так орете, на реке слышно. И все про рыбу!

— Тогда давай к самовару — гостем будешь. И полезай к нам в спор.

Иван явно держал сторону хозяина, и я не смог защитить ученых от нападков двух знатоков. Но в одном мне повезло: инспектор разрешил добыть рыбину в Щугоре, чтоб я лично убедился в ее бешеной хватке.

— Ну, где одна — там и другая! — лукаво подмигнул Константин, опахиваясь полотенцем.

— Смотри, Костька, я тебе зубы пообломаю, — посуровел Иван. — А то и сам не угомонился, и человека смущаешь.

— Ты, Иван, меня не сердя! Десять лет мы рядом, и никогда я от тебя не хоронился. И сколь тебе браконьеров предоставил: на мне только и держишься. Да еще премии получаешь! Ты лучше беги завтра за водкой, а то Настя уху сготовит, а на столе пусто.

Иван плюнул с досады и машинально хлопнул себя по карману, где лежал кошелек.

— Ну, ладно, не дури! У Насти всегда найдется к выходному.

— Вот черт! — добродушно сказал Иван. — Только больше ведра не лови, харнусов-то...

На рассвете мы миновали Медвежий ручей, где вчера отказал мотор. Чем выше по Щугору, тем красивее пошли места. Чистая и быстрая река, почти такая же широкая, как и Печора, громко играла на перекатах, и за бортом я видел на дне любой камешек: лес подступал к воде слева и справа синей стеной, без просветов, на вершины елей ложился алый и золотистый отблеск зари; дикие утята, рассыпая строй, ныряли перед носом моторки.

И вдруг замаячили вдали первые щугорские ворота — просто чудо природы: словно два стометровых по высоте гурзуфских «медведя», густо-густо одетые в прекрасную щетину из ели, пихты, кедра, ивы и березы, улеглись мордами в прозрачные струи и образовали проход метров двести длиной. А между ними — черный омут, над которым даже страшно в утлом суденышке. Мотор загрохал, как в пустой цистерне, и звонкое эхо рассыпалось над «медведями», рокоча в отдаленных увалах.

— А вторые ворота еще красивше, только мы до них не дойдем: часа три надо пыхтеть. Да и незачем: доберемся сейчас до первой луки, там и покидаете блесну. Опять же место не нерестовое, а семга зверствует!

Мы примкнули к лопушкам на каменной отмели. Перекусили. Сбросил я хлебные крошки за борт и сейчас же закипела вода — сотни мальков харнуса и семги, по-пороссячи подкидывая носом корочку, засверкали, как горсть новых гривенников.

Договорились, что Константин будет двигаться на веслах от берега к берегу, чтоб удобно было бросать блесну и подкручивать леску на катушку против течения. На всякий случай я попросил:

— Сядет крупная, так вы, Константин Михайлович, постарайтесь прибиться к берегу: на струе не выдюжим. Я это по таймену знаю: лавливал.

— Поглядим. Ну, помалу!

Я стал бросать желтую тайменевую блесну веером: сначала ближе к левому берегу, затем на стрежень, где тугой косой завивались мощные струи, потом к берегу правому. Семга схватила на восьмом забросе. Постояла секунды четыре на приколе, никак не поддаваясь на мои позывы, и вдруг понеслась к левому берегу до того стремительно, что запела в воде леска. На стрежне рыба вылетела над струей — эдакой серебристой ракетой; она словно оперлась на хвост, трянула головой и плашмя рухнула в воду, раскидав вокруг пенные брызги.

— Детская забава: килограмма четыре — не больше, — махнул рукой Константин. — Выбирайте шнур, я ее мигом и без багра возьму.

Леска была надежная, тройник отличный, рыба засекалась хорошо. Я не дал ей долго метаться и подвел к лодке. Кондратьев лег на банку и уставился в воду, раскинув руки за бортом. И только семга поравнялась с лодкой — он очень ловко схватил рыбину за хвост и под жабры и накрыл брезентовой курткой.

— Вот как по-нашему! Кидайте! — Голос у Константина дрожал азартно.

— Хватит? — спросил я неуверенно. — Иван говорил про одну семгу.

— Я тут Иван, понятно? Эта вам пойдет, и мне тоже надо.

Минут через десять в лодке била хвостом вторая рыбина — такая же, словно сестричка первой.

— Теперь будем спускаться. На перекате, за воротами, наловим хариусов — и к дому!

Километрах в двух ниже ворот, в голове огромного переката, мы встали на якорь — им служила сбитая в пудовый ком толстая цепь, — и Константин выкинул два «кораблика». Это небольшие деревянные доски с металлическим прутком внизу, вырезанные в форме трапеции. На одном боку три направляющих шнура, как у воздушного змея. И в той точке, где шнуры сходятся, привязан главный шнур, идущий к лодке.

Действуют «кораблики» по принципу воздушного змея, только средой для них служит вода. «Кораблик» держится на ребре, легко сплавляется по течению, но и бойко идет поперек и против воды: все зависит от того, с каким усилием направлять и выбрать главный шнур.

На этом шнуре привешены поводки, на них маленькие якорьки с искусственной «мушкой» из волос, которые красной ниткой закреплены пучком. Мастерство рыболова состоит в том, чтобы держать «мушку» у поверхности воды. Хариус кидается на насадку, засекается на крючках и резко дергает шнур, поднимая бурунчики на струе. Таков способ лова.

Но при первых заматах хариуса мы не обнаружили. Попадались лишь маленькие семужки, короче карандаша, пятнистые и полосатые, с непомерно большой головой. Константин бережно отпускал их в воду.

— Пускай растут — это не добыча. Я одному мальчишке намедни крепко надрал вихор за такую пестрятку, теперь у нас никто не балуется. А хариуса тут кто-то почистил. Еще три недели назад он хорошо кидался на мою «мушку».

Решили сплавиться пониже и скоро остановились на втором перекате. Хариусы звонко плескались на отмели и стали жадно хватать нашу приманку. И посидели-то мы недолго, а их набралось штук двадцать.

— Вот и потешили душу. Теперь вы всю нашу премудрость постигли, хватит! — Константин собрал и спрятал «кораблики» в старую клеенку. — А между прочим, как считать такую снасть? Идет она в сравнение со спиннингом? И надо ли запрещать ее на Щугоре?

— С подвохом, что ли, спрашиваете?

— Наши инспектора не одобряют. Конечно, резон в этом есть. Я, как сюда приехал, первое время поставлял государству на два «кораблика» больше тонны хариусов за один сезон. Потом, с моей руки, артель была — «корабельная». Теперь у каждого мальчишки есть такая снасть. А запрещено.

— А что еще ловили, кроме хариусов?

— Все зависит от шнура и поводков. На веревку и семгу можно взять. Как на охоте: вторым номером дробы хорошо по зайцу, а пулей — на медведя. Если снасть тонкая, аккуратная, кроме хариуса, никого не вытащишь. У меня прошлым годом семга села. Ну и что? Палец шнуром до кости разрезала, поводок оторвала и — будь здоров!

— Вопрос сложный, Константин Михайлович. Хариус — тоже ценная рыба, вылавливать его подчистую негоже. А с другой стороны, надо бы и поубавить, коль он главный враг семги. Без ученых и этого дела с умом не решишь. А рыбнадзор понять можно: все вы тут хитрецы. И легко идете на нарушение. Так куда проще объявить запрет, чем за каждым гоняться по водоему.

— Значит, даешь сознание? А пока его нет, и на речку не суйся?

— А как же иначе? Будет семги вдосталь, тогда и запрет ни к чему.

— Опять вы про ученых гнете? Ну, зовите их к нам, может, сделают они переворот в семужьем хозяйстве...

После ужина Кондратьев подбросил меня на моторке к пристани. Теплоход, который должен был прийти с верховьев в десять вечера, ожидали только к двум

часам ночи. Я не стал задерживать любезного хозяина, но с трудом уговорил его ехать домой в полночь.

Сидели на берегу, курили, отгоняли назойливых комаров, беседовали. Плеснулась семга на излучине, где обычно промышлял дачник.

— Мало стало, мало! — Константин прислушался, но всплесков больше не было. — А годов десять назад как в садке играла. По Щугору и гонять не приходилось, против дома брали добрую семгу. Теперь изредка слоняется мелкота. Четвертый год не вижу такой, чтоб сердце взыграло, ну, на пуд, на полтора. Или топлый лес мешает заходу, или нефть на воде. А семга чистоту любит, и сама такая аккуратная да подбористая, что твоя невеста!..

Теплоход пришел большой, посадка закончилась быстро.

А наутро снова бередили сердце «рубли», раскиданные по песчаным берегам: тысячи прекрасных стволов сосны, ели и кедра...

Когда же на могучей северной реке появится рачительный хозяин, умеющий беречь народную копейку? Когда придет человек, которому до всего есть дело: и до семги, чтоб ее спасти, и до леса, чтоб не уносило его в чужие руки?

Сделано в этих местах много, очень много. Но и ждет нас еще немало нерешенных вопросов.

И прежде всего пресловутый вопрос о перекрытии Печоры и других рек.

Когда я вернулся в Москву, провела свои заседания ихтиологическая комиссия Министерства рыбного хозяйства СССР. Ученые судили и рядили и подвели итоги многочисленных дискуссий по поводу концентрированного лова семги.

Мнение пока сложилось такое: «Концентрированный лов семги и других рыб с помощью перекрытия убедительно свидетельствует о большой целесообразности и эффективности этого лова».

Может быть, оно и так: ученым виднее. Но следует ли начисто отметать и точку зрения практиков, которые никак не желают мириться с перекрытием Печоры?



ПУБЛИЦИСТИКА

А. ЛЕТНЕВ

★

АФРИКАНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

«Африка напоминает огромную, быстро идущую машину, колеса которой вертятся с неодинаковой скоростью», — писали в конце пятидесятых годов в своем путевом дневнике французские публицисты супруги Госсэ, вернувшись из поездки по африканскому континенту. Что ж, им нельзя отказать в наблюдательности. В конце прошлого десятилетия континент в целом вплотную приблизился к политической независимости, но одни страны действительно шли к ней быстрее и прямее, другие предпочитали более извилистые пути. Сейчас положение иное. Большая часть материка обрела политическую независимость. Но привело ли это к единообразию содержания этого понятия и темпов общественного развития? Ничуть не бывало. Если бы Пьер и Рене Госсэ совершили новое путешествие по Африке, они, очевидно, смогли бы заметить, что колеса машины не перестали вращаться с различной скоростью. Больше того, кое-где они стали вращаться в разных направлениях.

Гвинейцы и малийцы провозгласили своей целью социализм, а их сосед — Берег Слоновой Кости — предпочитает капиталистический путь развития. Различны политические доктрины конголезских руководителей в Киншасе и в Браззавиле. Да и в пределах каждой страны бурлят политические страсти. Спросите любого читателя, радиослушателя, телезрителя об Африке наших дней, и он ответит, что сбился со счета, пытаюсь припомнить государственные перевороты в африканских странах только за последний год-другой. События и впрямь мелькают, как в калейдоскопе. В Гане военная верхушка с боем захватывает власть. По Нигерии, Конго (Леопольдвиль), Верхней Вольте, Центральноафриканской Республике, Дагомее, Бурунди прокатывается лавина переворотов. В Кении в знак протеста против прозападной политики правительства отказывается от поста вице-президента и основывает оппозиционную партию видный государственный деятель Огинга Одингга. А в Уганде правительственные войска берут штурмом дворец крупнейшего феодального владыки Эдварда Фредерика Мутесы II, бывшего еще совсем недавно президентом страны.

Многое в жизни современной Африки озадачивает. Особенно если подходить к ней с привычными критериями. Мы часто употребляем выражение «развивающиеся страны», вкладывая в это понятие главным образом экономическое содержание. Но ведь развивается не только экономика. Одновременно происходит и замена нынешних отсталых социальных отношений новыми, вырабатываются новые политические концепции, формируется национальная (а не племенная) психология. Надо ли говорить, что все это рождается в муках.

Газетные сообщения об Африке часто настолько противоречивы, что смахивают на политическую головоломку.

Как разгадать ее? По-видимому, прежде всего надо увидеть Африку со всеми ее специфическими особенностями, традициями и одновременно со всем множеством и

сложностью ее богатых и многообразных связей с остальным миром. Стоит заглянуть и в недавнее колониальное прошлое и сквозь его призму рассмотреть программы политических партий, речи африканских лидеров в ООН и у себя дома, сообщения об успехах и трудностях молодых государств, которыми пестрит мировая печать.

Разумеется, колониальный период — лишь одна из тысяч страниц, составляющих многотомную историю Африки, историю, к сожалению, еще не написанную. Африканские народы прошли по дорогам истории большой путь, создали самобытную культуру. Задолго до прихода колонизаторов Африка умела плавить металлы, строить оросительные системы, выращивать полезные растения. Средневековые арабские историки и географы свидетельствуют о крупных африканских городах, протяженных торговых путях, развитых ремеслах, об очагах культуры и государственности.

Подобно населению других материков, африканские народы развивались неравномерно. Египтяне по уровню развития экономики и культуры намного опередили своих соседей. Древний Египет стал колыбелью одной из великих цивилизаций, известных человечеству. Что же касается обширных областей южнее Сахары, в первую очередь зоны густых тропических лесов, то они сильно отставали от таких мощных очагов цивилизации, как долина Нила или Карфаген.

Но и в самой Тропической Африке развитие происходило неравномерно. Некоторые суданские народы создали государственные образования, древнейшим из которых была Гана (сформировалась около III—IV века н. э.). Крупными государствами суданского средневековья были Мали, Сонгаи, Канем-Борну, Багирми, Вадаи, Дарфур. На территории нынешней Нигерии у народов хауса и йоруба сложилась такая форма общественной организации, как город-государство (Кано, Зария, Кацина, Ойо, Ифе и другие).

Южные соседи суданцев — народы банту, в особенности жители Междоурья и сопредельных южных и западных областей — создали свои государственные образования, такие, как Конго, Мономотапа, Кигара, Буганда.

О государствах, существовавших южнее Сахары, о народах, их населявших, о материальной и духовной культуре этих народов Европа долгое время не знала почти ничего. Много позднее, в XX веке, когда началось более или менее систематическое изучение Африки, стали выявляться важные черты, присущие общественному строю ее народов — и тех, которые дошли до оригинальных форм государственности, и тех, которые остановились на одной из ступеней разложения родоплеменной организации. К числу этих черт обычно относят: сильную роль общины — чрезвычайную живучесть пережитков родового общества; причудливое переплетение самых различных элементов общественной организации — первобытнообщинных, рабовладельческих, феодальных, вплоть до капиталистических; тесное и не менее причудливое переплетение местной религиозной традиции с привнесенными извне — мусульманской и христианской. Есть и другие черты, перечень которых мог бы занять не одну страницу.

Недавние хозяева Африки трактовали историю континента с позиций эдакого самодовольного европоцентризма. Вехой при отсчете событий нередко было появление в той или иной африканской стране первого европейского путешественника или захватчика. Ныне рассказам о «континенте без истории» приходит конец. И чем скорее совместными усилиями африканских и неафриканских ученых будет воссоздана подлинная картина прошлого Африки, тем более отчетливые грани приобретет ее сегодняшний день.

* * *

Мысль о том, что величайшее зло Африки — большая экономическая и культурная отсталость, вряд ли нуждается в доказательствах. Достаточно напомнить, что там есть народы, которым предстоит еще перейти от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Земледельческие же народы, не считая арабоязычных стран Севера и Эфиопии, в массе своей не применяют еще ни колеса, ни плуга. Их хозяйство до сих пор держится на мотыге. На той самой мотыге, которая была известна еще египтянам, жившим в III тысячелетии до нашей эры.

О конкретных проявлениях отсталости Африки написано множество исследований. В трудах советских и зарубежных африканистов можно найти немало интереснейших, я бы сказал, поражающих экономических выкладок, основанных на цифрах официальной статистики. Индийский ученый С. Дж. Патель на основе статистических данных доказал, что сто лет назад разрыв в уровнях экономического развития между нынешними промышленно развитыми капиталистическими странами, с одной стороны, и экономически слаборазвитыми, с другой, был незначителен. А это означает, что как раз за последнее столетие, отмеченное печатью беззастенчивого ограбления колоний империалистами, произошла концентрация огромных богатств в странах Запада и потрясающей нищеты в странах «третьего мира».

Есть не менее интересные свидетельства иного характера, принадлежащие самим колонизаторам. Я имею в виду архивы колониального периода, в последние годы ставшие доступными советскому исследователю. Начиная с 1957 года советские историки-африканисты начали работать с документами из архивов Ганы, Судана, Сомали, Гвинеи, Сенегала и некоторых других стран. Правда, наиболее важные документы колониальная администрация успела увезти или уничтожить, что называется, в последнюю минуту. Все же в архивах осталось много разоблачительных документов. Иные из них звучат неумолимым обвинительным актом колониализму.

Историки обычно сетуют, и не без основания, на мизерно малое количество источников, когда речь заходит о прошлом континента вообще. Но что касается колониального периода его истории, то здесь им стали доступны в последние годы ценнейшие источники — документы колониальной администрации, ведомственная переписка губернаторов с министерствами колоний, газеты, редактировавшиеся первыми африканскими интеллигентами. Частично эти материалы осели в архивах Европы. Но их основная масса хранится в самой Африке.

В 1962 году, находясь в Республике Мали, я получил возможность ознакомиться с архивами колониальной администрации бывшего Французского Судана, а через два года продолжил ознакомление с колониальными архивами, будучи в Дагомейской Республике. И вот какое общее впечатление складывается: колониальные администраторы не были ни дилетантами в экономике, ни новичками в политике. Они эксплуатировали Африку с большим знанием дела. Да и как можно было перетянуть на свою сторону часть родоплеменной верхушки, разложить ее подачками и превратить в верную опору колониального режима, не изучив серьезно социальной структуры африканского общества?

Обращает на себя внимание и другое: абсолютная вера в неизбежность колониальных порядков. В личных делах так называемых кантональных вождей — верных прислужников европейской администрации — есть обязательный раздел: ежегодная характеристика. Ее писал, заверял своей подписью и скреплял печатью комендант административного округа или его заместитель. Каждое личное дело — аккуратно изданная типографским способом книжечка. Чистых листов, предназначенных для будущих характеристик кантональных вождей Французского Судана, хватило бы чуть ли не до конца века (последние характеристики относятся к 1957—1958 годам). Администраторы, ежегодно сочинявшие характеристики на своих прихлебателей, не подозревали, что всего через несколько лет народ сметет со своего пути не только кантональных вождей, но и их самих.

В государственном архиве Дагомеи хранятся копии писем исполнявшего обязанности губернатора Паскаля генерал-губернатору французских колоний в Западной Африке и министру колоний. Когда просматриваешь их, словно бы присутствуешь при рождении колониалистской доктрины в ее первозданной наготе. Переписка относится к 1899—1901 годам. То был начальный период создания колониальной экономики, складывания системы колониального управления. Чего только нет в томах переписки! Мы найдем в них озабоченность преимуществами Конго перед Дагомеей (там есть каучук и слоновая кость, а здесь нет. Разве сюда, в Дагомею, заманишь концессионеров?). Мы столкнемся с ревностной защитой интересов денежных тузов (будущие концессионеры не дадут ни франка на строительство железной дороги; видно уж, при-

дегся строить ее средствами государства, лишь потом можно будет привлечь в колонию частный капитал). Мы обнаружим постыдный торг с «соседом» — лордом Лугардом, английским хозяином Нигерии, торг, вежливо именуемый «демаркацией нигерийско-дагомейской границы» (к кому отойдет та или иная туземная деревушка?). Встретим мы и сетования на то, что в Париже не понимают всей перспективности преимущественного освоения прибрежных районов Африки. «Было бы крайне досадно,— пишет 2 декабря 1899 года Паскаль министру колоний,— жертвовать Дагомеей, процветание которой очевидно, ради некоей колонии, будущее которой весьма проблематично» (под некоей колонией подразумевался Французский Судан, на тысячу километров удаленный от океанского побережья; расквартированные там гарнизоны снабжались, в частности, дагомейским продовольствием).

Одно из донесений Паскаль проиллюстрировал тщательно вычерченной таблицей. Это кропотливо исполненное произведение представляет собой сравнительный анализ... цен на спиртные напитки в Дагомее и соседнем Того, которое было в ту пору колонией кайзера. Комментируя таблицу, ее автор не скрывает восторга: французский алкоголь дешевле, стало быть, нам нечего опасаться контрабанды!

Перенесемся в следующее десятилетие. Раскроем политические отчеты комендантов округов за 1919—1920 годы. Такие отчеты направлялись губернатору колонии каждые три месяца. Достаточно красноречива сама форма отчетности. Она довольно сложна: в отчетах множество разделов. Любопытная деталь: отчет всегда открывается разделом «поступление налогов». Перечислим другие разделы: наличие у населения огнестрельного и холодного оружия; численность и местонахождение полиции; умонастроения местного населения; сельскохозяйственная сводка по округу; зоотехническая сводка; метеорологическая сводка; медицинская сводка; школы. В каждый отчет аккуратно вложена тюремная ведомость по состоянию на конец месяца. Ведомости пестрят фамилиями заключенных. Указаны сроки тюремного заключения. Не сказано лишь о том, за что люди осуждены.

Сейчас начинает приподниматься плотная завеса молчания и лжи, которая десятилетиями скрывала от мира имена первых африканских борцов против колониализма. Это были герои, которых не страшили ни канонерки «цивилизаторов», ни тюремные казематы, ни изгнание. Мы очень мало знаем об организаторах первых в Африке забастовок, редакторах первых африканских газет. Нам незнакомы еще имена людей, которые первыми донесли до своих соотечественников весть о победе Октября.

Что знали мы о Луи Унканрэне, скромном дагомейском учителе, который шестнадцать лет провел в ссылке, но не изменил своим убеждениям? Он умер в мае 1964 года. Республика объявила национальный траур в день погребения старейшего борца. Вот что говорилось о нем в некрологе, который поместила 15 июня 1964 года дагомейская газета «Воллогеде»: «В 1920 году, через три года после победы русской революции, те, кому он подчинялся по административной и военной линии, в объемистом конфиденциальном докладе генерального комиссара колониальных войск г-ну военному министру от 12 февраля называли солдата первого класса Унканрэна просоветски настроенным, антимилитаристом и коммунистом, «который играл роль апостола анархии, поскольку он занимался восхвалением русских большевиков, проповедовал социальную революцию, терроризм по всей стране, несовместимость военной дисциплины с личным достоинством человека... Выписывая большую часть различных революционных листов, он посещал митинги, организованные такого рода прессой».

Сколько их, будущих борцов, подобных Унканрэну, служило в те годы в армиях Антанты, читало революционные издания, задумывалось над судьбами Золотого Берега и Убанги-Шари, Сенегала и Ньясаленда!

Но довольно истории. Выдержек из документов официального или полуофициального характера, приведенных выше, пожалуй, достаточно, чтобы составить себе мнение о противоречиях и трудностях развития освободившейся Африки.

Дюжина заводиков полукустарного типа, железнодорожная ветка, несколько опытно-показательных хозяйств для обслуживания плантаций, в идеальном случае сотня тракторов — такова была в большинстве случаев «киндустриальная база», унасле-

дованная первыми национальными правительствами от колониализма. В 1960 году на долю Африки в мировом капиталистическом производстве приходилось всего два процента. Валовой национальный продукт целого материка примерно равнялся валовому национальному продукту маленькой Италии. По подсчетам советских экономистов, гидроэнергетический потенциал Африки равен сорока процентам мирового. Но в 1957 году совокупная мощность всех гидроэлектростанций стран Тропической Африки не достигала и одного миллиона киловатт. Использовалось менее двухсотой части гидро-ресурсов.

В Лондоне и Париже, Брюсселе и Лиссабоне весь континент был молчаливо разделен на «перспективные» — наиболее прибыльные и «бесперспективные» — невыгодные для освоения районы. В положение невыгодных (с точки зрения господ акционеров) районов попала добрая половина Африки, все ее глубинные области, более или менее удаленные от океанского побережья. Только в одном случае фактор глубинности отступал на второй план. Месторождения особо ценных ископаемых, которые сулили невиданные прибыли, разрабатывались независимо от степени их удаленности от океана.

Дело не ограничивалось противоречиями и диспропорциями сугубо экономического порядка. Колониальные границы раздробили на части народы и раскидали по многим странам, нарушили вековые связи, приостановили формирование африканских наций. В пределах одной колонии оказывались народы, некогда враждовавшие между собой. Стрелки, набранные в одной стране, завоевывали под предводительством европейских офицеров соседнюю страну. Выходцев из одного племени заставляли «замирять» соседнее племя. Удивительно ли, что дети и внуки погибших в бою и казненных ненавидели не только командиров-европейцев, но и их слепое орудие — туземных солдат? Надо ли говорить, что, закрепившись в Африке, колонизаторы делали все, чтобы не затухали очаги племенных и национальных противоречий?

Много говорилось на Западе о «цивилизаторской миссии» белого человека. Но в странах Африки, именуемых в Лондоне или Нью-Йорке «англо-» или «франкоязычными», объяснить на этих языках, написать свое имя могут пять — десять процентов коренных жителей. Такое соотношение между грамотными и неграмотными жителями колоний могло бы, конечно, выглядеть иначе, если бы первые губернаторы меньше заботились об экспорте спиртного и больше о завозе буквараей.

* * *

Трудности независимого развития вызваны не только сложностью, можно сказать, грандиозностью основных задач — реконструкцией экономики, подъемом жизненного уровня населения, демократизацией общественной жизни. Ведь африканским правительствам приходится решать множество задач одновременно.

Необходимо просто накормить, одеть, обути, обучить грамоте, обеспечить медицинской помощью миллионы и миллионы людей. Они — граждане свободных стран. Они заслужили право на лучшие, чем при колониальных порядках, условия жизни, и они хотят жить лучше уже сейчас, сегодня. Требуется заложить основы отечественной промышленности, способной перерабатывать на месте минеральное и сельскохозяйственное сырье. Все это требует фантастических капиталовложений. В то же время никак нельзя свертывать производство в уже существующих отраслях экономики, в особенности экспортных. Ведь большую часть иностранной валюты, необходимой для закупки оборудования, освободившиеся страны получают именно за счет экспорта кофе и арахиса, бананов и древесины, железной руды и бокситов. Призыв ликвидировать монокультурный характер экономики не следует понимать слишком упрощенно. Строительство здоровой экономики не сводится к свертыванию традиционных экспортных отраслей. Оно предполагает создание, в дополнение к старым отраслям, новых. А это опять-таки потребует колоссальных капиталовложений.

Где взять средства на развитие экономики? На строительство школ и университетов? На подготовку национальных кадров? Внутренние источники накопления слиш-

ком скудны. Без внешней помощи не обойтись. У развивающихся стран есть несколько возможностей: обратиться к западным государствам, к социалистическим странам или к международным организациям. Часто они обращаются ко всем трем источникам помощи одновременно.

О значении помощи социалистического содружества экономически отставшим странам написано немало. Еще больше будет, по-видимому, сказано тогда, когда бывшие колонии займут свое место в ряду индустриальных государств. Уже сейчас ясно, впрочем, что помощь эта превратилась в фактор мирового социального прогресса. Эту истину признают ныне не только марксисты. «Существование коммунистического блока,— пишет профессор Рене Дюмон, крупный специалист по проблемам «третьего мира»,— оказало на отставшие страны решающее влияние; этот блок в значительной степени благоприятствовал деколонизации, которая без него была бы совсем не такой быстрой. Он по-прежнему оказывает им помощь, которая отличается по своей форме от помощи Запада, и дает им тем самым возможность более успешно противостоять неоколониализму».

Пожалуй, в одном не прав французский ученый: помощь социалистических государств отличается от капиталистической не только по форме, но и по содержанию. Народы стран социализма считают оказание помощи отставшим странам интернациональным долгом людей труда. Промышленники и финансисты Запада вкладывают в понятие помощи совершенно иной смысл. Тот самый, который породил понятие и практику неоколониализма.

О неоколониализме говорят и пишут теперь во всем мире. Существует, например, такая точка зрения: поскольку США и Япония не владели колониями в Африке, ни к чему, мол, говорить о какой-то неоколониалистской политике обоих этих государств. Что же касается «беспорных» колониальных держав типа Англии или Бельгии, то их политика будто бы в корне изменилась, ее тоже нельзя считать ни колониалистской, ни неоколониалистской. Бельгийский парламентарий Раду заверяет, например, африканскую аудиторию в том, что «Европа националистическая, Европа колониалистская, Европа империалистическая умерла». Эти слова были произнесены в декабре 1962 года. А через два года соотечественники г-на Раду были сброшены в форме парашютистов на Стэнливиль (ныне Кисангани). Они залили город кровью повстанцев и продемонстрировали всему миру чрезвычайную живучесть вроде бы похороненной империалистической Европы. Кстати, империалистической Европе посильно помогает империалистическая Америка. Бельгийские парашютисты были переброшены в Конго на американских транспортных самолетах.

Правда, к действиям, подобным стэнливилю десанту или разбойной войне Салазара в Анголе и Мозамбике, в последнее время прибегают все реже, предпочитая им более продуманную и гибкую тактику. Не те времена. За Африку немедленно вступятся социалистические страны и демократические силы на самом Западе. В стане империализма помнят советское предупреждение в ноябре 1956 года и позорный провал суэцкой авантюры.

Времена кулачного права миновали и по другой причине. Жизнь учит самых твердолобых. Восьмилетняя колониальная война в Алжире и четырехлетняя в Кении, несомненно, кое-чему научили держателей акций заморских компаний. Урок был тем более наглядным, что за несколько лет до него тем же компаниям пришлось расстаться со своими капиталами, находящимися в банках на другом краю света, скажем, в Индокитае. Не лучше ли поступиться кое-чем, отказаться от грубо колониальной формы господства, но отступить организованно, заранее отковав не слишком заметные, но крепкие цепи для будущих суверенных государств?

Неоколониализм многолик. Если приглядеться повнимательнее, то приметы его можно обнаружить во всех областях жизни вчерашних колоний — экономической, политической, культурно-просветительной, религиозной.

Еще совсем недавно капиталисты и слышать не хотели о строительстве в Африке предприятий обрабатывающей промышленности. Теперь они кое-где помогают африканцам строить фабрики, заводы, ибо усвоили простую истину: тот, кто

противится индустриализации Африки, отныне не найдет с ней общего языка. Строительство предприятий обрабатывающей промышленности ведется, но таким образом, чтобы не подрывать основы экономического господства империализма в Африке. Иностранные фирмы строят, например, велосборочные и автосборочные заводы. Казалось бы, помощь вполне весомая, альтруизм налицо. Но нельзя забывать, что такие предприятия не имеют законченного цикла производства. Они полностью зависят от поставок заморских узлов и деталей. Создание подобных заводов — новая форма закрепления за империалистической страной постоянного рынка сбыта автомобилей и велосипедов, не говоря уже о запасных частях и нефтепродуктах.

Вот почему «Юнайтед Африка компани», одна из самых крупных торговых компаний капиталистического мира, участвует сейчас в финансировании примерно полсотни промышленных предприятий в Тропической Африке (главным образом предприятий легкой и пищевой промышленности). Этот пример не исключение.

Под стать промышленникам действуют банкиры. Очень низкий процент по займам, предоставленным странам Африки правительствами социалистических стран, вынудил и организации финансового капитала — национальные и международные — снижать процентные ставки по некоторым займам освобожденным странам. Правительства Запада помогают им сбалансировать шаткие бюджеты, предоставляют отсрочки по платежам. В чем тут дело? Неужели империалистическая Европа и впрямь умерла? И это объясняется просто. Капиталистическая страна предпочитает покрывать дефицит платежного баланса бывшей колонии сегодня, чтобы иметь возможность «нормально» эксплуатировать ее как рынок сбыта и объект приложения капитала завтра, послезавтра и так до бесконечности. Отсюда показная щедрость субсидий и займов, периодических финансовых впрыскиваний в африканскую экономику. Здесь следует еще раз напомнить: не будь бхилайского или асуанского примеров, Африке долго пришлось бы ждать превращения надсмотрщиков в партнеров поневоле.

Удивительные изменения претерпевает политика подготовки кадров. Раньше жители колоний отпускались крохи знаний. Получить высшее образование могли одиночки, и очень дорогой ценой. Теперь страны Запада направляют в Африку тысячи учителей, преподавателей лицеев, колледжей, университетов. В свою очередь освобожденные страны уделяют этому вопросу первостепенное внимание и направляют молодежь в университеты Западной Европы, США, Японии, Израиля.

Содержание преподавателей, выплата африканским студентам, стажерам стипендий и пособий требует известных затрат. Однако прибыли, ежегодно вывозимые из Африки иностранными компаниями, с лихвой покрывают расходы по различным программам «помощи» Африке. С 1951 по 1963 год, то есть за двенадцать лет, Англия оказала всем развивающимся странам, в том числе африканским, помощь в сумме одного миллиарда ста восьмидесяти миллионов фунтов стерлингов. Это почти в два раза меньше, чем прибыль, получаемая за границей всеми английскими частными компаниями только за один год!

При составлении программ помощи вступает в действие политическая арифметика. Буржуазной стране в конечном счете выгоднее произвести даже значительные затраты, быстро подготовить несколько сот, а может, и тысяч африканских специалистов, чем столкнуться в будущем со специалистами, обученными соперничающей капиталистической или, упаси боже, социалистической страной. Ясно, что в первом случае степень ее влияния на экономику и политику родины специалистов неизмеримо больше, чем во втором.

Африке не хватает школ, университетов, политехнических институтов. Еще очень мало преподавателей. Жажда знаний огромна. В малийских городах представители местных властей рассказывали мне, что они не всегда в состоянии обеспечить учителями все школы, которые добровольно и очень быстро строятся населением. В столице Мали Бамако я не смог однажды попасть в книжный магазин. Было начало октября, учебный год едва начался, и магазин был буквально осажден детворой. В городе Котону я встречал на набережной дагомейских юношей с книгой в руках. Они читали при свете уличного фонаря. Вспоминаются горячие аплодисменты ганской молодежи,

которыми были встречены слова оратора об открытии в стране третьего по счету университета. Было это в декабре 1962 года в городе Кумаси.

Интерес африканцев к прошлому своего народа, к истории континента вообще сейчас особенно велик. Весной 1961 года в знаменитой Гизе, под Каиром, начались театрализованные представления по светозвуковому методу. Зрелище это трудно передать словами. Оранжевые стрелы прожекторов выхватывают из тьмы то пирамиду Хефрена, то голову сфинкса. Мощные громкоговорители разносят над пустыней гортанную речь диктора, рассказывающего о том, что повидали пирамиды за свои сорок веков. Наша группа побывала в Гизе в пятницу — день, когда представление сопровождалось дикторским текстом на арабском языке. Поездка к пирамидам, симфония звука и цвета производят огромное, ни с чем не сравнимое впечатление. И все же я не могу не вспомнить одной «не главной» детали. Запала в память огромная, экспансивная, неукротимая толпа кайрцев, желавших во что бы то ни стало попасть на представление. Барьеры просто трещали под ее напором.

Побывав на уроке истории в африканской школе, вы без труда прочтаете в ребячьих глазах живейший интерес, удивление, гордость. Нет, их предки не были примитивными и дикими, как это пытались вдолбить ассимиляторы в африканские головы. Известным центром культуры мусульманского мира в XV—XVI веках был Томбукту — один из городов древнего Мали, а затем Сонгайского государства. Наряду с богословием там изучали литературу, право, историю, географию, математику. Блестящую страницу в африканскую историю вписали создатели государства и культуры Мономотапа. Там, в междуречье Лимпопо — Замбези, высокого уровня достигло развитие металлургии и особенно строительной техники. С каждым годом юные граждане новых государств узнают все больше о своих предках, обо всех безмянных поколениях африканцев, которые воздвигали пирамиды и прорыли Суэцкий канал, построили деревни на сваях и роскошные «билдинги». Расисты Южной Родезии утверждают, что четыре миллиона африканцев еще не готовы, мол, сами вершить судьбами страны. Иными словами, обосновывается неспособность к самоуправлению страны, на территории которой тысячу лет назад уже существовала своя государственность (государство Мономотапа было создано народом банту в начале второго тысячелетия н. э.).

История, да и не только она, требует изучения, и учителя-иностранцы Африке пока необходимы, так как своих очень мало. В конце учебного года большие группы учителей нередко самолетами и автотранспортом перебрасываются из одного государства в другое: не хватает экзаменаторов. Но все дело в том, как именно изучать историю, географию, культуру континента. Можно с первого года обучения ориентировать учебный процесс на приобретение знаний как об Африке, так и обо всем мире. Можно поступить иначе: засадить детей за учебники, в которых самой Африке отпущены считанные страницы, зато подробнейшим образом изложены перипетии исторического развития Западной Европы. Именно так учили раньше.

Многие государства приступили к пересмотру учебных программ в смысле их «африканизации». Впрочем, пока этот процесс идет медленно. Не изжит и прежний подход к истории континента. В учебниках, изданных после завоевания независимости не без участия бывших наставников, нет-нет да и промелькнет оценка исторического события или личности, которую трудно назвать объективной.

Есть в Африке и такие учебные заведения, которые скорее напоминают селтльменты, пользующиеся правами экстерриториальности. В одном из них — франко-эфиопском лицее в Аддис-Абебе — я побывал в мае 1961 года. Группа французских преподавателей обучает там несколько сот детей, главным образом из зажиточных эфиопских семей. Обучение ведется на французском языке. Программы, учебники, распорядок дня — короче, весь ритм жизни лицея — все это в полном объеме пересажено в столицу Эфиопии из Парижа. Даже мебель, аккуратно расставленная в ученических дортуарах (лицей принадлежит к категории интернатов), сработана явно во Франции. Дирекция лицея отступила от своего основного принципа, пожалуй, только в одном. О конце урока (в лицее мы не слышали звонков) ученикам сообщает сопровождаемая

залихватским свистом известная мелодия из не французского фильма «Мост через реку Квай». О начале нового урока лиценстам возвещают торжественные звуки марша из «Аиды».

Помимо государственных и частных светских учебных заведений, в Африке немало миссионерских школ. Их работа в очень незначительной степени контролируется государством. Между тем в них обучаются десятки тысяч детей.

Мне не пришлось побывать в учебных заведениях подобного рода. О влиянии церкви, в частности католической, на духовную жизнь Африки я могу судить лишь косвенно — по некоторым встречам, беседам, наблюдениям.

Несколько лет назад в парижском пригороде Нейи-сюр-Сэн выступал с лекцией католический миссионер, долгое время работавший в Центральной Африке. Говорил он великолепно, как и подобает проповеднику, к тому же французу. Показал любительский кинофильм о неопитах и самом себе. В заключение он вооружился внушительных размеров кружкой, резво спрыгнул с возвышения в зал и обратился к аудитории с такими примерно словами: «Теперь, дамы и господа, вы получили полное представление о том, как закладывается в Африке фундамент учения Христова. Но нельзя заложить фундамент без кирпичей. А за кирпичи надо, как известно, платить. Жертуйте же на пропаганду христианства в Африке, и господь вознаградит вас!»

Попав впоследствии в Африку, я не раз встречал коллег этого миссионера за работой. В Мали на одной из речных переправ я разговорился однажды со священником, молодым бретонцем, преподающим в миссионерской школе историю и математику. С моими спутниками бретонец бегло заговорил на местном языке — бамбара. В одном из городов Центральной Дагомеи я наблюдал, как католическая монахиня самым миролюбивым образом беседовала с обитателями дома, у входа в который стоит языческий фетиш с полной миской еды. Что поделаешь! Монахиня, стараясь не смотреть на богопротивного идола, ведет душевспасительные беседы с фетишистами потому, что завтра их могут перетянуть на свою сторону мусульмане или атеисты.

В столицах африканских государств непременно сталкиваешься с отлично поставленной торговлей книгами и газетами, подконтрольной католической или протестантской церкви. Соборы в Бамако и Конакри, Ломе и Рабате построены с размахом, их не отличишь от европейских. Конечно, христиан в Африке меньше, чем мусульман и приверженцев автохтонных религий. Но христианская церковь делает сейчас все, чтобы изменить это соотношение в свою пользу. Новые веяния в африканской политике Ватикана весьма показательны. В странах Африки один за другим появляются епископы, архиепископы и даже кардиналы, не отличающиеся цветом кожи от своей паствы. Да что там кардиналы! Раскройте «Католический ежегодник» за 1964—1965 годы, изданный в Париже, и вы узнаете, что еще папа Виктор — четырнадцатый по счету папа римский — был африканского происхождения.

* * *

Я упоминал о временах, когда перед жителями колоний просто-напросто захлопывали дверь, ведущую к знаниям. Теперь на капиталистическом Западе, напротив, не отказывают молодежи освободившихся стран в возможности получить то, что англичане называют «know how» (технический опыт, технические знания). Новая тактика далеко не бескорыстна. Заигрывание с бывшими колониями вызвано вполне понятными соображениями — весом катангского кобальта, замбийской меди, запахом сахарской нефти. Дело, однако, не только в этом. Передавая развивающимся странам свой технический опыт, без которого действительно трудно обойтись, дароносцы требуют взамен немногого: всего-навсего поощрения частнособственнической инициативы. Делается это достаточно продуманно, с соблюдением элементарных приличий, с учетом будущей реакции демократической общественности в самой Африке и вне ее. Но суть операции именно такова.

Необычайно важна в этом отношении роль многочисленных экспертов и советников, работающих в Африке. Оговорюсь сразу же: нелепо отрицать положительные сто-

роны привлечения иностранных экспертов. Многие иностранные специалисты — граждане социалистических стран, некоторых стран «третьего мира» — оказывают Африке существенную помощь. Есть дельные специалисты и среди экспертов из стран Западной Европы и Северной Америки.

Со многими специалистами, работающими в Африке, вдали от родины, в тяжелых климатических условиях, я встречался во время поездок, и эти встречи оставили наилучшие воспоминания. В Мали мне посоветовали обязательно побывать в советском авиаотряде, который планомерно, гектар за гектаром производит химическую обработку хлопковых плантаций. Надо было видеть, с какой благодарностью местные крестьяне говорили о заметном повышении урожайности после прибытия наших авиаторов. В Конакри моими хозяевами были советские преподаватели. В Аддис-Абебе я убедился, что один из самых популярных в этом большом городе адресов — адрес советского госпиталя. В разное время мне приходилось встречаться в Африке с болгарским статистиком, чехословацким текстильщиком, венгерским кооператором.

В африканские университеты, в частности нигерийские, приезжают читать лекции индийские ученые. В Гвинее работал французский экономист Шарль Беттельхейм, оказавший стране помощь в составлении первого плана экономического развития.

Ниже речь пойдет не о людях типа Беттельхейма. Они — исключение из правила. Речь идет об общем направлении деятельности подавляющего большинства экспертов из капиталистических стран, работающих в Африке. Практика показывает, что это направление и задачи действительно суверенного развития континента лежат в разных плоскостях.

Эксперты едут в Африку на основе различных соглашений, в том числе двусторонних. Однако в последние пять — десять лет туда все чаще выезжают посланцы различных международных организаций, в первую очередь системы ООН. Во время международных совещаний, конференций, семинаров, проводимых в какой-нибудь африканской столице (а они созываются очень часто), эксперты оккупируют все номера в немногочисленных отелях. Международные организации фрахтуют в таких случаях специальные самолеты, на которых в Африку перебрасываются целые отряды экспертов, советников, обслуживающего персонала.

Профессия международного чиновника, специалиста по слаборазвитым странам, стала на Западе чрезвычайно модной. Она успела утвердиться и в художественной литературе. В 1964 году был отмечен Гонкуровской премией роман Жоржа Коншона «Дикое состояние». Герой его — не кто иной, как эксперт ЮНЕСКО, командированный в Африку.

Чем занимаются эксперты международного класса?

Очень многими разнообразными и серьезными вещами. Есть среди них, можно сказать, универсальные головы. Ознакомившись со списками участников ряда конференций различного профиля, вы нередко обнаруживаете одни и те же фамилии — несколько американцев, англичан, французов, бельгийцев, голландцев. Именно эти люди из года в год выступают с основными докладами, задающими тон прениям. Их вес в экономически отставших странах велик. Неумоимость их поразительна. В начале года такой эксперт выступает в одной из африканских столиц на конференции, созванной Международной организацией труда, в середине — на семинаре по образованию взрослых, проводимом под эгидой ЮНЕСКО, а в конце года успевает побывать на симпозиуме, организованном ФАО.

Другая категория экспертов, рангом пониже и более многочисленная, — советники, постоянно работающие на местах. Они помогают африканцам проводить переписи населения и выращивать овощи, организовывать кооперативы и составлять элементарный график отпусков, разрабатывать баланс народного хозяйства и покрывать битумом раскисшие от тропических ливней дороги.

Попав в Африку, разъездные эксперты и постоянные резиденты международных организаций удивительно быстро забывают о том, что они в теории верные слуги ООН, ревнители благородных идеалов, записанных в ее Уставе. Клятвенные заверения (потребные для принятия на международную службу) в том, что они отказываются от

защиты корыстных, эгоистических интересов и принадлежат отныне только страждущему человечеству, лежат в их личных делах в Нью-Йорке или Риме. Но кто же придает значение таким мелочам? Эксперты верой и правдой служат тому классу, который послал их в международные организации,— классу капиталистическому. Прежде всего они — эксперты по сохранению капитализма в Африке.

Они делают это не без успеха. Экономист представит правительству развивающейся страны многотомный доклад, в котором не в лоб, а осторожно посоветует не очень торопиться с индустриализацией. Кооперативный инструктор предложит крестьянам объединиться в такой «производственный» кооператив, где работать лучше не сообща, а порознь — каждый на своем наделе,— совместно же заниматься только сбытом. Советник по планированию разработает для правительства проект такой государственной заготовительной организации, которая будет вроде безобидного довеска к частной торговле, не более того. Эксперт по народному образованию постарается доказать нецелесообразность и уж во всяком случае преждевременность разработки национальной письменности.

Им несть числа в тропиках, этим предприимчивым западноевропейцам и североамериканцам. Днем их всегда можно встретить в любом африканском министерстве, вечером в холле гостиницы потягивающими виски с содовой. Их вес и влияние в том или ином учреждении не вызывают сомнения. В кабинет высшего африканского чиновника советник европеец входит уверенно, как завсегдатая. Да иначе и быть не может. Через его руки проходят важнейшие материалы. Документы государственной важности нередко выходят в их первоначальном варианте именно из-под его пера.

Характерная деталь: африканские руководители часто предпочитают иметь дело с международными экспертами. Конечно, контракты заключают и с англичанами, и с французами, и с бельгийцами. И все же они бывшие угнетатели. Не лучше ли пригласить по линии ООН швейцарского или канадского специалиста? Перед нами несколько наивная вера во всемогущество международной организации, в наднациональный, сверхсправедливый, беспристрастный характер политики, проводимой ее представителями в странах «третьего мира».

Не один раз жизнь доказывала беспочвенность таких надежд. Гражданство эксперта ни при чем. Представитель капиталистической Швейцарии или Канады, не отягощенный грузом колониального прошлого, мыслит в конечном счете теми же категориями, что и эксперт из бывшей метрополии. И тот и другой ревностно отстаивают капиталистическую модель развития. Правда, для ее обозначения они находят иные слова.

Есть, конечно, отрадные исключения. Многим памятна история отставки высокопоставленного международного чиновника ирландского дипломата Конора О'Брайена. Он не захотел разделять ответственности за неблагоприятную роль, сыгранную ООН в Конго, и честно рассказал о подоплеке позорных событий в своей книге «В Катангу и обратно».

Но оставим экспертов с их серьезными заботами о завтрашнем дне капитализма в Африке и вернемся к новому подходу неоколониализму вообще. Едва ли не самая характерная его черта — это способность чрезвычайно быстро приспосабливаться к меняющимся условиям. Показательны некоторые тенденции в африканской политике Соединенных Штатов. Стиль ее явно наступательный. Руководители госдепартамента и ведомства пропаганды стараются любой ценой нейтрализовать политический эффект событий, которые наносят престижу США в Африке наибольший ущерб. Это особенно бросается в глаза при посещении американских информационных центров в Африке, даже при беглом ознакомлении с фотовитринами у входа в такие центры. Я сужу в данном случае по материалам двух центров — в Конакри (Гвинея) и Котону (Дагомея), с которыми ознакомился воочию, с первым в 1962-м, со вторым в 1964 году.

Информационный центр состоит из нескольких помещений, где размещены библиотека, читальный зал, курсы английского языка, кинозал. Столы завалены иллюстрированными журналами. Антикоммунизма в информационных центрах более чем достаточ-

но. Он в любом журнале. На фотовитринах — обширный набор белозубых улыбок, принадлежащих негритянским знаменитостям — спортсменам, музыкантам, артистам из США.

Ну, а как насчет расовой дискриминации?

Вашингтонские пропагандисты нимало не смущаются. Они не замалчивают эту проблему. Они смело оклеивают стены своих центров в Африке фотоснимками негров, которые осуществляют свое право на учебу в теоретически десегрегированных школах или университетах Юга под охраной солдат или агентов в штатском. Расчет здесь таков. Африканцам как бы говорят: смотрите, как федеральное правительство борется за гражданское равноправие ваших братьев по расе, против этих дрянных и строптивых южных расистов! Конечно, досадные инциденты в Алабаме и других штатах омрачают жизнь негров, но при чем здесь Вашингтон? Особая роль в распространении подобных доводов возлагается на американских негров, которых Вашингтон посылает в последнее время на дипломатическую службу в Африку, в международные организации, в «корпус мира». Верь, Африка, что не было ни Литл-Рока, ни бойни в Лос-Анжелосе. Поменьше сомнений! Побольше веры в величие американской демократии!

А чтобы об этой демократии африканец вспоминал почаще, и не только в стенах информационного центра, изобретательные вашингтонцы украшают «джипы», поставляемые в порядке помощи, такой, например, надписью: «Дар народа Америки народу Дагомеи» (я видел аналогичные надписи и на автомобилях, поставляемых в Дагомею Израилем и Канадой). Впрочем, насколько можно заметить, такой вот дареный конь, который сам настойчиво требует, чтобы ему заглянули в зубы, особых выражений благодарности у африканцев не вызывает.

* * *

Если не считать Эфиопии и Либерии, все африканские страны обрели суверенитет в послевоенные годы. Независимость большинства их измеряется всего несколькими годами. За такой короткий срок невозможно достичь ощутимых изменений ни в области материального производства, ни в сфере общественных отношений.

Каковы же они, эти общественные отношения? Какие классы, социальные группы действуют на политической сцене? Что за люди руководят государствами, партиями, профсоюзами? Дать исчерпывающий ответ на эти вопросы не возьмется сейчас ни один африканист. Общественные грани, как известно, достаточно условны и чрезвычайно подвижны. Тем более условны они в странах, где далеко от завершения формирование и классов и наций. Элементы, восходящие к первобытнообщинному строю, словно бросая вызов ученым, соседствуют с институтами буржуазного общества. Осколки рабовладельческой или феодальной формации перемежаются с ростками социализма.

В 1959 году съезд молодежной организации Демократической партии Берега Слоновой Кости принял резолюцию об отмене в стране... матриархата.

Возьмем другой пример: бывший традиционный вождь, так называемый «владыка воды», развенчанный новой властью, вынужден вступить в рыболовецкий кооператив и жить трудовыми доходами. В 1962 году в малийском городке Мопти меня познакомили с ним прямо на заседании правления кооператива. В местечке Никки (Северная Дагомея) действует производственно-бытовой кооператив. Верховный вождь народа бариба — один из членов кооператива. Не удержавшись, я попросил о встрече с ним. Аудитория, к сожалению, не состоялась: как раз накануне вождь уехал, как мне сказали, «в командировку».

Разобраться во всем этом ошеломляющем многообразии, проследить связи между днем минувшим и сегодняшним может лишь тот, в ком счастливо сочетаются способности этнографа, социолога и экономиста. Сочетание, прямо скажем, редкое. Не удивительно поэтому, что африканисты часто прибегают к коллективным, комплексным исследованиям. Без них невозможно выявить характер и движущие силы антиимпериалистических революций, сотрясающих Африку.

Мы еще мало знаем о тех, кто гврит своим трудом и борьбой завтрашний день Африки. А ведь ясно, что для уяснения политических событий важно знать, как и чем

живут докер из Момбасы и рыбак с берегов Нигера, горняк из «медного пояса» Замбии и сомалийский пастух, хлопкороб из Уганды и охотник пигмей из Конго.

А другие участники событий? Все эти бесчисленные мелкие бродячие торговцы или коммерсанты покрупнее — африканцы, ливанцы, индийцы, арабы, светские и духовные вожди, родовые старейшины, наконец тысячи европейских колонистов, пустивших глубокие корни в таких странах, как Кения, Марокко, Ангола, Замбия, Родезия?

Различные социальные силы преследуют, естественно, разные, зачастую противоположные цели. Местная мелкая и средняя буржуазия блокируется с рабочими, крестьянами, патриотической интеллигенцией в рамках единого антиимпериалистического фронта. Проимпериалистическая часть африканской буржуазии и феодальная верхушка, напротив, смыкаются с реакционерами из числа европейских поселенцев и иностранными капиталистами, служат опорой неокOLONиализма.

Социальной мозаике соответствует мозаика партийная. Партий великое множество. Но, кроме марксистских, в Африке нет политических партий — выразительниц идеологии какого-либо определенного класса. Социальная база партий, как правило, широка, идеологические основы довольно эклектичны, политические платформы, да и уставные обязанности не очень четко определены. Во многих случаях перед нами, в сущности, движения, организации единого фронта, а не политические партии в собственном смысле слова. Один из наиболее характерных примеров таких массовых антиимпериалистических партий-движений — Демократическое объединение Африки (РДА), возникшее во французских колониях Западной Африки еще в 1946 году. Партии, стоящие ныне у власти в Гвинее, Мали, Береге Слоновой Кости, сформировались в свое время как местные (территориальные) секции РДА. Своеобразной формой единого антиимпериалистического фронта является и массовая политическая организация ОАР — Арабский социалистический союз, объединяющий в своих рядах около пяти миллионов человек, то есть почти шестую часть населения страны.

В независимых африканских государствах велика роль национальной интеллигенции. Тема эта заслуживает особого исследования. Давно миновали времена, когда Секу Туре и Пагрис Лумумба были скромными почтовыми служащими, Модибо Кейта учительствовал, а Джулиус Ньерере слушал лекции в Эдинбургском университете. Африканский руководитель в прошлом чаще всего либо мелкий чиновник, либо учитель. Теперь африканские интеллигенты возглавляют государства, руководят правительствами, направляют работу министерств, представляют свою страну на ответственных международных форумах.

Идеология африканской интеллигенции — тема неисчерпаемая. Бывшие студенты, ныне стоящие у кормила правления, испытали на себе влияние и буржуазной, и социал-демократической, и марксистской идеологий. Их труды пересыпаны ссылками на Карла Маркса и Леона Блюма, Тейар де Шардена и Роже Гароди, Уолта Ростоу и Оскара Ланге, Тибора Менде и Франсуа Перру. Буржуазные концепции свободы и демократии, в свое время воспринятые на лекциях в Сорбонне и Кембридже, африканцы сопоставляли со знакомыми фактами капиталистической действительности — поляризацией богатства и нищеты, расовой дискриминацией, торжеством полицейской дубинки. Естественно, что их интересовал и анализ этих событий марксистами. Да и Африка наших дней не пребывает в политическом или идеологическом вакууме. Множеством нитей она связана с другими континентами. Она поддерживает отношения с обеими мировыми системами — капиталистической и социалистической. Контакты с миром капитализма и миром социализма, несомненно, оказывают заметное влияние на эволюцию политической мысли Африки.

Было бы, конечно, упрощением сводить все дело только к заимствованиям у той или другой стороны. По всем основным проблемам современности у африканских лидеров выработана — или вырабатывается — своя собственная точка зрения. Отметим при этом, что часто она перерастает в теорию африканской исключительности вообще.

На долю народов негроидной расы досталось столько унижений, что сейчас, разогнув спину, они активно стремятся к реабилитации своего достоинства. Хотят, чтобы весь мир знал о ее, Африки, знаменитых сынах и дочерях, гаких, как алжирская поэтес-

са XIII века Аїша Бен Умара, героиня сопротивления португальским захватчикам Анголы Нзинга Мбанда Нгола (конец XVI—начало XVII века), ганский философ XVIII века Энгони Уильям Амо, изобретатель письменности народа ваи либериец Дуалу Букеле (XIX век).

Желание вполне закономерное и оправданное. Беда только в том, что, отстаивая свою культуру от расистских наскоков, африканцы впадают подчас в другую крайность. Сенегальский этнограф и историк Шейк Анта Диоп генетически связывает культуру негроидных народов с древней египетской цивилизацией. В то же время он резко противопоставляет культуру древней Африки культуре европейской. В 1958 году журнал «Презанс Африкэн», издаваемый группой влиятельных африканских интеллигентов в Париже, опубликовал статью Мухаммеда Хамидуллаха «Африка открывает Америку до Христофора Колумба». Автор, поддержанный, кстати, впоследствии тем же Ш. А. Диопом, говорит о предполагаемом открытии Америки африканцами в XIV веке. Директор Института гуманитарных наук Тоголезской Республики Джонсон доказывает, что традиционные полигемистические религии Тропической Африки не уступают всем известным человечеству «мировым религиям» (выступление на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук, Москва, 1964 год).

Заявки, как видим, делаются большие. Но не в этом главное. Африканские ученые в конце концов разберутся в этих и им подобных смелых гипотезах и теориях, определят степень их научной состоятельности. Но ведь, кроме научной, существует и политическая сторона движения за утверждение африканского достоинства. А перегибы в этом смысле ведут, независимо от исходных намерений африканцев, к определенной изоляции континента от мировых прогрессивных сил.

Говорят об африканской специфике. Отрицать ее существование нельзя. В то же время не годится возводить ее, как это делают некоторые африканские теоретики, например Леопольд Сенгор (Сенегал), в абсолют, превращать ее в жизненную философию некоей своеобразной «негро-африканской души». Неправоммерно противопоставлять якобы интуитивное мышление африканца аналитическому мышлению европейца. Концепции африканской исключительности, африканской нечуждородности не выдерживают столкновения с действительностью. Африка — часть нашей планеты, африканцы — часть человечества. Пути народов негроидной расы от древнейших времен до сегодняшней независимости были своеобразными, извилистыми, часто мучительными. Но в своем развитии негроидные народы проходили те же основные этапы, что и народы других континентов, других рас, следуя тем же общемировым законам смены одной общественной формации другой.

Уходя из Африки, колониальные администраторы заранее побеспокоились о новом руководстве. Они полагали, что успели взрастить некий «средний класс», связанный и экономическими интересами и образом жизни с капиталистическим Западом. Они считали, что африканским националистам можно безбоязненно доверить бразды правления. Сейчас, через несколько лет после крушения колониальных империй, можно сказать, что в одних случаях эти расчеты оправдались, в других, напротив, потерпели крах.

Патриотическое крыло африканской интеллигенции отказалось служить и бывшим колонизаторам, и своей буржуазии. Но немногочисленная элита, которой удалось получить образование, выдвинула из своей среды не только демократов и патриотов. Были среди интеллигентов и прислужники колониального режима. Писатель Бернар Дадье (Берег Слоновой Кости) прекрасно показал это в романе «Клембье». Есть там сцена встречи двух однокашников, которые не виделись много лет. Один из них только что вышел из колониальной тюрьмы, куда угодил за иннакомыслие. Другой шеголяет в форме жандарма.

Сейчас все чаще пишут о «бюрократической буржуазии», которая становится бичом развивающихся стран. Откуда она взялась? Ниточка от нее тянется прямехонько к бюрократам колониального периода. К тем самым развращенным подачками, воспитанным в духе пренебрежения к национальным культурным ценностям, кичившимся своими европейскими манерами эшпенцам, которых презирали и колонизаторы и народ.

В министерствах и ведомствах юных государств есть еще немало людей, которые

превращают государственную службу в источник личного обогащения. Живут они припеваючи, зарабатывают огромные деньги, пользуются большими льготами (личная автомашина, бесплатное или за символическую плату пользование государственной жилой площадью, частые командировки в Европу и Америку). В откровенной беседе такой чиновник не моргнув глазом может сообщить вам, что, пользуясь государственной квартирой, он выгодно сдает собственную виллу в аренду. Весь образ жизни этих нуворишей вплоть до мельчайших деталей скалькирован с лондонского или брюссельского образца. С галстуком они не расстаются и в сорокаградусную жару. Перед обедом отдают дань, и немалую, аперитивам. (Как тут не вспомнить призыв президента Секу Туре: «Меньше виски и больше независимости!») Они любят покрасоваться за рулем автомобиля новейшей марки. Разрыв между уровнем жизни «бюрократической буржуазии» и трудового люда не поддается описанию. Трудно, конечно, ожидать от обуржуазившихся, продажных элементов не только проявлений гражданского мужества, но и элементарной добросовестности при исполнении служебных обязанностей.

Сейчас государства Африки покрывают, как правило, лишь незначительную часть своих потребностей за счет внутренних накоплений. Доля заемных средств в планах развития доходит иной раз до девяноста процентов. Безумное расточительство, разбазаривание, распыление и просто растаскивание и без того скудных ресурсов наносят экономике огромный ущерб. Многие правительства стараются пресечь коррупцию, расточительство, кумовство, которые гнездятся в государственном аппарате. Весьма крутые меры приняты, например, в Гвинее. Ноябрьские реформы 1964 года предусматривают, в частности, очищение гвинейского государственного аппарата от продажных элементов. Государственным служащим запрещено отныне заниматься частнопредпринимательской деятельностью.

Кстати, о предпринимательской деятельности и о возможностях местного капитала. Желаящих посвятить себя свободному предпринимательству в странах, где преобладает мелкотоварное хозяйство, много, и это закономерно. Но одного желания стать капиталистом мало. А вот силенок и опыта у африканских буржуа явно не хватает. Слабосилие африканской буржуазии, особенно в странах южнее Сахары, — результат длительного господства иностранного капитала. Конкурентоспособность местного капитала по отношению к иностранному сравнима со стойкостью кролика перед удавом. «Капиталистами без капитала» называют иногда африканских буржуа, и не без основания. Побывав в новых государствах, убеждаешься в этом воочию. В Дагомее меня познакомили с подрядчиком, капитала которого хватало на строительство только первого этажа двухэтажного дома. Разумеется, это выяснилось не раньше, чем подошли сроки строительства второго этажа. Другой пример: трудно представить себе автомобилиста, который подъезжает к бензоколонке только за тем, чтобы залить в бак два-три литра бензина. Но именно такую картину можно наблюдать в африканских городах. Выручка частного владельца такси слишком скудна, и вот такой «предприниматель» запасается горючим, которого хватит на несколько километров пути.

Есть и африканские бизнесмены более крупного масштаба, особенно в Нигерии, в Береге Слоновой Кости, в Либерии. Кенийская, нигерийская, угандийская буржуазия начинает проявлять интерес к акциям иностранных компаний. Буржуа либерийского происхождения приобретают такие акции довольно активно. Но общая картина не оставляет сомнений в том, что местному капиталу, торгово-ростовщическому по преимуществу, не по плечу решение проблемы реконструкции народного хозяйства и ликвидации на этой основе экономической и культурной отсталости. Африканские руководители знают, что начинать строительство новой экономики, опираясь на местный капитал, было бы политическим авантюризмом. Экономика страны — не жилой дом, строительство которого можно в крайнем случае законсервировать. Заложив фундамент нового хозяйства, обязательно придется возводить этажи. Иначе будет нарушен весь ритм жизни страны. Отсюда логический вывод: коль скоро национальный капитал — слишком хилый младенец, никак нельзя делать ставку только на него (или вообще на него). На практике вывод облекается в форму создания государственного сектора экономики. Объективно этот сектор имеет исторически прогрессивную антиимпериалистическую направленность.

Если взглянуть под этим углом зрения на развитие политической мысли Африки, станет более понятной необычайная распространенность на континенте социалистических течений. Лейборист Феннер Брокуэй приводит в своей книге «Африканский социализм» слова одного американского профессора, который, попав в Африку, с удивлением воскликнул: «Ну и ну! Эти люди тянутся к социализму, словно утки к воде!» Но удивляться, собственно, не приходится. С капитализмом в его ином облике африканцы знакомы слишком хорошо. В их глазах он неотделим от колониализма, который принес им гнет, отсталость, нищету, расизм. Лишь немногие лидеры вроде президента Берега Слоновой Кости Уфуэ-Буаьи открыто отваживаются сейчас искать решения проблемы отсталости на путях капитализма. Что касается местного капитала, то, повторяю, африканские руководители вовсе не строят иллюзий относительно его возможностей.

Где же та сила, которая даст возможность в кратчайшие сроки покончить с отсталостью? Сила эта — социализм. Пример почти полувекового существования победившего социализма, огромный опыт революционных преобразований жизни отсталых народов, коллективно накопленный социалистическим содружеством, — все это оказывает сильнейшее влияние на африканского гиганта, стоящего на перепутье.

Опыт социалистического строительства на других континентах жадно впитывается Африкой, благо для этого есть теперь все возможности.

Социалистические течения, распространенные в Африке, неоднородны. Различны политическое прошлое и нынешние убеждения руководящих деятелей, провозглашающих себя приверженцами социализма. Есть среди них ловкие демагоги и антикоммунисты. Есть люди, добросовестно заблуждающиеся. Всякий экономический прогресс вообще они наивно отождествляют с социализмом. Такое упрощенное понимание социализма характерно, например, для многих участников первого международного colloквиума по «африканскому социализму», состоявшегося в декабре 1962 года в Дакаре (Сенегал). Есть наконец люди, искренне тянущиеся к социализму, а если говорить точнее — к научному социализму Маркса и Ленина. Для них курс на некапиталистическое развитие — не бездумный прыжок в пропасть исторической неизвестности. Они трезво взвесили последствия своего выбора, основательно изучили опыт многих стран и всерьез решили, что по пути капитализма они не пойдут.

Представим себе политическую карту континента в виде шахматной доски и попытаемся произвести расстановку фигур. Открытые приверженцы капитализма могут быть представлены на нашей доске такими организациями, как Демократическая партия Берега Слоновой Кости и Партия истинных вигов (Либерия). Странники социализма, носящего на поверку скорее декларативный характер, задают тон в Сенегальском прогрессивном союзе, Социалистической дестуровской партии (Тунис), Камерунском союзе (Камерун), Габонском демократическом блоке (Габон), Социал-демократической партии Мадагаскара и подобных им партиях. Наконец, к числу партий, тяготеющих к научному социализму (или проводящих на практике прогрессивные социально-экономические преобразования), можно отнести Фронт национального освобождения Алжира, Арабский социалистический союз ОАР, Суданский союз Мали, Демократическую партию Гвинеи, Национальное революционное движение Конго (Браззавиль), Афро-Ширази (Танзания).

* * *

Реальная картина жизни освободившейся Африки далека от идиллии. Но общая тенденция ее несомненна — это тенденция роста. Во всех странах строятся новые предприятия, прокладываются дороги, открываются новые школы, больницы, клубы.

Трудности неизбежны, они естественное следствие нормального роста живого организма. Хилость экономики и нехватка квалифицированных кадров не позволяют быстро достичь ощутимых успехов в повышении жизненного уровня народа. А это порождает неизбежное недовольство масс. Такова действительность, если рассматривать ее не через розовые очки. Именно недовольство трудящихся плюс явная неспособность руководителей сдвинуть дело с мертвой точки — одна из причин большинства военных переворотов в Африке, одна из причин политической нестабильности вообще. Другая не менее важ-

ная причина — сильнейшее давление капиталистического Запада на все национальные правительства без исключения, в особенности на революционные. 1960 год вошел в историю как год Африки. 1965 год империализм постарался превратить в начало планомерного контрнаступления на суверенные государства, в начало колониалистского реванша.

Буржуазные авторы зорко следят за трудностями и неудачами Африки, быстро фиксируют их, не скупаются на далеко идущие выводы. Особо внимательно присматриваются такие критики к опыту прогрессивных правительств. Неопытность, забегание вперед, перегибы — все это максимально используется в целях дискредитации социалистического развития. Американский ученый Э. Д. Берг (Гарвардский университет) заявляет, например, о «неприменимости социалистической модели» в условиях Тропической Африки. Этот безапелляционный вывод он основывает на критическом анализе, в сущности, только гвинейского материала. Слов нет, за восемь лет независимого существования у Гвинеи были и успехи и неудачи. Но позволительно спросить: как можно делать скоропалительные выводы, базируясь на опыте одной страны всего лишь за восемь лет, причем распространять их на всю Тропическую Африку?

В ответственных кругах новых государств утверждается мысль о том, что независимость — это не только право на национальный гимн, флаг и постоянное место в небоскребе на Ист-Ривер. Независимость, достойная этого имени, — это упорный труд миллионов вчерашних колониальных рабов и в то же время большая гражданская ответственность руководителей за судьбы рождающихся наций.

Нелегко расшевелить огромную, неграмотную, запуганную, крайне неверчивую крестьянскую массу, зажечь ее энтузиазмом, вооружить политической перспективой и направить ее усилия на сознательное строительство новой жизни. Заменить палочную дисциплину, которая долгие десятилетия только и была известна африканскому крестьянину, сознательной трудовой дисциплиной отнюдь не просто. Администрированием здесь ничего не добьешься. До тех пор, пока крестьянин не убедится на собственном опыте в преимуществах тех или иных новшеств, он будет упорно отвергать их на практике, соглашаясь с ними на словах. Африканские агрономы пока не могут добиться, чтобы крестьяне соблюдали оптимальные нормы высева на гектар, придерживались правильных севооборотов, вносили в почву нужные удобрения. Не сразу это делается. Да и агрономов катастрофически мало.

Невозможно отменить росчерком пера и восходящие к родовой организации общества обычаи уравнительного распределения. На практике этот обычай выражается в простой формуле: ест и тот, кто работает, и тот, кто бьет баклуши. Африканских руководителей такой оборот событий начинает серьезно беспокоить. Они призывают покончить с праздностью и злоупотреблением традициями гостеприимства и взаимопомощи. Президент Танзании Ньерере привел в одной из своих речей меткую суахильскую поговорку: «Считай своего гостя гостем два дня, на третий дай ему мотыгу».

* * *

Беда Африки в том, что она пришла к независимости раздробленной на десятки государств. Колонизаторы вполне преуспели в том, чтобы не допустить образования крупных территориальных объединений. На месте Французской Западной Африки возникло восемь государств, Французской Экваториальной Африки — четыре. Такая крупная колония, как Нигерия, подошла к порогу независимости как федерация трех административных районов, каждый со своим собственным правительством и парламентом.

Африканцам трудно быстро ликвидировать разобщенность. Это относится к области как межгосударственных, так и внутригосударственных отношений. Африку буквально растащили по кускам разные хищники, и каждый силился навязать коренному населению свой язык, свою административную систему, свой образ жизни. В некоторых колониях хозяева к тому же менялись. Таковы Того, Камерун, Руанда, Бурунди, Танганьика, где на более ранний германский колониальный пласт наслоились английские, французские, бельгийские правовые, экономические, социальные институты. Возьмем другой пример — Сомали. Унифицировать системы управления и народного образования в независимой Сомалийской Республике (куда вошли бывшие Британское и Итальянское

Сомали) не так-то легко. В народном образовании и делопроизводстве соседствуют оба языка — английский и итальянский.

Вспоминается эпизод скорее печальный, чем забавный. Весной 1961 года в Эфиопии проходила первая конференция африканских государств по развитию образования. Сомалийская делегация состояла из двух человек. На дневном заседании одной из рабочих групп сомалийский делегат вызвал изумление председательствующего и всех присутствовавших, проголосовав против предложения, которое на утреннем заседании внес его соотечественник. Недоразумение вскоре выяснилось: вносил предложение «англоязычный», а голосовал против «италоязычный» делегат. Итальянский язык не входил в число рабочих языков конференции, и второй делегат, очевидно, просто не знал, что голосуется предложение его собственной страны. А проконсультироваться было не с кем — его коллега куда-то отлучился.

Этот случай не более чем курьез. Хуже, когда не понимают друг друга соседние страны, населенные родственными народами. В этом их грагедия. Империалисты разобщили континент экономически. Слабость межафриканских связей, в частности торговых, общеизвестна. В 1950—1959 годах только десятая часть внешнеторгового оборота стран Африки приходилась на внутриафриканскую торговлю. Освободившиеся страны накрепко привязаны к рынкам бывших метрополий, а их финансы — к соответствующим валютным зонам. На континенте делаются первые шаги по части координации экономической политики и расширения межафриканской торговли. Организация африканского единства (ОАЕ), созданная в мае 1963 года, приступила к исследованию таких проблем, как создание зоны свободного обмена между африканскими странами, координация таможенной, валютной, транспортной политики, создание общего стабилизационного фонда цен на сырье.

До возникновения ОАЕ на континенте существовало несколько региональных группировок. Одна из них — так называемый Афро-мальгашский союз — включала в себя большую часть бывших французских владений, придерживающихся прозападной ориентации. Состав двух других группировок был, напротив, продиктован общностью антиимпериалистических целей. Именно такими были союз Гана—Гвинея—Мали и Касабланкская группа стран (Алжир, Гана, Гвинея, Мали, ОАР, Марокко). После учреждения Организации африканского единства последние две группировки были распущены.

В последнее время появились (или обновились) проекты различных региональных объединений африканских государств. Наиболее известные из них — Федерация Магриба (Алжир, Тунис, Марокко), Федерация Центральной Африки (Чад, Камерун, Центральноафриканская Республика, Габон, Конго со столицей в Браззавиле), Федерация Восточной Африки (Уганда, Кения, Танзания и некоторые другие страны), Федерация бассейна Сенегала (Мавритания, Мали, Сенегал, Гамбия, Гвинея), Союз Бенина (Гана, Того, Дагомея, Нигерия). Ясно, что, объединившись, соседние страны смогли бы быстрее развивать экономику, рациональнее использовать ресурсы.

На практике интеграционные процессы идут очень медленно, наталкиваются на многочисленные препятствия. Не последнюю роль играет здесь успевшая наметиться тенденция к национальной обособленности. Большинство африканских руководителей проявляет сдержанность, когда дело доходит до принятия конкретных обязательств.

Решение насущных задач крайне осложняется к тому же национальными трениями, принимающими иногда довольно острую форму. Всем памятна серьезные конфликты на эфиопско-сомалийской и алжиро-марокканской границах в 1963—1964 годах. Ничего, кроме сожженных деревень и жертв, они не принесли ни той, ни другой из враждовавших сторон.

В июле 1964 года мне пришлось побывать в районе другой границы — между Ганой и Того. Она также пльзовалась дурной славой, хотя там в отличие от других стран дело не доходило до решения спорных вопросов с помощью артиллерии. Наш автомобиль подкатил к шлагбауму, за которым кончалась территория Того. Впереди была Гана. Чтобы пересечь эту границу, требовался, помимо обычных виз, специальный пропуск. Отношения между двумя соседями были испорчены донельзя, о чем молчаливо свидетельствовали внушительные ряды кольев, многократно опутанных проволокой.

По обе стороны границы живут люди, говорящие на одном языке — эве. Между тем тоголезский пограничник, возвращая нам паспорта, буркнул что-то насчет «англичан», к которым мы можем теперь отправляться. Кивок, которым он сопровождал свои слова, явно относился к маячившим за шлагбаумом ганским пограничникам.

После создания в 1963 году Организации африканского единства шансы на мирное урегулирование спорных вопросов, в том числе пограничных, несомненно, повысились. В руководящих кругах конфликтующих государств все отчетливее понимают, что нельзя подменять силу доводов силой как таковой. Вооруженные конфликты не решат ничего, в выигрыше останутся только враги независимой Африки.

В странах Западной Африки довольно широко известна легенда о царе Гезо, правителе могущественного государства Абомей. Когда кто-то из царских приближенных усомнился в силе государства перед лицом внешней опасности, Гезо спросил своих министров: «Кто из вас сможет сделать так, чтобы из глиняного сосуда, продырявленного во многих местах, не вытекла вода?» Никто из двадцати присутствовавших не смог сделать этого в одиночку. Тогда царь сказал: «А теперь протяните руки все вместе, заткните отверстия пальцами и налейте в сосуд воды».

Да, сила — в единстве. Слова правителя Абомей передаются из поколения в поколение. Эмблему, на которой изображены руки на фоне глиняного сосуда, усеянного дырами, носят активисты Федерации африканских студентов, обучающихся во Франции.

Африка крайне нуждается в единстве, в единстве на принципиальной антиимпериалистической основе. К сожалению, Организация африканского единства, на которую весь континент возлагает столько надежд, не избавлена от внутренних противоречий. Начать с того, что группа членов ОАЕ вопреки Хартии африканского единства обособилась в политический союз — Общую афро-мальгашскую организацию¹. Эта организация, в которую вошла большая часть бывших французских колоний в Тропической Африке, существует внутри ОАЕ (это, кстати, еще один пример вращения колес в разные стороны). В феврале 1965 года «франкоязычные» страны собрались на конференцию в Нуакшоте (Мавритания), на которой резким нападкам подверглось тогдашнее прогрессивное правительство Ганы.

Раскольники действуют довольно активно. Об их стремлении сорвать третью конференцию ОАЕ в Аккре осенью 1965 года писала вся мировая печать. Созыв ее всего через два года после учредительной конференции ОАЕ в Аддис-Абебе действительно оказался нелегким. Восемь членов ОАЕ так и не участвовали в аккрской конференции. Пять из них — Берег Слоновой Кости, Нигерия, Дагмея, Верхняя Вольта, Того — совместно заявили накануне, что они не поедут в Аккру, так как там обосновались политические эмигранты из их стран, которые ведут де «подрывную деятельность». В зале заседаний пустовали и места представителей Габона, Чад, Малагасийской Республики.

Реальные трудности, связанные с созывом очередной конференции ОАЕ, раздувала в меру своих сил империалистическая пресса. Чего только не писали газеты Запаदा накануне и во время конференции! Во всей этой хорошо оркестрованной кампании чувствовалась весьма опытная рука. Некоторым кругам явно не хотелось быть свидетелями успеха конференции в Аккре, как и торжества африканского единства вообще.

Единство или раскол? Социальный прогресс или топтание на месте? Казалось бы, сама постановка этих вопросов применительно к сегодняшней Африке беспредметна. Конечно же, Африка как никогда нуждается в единстве, и с этим согласны все ее руководители. Но политическая действительность на континенте чрезвычайно многогранна, сложна, запутанна и противоречива. Демонстративное отсутствие восьми членов ОАЕ на конференции в Аккре, словесный радикализм некоторых лидеров, не подкрепляемый согласованными конкретными действиями против режима Смиа в Родезии, — факты, от которых никуда не уйдешь.

Неодинаковый подход к проблеме единства, да и ко многим другим проблемам, отражает различные политические тенденции, преобладающие в той или иной группе государств. Одни государства заявили, что они не будут развиваться по капиталистическо-

¹ Ее нынешнее официальное название — Общая афро-малагасийская организация.

му пути, что их цель — социализм, и официальные заявления подкрепляют практикой. Таковы ОАР, Алжир, Гвинея, Мали, Конго (Браззавиль). Другие, напротив, без обиняков говорят, что избрали путь капитализма. В таких странах, как Берег Слоновой Кости, Малагасийская Республика, Габон, Либерия, капиталистическая тенденция развития проявляется вполне отчетливо. Между двумя этими полярными противоположностями не может не быть противоречий. Есть в Африке и срединная группировка, еще не сделавшая окончательного политического выбора. Для нее особенно характерны непоследовательность, колебания и во внутренней, и во внешней политике.

Мы начали с того, что нельзя понять сегодняшнюю Африку, не заглянув в ее прошлое. Всякий, кто в последние годы побывал на африканском континенте, на каждом шагу сталкивался с тенями прошлого. Но каждый, кто смотрит просто и непредвзято, увидит в Африке шестидесятых годов и ростки будущего. Пока еще редкие фабричные трубы. Сложные портовые сооружения. Кусок мыла, банка консервов, коробка спичек, сделанные на месте из местного сырья. Все это лишь первые шаги. Африканский гигант идет медленно, часто отступает. Но он идет, он больше не лежит, и это главное.

Будущее континента — в руках его народов. Прежде всего от них, от их труда, от их гражданственности зависят сроки появления такой Африки, которая будет сильной и самостоятельной хозяйкой своих богатств.



НА ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕМЫ

ТИМУР ГАЙДАР

★

ИЗ ГАВАНЫ ПО ТЕЛЕФОНУ*

(Репортаж о революции)

Фидель Кастро появляется в коридоре неожиданно. Как ледокол в припае, прокладывает себе дорогу в мгновенно возникшей давке.

Дверь за Фиделем захлопнулась. Возле нее встали двое с автоматами. И нужно же было уйти в коридор! Пытаюсь пробиться хотя бы к окну, через которое можно увидеть, что происходит в штабе. Но вот незнакомый офицер тронул меня за руку, жестом пригласил следовать за собой, кивнул часовым. Те расступились.

Фидель стоит у карты.

— Корреспондент «Правды»? Очень хорошо. Будет крепкий бой.

Здесь, в тесной комнате, он кажется мне еще выше, крупнее, чем тогда по телевидению на трибуне возле кладбища Колон во время похорон жертв бомбардировки.

Сдвинутый к затылку зеленый, с кожаной полоской берет открывает высокий лоб. Зеленая, распахнутая на груди форменная рубашка обтягивает широкие плечи. Зеленые брюки заправлены в голенища начищенных и чуть припудренных красноватой пылью высоких военных ботинок. Очень подвижен. Брови сбегаются в строчку, снижаются, прикрывая карие глаза, и тогда взгляд их становится жестким. Тонкие сильные пальцы крутят карандаш, мнут сигару, разглаживают гиб карты, теребят бороду. Даже когда, чуть склонив голову, слушает собеседника, в его позе, как на моментальном фото, остановившем спортсмена в прыжке, скрыто движение. Он слушает внимательно. Но лишь пока не нашел, не выделил главную мысль. Затем перебивает. Пошутил, и в уголках губ затеплилось лукавство, лицо стало проще, оттаяло. Делает несколько шагов по комнате, таких крупных, будто не замечает стен. Возвращается к карте. Ставит задачи командирам батальонов.

Очень хочется узнать, подтвердились ли сведения о высадке противника в Мариэле.

Из случайно угаданных слов начинаю понимать, что один из батальонов направится по тропинкам вдоль кромки болота, заходя противнику в тыл. И что предстоит атака на поселок Плайя-Ларга.

Офицеры уходят. За окном взрываются танковые моторы.

— Отто.— шепчу я,— нужно проситься туда. Ты же понимаешь...

— Нельзя.

Тянутся минуты.

* Окончание. Начало см. «Новый мир», № 2 с. г.

— Отто!
— Нельзя!

Фидель положил карандаш, поправил берет, вот-вот, видимо, покинет комнату.

...Теперь-то я подумываю: а может, он и не собирался уходить? Может, как раз тогда, покончив со срочными делами, он мог выделить несколько минут корреспонденту «Правды», ответить на вопросы, а потом даже взять с собой, и, конечно, на самые важные участки. Ведь легко понять, что не без его ведома меня позвали в комнату штаба. Но поздно порой приходят разумные мысли...

Фидель Кастро положил карандаш, поправил берет, и я решил. Делаю шаг вперед.

— Товарищ премьер-министр! Скоро атака. Прошу вашего разрешения...

Фидель молчит, хмуро теребит бороду. Все молчат. И я молчу. Стою посередине комнаты.

— Приготовьте письмо к капитану Фернандесу,— говорит наконец Фидель.— Пусть едет.

Через пять минут «джип» с погашенными фарами пробирается по шоссе. В руках у меня письмо к командиру батальона курсантов. Вместе со мной едет лейтенант Педро Франко, студент политехнического факультета Гаванского университета.

— Учебу пришлось отложить,— говорит лейтенант.— На сегодняшнюю ночь у меня есть дело для революции.

Здорово умеют говорить кубинцы!

Ночная атака

В общем, я правильно понял в штабе насчет атаки.

Подожженный базуками и напалмом, горит тропический лес. Горит за спиной. По краям дороги горят грузовики. Впереди чернота.

Четыре танка, пристукивая траками, идут по шоссе. За ними и по канавам вдоль обочин, пригнувшись, движутся люди.

Кто-то крикнул — и сразу начинается общая на ходу пальба. Туда, вперед, в черную, молчаливую, ненавистную опасность. Стрельба, крики — все это ободрило. Люди убыстряют шаг. Бегут.

И тут навстречу, слепя, ударяет пулемет. Трассы проходят высоко, затем ниже, ниже... Так вот, значит, как ты пахнешь, кубинская земля: бензином, теплом, осокой!

Второй пулемет. Хвостатые кометы базук. Вспышка, как спичкой по коробку, освещает завалившийся в яму танк «Т-34».

— Мама! О мамита!

И опять топот. Тяжелое дыхание бегущих рядом людей. Теперь все бегут обратно, навстречу горящему лесу. С грохотом выстрелов, подстегивающих в спину.

Тишина. Полная тишина. Только оглушительно, на весь лес, бьется сердце.

Письмо

С курсантом Хилем Аугусто Морерой мы познакомились перед атакой. Он был постарше других милисиано. Темные волосы уже начали сесть на висках.

В записной книжке я успел отметить, что Хиль — из городка Пальмира в провинции Камагуэй. Был там одним из организаторов народной милиции. И все. Хиль был неразговорчив, а вокруг стояло много народа.

Хиль погиб во время ночной атаки. В кармане его форменной рубашки нашли неотправленное письмо к жене. Друзья Хиля сказали: «Ничего, это можно» — и лейтенант Педро Фариньяс перевел мне письмо слово в слово.

«Эстер!

Приехали без происшествий и сразу приступили к учебе. Не беспокойся. Я сумею о себе позаботиться и постоять за себя. Вернувшись в училище, я узнал, что вызвали всех, кто находился в отпуске, потому что возможно нападение.

Если бы я не поехал и другие милисиано не заняли бы свои посты, разве враг не разгромил бы нас быстро?

Ты знаешь, что я за свою деятельность приговорен контрреволюционерами к расстрелу. Если они победят, меня убьют. А здесь убить меня труднее: я вооружен и сам сделаю все возможное, чтоб не дать им победы.

Ты тоже должна научиться владеть оружием, чтоб защищать Родину.

Знаешь, что такое Родина? Родина — это не что иное, как ты, Мари, Элен, Патрисио, я, нам подобные, то есть всякий достойный честный труженик, который не позволит, чтоб здесь, на Кубе, существовали эксплуататоры, бездельники, воры, латифундисты. Это — Родина. И чтоб она была такой, нужно ее защищать, хоть и погибнет тот, кому суждено погибнуть.

Благополучие детей зависит от отца и матери. Я забочусь о будущем детей здесь. Ты — дома, оберегая себя, оберегая их.

У нас дома на полке есть книга «Панфиловцы». Прочти сначала страницы 33 и 34, а потом и всю книжку.

Пришли мне адрес Ласеро.

Ну вот и все. Ты знаешь и так, что я люблю тебя.

Хиль».

Мы стояли на шоссе. Лейтенант читал шепотом. Курсанты подсвечивали спичками, зажигалками. Все опасались, что увидит Фернандес и нам попадет за нарушение светомаскировки.

Капитан Фернандес

Начальник Матансасского училища капитан Фернандес не очень похож на кубинца. Между собой курсанты зовут его Гальего — Галисиец. Он не носит бореду, что редко среди офицеров такого высокого по кубинской табели о рангах звания, и даже без усов, что вообще редко среди кубинцев.

Он один из немногих офицеров старой кубинской армии, вставших на сторону революции. Форма на нем сидит как влитая. Выправка безупречна. И, несмотря на повадки кадрового офицера, он великолепно справляется с новыми обязанностями начальника своего молодого, революционного, необученного войска. Вокруг него постоянно людской круговорот, он раскидывает большие руки, как насадка прикрывает цыплят крыльями.

— Ави-о-о-он!

Прочь с серой бетонированной дороги по кустам и канавам разбежались курсанты. А самолета нет.

— Слушай! Чико! — ласково выговаривает Фернандес молоденькому милисиано. — Спешка на войне — последнее дело. Ты оглядись, разберись... Если машет крыльями, то уж, конечно, не самолет, а галка!

В старой армии капитан Фернандес был преподавателем артиллерии в училище Манагуа.

Когда сейчас, ночью, в распоряжение батальона прибыла артиллерийская батарея, он пошел к артиллеристам и начал показывать, как заряжать, как наводить, как стрелять...

Утром батарея открыла огонь.

Взятый в плен связист 2-го батальона противника заявил:

— Я настроил радио на ваши частоты и услышал, как к управляющему огнем один раз обратились «Гальего», а другой — «капитан Фернандес». И подумал: если это наш бывший преподаватель в училище Манагуа, то его орудия все равно нас накроют...

Двадцатого апреля, когда Плайя-Хирон был уже взят, я видел, как капитан Фернандес докладывал о чем-то Фиделю Кастро. Голос у Фернандеса был сорван, он говорил шепотом, глаза после нескольких бессонных ночей воспалены, но был он чисто выбрит и форма на нем — словно только из-под утюга.

Ночь

Никогда не думал, что можно так замерзнуть на тропической Кубе.

Лес прошит ветром. С болот тянет сыростью. Зубы выбивают дробь.

Под деревьями сидят спят бойцы. Их фигурки, закутанные с головой в белые одеяла, похожи на толстые короткие свечки. В лесу, на шоссе, в деревеньке — повсюду ряды белых оплывших свечей. Как фитили, торчат стволы ружей. В рассеянном свете молодой луны зрелище почти мистическое.

Шинели в армии не предусмотрены. Белое одеяло — манча — традиционная одежда кубинца в холод.

Мне бы сейчас хоть какое, хоть в крапинку! Растираю замерзшие локти, затем, чтоб согреться, иду к зенитчикам помочь устанавливать и маскировать счетверенные автоматы. «Четырехротые» — называют их кубинцы.

Батальон капитана Фернандеса расположился вокруг деревушки Пальпита. Гражданское население эвакуировано. Хижины переполнены бойцами. Одна из них разрушена бомбей. Среди обугленных досок и мусора на согнутой закопченной койке тоже сидят рядом три белых привидения с ружьями.

Вчера «четырехротых» не было, и бомбардировщики противника «Б-26» целый день висели над дорогой, прижимая людей к земле. Теперь им готовится встреча. Работаем быстро. Стучат топорики.

Зенитчики — самый молодой среди бойцов народ. Ребятам по пятнадцать — шестнадцать лет. Именно среди такой молодежи удалось подобрать огневые расчеты с необходимым для артиллеристов минимумом школьного образования.

Перед рассветом чисто по-русски, без акцента, запевают неэвакуированные петухи.

Младший лейтенант Хосе Антонио Каррасана

Утром санитары подобрали младшего лейтенанта Хосе Антонио Каррасану, мулата. Он полз по обочине, нащупывая рукой кромку бетона. От стертой до мяса ладони на дороге оставались красные пятна. Он был ранен, контужен, кровь заклеила глаза, он ничего не видел.

Ночью во время атаки его сбросило с брони подбитого танка. Видимо, он потерял сознание ненадолго, потому что, очнувшись, успел услышать, как стихал грохот отходящих танков. Потом услышал голоса врагов:

— Нужно бы добить...

— Брось. И так дохлые...

Хосе лежал в кювете. Его знобило и хотелось пить. Он слышал стук кирок и лопат, чей-то начальственный голос, спор, разговоры о подкреплениях...

Собравшись с силами, ориентируясь по слуху, Хосе сантиметр за сантиметром начал устраиваться так, чтоб голоса врагов остались за спиной. Потом полз, сперва по кювету, затем по кромке бетона.

Его подобрали в трех с лишним километрах от позиций противника. Хосе сообщил очень важные сведения. Затем его отвезли в лазарет в Хагуэй-Гранде.

В моей записной книжке отмечено: «Хосе Антонио Каррасана, 24 года, торсеро — крутильщик сигар, фабрика «Хосе Пьедра», Гавана».

Переводчик Бидаль

Когда меня в третий раз привели к капитану Фернандесу под конвоем, он рассердился и приказал выдать мне форму и выделить переводчика. Его пятнадцатилетний адъютант Пепе, человек суровый и решительный, принес синий берет, голубую рубашку, зеленые брюки. Пояса и ботинок не нашлось.

Пока я переодевался в кустах, он привел переводчика. Маленького, толстенького, улыбчивого Бидаля, чиновника канцелярии Президентского дворца. Теперь мы ходим вдвоем. Так, конечно, веселее. Но польза от Бидаля как от переводчика равна нулю. Впрочем, какое там нулю! Он ухитряется полностью изолировать меня от внешнего мира. Пассивная роль переводчика чужда его бурной натуре.

— Бидаль, спросите, пожалуйста, сколько человек живет в этой деревне?

Бидаль спрашивает. Ему отвечают. Бидаль недоверчиво качает головой, возражает. С ним, видимо, не соглашаются. Бидаль горячится. В разговор вступают соседи. Бидаль произносит полную сарказма речь. В ответ — три речи. Вокруг Бидаля столпились люди. Мне не протолкнуться. Наконец Бидаль выбирается из толпы и, хмурый, быстро идет вперед. Я спешу вслед за ним.

— Бидаль, ну что?

— А, — сердито машет он рукой, — ничего интересного!

Зона «Л-В. 6»

Почему эта крестьянская семья оказалась ночью именно здесь, на участке атаки? Наверное, спрятались в зарослях, дождались темноты, чтоб по шоссе выбраться из района, захваченного врагом, вышли на дорогу и попали в самое пекло под двусторонний огонь...

Крестьянин, женщина и девочка лежат навзничь на шоссе в том месте, где оно делится надвое, уходя налево — к туристскому поселку Плайя-Хирон и направо — к рыбацкой деревне Буэнавентура. Над трупами роятся синие мухи. На белой рубашке крестьянина отпечатался узорчатый след автомобильного колеса.

По другую сторону дороги — брошенные противником неглубокие окопы. Тусклая россыпь гильз. Присыпанные песком гранаты. Целлофановые пакеты с сэндвичами. Широкий пояс, который я тут же подбираю и надеваю на себя.

Противник отошел. Тишина. Свистят птицы. Только время от времени доносится отдаленный грохот и к птичьему хору присоединяется свист пролетевшего над лесом снаряда.

К двум вкопанным в землю бревнам приколочен пробитый осколками фанерный щит: «Зона сельскохозяйственного развития «Л-В. 6». Национальный институт аграрной реформы».

На такие зоны в 1961 году разделена вся Куба. «Л-В. 6» — одна из самых сложных зон. Это полуостров Сапата, побережье бухты Кочинос — «тьerra ольвидада», «забытая земля». Глушь, болота, москиты. Земля углежогов.

Отправляясь за полсотни километров в Хагуэй-Гранде, углежогов говорили: «Еду на Кубу». Добираться нужно было двое-трое суток. Обычно уголь за гроши забирали перекупщики, присылавшие в бухту баркасы.

Революция проложила сюда шоссейные дороги. Построила на побережье новые поселки. Прислала учителей-добровольцев. Создала для углежогов кооперативы, освободив их от перекупщиков. Начала осушение болот...

А теперь вдоль и поперек пылает «Л-В. 6». Горит лес. Горят деревни.

Записываю в блокнот: «Уполномоченный Национального института аграрной реформы по зоне «Л-В. 6» поэт Эскуадра».

Поэт! Так бывает именно в революцию.

Шоссе

На шоссе... У шоссе... Вдоль шоссе... На обочине...

Вы уже, наверное, обратили внимание, что эти слова то и дело мелькают в моих заметках.

Когда вечером 17 апреля я смотрел в штабе на большую карту, то мыслил еще весьма отвлеченно. Мне казалось, что существует линия фронта, что эта линия полукольцом охватывает занятый противником плацдарм. Только постепенно начинаю понимать, что война идет вдоль двух шоссеиных и одной проселочной дороги.

По ним движется техника, идут батальоны. Иногда идут, чаще едут. До тех пор, пока не нарвутся на огонь врага. Тогда в это место подтягивается артиллерия, базуки, танки. На дороге между Плайя-Ларга и Плайя-Хирон пылают колонна городских автобусов. В них из Гаваны прямо под выстрелы приехал 123-й батальон.

Ширина фронта — ширина дороги. И не вдоль фронта, а перпендикулярно к нему растянулись батальоны. Место, где дорога делится на «их» и «нашу», легче всего различить по белым «кадиллакам» — санитарным машинам. Наскоро заброшенные ветками и пальмовыми листьями, они стоят на обочинах, там, где идет стрельба.

На шоссе, размахивая привязанной к ветке дерева простыней, выходит толпа женщин, детей, стариков. Перевязанные веревками чемоданы, узелки, одеяла, брошенные на плечи. На руках голые малыши. Пожилая женщина обняла высокого милисиано, прижалась щекой к гранате на плечевом ремне.

«Не бравировать!»

Очень все-таки жалко, что перед отъездом из Гаваны я не смог забежать к себе на квартиру. Ночью мучал холод. Теперь допекает жара. Я голодный, грязный, сонный и пропотевший.

На окраине деревни набрел на лужу и решил постирать носки. Хотя бы просто прополоскать. Положил фотоаппарат. Снял ботинки. Опустил горячие ноги в воду.

— Ави-о-он!

Стираю. После вчерашних бомбежек то и дело кто-нибудь поднимает ложную тревогу. Фернандес собирал уже по этому поводу командиров рот. Однако нарастающий гул заставляет взглянуть на небо. Двухмоторный «Б-26» идет прямо на деревню со стороны моря. Проворно хватаю аппарат, ботинки, делаю несколько шагов по направлению к лесу и... охнув, сажусь на землю. Бежать невозможно. Острые колючки глубоко прокалывают босые ноги.

Все уже укрылись. Я один сижу на просеке. Вытаскиваю занозы. Не знаю, где самолет... Наверное, близко. Не знаю, видят ли мое глупейшее положение кубинцы... Наверное, видят и смеются, черти. Рву шнурки, вбиваю мокрые ноги в чертовы модные туфли, а ноги не лезут! И совсем мне не смешно. Очень горько...

— Вот что, товарищ корреспондент,— сказал после налета капитан Фернандес,— будете бравировать, откомандирую из батальона.

— Ну что вы, товарищ капитан! Конечно, не буду!

Сбит самолет

Наши «четырёхротые» уложили самолет неподалеку от завода «Австралия». Целая ватага машин — зеленые «джипы» и «тойоты», роскошные «род мастера» и пыльные грузовики — устремляется к тому месту, где упал бомбардировщик.

Он упал на поле. Длинная полоса взрыхленной земли показывает, что самолет протащился метров двести, прежде чем взорвались баки с горючим и боезапас. Два мотора, похожие на большие мятые груши с гнутыми листиками лопастей, валяются отдельно. Неподалеку лежит убитая взрывом корова. Рыжий теленок, расставив свои проволочные ножки, исподлобья смотрит на самолет.

Из карманов погибшего летчика извлечены документы. Его имя Лео Берлис. Пилотское удостоверение 08323-1М. Оно было бы действительно до 24 декабря 1962 года. Адрес: Нассау-стрит, 100. Бостон. Американец.

Милисиано деловито прошивает автоматными очередями остатки бомбардировщика.

— Зачем?

— Хочу знать, можно ли пробить его из моей «бельги».

В фunerалии

Пронесся слух: «Убит Эстебан Вентура». Труп в фunerалии Хагуэй-Гранде. Хагуэй-Гранде от сентрала «Австралия» близко. Едем туда.

Полковника Эстебана Вентуру на Кубе знают все. Он был начальником 5-го полицейского участка в Гаване, но не стеснял себя узкими административными рамками. Из двадцати тысяч кубинцев, убитых и замученных за семь лет батистовской диктатуры, на долю полковника приходится немало. Матери на Кубе не решались пугать его именем детей.

Эстебан Вентура бежал вместе с Батистой.

Корреспондент Пренса Латина Педро Рохас жмет на акселератор. Машина мчится через израненный, с плешинами болот лес. Почти не сбавляя скорости, с непрерывным сигналом врывается в узкие улицы городка.

Стоп! Возле фunerалии тесно. Слух о том, что убит Вентура, уже разнесся по Хагуэй-Гранде.

— Пренса! Пренса революсионариа! — провозглашает Педро, врубаясь в толпу.

Журналистские удостоверения, фотоаппараты, военная форма помогают протиснуться к небольшому одноэтажному дому. Двери раскрылись, нас провели в побеленную комнату.

И сразу пропал азарт.

На пляжных дощатых топчанах навалом лежат трупы.

— Где Вентура?

— Там, в следующем зале.

Бог с ним, с Вентурой. Я туда не пойду. Все равно я его не олюэнаю. Пусть идут Педро с Бидалем.

Возвращаюсь в переднюю. Здесь все же лучше.

Закуриваю и, только привыкнув к полумраку, замечаю сидящую на скамье женщину. Прямая, словно высохшая, с неподвижными, полными отчаяния глазами. Черное платье и на коленях в морщинистом кулачке белый истерзанный платок.

Кто она? Мать милисиано? Или одного из этих?

Она сидит напряженная, затаенная, как окаменевший крик.

Рядом с ней невозможно просто так стоять, дышать, курить. И заговорить невозможно.

...Наконец возвращаются Педро с Бидалем. Огорченные: «Нет, это не Вентура».

Кафе «Медина»

За сутки Хагуэй-Гранде очень изменился. Ощущение нависшей угрозы исчезло. Приметы близкой победы преобразили городок.

На улицах много народа. Бойко торгуют магазины. Грохоча и чуть не обдирая боками стены домов, идут танки. Мальчишки, как дробовые заряды, пронесаются по тротуарам, сметая прохожих. Но самое оживленное место — маленькое угловое кафе «Медина», расположенное как раз там, где начинается дорога к заводу «Австралия».

Здесь задерживаются те, кто едет на фронт, и обедают, вернувшись с фронта. Каждый человек в форме окружен людьми, ожидающими новостей. Здесь рассказывают, что такое война, обсуждают положение, показывают военные трофеи: лоскуты пятнистой одежды десантников, лоскуты парашютного шелка, эмблемы, споротые с формы врага. Но все это затмевает огромная латунная гильза двадцатидвухмиллиметрового снаряда, которую притащил с передовой бородатый, длинноволосый милисиано. Он переходит от столика к столику, дает ее потрогать, погладить. Щелкает по ней пальцем, и люди, улыбаясь, слушают надтреснутый звон.

— Ке коса, мас гранде! ¹

Мы едим рис с фасолью и кусочками дочерна прожаренной свинины. Пьем сладкое «рефреско» ².

— Бидаль, — прошу я, — закажите что-нибудь покрепче.

Бидаль с сомнением смотрит на меня, колеблется, затем подзывает официанта. На столе появляется бутылочка черного пива.

— Нет, Бидаль, покрепче! Ну ром, что ли?

— Нельзя, — говорит Бидаль. — В форме ничего крепкого нельзя. Приказ.

— Но я ведь не настоящий милисиано. Да и вам глоток не повредит!

В глазах Бидалья откровенное и глубокое страдание. Ну как можно даже говорить такие страшные вещи. Ведь приказ!

Я оглядываю занятые военными соседние столики. Кока-кола, пелси-кола, сода... Вдыхаю:

— Ладно, Бидаль, я пошутил.

Военный опыт

К нашему столику подсел офицер.

Я еще не очень хорошо разбираюсь в кубинских знаках различия. Сбивает с толку, что каждый прикрепляет их там, где захочет: кто на погон, кто на воротник. Вот и теперь подумал: рядовой. И только потом заметил две лейтенантские латунные галочки на берете.

— Вы из Москвы? Ну как наша война? — И, не дожидаясь ответа, лейтенант кивнул на милисиано, вокруг которого по-прежнему толпились люди, рассматривая огромную гильзу: — Думаю, это вам может показаться странным.

Я хотел возразить. Лейтенант жестом остановил меня.

— Поймите, у нас, кубинцев, нет военного опыта. У всего народа нет опыта. После войны с Испанией за независимость сменились поколения. Те, кто в ту войну был младенцем, сейчас уже глубокие старики. А в России за это время прошли русско-японская, первая мировая, гражданская, вторая мировая... У вас миллионы знают, что такое артподготовка, рубеж атаки, бомбовый удар... Для нас это ново.

— А война в Сьерра-Маэстра?

— То другое дело. То была герра де герильяс ³. Нет, этот парень просто молодец, что притащил гильзу. Пусть люди видят, какую технику мы получили от вас. И используем... Скажите, а в Москве сейчас очень холодно?

¹ Вот так штука! (Испан.)

² Прохладительный напиток.

³ Партизанская война (испан.).

Дорога к Кайо Раймон

Наступление идет по трем дорогам. 117-й батальон занял деревни Сан Блас и Бермехо. На прибрежном шоссе войска подошли к Плайя-Хирон на расстояние в два-три километра.

Мы едем по проселку к Кайо Раймон — одному из последних оплотов обороны противника. Переднее стекло «джипа» разбито пулями и опущено на капот. Ветер колет лицо стеклянной пылью.

Идут усталые бойцы. Машут фляжками, кружками, спрашивая, нет ли воды.

Решено, что мы с Бидалем двинемся пешком, а шофер вернется за водой и потом подхватит нас на дороге.

Дорога то мягкая, то каменистая, с торчащими из-под пыли белыми клыками. Эти камни так и называют «собачьи зубы». Слева от дороги болота, справа — стена колючего кустарника марабу.

Жарко. На спине идущего перед нами милисиано белые кристаллики соли обметали темное, влажное пятно. Через плечо переброшена старая американская винтовка.

Прибавили шаг, догнали. Ему лет шестнадцать. Хорошее, открытое лицо, серые глаза и еще по-мальчишески тонкая шея.

— Салют, компаньеро!

— Салют!

Шагаем молча. На такой жаре не поговоришь. Кого-то обгоняем, кто-то обгоняет нас. Шаг... шаг... шаг... и родился общий ритм, и мы трое идем уже не просто рядом, а вместе.

Небо выгорело, стало белесым, бесцветным, в густом воздухе лениво клубится пыль, запахи распаренного тропического леса щекочут ноздри. И я забыл, что я иностранец, корреспондент. Кажется, будто давным-давно вместе со всеми тронулся в этот путь, и ни конца, ни края ему не видно...

Изредка переглянемся, улыбнемся друг другу сухими губами. Глаз нацелен на дальний поворот, но за ним снова пыльная лента дороги, колючий кустарник и спины идущих к Кайо Раймон бойцов.

Если бы не пройденные молча раскаленные километры, может, Пабло Эррера — так звали нашего спутника — и не рассказал бы о себе, когда мы уселись наконец в тени, под обгорелым навесом в деревушке Хики.

Рассказ Пабло Эрреры, учителя-добровольца

Мои старики, наверное, волнуются. Хотя с отцом мы в ссоре. Дело в том, что они богатые люди. Вернее, были богатые. Отец владел домами. И еще у него были участки земли в Гаване, на хороших улицах. Цены на городскую землю росли быстро.

Когда победила революция, все очень обрадовались. Это было удивительное время. Все ходили по улицам, пели, танцевали, обнимались, все были братьями. Багистовские полицейские спрятались, новую полицию еще не организовали, но в Гаване не было ни одной кражи, ни одного грабежа.

Уличное движение регулировали бойскауты и студенты. Одна женщина встала с жезлом на перекресток. Мы ходили на нее смотреть и кричали: «Вива мухерес кубанас революционарис!»¹

Отец нанял рабочих, и на всех наших земельных участках поставили плакаты: «Фидель, мы молимся за тебя!» Он даже купил еще два участка, потому что считал, что цены на землю в Гаване поднимутся еще выше. Но отец человек деловой. Он быстрее других понял, как все оборачивается, и начал переводить деньги в США. Он получил визы в американском посольстве для мамы, для себя и для меня. Не успел только продать один большой дом, тот, в котором жили мы сами.

¹ Да здравствуют кубинские революционные женщины! (Испан.)

Но когда отец сказал однажды: «Все, улетаем в Майами», — я ответил, что никуда не полечу.

Что творилось в тот день! Старик то грозил меня проклясть, то обещал дать деньги на путешествие в Европу, даже в Советский Союз, если мне уж так хочется видеть, во что превратят Кубу коммунисты. Ругался, уговаривал,пил лекарства. Мать плакала. А я думал, что у меня разорвется сердце.

Но я никак не мог уехать с Кубы... Видите ли, у меня никогда в жизни не было друзей — только книги. Меня не очень интересовал спорт, автомобили. В сущности, я был довольно одинок. А после революции у меня появились настоящие товарищи. И все вокруг как-то перемешалось, стало живым, интересным. Мы собирались и до утра разговаривали, как сделать Кубу счастливой. И не только разговаривали. Мы начали работать. Я вступил в организацию Молодых повстанцев... Нет, я никак не мог уехать.

Вечером отец спустился в гостиную и сказал, что он меня проклинает, лишает наследства и уезжает с матерью. Но если я пойму свою глупость и приеду к ним в Майами, то он меня, может быть, простит. И что он договорился о продлении моей визы.

Но мама сказала: «Знаешь, Адольфо, ты, конечно, прав. Пабло просто глупый ребенок. Его обманули эти проклятые коммунисты. Он обязательно скоро поймет свою ошибку. Но пока я не могу оставить его одного. Ты же прекрасно знаешь, что у ребенка слабое здоровье...» И тогда отец сел в кресло и заплакал...

Сейчас они с матерью в Гаване. Тот дом, что не успели продать, правительство национализировало по городской реформе, оставив нам нашу квартиру. И отец получил за это пенсию. А я — здесь. Приехал на Съенега-де-Сапата ликвидировать неграмотность среди углежогов. И вот попал на войну.

...Мы с Видалем остались в Хики под навесом ждать машину. А Пабло Эррера встретил товарищей и ушел вперед. Его фигурка с тяжелым ружьем почти сразу затерялась на дороге среди других миллисиано.

У Видаля записан номер телефона, по которому Пабло просил при случае позвонить в Гаване его «лос вьехос» — старикам.

Крабы

Никогда в жизни не видел и, может, никогда больше не увижу такого несметного количества крабов, как в тот вечер 19 апреля 1961 года на берегу бухты Кочинос, неподалеку от Плайя-Хирон. Большие и маленькие, величиной с пятак, они бегут от леса к морю, мчатся боком, наискосок. Земля, корни деревьев, камни, песчаный берег покрыты красноватым текучим ковром.

Откуда они взялись? Спугнул их горящий лес? Растревожили взрывы? Или в крабей жизни наступила весна? Никто объяснить не может. Узнаю лишь, что крабы по-испански «канрехос». Их сотни тысяч, а может, миллионы.

Машины едут по крабам. Люди шагают, высоко поднимая ноги и нащупывая носком землю, будто переходят брод. Под каблуками противно потрескивает. Самое страшное, если начнется бомбежка. Неужели придется лечь на землю в этот шуршащий членистоногий поток и он перехлестнет через голову и спину? Бррр!

Иду, стараясь не смотреть под ноги, и все не могу придумать, как вставить крабов в корреспонденцию.

Самолеты

Авиация противника больше не появляется. Это закон войны, что пехота всегда больше знает об авиации противника, чем о своей.

Вражеские бомбардировщики действовали так. Приближались к цели на высоте в полторы-две тысячи метров. Пикировали, стреляя из восьми ссединен-

ных в башенке пулеметов. Перед выходом из пике бросали ракеты, бомбы, напалм. Затем взмывали свечой, и хвостовые пулеметы посылали прощальные очереди.

В Хагуэй-Гранде в госпитале, разместившемся в «Казино Испаньоль», я видел одиннадцатилетнего мальчишку с простреленным плечом. Его зовут Родригес Крус. Вместе с матерью и сестрами он ехал на грузовике, который прислали в деревню Соплиар, чтоб эвакуировать крестьянские семьи. Всего в машине было человек тридцать.

«Б-26» противника с отличительными знаками кубинских ВВС низко прошел над грузовиком. Так низко, что было видно, как летчик помахал рукой. Потом самолет набрал высоту, развернулся и снижировал.

— У мальчика убита мать, но он об этом еще не знает,— предупредил врач.

Семнадцатого апреля авиация противника господствовала над дорогами. Восемнадцатого тоже была активна.

Один из офицеров сказал мне, что у противника более двадцати бомбардировщиков. Учитывая, что самолеты действуют с дальнего аэродрома в Никарагуа, я думаю, что их даже больше.

Восемнадцатого вечером войсковая рация перехватила сообщение находившегося над Кубой вражеского пилота: «Нас атакуют «МИГи», нас атакуют «МИГи!» — кричал он. Девятнадцатого утром над дорогой прошли американские реактивные истребители «сейбры». Больше авиация противника не появляется.

Это все, что я знал о самолетах, топя по крабам на дороге к Плайя-Хирон. Здесь я сделаю исключение из правила и расскажу о том, что узнал позже.

На рассвете 17 апреля в готовности у кубинцев были три боевые машины: два купленных еще Батистой английских винтомоторных истребителя «си-фурре» и один «Б-26». Два старых американских реактивных истребителя «Т-33», не имели запчастей и находились в ремонте.

Назначенные на первый вылет летчики капитан Энрике Каррерас, лейтенант Густаво Бурсак и капитан Лагас Морреро направились в штаб получать задание. Они прошли мимо капитана Луиса Сильвы, который ругался с механиками, возившимися с его неисправным самолетом. Капитан Сильва посмотрел летчикам вслед и вдруг побежал к бомбардировщику «Б-26» капитана Лагаса Морреро. Влез в кабину. Запустил моторы. Вырулил на полосу. И, уже взлетая, увидел, как размахивает кулаками высочивший из штаба Лагас.

Три самолета ушли к бухте Кочинос. Капитан Лагас Морреро вздохнул и пошел к механикам. Ругаться вместо Луиса.

«МИГов» на Кубе не было. Эх, если б были «МИГи»!

Пленные

Я приехал в Плайя-Хирон ночью, после того как еще раз безуспешно попытался связаться с Москвой по телефону.

Поселок горел. Среди красных скелетов пылающего кустарника метались тени. Светя фонариком, мы с Бидалем зашли в первый попавшийся дом. Луч вырвал из темноты белоснежную глыбу холодильника с распахнутой дверью, низкий столик, полосатый диван и на нем труп человека в пятнистой одежде. На полу возле опрокинутой рации валялись бумаги. Штаб? Захватив на всякий случай пачку листов, мы пошли дальше.

По улице вели пленных. Их собирали в большом недостроенном здании курзала. Большинство еще в своей камуфляжной форме, некоторые успели раздобыть крестьянские рубашки, несколько человек только в майках.

Разговаривать с ними пока невозможно. Они дрожат, напуганы, они каждую минуту ждут расстрела.

Милисиано смотрят на них с любопытством. Ни одного угрожающего жеста, ни одного грубого слова. Приносят воду, угощают сигаретами.

Лишь мало-помалу начинает завязываться разговор. Милисиано интересуется, много ли среди десантников американцев. Янки? Пленные, чуть осмелев, спрашивают, правда ли, что против них сражались русские и китайцы?

Этот вопрос вызывает смех. Его повторяют, передают друг другу: «Слышали? Они думают, что их побили русские!», «Эй ты, коротышка, посмотри, похож я на китайца?»

Утро 20 апреля

Волны Карибского моря чуть притрагиваются к отлогому песчаному берегу. На белом тонком песке пляжа разбросаны зеленые тряпочки водорослей, выцветшие сучковатые кораллы, тяжелые пестрые раковины. Рассветные тени пальм расчертили дно бухты. Вода тепла и прозрачна. Неподалеку от моих ног над вспоротой цинковой коробкой с патронами замерла стайка круглых, похожих на серебряные монеты рыб. Они разом дрогнули, блеснули, исчезли.

— Ойга, кубанос!

— Ойга! Ойга!

Вдоль берега по пояс в воде между полузатопленными баркасами и десантными баржами бродят милисиано в мокрых рубашках, перекликаются, ищут на дне оружие, кто-то тащит на плече пулемет, кто-то зовет товарищей, чтоб достать базуку.

Я еще раз с наслаждением нырнул, вышел на берег и начал одеваться. Было шесть часов утра 20 апреля. Солнце быстро поднималось. Откуда-то слева, со стороны болот, доносились выстрелы. Но, несмотря на выстрелы, несмотря на то, что стены пестрых домиков туристского поселка Плайя-Хирон закопчены дымом, пробиты снарядами, а неподалеку от меня у пальмы чернеет подбитый танк «шерман», мир, как всегда ранним солнечным утром, кажется удивительно спокойным, хорошо придуманным, прибранным и тихим.

Из коммюнике № 4 (это коммюнике передано 19-го вечером всеми радиостанциями Кубы):

«...Враг понес сокрушительное поражение. Часть наемников пыталась бежать на судах за рубеж, но они были потоплены повстанческими Воздушными Силами. Остальные, потеряв много людей убитыми и ранеными, рассеялись в болотистом районе, откуда нет возможности ускользнуть.

Взято большое количество оружия американского производства, в том числе тяжелые танки «шерман». Окончательный подсчет трофеев еще не произведен.

В ближайшие часы Революционное Правительство представит народу полную информацию о всех событиях».

Х

Всю первую неделю после разгрома интервенции на Плайя-Хирон вечерами гаванцы не отходят от телевизоров. Передаются беседы журналистов с пленными.

Часть десантников еще сидит в болотах Сьенег-де-Сапата, окруженная подразделениями народной милиции. Сдаются то группами, то поодиночке. Их привозят в Гавану и помещают вместе с остальными в крытом стадионе «Сиудад Депортива».

К началу передач Гавана пустеет, как бывает у нас перед наступлением Нового года. На улице Сан Рафаэль у магазина «Филипс», в витринах которого стоят телевизоры, собирается толпа.

Майами ловит передачи гаванского «СМКу телевизион революсьон» и ретранслирует их на Нью-Йорк, в Филадельфию, в Чикаго — по всей Америке.

В отделе информации кубинского МИДа я получил билет.

Большой зал Дворца профсоюзов переполнен. Но с балкона, где отведены места для прессы, хорошо видно и слышно.

Пленные по одному выходят на сцену, берут в руку микрофон и усаживаются напротив покрытого скатертью длинного стола. За столом десять кубинских журналистов, перед каждым табличка с именем, чтоб зрители знали, кто задает вопрос.

Редактор газеты «Эль Мундо» Луис Вангуэмерт, пожилой седоватый человек, спокойный, сдержанный, единственный из журналистов одетый в штатский костюм, сидит отдельно за маленьким столиком ближе к краю сцены. Он руководит беседой.

Свет нацеленных на сцену прожекторов телевидения так ярок, что хорошо освещенный зал кажется погруженным в полумрак. В зале, насколько это возможно для Кубы, царит тишина. О том, что зрители должны хранить молчание, Луис Вангуэмерт предупреждает несколько раз.

Время от времени из-за кулис к столу, стараясь ступать неслышно, подходит милисиано, вызывает кого-нибудь из журналистов к телефону. Это значит, что кто-то из телезрителей опознал пленного, хочет сообщить о нем какие-нибудь данные или просит задать от его имени вопрос.

Я описываю все так подробно потому, что собираюсь ниже просто приводить стенографические записи бесед, и хочется, чтоб читатель мог представить обстановку, в которой они проходили. Правда, для этого нужно бы еще почувствовать атмосферу Гаваны тех, первых после победы на Плайя-Хирон, дней.

Мной владело тогда двойственное чувство. Я уехал на Плайя-Хирон новичком, а вернулся в Гавану вроде бы старожилом. Конечно, по-прежнему все для меня здесь еще было ново и неведомо — и улицы, и обычаи, и язык, и люди. Это было по-прежнему незнакомым. Но уже не чужим.

В филиале американской фирмы «Херц Рент Кар» я взял напрокат маленький голубой «шевроле» и то по делу, то без колесил по Гаване. Она бурлила, пела, смеялась. В те дни здесь впервые повсюду начали петь «Интернационал». Его пели на митингах, равняясь в шеренги и подняв над головой сплетенные руки, его напевала пожилая негритянка, посыпая зелеными опилками мраморный пол магазина. Ребята на бензозаправочных станциях насвистывали мотив.

Город до бровей был заклеен плакатами. Они очень напоминали по манере наши — РОСТА времен гражданской войны. Гаечный ключ перекрещен с крестьянским мачете. Книга, как маяк, освещает уходящую к горизонту дорогу. В поднятом кулаке сжаты обломки раздавленного американского бомбардировщика...

Хорошо, если бы вы могли почувствовать ту уверенность в своих силах, которая после победы на Плайя-Хирон сплотила кубинцев. И еще было бы хорошо, если бы вы могли увидеть лицо сидевшей рядом со мной в зале Дворца профсоюзов женщины. Ей лет сорок. В черных, воронова крыла, волосах чуть поблескивает седина. Маленький шрам возле губы оттеняет красоту смуглой кожи. Большие карие глаза с длинными подкрашенными ресницами то вспыхивают гневом, то смеются, то опечалены. Может, это сама Куба?

— Что вы! — улыбается женщина. — Меня зовут Мария-Елена.

И снова улыбка сбежала с лица. На сцену вышел пленный.

Вангуэмерт: Ваше имя, пожалуйста.

Пленный: Хосе Мартинес Суарес.

Вангуэмерт: Национальность?

Пленный: Кубинец.

Вангуэмерт: Пожалуйста, товарищ Франки.

Журналист: Ваша профессия?

Пленный: Кадровый офицер. Двадцать восемь лет в армии.

Журналист: Какой пост занимали в армии Батисты?

Пленный: Командир пятьдесят четвертого эскадрона сельской гвардии.

Журналист: С Кубы вы уехали в Майами?

Пленный: Да, сеньор. Я подождал, как полагалось, три месяца, нужных для расследования моего поведения во время правления Батисты, получил удо-

ствоверение, что увольняюсь с чистым послужным листом, и разрешение покинуть страну.

Журналист: Это было в 1959 году?

Пленный: Да, сеньор. В апреле.

Журналист: Я хотел бы, чтоб вы рассказали все, что случилось с вами с той даты и до настоящего момента.

Пленный: В Майами я работал в ресторанах. Мыл посуду. Потом заболел и потерял работу. В США нужно представлять удостоверение о здоровье... Долго бедствовал. Однажды со мной заговорил один сеньор, североамериканец. Дал понять, что он уполномочен вербовать людей для секретного военного лагеря. Я ему объяснил, что не могу владеть оружием и из-за возраста, и по состоянию здоровья. Но он сказал, что это неважно, что я буду санитаром, что горный воздух пойдет на пользу моим легким.

Я принял предложение на тех же условиях, как все: сто семьдесят пять долларов на жену, пятьдесят долларов на первого ребенка и по двадцать пять долларов на каждого из остальных.

Журналист: Сколько же вы получали?

Пленный: У меня жена и трое детей. Следовательно, всего двести семьдесят пять долларов.

Журналист: Могли бы вы рассказать, что было дальше?

Пленный: Как и других, меня привезли в дом, где выдали обмундирование: армейские ботинки, форму, зеленую фуражку. Ночью погрузили в закрытый автомобиль, «молочник», заперли, предупредив, чтобы не шумели.

В аэропорту Опалока мы сели в самолет типа «С-54» без отличительных знаков. Потом шесть часов полета. Когда сошли на землю, я сразу себе сказал: «Это же Раталулеу. Гватемала...» Здесь нас разделили. Те, кого набрали для авиации, остались. Остальные на грузовиках поехали в лагерь. Часа три пути.

Журналист: Расскажите о лагере.

Пленный: Лагерь в горах. Местность пустынная, дикая, вулканы. Бульдозер сделал на склоне горы несколько террас. Повыше жили те, кого называли «инженерным корпусом», еще выше те, кто обучался водить танки. На самой верхней площадке жили американские инструкторы.

Фамилий и званий мы не знали, только имена: Фрэнк, Том, Боб... Но в лагере было известно, что они офицеры армии США. Иногда нас собирали на «брифинг» — инструктаж. Рассказывали о том, как идут дела на Кубе, что народ умирает с голоду, армия развалилась, авиация и флот только ждут подходящего момента, чтоб восстать, и т. д. Мы думали, что на Кубе все пройдет легко... Если восстали авиация, флот, если большая часть Повстанческой армии с нами и половина милиции тоже... Не так много оставалось сделать, правда?

Журналист: Ну и как повело себя командование бригады после высадки?

Пленный: Я, как военный, все же разбираюсь немного в этих делах. Как только наш конвой приблизился к берегу, судно, на котором я находился, сразу попало под огонь пулемета... И я понял, что все будет не так, как нам говорили, что это ловушка, обман... Вот что я хотел бы, чтобы мне объяснили: как это американская разведка не знала, что здесь, на Кубе, есть все эти пулеметы, эти пушки... И послали одну бригаду! Это преступление! Это одно из самых тяжких преступлений, которое падет на головы североамериканцев!

(По залу прошел насмешливый гул. Вангуэмрт обернулся, развел руками, все стихли.)

Вангуэмрт: Можете идти, сеньор Мартинес. Следующий пленный, пожалуйста.

И так они проходят чередой. Молодые и старые. Испуганные и самоуверенные. Обманутые и обманывавшие. Полицейский Рисенте Вальдес, уголовник Кинг, сын бывшего премьер-министра Хосе Миро Кардона.

Рамон Кальвино Инсуа появился на сцене Дворца профсоюзов на следующий вечер. Хорошо сложенный парень лет двадцати восьми. Тяжелый подбородок и баки простили лицо, которое иначе можно было бы даже назвать интеллигентным. Он одет в яркую — белое с красным — спортивную куртку.

В зале стало очень тихо. Неподалеку от меня кто-то выругался. Вангуэмерт поглядел в нашу сторону, предостерегающе поднял карандаш.

Журналист: Пленный, вы пришли сюда, чтоб ответить на вопросы, по своей собственной воле?

Пленный: Да.

Журналист: Вы помните 9 апреля 1958 года?

Пленный: Да, помню.

Журналист: Почему?

Пленный: Была забастовка.

Журналист: И ничего больше не напоминает вам этот день?

Пленный: Стрельба на углу улиц Г и 25-й в Ведадо.

Журналист: Что произошло во время стрельбы?

Пленный: Был убит Марселио Селадо. Я тоже находился в патрульной машине, но не стрелял.

Журналист: Вы ехали в машине в качестве шофера или туриста?

Пленный: Нет, я был членом экипажа. Вы же знаете, что я служил в полиции.

Журналист: Итак, вы указали на Марселию Селадо...

Пленный: Нет, нет...

Журналист: Указали другие?

Пленный: Нет, другие нет...

Журналист: И вы не стреляли в Марселию?

Пленный: Нет, сеньор.

Журналист: Однако люди, которые шли с Марселию и которые остались живы, видели, как вы указали на него рукой, а затем выстрелили из пистолета.

Пленный: Нет, это невозможно, сеньор.

Журналист: Вы не помните случайно, что произошло на Виа Бланка возле шоссе на Гуанабаос 2 июля 1958 года? Не помните юношу, которого звали Хулио Альварес Эдуарте?

Пленный: Может, вы сообщите факты?

Журналист: В полицейском акте девятого участка это зарегистрировано как нераскрытое уголовное преступление. Но юноша был убит вами и вашими коллегами. Вы, конечно, не помните?

Пленный: Нет!

Журналист: Вы не помните молодого негра, худенького, его звали Герардо Абреу Фонтан?

Пленный: Абреу Фонтан? Нет, я его не знал. Его нашли мертвым совсем не на нашем участке.

Журналист: 15 июня 1958 года был арестован и допрошен вашим шефом... Кстати, кто был вашим шефом на пятом и девятом участках? Как его имя?

Пленный: Вентура.

Журналист: Правильно, Вентура. Игак, Вентурой был допрошен Хорхе Санчес Вилар. На рассвете вы и Ариэль Лима отвезли его на пляж в Санта-Фе, где и убили, а труп бросили возле спасательной станции... В полицейском акте это тоже зарегистрировано как нераскрытое уголовное преступление.

Пленный: Я хотел бы видеть доказательства.

Журналист: Вы получите возможность их увидеть. А имя Мануэль Агиляр? Оно вам ничего не напоминает?

Пленный: Но ведь вовсе не я убил Манолито Агиляра.

Разговор становится монотонным. Журналисты называют имена убитых, адреса, даты. «Не помню», «Не знаю», «Не я», — отвечает Кальвино. «Конечно, — говорит он, — теперь все на Кальвино. Теперь уже все, все на бедного Кальвино...» Так продолжается до тех пор, пока на сцене не появляется женщина в форме бойца Повстанческой армии. (Я даже привсгал, и на меня зашикали из задних рядов. Ведь это моя соседка, та самая, с которой в первый вечер мы рядом сидели на галерке.)

Свидетельница: Кальвино! Узнаешь? Это я, Мария-Елена. Первее, что ты сделал, ударил меня в лицо, так что я отлетела к стене и упала. Ты сильный парень, Кальвино! Потом ты швырнул меня этим людям, Каро и Альфаро... Как мне пришлось драться! Они сломали мне два ребра. Два ребра, Кальвино, и все же ничего у них не вышло. Там были еще Мигелито — «Детка» — и лейтенант Санчес... Вот кого не хватает! Остальные получили по заслугам. Теперь получишь и ты... А когда я была вся в крови и обессилела, ты засмеялся и сказал, что сделаешь мне «телефон». И я потеряла сознание от твоего «телефона». В четыре утра вы начали ломиться в двери моего дома. Ты кричал из-за двери: «Мария-Елена! Здесь стоит великий Кальвино! Он пришел дать тебе урок!» И вы увезли меня в девятый участок, а потом в СИМ... Но я знала — настанет день! И вот с моими сломанными ребрами, с моим больным сердцем я здесь, я все равно сражаюсь и буду сражаться, чтобы — патриа о муэрте! — покончить с вами со всеми!

Луис Вангуэмерт (к залу): Убедительно прошу сохранять полную тишину. Никакие выкрики недопустимы.

И зал опять хранит молчание. Молчание динамита, готового взорваться в любой момент.

Кальвино как-то сник, обмяк в кресле, кажется, будто его фигура потеряла очертания, расплылась. Он что-то бормочет.

И мне обидно, что бормочет. Я хочу слышать его голос. Первый раз в жизни вот так, не в книге, не в статье, не в фильме, а воочию я вижу одного из тех, о существовании которых, безусловно, знал, но с которыми до сих пор не встречался.

Предатель.

Рамон Кальвино Инсуа был членом подпольной организации «Движения 26 июля» в Гаване. Арестованный, он выложил Вентуре все адреса, имена, связи, явки и пошел к нему на службу. Он служил не только старательно, но самозабвенно, со страстью.

Предательство... Что я знаю о нем? И мало и много. Я знаю, как, обложенный фашистами, отбивался на Полтавщине в пятачковом лесу маленький партизанский отряд. Как строчил пулемет у лесопилки. И кто-то спешил к фашистам, чтобы показать тропу...

Я знаю, что предательство есть на земле и, к сожалению, видимо, еще будет. И потому я смотрю на Рамона Кальвино Инсуа, на его яркую курточку, на его подбородок, на его баки, на его полужакрытые глаза...

Зря смотрю. Это не поможет. У предателей разные лица.

Луис Вангуэмерт: Вы можете идти, сеньор Кальвино.

Племянник вождя кубинской фашистской фаланги Филиппе Ривейра Диас, по собственной характеристике «националист» и «сторонник третьей позиции», не вошел, а впрхнул на сцену. Он сел на стул с изяществом. Закинул ногу на ногу. Закурил, отвел руку, и огонек зажатой между пальцами сигареты начал вычерчивать в воздухе круги и овалы.

Журналист: Как националист, вы согласны с национализацией тех богатств, которыми Соединенные Штаты владели на Кубе?

Пленный: Это не существенно. Соединенным Штатам важны не миллионы песо, которые они потеряли на Кубе. Им важнее, как Куба голосует в ООН.

В мире идет борьба между двумя силами, или двумя системами, как вы говорите. Куба встала на русскую сторону. Это опасно.

Журналист: Значит, вы сохранили бы голос Кубы за США?

Пленный: Я бы не отдавал его ни русским, ни американцам.

Еще один пленный. Пожилой, в пестрой рубашке явно с чужого плеча. На щеках глубокие морщины. Мануэль Перес Гарсия. Парашютист.

Журналист: Сеньор пленный, скажите, как вас отобрали для этого подразделения?

Пленный: Сначала меня зачислили в транспортную роту. Механиком. Но в лагере было много несчастных случаев из-за неумелого обращения с оружием. Ребята ранили друг друга, себя. Чтоб покрыть недостаток в людях, меня послали к парашютистам.

Журналист: Сколько времени вы обучались?

Пленный: Я не обучался.

Журналист: Значит, ваш прыжок в Сьенег-де-Сапата был первым в жизни?

Пленный: Первым в жизни.

Журналист: У вас есть предыдущий военный опыт?

Пленный: Я четыре года сражался с Японией. В армии США.

Журналист: Почему вы приняли участие в этом вторжении?

Пленный: В 1945 году, когда кончилась война, я вернулся на Кубу. Жена вскоре умерла. Работу найти было трудно. Я взял своих четверых детей и уехал в Нью-Йорк, чтоб устроиться механиком, дать детям образование. В 1950 году началась война в Корее. Старшего сына призвали на военную службу. Он погиб в Корее в 1952 году. Мы приехали всей семьей в Гавану, чтобы похоронить его рядом с моим отцом и женой. Потом вернулись в Нью-Йорк.

Я получил предложение отправиться на Багамские острова на строительство порта. Можно было заработать побольше и не платить подоходного налога. Но положение мое там оказалось не очень хорошим. И вдруг я прочитал объявление в газете, что требуются механики в Гватемалу. Решил: поеду, поработаю несколько месяцев, заодно смогу не платить налога и за этот год. И вот попал сюда...

Журналист: Вас контрактовали в Гватемале?

Пленный: Нет, в Майами.

Журналист: За какую плату?

Пленный: Пообещали платить триста песо еженедельно. Но это, конечно, оказалось обманом. В Гватемале я очутился в военном лагере, окруженном часовыми. Я обращался к американским инструкторам, пытался объяснить, что я ветеран войны, гражданин США, награжден американским орденом... Но все без результата. Можно было попробовать бежать. Некоторые пробовали. Их поймали и посадили в тюрьму там же, в лагере.

Журналист: Значит, вы один из обманутых?

Пленный: Нет, я не хочу говорить так. Я пленный, я жду наказания по всей строгости законов этого народа, который пролил столько крови... Ведь я один из тех, кто родился здесь, в голоде. Зубы я потерял на Кубе, голодая. И я увидел на Плайя-Хирон своих племянников, детей моих братьев, сражавшихся против меня, старика. И теперь я хочу, чтобы меня расстреляли. Я и так прожил слишком долго...

Три крепких брата Бабум, у которых революция национализировала цементный завод и деревообделочную фабрику, появляются на сцене вместе, высокие, мрачные, заросшие черной щетиной.

— Мы пришли на Кубу не за тем, чтобы вернуть наше, — говорит старший, самый высокий и самый мрачный Бабум. — Может, если бы победили, то и вернули... Не в тсм дело... Я вот сейчас хочу всем объяснить, что мы пришли восстанавливать здесь свободу.

Перед журналистами пленный Пабло Органабле. В феврале 1959 года, месяц спустя после победы революции, он был завербован ЦРУ США для слежки за кубинцами, живущими в Соединенных Штатах.

Журналист: Вы имели какие-нибудь разговоры с шефами ЦРУ?

Пленный: При самых разных обстоятельствах.

Журналист: О чем?

Пленный: О многом... Военное снаряжение... Деньги, вербовка... Получал указания, кого куда направить. Ну, все эти вещи... Последний разговор я имел с мистером Громаном, одним из помощников мистера Аллена Даллеса. Это было в Вашингтоне в Пост-оффис-билдинг — старое здание, где на пятом этаже находится контора ФБР...

Журналист: Значит, вы считаете, что этой операцией руководило Центральное разведывательное управление США?

Пленный: Конечно.

Еще один пленный. Почти старик. Белая спортивная майка висит на старческих хрупких плечах. Но все равно чувствуется военная выправка бывшего кадрового офицера.

Журналист: Президент Соединенных Штатов заявил, что США не принимали участия в подготовке вторжения.

Пленный: Вот как! Откуда же все это современное оружие, которым была снабжена бригада, — танки, подводные лодки?!

Журналист: Разве подводные лодки тоже были?

Пленный: Некоторые их видели. Я — нет. Я видел только надводную эскадру.

Журналист: Где вы видели эскадру?

Пленный: При переходе морем. Эсминцы шли по правому борту. Фрегаты — слева. Некоторые видели впереди перископы подводных лодок... Перед отплытием нас информировали, что обеспечение и высадка имеют стопроцентную надежность: в воздухе «суперсейбры», по горизонту — весь 5-й флот, а впереди и под нами — подводные лодки.

Так постепенно проясняются детали разработанного ЦРУ США и в марте 1961 года утвержденного Объединенным советом начальников штабов плана «I-400».

Из кубинских эмигрантов вербуются и вооружается бригада «2506». Она идет в первом эшелоне вторжения, захватывает плацдарм на берегу бухты Кочинос, запирает пересекающие болота три шоссе-ные дороги. Инженерная рота бригады немедленно готовит к приему самолетов имеющийся в поселке Плайя-Хирон маленький аэродром.

Затем небольшой дипломатический «Дивертимент»: на плацдарм из Майами срочно перебрасывается сформированный ЦРУ «правительственный совет» во главе с бывшим премьер-министром Кубы Хосе Миро Кардоной. Уже оттуда, с кубинской земли, «совет» сразу обращается к США с просьбой о признании в качестве «законного правительства» Кубы и о военной помощи. Она, эта помощь, не замедлит.

Начинается второй акт вторжения: в дело вступают вооруженные силы США.

Чтоб план сработал, нужно было хоть на какое-то время захватить и удержать плацдарм. Но так не получилось. Выкрашенный белой краской специальный самолет для «правительственного совета» простоял на аэродроме в Майами зазря.

XI

А теперь снова обратимся к истории. 27 ноября 1956 года в Сантьяго-де-Куба по адресу Сан Фермин, 358, на имя Артура Дуке пришла из Мексики телеграмма: «Книга распродана. Издательство». В тот же вечер в Сантьяго под пред-

седателем двадцатитрехлетнего учителя Франк Паис состоялось заседание подпольного руководства «Движения 26 июля» на Кубе.

Телеграмма означала, что отряд уже вышел на яхте из Мексики и находится в пути.

«План А», для выработки которого Франк Паис в октябре 1956 года летал к Фиделю Кастро в Мексику, вступил в действие.

Согласно плану яхта «Гранма» должна была через три дня после получения телеграммы прибыть в маленький порт Никеро в провинции Ориенте у юго-западных склонов Сьерра-Маэстра. В тот же день с рассвета по всей стране должны были начаться нападения подпольных боевых групп на казармы, на полицейские участки, на оружейные магазины, должно было взлететь в воздух несколько железнодорожных и шоссейных мостов. Цель этих действий — скватерство батистовцев.

Уже с вечера 29 ноября кубинский крестьянин Кресенсио Перес не покидал скрипучих причалов Никеро. Несколько грузовиков стояло на окраине городка. Около ста человек, которых Кресенсио Перес привел в Никеро, разбившись на группы, ждали сигнала. Оружие для них должна была привезти «Гранма».

Тридцатого ноября на рассвете, выполняя план, небольшой отряд Хулио Камачо занял завод «Эрмита», разрушил железную дорогу между Гуантанамо и Сантьяго-де-Куба.

В Сантьяго с рассветом боевые группы начали штурмовать здание полицейского управления, что стоит неподалеку от старой каменной лестницы, спускающейся от улицы Падре Пико, и здание морской полиции на берегу гавани. Несколько боевых групп, в основном студенты, блокировало выходы из казармы Монкада. Они опрокидывали машины, создавая баррикады на улице Ф и Каретера Сентраль.

Шли часы. «Гранма» не появлялась.

Здание полицейского управления пылало. Отряд, атаковавший дом морской полиции, перебил охрану, ворвался внутрь, захватил оружие. Энсо Инфанет с одиннадцатью товарищами разгромил оружейный магазин на площади Долорес. «Гранмы» не было.

Оправившиеся от неожиданности батистовцы перешли в контрнаступление. На улицах появились танки. Студенты, пытавшиеся блокировать Монкаду, отступили к окраинам. Отряд Хулио Камачо оставил завод «Эрмита», ушел в горы.

Тридцатого ноября «Гранма» в Никеро не пришла. Не пришла она туда ни первого декабря, ни второго...

Об экспедиции «Гранмы» написано много, и я прочитал, пожалуй, все, что было написано. А кроме того, мне довелось беседовать с многими из оставшихся в живых бойцов героического отряда. С министром связи Хесусом Монтане, с командующим армией Каликто Гарсией, с директором Национального института гидроресурсов Фаустино Пересом... И все же по-настоящему я кое-что понял, лишь побывав на Плайя-Колорадо, на месте высадки отряда «Гранмы».

Еще это место называют Белик. Оно расположено километрах в тридцати пяти к юго-западу от Никеро.

Справа от проселочной дороги, которая идет вдоль берега моря к мысу Крус, в зеленом кустарнике стоит неприметная решетчатая арка, похожая на те, что сооружают у нас в пионерских лагерях. Она украшена бумажными цветами и пожелтевшими ветками. Рядом — маленькая трибуна для митингов.

От арки начинается узкий трехкилометровый деревянный настил, пересекающий мангровы.

Мангровы — это уже не море и еще не суша. Это тропическое морское болото. Это сплетение толстых корней, над которыми в парной тишине не шелхнется выбеленный морской солью кустарник. Черная гнилая вода над черным засасывающим илом сплошь прощита скользкой сенью узловатых корней-капка-

нов. Иногда кустарник расступается, и над полированной палехской гладью болота, как скрюченные пальцы утопленников, торчат отмершие корневища. Легкой рябью отмечен след змеи. По дну — их видно, если наклониться к краю мостков, — ползают огромные крабы.

Мы шли по мосткам. Светило заходящее солнце. Лениво перекликались тропические птицы. Машина ждала у арки. Вечер был спокоен. И все же, честное слово, всем было как-то не по себе.

Словно непрошенные, мы заглянули в тот темный уголок, который природа показывать не любит.

Я шел, и одна мысль не давала мне покоя.

В двух километрах к северо-востоку от того места, где высадился отряд, мангровы обрываются. Если бы «Гранма» свернула с фарватера, ведущего от мыса Крус к порту Никеро, только на десять минут позже и прошла бы вперед только одну милю, она смогла бы спокойно ошвартоваться у заброшенного причала в тихой песчаной бухте, рядом с которой проходит дорога, а за ней начинаются плантации сахарного тростника. И можно было бы выгрузить, а не оставить на яхте все привезенное с собой снаряжение: оружие, медикаменты, рацию, боеприпасы...

Но именно в первых вооруженных схватках с батистовским режимом, когда так важны были любой, пусть маленький, успех, каждая, хоть небольшая, удача, именно тогда один за другим рушились планы и «Движение 26 июля» терпело поражения.

Так было со штурмом Монкады. Так было и с «Планом А».

Когда 30 ноября 1956 года утром на «Гранме» по радио услышали о начале восстания в Сантьяго-де-Куба, о боях в Гуантанамо и в Ольгине, вокруг перегруженной, заливаемой волнами пятидесятитонной яхты расстилалось открытое море.

— Слушай, если к семи вечера не покажется маяк, мы тебя расстреляем, — сказали штурману Роберто Роке бойцы. По-видимому, это была невеселая шутка. А может, и нет.

Маяк открылся в 7 часов 10 минут вечера. Но не долгожданый — мыса Крус, в тридцати километрах от которого находится порт Никеро, а маяк принадлежащего Великобританиям острова Большой Кайман...

Сейчас уже давно выяснены те просчеты и ошибки, которые были допущены при организации экспедиции «Гранмы». Среди них были серьезные.

Штурман Роберто Роке впервые поднялся на борт «Гранмы» за несколько десятков минут до ее выхода из порта Тупсакан. Он не смог определить скорость яхты, считал ее по формуляру равной 9 узлам, а она была лишь 7,2 узла. Это привело к опозданию.

«Гранма» не имела радиосвязи с подпольным руководством «Движения 26 июля» на Кубе и не смогла передать сообщение о своей задержке.

На «Гранме» не было подробных карт кубинского побережья. Вообще имелась лишь одна генеральная морская карта, включавшая и Кубу, и часть Мексики, и берег Центральной Америки. Поэтому «Гранма», свернув с фарватера, ведущего от маяка Крус к порту Никеро, села на мель перед мангровыми Плайя-Колорадо, вместо того чтобы войти в спокойную бухту с причалом.

Были мелкие просчеты. Результат неопытности и спешки.

В море бойцы долго, выбиваясь из сил, отливали ведрами воду из трюма. Думали, что в корпусе есть течь. Потом оказалось, что течи не было. Просто забыли закрыть небольшой забортный клапан. Новую обувь — солдатские ботинки — обули перед самой высадкой, не обнэсив ее заранее. Почти все натерли ноги. Отряд лишился подвижности. Когда «Гранма» села на мель, спустили на воду единственную шлюпку. Не рассчитали нагрузку. Она затонула.

Было и просто невезение.

Ночью 2 декабря уже на подходе к мысу Крус один из бойцов, пытаясь взобраться на рубку, чтобы разглядеть наконец огонь маяка, не удержался и

упал в воду. На то, чтобы разыскать его и поднять на борт, потратили около полутора часов. Поэтому на фарватер, ведущий к Никеро, «Гранма» легла только на рассвете. Рассветы в тропиках стремительны. Граница между тьмой и светом мимолетна.

Утром катер береговой стражи № 106 заметил брошенную у Плайя-Колорадо яхту. Сообщил в Никеро. Вскоре над местом высадки закружила батистовская «каталина».

...Днем отдыхали, спрятавшись в зарослях. Ночью шли по просекам бесконечных тростниковых плантаций, принадлежавших кубинскому сахарному магнату Хулио Лобо. Шли к горам, на восток. Из снаряжения остались лишь винтовки и немного патронов. Еды не было. Ели тростник. Восемьдесят два человека срезают стебли, стесывали зелень, жевали древеснистую сладкую сердцевину. За отрядом по просекам тянулся след белых размочаленных палок.

Пятого декабря остановились на дневку возле местечка Алегрия-дель-Пио — Радость Святоши, в редком леске у отвесного склона горы. К другому краю леса примыкали плантации тростника.

В полдень вблизи лагеря начали шнырять разведывательные самолеты. Однако дневку не свернули. Люди были измотаны, на ногах у многих — кровавые мозоли.

Врач отряда Эрнесто Гевара делал перевязки. Некоторые разобрали и чистили оружие.

Около четырех часов раздался выстрел...

Семь лет спустя ноябрьским вечером 1963 года в Гаване в кабинете главного редактора газеты «Нотиснас де Ой» собралось несколько бывших бойцов отряда.

Ни одному из них все еще не исполнилось сорока. Теперь они были большим начальством: министрами, директорами, командующими... Но об этом нужно было помнить самому, потому что никто не удосуживался подчеркнуть свое нынешнее положение.

Пили кофе, шутили, дымили толстыми черными сигарами, вспоминали прошлое. Когда начали говорить о бое у Алегрия-дель-Пио, нахмурились, посерьезнели.

Я записывал. Вот рассказ команданте Каликсто Гарсии:

«Тогда, у Алегрия-дель-Пио, вслед за первым выстрелом на нас обрушился настоящий свинцовый дождь. Без боевого опыта, мы еще не знали, что, когда ведется огонь из автоматического оружия, особенно из «М-1» и «М-2», эхо отдается с противоположной стороны, и окружение казалось нам полным.

Маленький самолет «пиппер» кружил над леском и всаживал в землю зеленые ракеты, указывая солдатам, где находится отряд.

Отряд сразу распался на маленькие группы. Общее управление было потеряно. Я с несколькими товарищами из моего взвода перебежал через просеку и укрылся в зарослях тростника.

Метрах в двадцати тростник горел. Нас закрывало черным дымом. Мы стреляли, не очень хорошо понимая, куда и в кого.

Самолет теперь уже не посылал ракеты, а бил сверху из пулеметов. Каждый раз, когда он проходил над головой, мы трогали друг друга руками, чтобы убедиться, что живы. Так прошло много времени. Наконец стрельба прекратилась. Самолет улетел.

На рассвете мы вышли на просеку. Батистовцев не было. Сориентировались по солнцу и пошли на восток. Уже возле горы Бока-дель-Торро нас заметили батистовские часовые. Началось преследование. Мы карабкались в гору, батистовцы шли по пятам. Наткнулись на заросшее кустарником ущелье и, резко изменив направление, спустились по нему вниз. Там тоже были солдаты. Но они стояли метрах в сорока один от другого, и нам удалось миновать цепь.

Возле Менокала, что неподалеку от порта Пилон, встретились с крестьянином Рубеном Фонеско, которого послал Кресенсио Перес. Он принес еду, стал нашим проводником».

О том, почему отряд «Гранмы» оказался окруженным у Алегрия-дель-Пио, до сих пор говорят по-разному. Говорят о предательстве проводника, который довел отряд до этого места и перед самым боем скрылся. О плохой маскировке лагеря, легко просматривавшегося в редком лесочке с самолетов. О срезанном тростнике на просеках, по которому можно было проследить проделанный отрядом путь.

Но, как бы там ни было, разгром оказался сокрушительным. Часть людей погибла в бою. Многие попали в плен, некоторые из них были тут же убиты, остальных судили вместе с участниками восстания в Сантьяго-де-Куба и послали на остров Пинос.

После боя у Алегрия-дель-Пио пришлось начинать практически все сызнова, и только поэтому Батиста бежал с Кубы лишь семьсот тридцать девять дней спустя.

XII

Однажды утром в конце мая 1961 года ко мне в номер — я уже перебрался тогда в гостиницу «Гавана либре» — позвонил с причала нефтеперерабатывающего завода «Нико Лопес» мой старый приятель Сергей Леонтьев. Когда-то мы вместе служили на Балтийском флоте. Теперь он плавал на танкере и пришел в Гавану в первый раз.

Танкеры в портах стоят мало. Полмесяца идет эта громада через океан, а потом насосы за сутки откачивают из трюмов нефть, и снова — в путь.

Я решил показать Сергею город в полном блеске.

Мы бродили по улицам Сан Рафаэль и Гальяно, на которых витрины богатых магазинов слились в сплошную стеклянную ленту. В знаменитом «Слоппи бар», где над черной дубовой стойкой красуются фотографии и автографы почитателей бара — американских кинозвезд и миллионеров, мы выпили по «дайкири» — лимонный сок, лед и ром «анехо», взбитые в густую, пенистую массу.

Бесшумный лифт на одном дыхании вознес нас к тридцать пятому этажу. В пронизанном светом стеклянном кубике «Ла торре» было тихо, торжественно и прохладно.

Мэтр в безупречном — из Лондона — фраке, сверкнув, как фокусник, серебряной крышкой, положил на деревянную дощечку бифштекс. Два официанта встали по бокам.

Пока обедали, на Гавану обрушился ливень. Тяжелые струи ударили по крышам, по бетону, остановили машины, смыли с улиц прохожих. Молнии сверкали где-то совсем рядом с нашим плывущим над городом стеклянным залом.

Ливень кончился, выглянуло солнце. Гавана, посвежевшая, заулыбалась.

— Что это? — спросил Сергей, указывая на голубое пятнышко на крыше многоэтажного дома.

— Бассейн. Их здесь много.

Мы долго кружили возле кинотеатра «Ла рампа». Стоянки были забиты легковыми машинами. Я никак не мог припарковать свой маленький «шевроле».

Сидя в кожаных глубоких креслах в прохладном зале — эркондишен здесь тоже работал отлично, — смотрели шведский фильм. Надоело. Вышли из кино и — была не была — поехали в «Тропикану». Реклама уже давно заманивала посетить «самый лучший в мире ночной клуб», «рай под звездами».

Заранее в «рай» мы не позвонили. Столики оказались занятыми. Но мэтр сказал, что для двух «советико» место найдется.

Деревья в саду были подсвечены. С узловатых мускулистых ветвей свешива-

лись зеленые лианы. Над невидимым стеклянным куполом мерцали крупные звезды. И вдруг я заметил, что мой товарищ помрачнел.

— Послушай, — сказал он, — вот мы говорим: «господство американского империализма», «бедная страна», «братская помощь»... Но ты посмотри вокруг...

Я посмотрел вокруг. За соседними столиками тоже пили «Куба libre» и глядели на сцену, где танцевали милые, не очень одетые девушки.

— Нет, — сказал Сергей, — «вокруг» в широком смысле. Все эти небоскребы, дворцы, лифты, магазины, рестораны, машины, бассейны... Какая же это бедная страна?

Бедная? Но кто так сказал о Кубе? Это неверно. По площади Куба больше Венгрии, больше Австрии. Ее типичный ландшафт — зеленая, чуть всхолмленная долина. Три четверти территории удобны для посевов. Кубинский краснозем удивительно плодороден. А на склонах гор растет чудесный, один из лучших в мире кофе. Зимой на Кубе в среднем плюс 21 градус. Летом — плюс 28. Засухи редки.

Но не только земли и климат — богатство Кубы. В ее недрах большие запасы никеля, магнезии, железной руды. Есть медь. У Кубы столько естественных прекрасных гаваней, сколько нет у Англии. Моря вокруг полны рыбой. Куба — главный продавец сахара на международном рынке.

До 1959 года она тратила на ввоз легковых машин тридцать пять миллионов долларов ежегодно. Причем по ввозу самых дорогих, роскошных «кадиллаков» Куба стояла на одном из первых мест в мире. В пересчете на душу населения, конечно. Но беда в том, что в жизни «кадиллаки» на душу населения не делятся. Черные, длинные, лакированные, с золотыми коронками на дверцах, они стоят перед дворцами и виллами, и шофер в форменной фуражке с галуном застыл за рулем. И не только «кадиллаки», но и многое другое не делилось на Кубе «на душу населения».

Броская, мечущаяся, разноцветная реклама заливала Гавану. Ночью город пылал неоновым пожаром.

Девяносто один процент сельских жителей не имел электрического света.

Для богатых магазинов конфеты и бисквиты доставлялись из Парижа на самолетах.

Только один процент крестьянских семей ел рыбу, меньше двух процентов — яйца, три процента — хлеб, четыре процента — мясо, около одиннадцати процентов крестьянских детей когда-либо в жизни пили молоко.

После победы революции, 9 апреля 1960 года «Нью-Йорк таймс» напечатала сообщение своего постоянного корреспондента Р. Харта из Гаваны:

«Парадеро де Дуран. Куба. 8 апреля. Адальберто Пенья, который живет в деревне неподалеку от южного побережья Кубы, в тридцати милях от Гаваны, не помнит, чтобы он когда-нибудь до революции выпил стакан молока.

Адальберто четырнадцать лет, а выглядит он десятилетним. Он с гордостью сообщил, что за последние шесть месяцев поправился на двенадцать фунтов, что пятеро его братьев и сестер тоже прибавили в весе.

— У нас теперь много еды, — сказал он счастливо, — и все пьют молоко!»

...Городской пролетариат, особенно квалифицированные рабочие — электрики, строители, портовики — жили получше. Однако половину зарплаты они отдавали владельцам тесных «соларнес», где в комнате ютилось по двенадцать человек, а один туалет приходился на сотню квартирантов. Потеряв работу, они перебирались в трущобы Гаваны — Лас-Ягуас, Льега и Пон, Куэва-дель-Умо...

В 1961 году Лас-Ягуас еще существовал, и я заставил себя пойти в этот пыльный и влажный человеческий муравейник.

Это был странный город десяти тысяч архитекторов. Каждый житель Лас-Ягуаса соорудил жилье, руководствуясь только своим воображением и наличным материалом. Сплющенное крыло автомобиля служило несущей конструкцией, на

которую опиралась крыша — рекламный плакат. Синяя надпись «Баккарди» на больших картонных коробках из-под рома, образующих одну из стен, сочеталась с серой мешковиной, заменяющей другую стену...

Голые мальчишки бежали за мной, что-то выкрикивая или выпрашивая. Женщины, согнувшись над жаровнями и корытами, бросали мне вслед безразличные или сердитые взгляды. А я заставлял себя идти вперед и вперед, прыгая через лужи и плутая в жестяном, фанерном, картонном лабиринте. Я обязан был видеть это.

Но зато потом, года полтора спустя, я увидел, как Лас-Ягуас сносили. Тяжелые бульдозеры, опустив ножи, ждали сигнала, как танки на рубеже атаки. Жителей уже давно переселили в новые дома. В Лас-Ягуасе заканчивала работу киногруппа режиссера Михаила Калатозова, снимавшая там один из эпизодов фильма «Я — Куба».

Но вот наконец оператор Урусевский остановил камеру. Актеры, ассистенты, подсобные рабочие отступили за черту. Кто-то громко срывающимся голосом прокричал слова команды...

У меня до сих пор живет в памяти лицо того седого негра, который первым бросил свой бульдозер на трупобу, опрокидывая и сминая по нескольку конур враз.

Но самое главное, что на Кубе вовсе не делилось «на душу населения», — это земля.

Перед революцией Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки отметила в своем докладе, что на Кубе сахарные компании владеют половиной, а контролируют семьдесят пять процентов всех обрабатываемых земель страны.

Из охваченных переписью 1946 года 160 тысяч хозяйств 101 тысяча не имела своей земли. Это были арендаторы и субарендаторы — 53 тысячи хозяйств, платившие за землю деньгами, издольщики — 33 тысячи, отдававшие хозяевам до двух третей урожая, «прекаристы» — 13 тысяч, которые самовольно захватывали пустующие земли, и т. д. В любой момент могла явиться сельская гвардия, согнать их с участка, сжечь их дощатое, крытое пальмовыми листьями жилище — «бохийо».

Шестьсот тысяч кубинских сельскохозяйственных рабочих вообще не имели для обработки ни клочка земли.

И все это вместе значило, что в то жаркое утро 14 декабря 1956 года, вскоре после боя у Алегрия-дель-Плю, когда маленький отряд остановился на берегу горной речки Магдалена (люди купались, стирали белье, протирали оружие; вскоре предстоял первый наступательный бой — атака на полицейский пост Ла-Плата), — в то утро против Батисты выступали не несколько десятков человек, а гораздо больше.

Когда, забрав оружие, отряд двинулся на восток к пику Туррино, на пути он встретил толпу крестьян. Женщины несли детей. Впереди с палкой в руке шел старик. Это были «прекаристы» зоны Пальма Моча. Патруль сельской гвардии капрала Басоля по просьбе управляющего компанией «Вити» только что согнал их с земли, сжег их дома.

Старик проводил взглядом поднимающийся в гору отряд — кучку усталых людей в грязном, изорванном обмундировании, с черно-красными повязками на рукавах — и повел крестьян прежним путем, вниз, к побережью.

Так было поначалу. Все налаживалось трудно. И контакты с крестьянами. И связь с городским подпольем. Тысячи трудностей еще лежали впереди.

Вот письмо, которое пришло в отряд в горы из Сантьяго-де-Куба несколько месяцев спустя после нападения на Ла-Плата.

«Уважаемый Александр!

Должен снова писать тебе и опять без шифра, потому что узнал от Нормы, что предыдущее письмо так и не смогли до сих пор тебе вручить.

Полагаю, ты уже знаешь последние новости, и даже перо дрожит, когда должен вспоминать эту ужасную неделю... Одна за другой приходили печальные вести, все рушилось, и казалось, этому не будет конца.

Бомбу замедленного действия, так тщательно подготовленную и так удачно поставленную на место, за несколько часов до взрыва залило водой. Ручные гранаты отказали. Отряд «Второй фронт», который создавался в таком глубочайшем секрете, был захвачен, и мы потеряли оружия, боеприпасов и снаряжения более чем на двадцать тысяч песо. Погиб один из наших товарищей.

Здесь мы потеряли еще троих... Они предпочли погибнуть, сражаясь, чем сдаться в плен. Среди них — самый молодой. И у меня до сих пор пустота в груди и очень болит душа.

Я хотел бы, чтобы ты мне указал, какие боеприпасы тебе необходимы. Знаю, что у вас не все ружья калибра 30.06 и тем не менее вы никогда не простили другого боезапаса.

Мне известно, что есть хорошее ружье калибра 27.0, к которому имелось двести патронов, и «винчестер» калибра 26.0 с сотней патронов. Если ты мне сообщишь, смогу мало-помалу переправлять нужный боезапас вместе с обмундированием, продовольствием и т. д.

Из «Второго фронта» удалось спасти двадцать пять ружей и грузовик с обмундированием, пледами, обувью. Вчера видел Рене, он рассказал, как все произошло... Не хочу их оправдывать. Было все — и недисциплинированность, и подозрительность, страх и даже дезертирство... Пятнадцать дней в окружении, потерянные, не зная ничего о тебе, не зная, смогут ли дойти... Я всегда считал, что люди — это нормальные люди, не «сверхчеловеки», не «сверхгерои». Героизм появляется позже, а поначалу люди есть люди со всеми обычными слабостями и недостатками...

Сейчас читаю в газете о новой волне арестов в Мансанильо. 10 июля начнем осуществлять Национальный план № 2, который заключается в проведении месячника диверсий, координируемых в масштабе всей страны...

С революционным приветом всем.

От имени Национального руководства
«Движения 26 июля»

Давид.

Р. С. Сообщи, получил ли ты оборудование для радиостанции?»

«Второй фронт», о котором в письме идет речь, — небольшой отряд повстанцев, прибывший в мае 1957 года из Майами на яхте «Коринфия» и вскоре разгромленный батистовцами. «Давид» — Франк Паис. После неудачного восстания в Сантьяго-де-Куба он скрывался в городе. 30 июня его тело, пробитое несколькими пулями, нашли на одной из улиц Сантьяго. Вскоре стало известно имя убийцы — Салас Канисерес, офицер батистовской полиции.

Радиостанция, о которой спрашивал в письме Франк Паис, заработала.

«Внимание, говорит «Радио Ребельде»! Говорит «Радио Ребельде» из гор Сьерра-Маэстра — свободной территории Кубы!..»

Вечерами, закрыв окна, кубинцы слушали Сьерра-Маэстра.

«До каких пор канисересы, масферреры, бентуры, батисты, люди без совести, без души, без сердца, будут сеять смерть и горе, не получая возмездия народного правосудия?..»

После того как погиб Франк Паис, самый мужественный, самый ценный, самый выдающийся из бойцов, что еще ждут тысячи и тысячи кубинцев?..

Пришел час потребовать от каждого, кто называет себя революционером, кто заявляет, что он противник диктатуры, от каждого, каких бы убеждений он ни придерживался, к какой бы партии и организации ни принадлежал, пришел час потребовать...»

В горы потянулись люди.

Однако не следует думать, что Повстанческая армия начала быстро увеличиваться в численности.

Повстанческая армия увеличивалась медленно, но число ее сторонников росло по всей Кубе. В городах возникали подпольные диверсионные группы, печатались листовки, распространялись «боны свободы» — десять песо на революцию!

XIII

Большую работу по мобилизации масс вела Народно-социалистическая партия Кубы. И для того, чтобы стал понятен сложный процесс развития кубинской революции, необходимо хотя бы кратко рассказать об истории этой партии, о ее борьбе, ошибках и победах. А коротко рассказать трудно.

Она возникла 16 августа 1925 года под названием Коммунистическая партия Кубы и сразу была объявлена диктатором Херардо Мачадо, или, как его называли, «антильским Муссолини», вне закона.

Карлос Балиньо и Хулио Антонио Мелья — ее основатели. Первому тогда было семьдесят семь лет, второму — двадцать два года. За плечами Карлоса Балиньо, друга и соратника Хосе Марти, уже были десятилетия пропаганды марксизма, созыв первого на Кубе рабочего конгресса, провозгласившего еще в 1892 году, что «трудящийся класс не освободится до тех пор, пока не воспримет идеи революционного социализма...», создание Рабочей социалистической партии, вступившей в 1905 году во II Интернационал.

Он весь был — история, традиции, опыт.

А Мелья — молодость, энергия, вера. Мелья был любимцем и вожаком гаванских студентов. Это он возглавил в университете борьбу за реформу, которая приблизила бы обучение к реальным нуждам народа, организовал в Гаване «народный университет», где студенты читали лекции рабочим, руководил в 1923 году первым национальным студенческим конгрессом, которому из Москвы послал приветствие нарком просвещения А. В. Луначарский.

И это он в августе 1925 года проплыл ночью несколько миль по кишашему акулами заливу Карденас, чтобы подняться на борт советского судна «Воровский» и вручить нашим морякам подарок — кубинский флаг.

Оба погибли вскоре. Карлос Балиньо — в тюрьме, когда против него был возбужден один из махадистских процессов, а Хулио Антонио Мелья — в эмиграции, на улице мексиканской столицы от пуль наемных убийц, подсланных Херардо Мачадо.

Но партия жила. Она завоевывала влияние среди железнодорожников, табачников, ткачей. Организовала профсоюз рабочих сахарной промышленности, первые крестьянские лиги. Оттесняя анархистов, партия играла все более важную роль в подпольной Национальной конфедерации кубинских рабочих. И когда в 1933 году Кубу всколыхнула волна революционного подъема и Херардо Мачадо бежал из страны, партия уже представляла собой серьезную силу.

На болотистом острове Туригауно мне довелось встретиться с крестьянином, который в августе и сентябре 1933 года входил в местный Совет крестьянских депутатов.

Это был типичный кубинский старик крестьянин, невысокий, худощавый, высушенный солнцем, с глубокими морщинами на впалых щеках. Он долго рылся в мешке, а потом положил на свою черную корявую ладонь маленький значок, выпиленный из нашей, неведомо как попавшей в те годы на Кубу серебряной советской монетки: земной шар, обрамленный колосьями.

— Асе мучос аньос, — сказал он. — Перо, мучос, мучос! ¹

Он улыбнулся задумчиво и даже — или это мне показалось — чуть грустно. Советы крестьянских депутатов, Советы рабочих депутатов в августе и сентябре 1933 года возникали под руководством компартии во многих районах и

¹ Давно это было, очень, очень давно! (Испан.)

городках Кубы. Они конфисковывали помещичьи земли, распределяли их среди крестьян, устанавливали рабочий контроль над производством. Многие сахарные заводы перешли в руки рабочих. Отряды Красной гвардии несли охрану.

Я не буду подробно рассказывать о том, что случилось после бегства Мачадо. Короткое время просуществовало правительство де Сеспедеса, которое попыталось «умиротворить страну» при помощи американских эсминцев. В ночь с 4 на 5 сентября 1933 года группа сержантов кубинской армии во главе с Фульхенсио Батистой, тогда еще сержантом, штабным писарем, арестовала в крепости Колумбия махадистских офицеров и вывела солдат к Президентскому дворцу. Возникло мелкобуржуазное правительство Грау Сан Мартина, которое поставило перед собой невозможную задачу: не потерять поддержки масс и в то же время добиться расположения Вашингтона.

Оно приказывало послать войска и против рабочих, захвативших сахарные заводы, и против махадистских офицеров, засевших с оружием в центре Гаваны в отеле «Националь». Фульхенсио Батиста — он стал командующим армией — с удовольствием посылал войска и туда и сюда.

Правительство металось, предпринимало противоречивые меры. Роль Батисты росла. 29 сентября 1933 года армия по приказу Батисты обстреляла в Гаване демонстрацию, которую организовали коммунисты. Пулеметы строчили с крыш, как у нас 4 июля 1917 года в Петрограде.

Еще весь 1934 год бурлила страна. За этот год сменилось три президента, десять кабинетов министров, тридцать три раза происходила частичная реорганизация правительства, было два заговора в армии, одно восстание на флоте, одна попытка переворота со стороны буржуазной оппозиции, два революционных выступления под руководством компартии, две всеобщие забастовки, двадцать крупных стачек, одно покушение на президента, три — на командующего армией, семь — на посла США. Но революционная волна уже спадала. Реальная власть сосредоточилась в руках командующего армией Фульхенсио Батисты. Часто менявшиеся президенты были игрушкой в его руках.

Начался период реакции. Компартия ушла в подполье. На нее обрушились жестокие удары. Но и в подполье, перегруппировав ряды, партия осталась большой сплоченной силой. Вскоре это понял и сам Батиста.

Диапазон политических зигзагов Батисты огромен. В 1938 году, почувствовав, что против него собирает силы правая оппозиция, и намереваясь выставить собственную кандидатуру на президентские выборы 1940 года, Батиста осуществил широкий политический маневр, решив опереться на массы.

Тринадцатого сентября 1938 года власти провинции Гавана зарегистрировали Коммунистическую партию Кубы в качестве законной политической организации.

Конфедерация кубинских трудящихся тоже вышла из подполья и получила права юридического лица. Была разрешена деятельность других партий. Восстановлена свобода печати. Гаванскому университету — гарантирована автономия. Была объявлена амнистия политзаключенным. Политэмигранты возвратились на Кубу.

Избранное вскоре Учредительное собрание приняло весьма прогрессивную для тех условий конституцию 1940 года, в которую коммунистам удалось включить статьи о восьмичасовом рабочем дне, о компенсации за трудовое увечье, о ежегодном оплачиваемом отпуске рабочим, о равной плате мужчинам и женщинам и даже статью о ликвидации латифундизма...

Прошли годы. Когда 10 марта 1952 года экс-президент генерал Батиста совершил военный переворот и вновь захватил власть, он немедленно отменил эту конституцию, закрыл университет, ввел цензуру, забил тюрьмы рабочими, объявил компартию (с 1944 года она именовалась Народно-социалистической) вне закона.

Человек без принципов, хитрый, хладнокровный, расчетливый и жестокий,

готовый ради личной власти на все, он круто повернул в ту сторону, откуда на этот раз ожидал для себя решающей поддержки, — к США.

Однако в годы своего первого президентства, с 1940 по 1944 год, Батиста считал нужным придерживаться демократического курса: объявил войну фашистской Германии, установил дипломатические отношения с СССР, в срок провел новые выборы, уступив власть получившему большинство кандидату оппозиции, и компартия Кубы, первая в Западном полушарии имевшая представителей и в конгрессе, и в сенате, и в правительстве, оказывала ему поддержку.

Об этом нужно упомянуть обязательно, потому что именно это обстоятельство не раз служило поводом для клеветы тем, кто после января 1959 года пытался использовать антикоммунизм в качестве оружия борьбы с победившей революцией.

Они обвиняли коммунистов в сотрудничестве с Батистой, сознательно «не замечая» разницы между политикой партии в 1938—1944 годах и 1952—1958 годах.

Разница была огромной. Из всех политических организаций страны именно Народно-социалистическая партия первой, уже 10 марта 1952 года, решительно осудила батистовский переворот, указала на тесную связь заговора с посольством США на Кубе, организовала в Ориенте, Лас-Вильяс, Камагуэе демонстрации протеста.

Партия наметила курс на развертывание забастовочной, стачечной борьбы против нового режима.

Батиста хорошо знал силу Народно-социалистической партии. Вот почему, когда Фидель Кастро 26 июля 1953 года совершил попытку захватить казарму Монкада, в тот же день по всей Кубе началась яростная охота за коммунистами. Батиста решил представить штурм Монкады делом рук Народно-социалистической партии, чтобы под этим предлогом разгромить ее одним ударом.

Народно-социалистическая партия вновь была объявлена вне закона.

Потом Батиста предпринял еще один маневр. Это было вскоре после того, как отряд «Гранмы» высадился на Плайя-Колорадо и попал в окружение у Алегрия-дель-Пио. Полиция в Гаване при аресте одного из коммунистов обнаружила письмо Национального комитета Народно-социалистической партии ко всем партиям, находившимся в оппозиции к батистовскому режиму.

Национальный комитет НСП предлагал немедленно предпринять совместные или отдельные действия с целью «удержать преступную руку правительства и не допустить, чтобы оно своими превосходящими силами уничтожило Фиделя Кастро и его товарищей».

В те времена никакие сообщения о Фиделе Кастро, кроме правительственных, цензура не пропускала в печать. А тут Батиста вдруг распорядился опубликовать письмо НСП во всех газетах. Теперь он хотел убедить мелкую и среднюю буржуазию, что «Движение 26 июля» находится под контролем коммунистов, испугать их и настроить эти слои против Фиделя Кастро.

Как и в случае с штурмом Монкады, это было ложью. «Фиделисты» не были тогда коммунистами, и коммунисты не были «фиделистами». Так как коммунисты ничего не знали о предстоящем штурме Монкады, удар, который нанес в этот день по партии Батиста, оказался неожиданным и потому ошутимым.

По всему острову прошла волна арестов. Помещения партии в Гаване и провинциях были разгромлены. Полиция уничтожила типографию и закрыла редакцию центрального органа партии — газеты «Ой». Однако партия начала готовиться к переходу в подполье еще с марта 1952 года. И спустя только одну неделю после закрытия «Ой» партия уже наладила выпуск подпольной «Карта Семаналь». А затем начали выходить подпольные «Менсахес», «Фундаментос» и периодический подпольный журнал Союза социалистической молодежи «Мелья».

Приспособившись к новым условиям, партия продолжала борьбу. Организация стачек и забастовок затруднялась тем, что еще с 1950 года, в разгар «холод-

ной войны», когда в США свирепствовал «маккартизм» и волна антикоммунистической истерии, исходившая из Вашингтона, заливала Западное полушарие, на Кубе с помощью правительства Прио Сокарраса к руководству Конфедерацией трудящихся, объединяющей тридцать три профсоюза, прорвалась бандитская клика Эусебио Мухалья.

Бандитская — я не просто выбрал словечко «посильнее». Это точный эпитет, отвечающий ее сути. Отряды наемных «пистолерос». Убийства из-за угла честных профсоюзных деятелей и рабочих-«смутьянов». Отмена выборности. Обязательный, взимаемый автоматически из заработка профсоюзный взнос. Почти открытый грабж рабочей кассы и взятки с хозяев предприятий за предотвращение забастовок... А кто недоволен — вон из профсоюза, и тогда уже не получить работы.

Я разговаривал со многими кубинскими рабочими. Имя Мухаль вызывает мгновенную и одинаковую реакцию — у людей сжимаются кулаки. Пожалуй, это имя стоит третьим в ряду наиболее ненавистных — Батиста, Вентура, Мухаль.

После переворота 10 марта 1952 года Эусебио Мухаль и его подручные предоставили себя в полное распоряжение Батисты. И все же Народно-социалистической партии удавалось организовать крупные забастовки. Они вспыхивали вопреки продажному руководству Конфедерации трудящихся Кубы, начинались с выдвижения экономических требований, но, наталкиваясь на репрессии со стороны властей, на предательство мухалистской клики, формировавшей отряды штрейкбрехеров, перерастали в политические стачки. Лозунг «Долой тиранию!» все чаще появлялся на улицах городов.

Итак, сама жизнь, сама логика борьбы ввели «Движение 26 июля» и Народно-социалистическую партию к сближению.

Их сближала цель. Свергнуть батистовскую диктатуру не для того, чтобы вернуться к существовавшему до 10 марта 1952 года режиму, а чтобы навсегда покончить на Кубе с господством империализма США, с остатками феодализма, совершить подлинную антиимпериалистическую, демократическую революцию.

Первого августа 1957 года в ответ на убийство одного из руководителей «Движения 26 июля», Франка Паиса, в Сантьяго началась забастовка. Она перекинулась в Мансанильо. Была подхвачена в провинциях Камагуэй, Лас-Вильяс, Пинар-дель-Рио. А когда 5 августа к ней присоединились рабочие Гаваны, стачка стала всеобщей. В первых рядах шли коммунисты.

XIV

С лейтенантом Повстанческой армии Хесусом Орегоной меня познакомили в Ранчо Бойэрос. Это километрах в семнадцати от Гаваны, рядом с международным аэропортом. Там с начала мая 1961 года накануне второй годовщины аграрной реформы была открыта сельскохозяйственная выставка.

Как-то под вечер, вскоре после возвращения с Плайя-Хирон, я снова увидел на стоянке такси знакомый рыжий «додж». За ветровым стеклом по-прежнему красовалась гипсовая фигурка божьей матери, обрамленная флажками. Исла дремал у руля, надвинув на глаза форменную фуражку с галуном. Рыжий ус торчал из-под козырька.

— Ола, вьехо!¹

Мы обнялись, хлопнули друг друга по спине, раз, другой, третий, крепче, еще крепче... Гаванское приветствие — это нечто среднее между легкой потасовкой и жаркими объятиями.

Но мы действительно очень обрадовались встрече.

— Едем в Ранчо Бойэрос на родео, — предложил Исла.

Родео — это весело. Это скачки без седел на вскидывающих задами сердитых быках: кто дольше продержится? Погоня за себу. Кто быстрее догонит, по-

¹ Привет, старина! (Испан.)

валит, стреножит и надоит в бутылочку хоть немного молока? Это бросание лассо, работа со стадом — веселые и смелые игры кубинских ковбоев.

В перерыве, вдоволь посмеявшись и поаплодировав, мы вышли в маленький парк, где стояли экспонаты выставки — советские тракторы и сельхозмашины. Я даже не сразу узнал их, такие все они были здесь нарядные, яркие, красиво покрашенные.

Возле похожего на зеленый кузнечик трактора «Владимирец» стоял невысокий паренек в форме офицера Повстанческой армии. Форма сидела на нем с той элегантной небрежностью, которая так присуща кубинцам. Ворот рубахи распахнут. Берет сдвинут к затылку. Тяжелый пистолет, оттягивая широкий пояс, лежит на бедре. Из открытой кобуры торчит рукоятка пистолета со щечками из красной и черной эмали — цвета «Движения 26 июля».

— Ола! Сеньор тенете, комо эста? — Исла приветствовал его весьма почти-тельно.

Заключительную часть родео мы смотрели втроем. А потом долго, почти до самого утра, сидели в аэропорту, в баре на втором этаже.

Лейтенант пропустил вечерний самолет на Сантьяго-де-Куба. Ночью, чтобы не мешать постам наблюдения противоздушной обороны, пассажирские самолеты не летали.

В баре было пусто. Пожилой бармен сел за наш столик. Подперев щеку ладонью, слушал, шумно вздыхая. Время от времени он уходил к стойке, звенел стаканами и возвращался с новой порцией «мохито»¹.

Рассказ лейтенанта Хесуса Орегоны

Я родился в Ориенте. Году в сороковом или в сорок первом. Точно мои родители не запомнили. В горах годы не считают. Солнце взошло и скрылось — это мера работы. Кончились в доме рис, соль, спички, отгу пора спускаться в долину на заработки — это мера времени.

Сначала я и не знал, что мы живем бедно. Когда не было еды у нас, не было ее и у соседей. Кроме того, нельзя сказать, что еды не бывало вовсе. На Кубе всегда найдется какая-нибудь зелень. Но если долго ешь только зелень, ноги становятся тонкими, живот растет, пупок выпирает. Малыши возятся под деревьями, как беременные кролики. Долгое время я думал, что именно так и живут все люди.

Пока отец корчевал деревья, рыл террасы на склоне, никто нас не беспокоил. Правда, иногда приходил «гордито», капрал с соседнего поста сельской гвардии. Мать угощала его «замбумбией» — медом диких пчел с соком лимона и кричала на малышей, чтоб не пялили глаза, потому что это невежливо. Но когда наконец мы расчистили и подготовили участок, посадили кофе, бониато, капрал явился не один, а с каким-то господином. Тот попросил показать бумаги на владение земель. Их, конечно, не оказалось. Обычная история... Она и кончилась бы обычно. Мы продали бы урожай, отдали вырученные деньги, поголодали и превратились в издольщиков на собственной земле. Платили бы компании частью урожая.

Но, на беду, у меня была сестренка. Если мне тогда исполнилось шестнадцать, то ей — четырнадцать. Она здорово смеялась. Никогда больше не слышал, чтобы кто-нибудь так хорошо смеялся, это уж точно.

Короче, взятка устраивала господинчика, а наша «чика» устраивала «гордито».

Но это не устраивало меня.

Мария закричала, я побежал за дом, в кусты, — подонок, даже не потрудился отойти подальше, — увидел, как он навалился на Марию, жирная туша с красным от натуги затылком... Камней в горах хватает, а мне подвернулся белый, гладкий, увесистый. До сих пор ладонью помню его тяжесть!

¹ Коктейль.

...Я скрывался в Сьерра-де-Кристалл. Только спустя полгода вернулся к дому. Он был сожжен. Соседи сказали, что отец вскоре после побоев умер. Мать с малышками исчезли.

Так я стал «альсадо». Их тогда немало бродило в горах. Иногда это были те, которых, как и меня, искала полиция. Иногда просто люди, обиженные на весь свет, не желавшие видеть человека. Заросшие, рваные, дикие, в лесах, в чащобе, в пещерах, каждый сам по себе, редко вдвоем, в общем — «альсадо»! Некоторые становились бандитами. Грабили, убивали своих же братьев крестьян. Когда Рауль пришел в наши горы, он покончил с такими.

Я воровал, но не грабил. Но тоже стал похож на затравленного, злого зверя. Только утром на рассвете я чувствовал себя человеком. Знаете, какие у нас рассветы? Кажется, горы оторвались от земли, плывут, как зеленые облака, поближе к богу. А потом начинался день, зной, жажда, любой шорох враждебен. Вечером — на добычу. Иначе подохнешь. Каждая ночь на новом месте. За ночь камни, как зубы, протыкают тело насквозь... Вот так, спящим, меня нашел у пещеры один из патрулей повстанцев. Это было 16 апреля 1958 года. День моего настоящего рождения. Уж его-то я знаю точно.

— А что с сестрой?

Лейтенант промолчал. Бармен сердито посмотрел на меня.

Я больше не спрашивал.

Патруль, наткнувшийся в горах на Хесуса Орегону, принадлежал к колонне № 6 второго фронта, которым командовал Рауль Кастро.

В марте 1958 года, когда в горах Сьерра-Маэстра было сто восемьдесят бойцов, приняли решение открыть на севере провинции Ориенте второй фронт и присвоить ему имя «Франк Паис». Для этого Раулю Кастро выделили полсотни человек. Они спустились с гор в ночь с 10 на 11 марта, когда Батиста праздновал шестую годовщину захвата власти. На девяти машинах они мчались прямо по шоссе, через спящие городки и сахарные заводы, мимо батистовских постов и казарм, потом по проселочным дорогам, меняя проводников, путаясь в лабиринте бесчисленных просек тростниковых плантаций и снова выдвигаясь на верный путь.

Десятичасовой ночной рывок на машинах, затем еще десять часов пешком по Сьерра-де-Нипе к Сьерра-де-Кристалл. Где-то за спиной раздавались взрывы. Опомнившиеся батистовцы бомбили с воздуха уже брошенные машины.

Из донесения Рауля Кастро:

«...Двадцать часов спустя после начала пути, в Сан-Лоренсо, мы достигли Пилото-дель-Медио, неподалеку от Сан-Луис, и открыли второй фронт на севере Ориенте.

На следующее утро, 12 марта, немедленно приступил к организации зоны Махагабуо, которая включит в себя районы Пилота Арриба, Эль Медио и Бахо. Нашел рабочих для будущей фабрики ручных гранат М-26, установил контакт с одним человеком, о котором слышал, что он имеет революционные навыки, и начал претворять в практику нашу мысль о создании Революционных крестьянских комитетов, — с секретарем, являющимся руководителем, и с военным и гражданским представителями. В настоящий момент главными задачами этих комитетов будет сбор продовольствия, которое должно складироваться в надежных местах, служба информации, служба связи; военный представитель должен будет организовать крестьянский патруль из десяти человек с оружием, которое удастся собрать в данной местности для поддержания в ней порядка.

Все эти кофейные районы имеют отличные перспективы для развертывания партизанской войны...»

Открытие второго фронта было только частью общего плана.

Когда Рауль Кастро со своим отрядом достиг гор Сьерра-де-Кристалл, в тот самый день в главном штабе повстанцев, который размещался теперь в местечке

Плата-де-ла-Меса в Сьерра-Маэстра было подписано обращение к народу. «Радио Ребельде» разнесло его по всей стране.

В обращении говорилось, что с помощью всеобщей забастовки Батиста будет свергнут в первую неделю апреля 1958 года. Сначала забастовку назначили на 31 марта, затем, чтобы дать возможность подпольным боевым группам «Движения 26 июля» лучше подготовиться, ее отложили на восемь дней. По замыслу, с помощью боевых групп забастовка должна была перерасти во всеобщее вооруженное восстание.

В 11 часов утра 9 апреля радиостанции «Сиркунто насналь де радио», «Кадена ориенталь де радио» и «1060» одновременно начали передавать в эфир пластинку с песенкой «Марселино, хлеб и вино». Это было сигналом.

Гудки заводов Регла — рабочего района Гаваны — перекрыли мелодию песни. Боевые группы двинулись к полицейским участкам, к оружейным складам. Забастовка началась.

И снова, уже не в первый раз, придется говорить о героизме и поражении.

Отдельные успехи были. Особенно в провинциях Камагуэй и Матансас. В столице рабочие и студенты почти сутки удерживали в своих руках район Гунабакоа. Отважно действовали боевые группы на улицах Сантьяго-де-Куба. И все же забастовка кончилась неудачей.

«...В то время преобладал субъективный критерий, мы игнорировали объективные условия, — говорил впоследствии Фидель Кастро. — Мы надеялись, что, как только провозгласим свой лозунг, тотчас начнется всеобщая забастовка и тирания падет... Но получилось так, что наши желания претворились в действительность только в нашем воображении».

Это был самый тяжелый удар, который когда-либо получала кубинская революция. Ведь теперь речь шла не о победе или поражении в бою маленького отряда. Окончилась неудачей попытка организовать движение широких народных масс, которое было бы способно опрокинуть батистовскую диктатуру.

Однако иногда именно самые тяжелые поражения хранят в себе зерно будущей победы. После провала апрельской забастовки революционные организации Кубы по-настоящему осознали жизненную необходимость сплочения революционных сил, необходимость единства. Созданные «Движением 26 июля» комитеты Национального рабочего фронта и руководимые коммунистами комитеты защиты требований рабочих объединились в Единый национальный рабочий фронт, который смог уверенно противостоять захваченной мухалистами Конфедерации трудящихся Кубы. Представители Народно-социалистической партии направились в Сьерра-Маэстра и в Сьерра-де-Кристалл. В центре острова в районе города Ягуахай Народно-социалистическая партия создала свою партизанскую базу.

А в Ориенте начало шириться движение крестьян, включившихся в борьбу на стороне повстанцев.

Кубинский крестьянин не слушал радио. Даже «Радио Ребельде». Не читал газет. И вообще не слишком верил словам. Он, конечно, симпатизировал повстанцам, потому что эти люди были честны, приветливы, всегда платили за то продовольствие, которое брали. Он радовался, когда повстанцам удавалось побить ненавистных батистовских солдат — «касцитос» или жандармов сельской гвардии. Он готов был оказать повстанцам посильную помощь. Но пока Повстанческая армия контролировала ограниченные районы и не могла на деле проявить свое отношение к вопросу о земле, крестьяне по-настоящему в борьбу не вступали.

Двадцать четвертого мая 1958 года, ободренный неудачей апрельской забастовки, Батиста начал «генеральное наступление» в Сьерра-Маэстра. Здесь удар нанесли четырнадцать батальонов и семь отдельных рот. Повстанческая армия с боями отступала в глубину гор.

Против отрядов Рауля Кастро Батиста бросил авиацию. Его самолеты квадрат за квадратом «обрабатывали» бомбами и напалмом двенадцать тысяч квадратных километров, которые к концу мая находились под контролем второго фронта. Конечно, при такой тактике авиация не могла нанести ощутимого урона немногочисленным и рассредоточенным отрядам второго фронта. Но Батиста и не стремился к этому. Он преследовал иную цель.

«Это из-за повстанцев вам приходится бросать дома, скрываться в пещерах, терять урожай, подвергаться опасности. Это повстанцы ввергают вас в пучину невзгод...» — говорилось в листовках, которые вместе с бомбами сбрасывали батистовские самолеты. И тактика, избранная Батистой, начала давать некоторые результаты.

— Раньше плохо жили, а теперь — хуже некуда, — вздыхали крестьяне.

Нужно было хоть на время убрать с неба бомбардировщики. Но как?

В середине мая разведка второго фронта доставила в штаб два документа: фото аэродрома американской военной базы Гуантанамо, на котором были видны батистовские самолеты, грузящие там боезапас, и фотокопию страницы секретного журнала базы, где 8 мая 1958 года была зарегистрирована передача батистовской авиации новой партии бомб и ракет.

Нужно напомнить, что еще в марте 1958 года государственный секретарь США Фостер Даллес официально заявил о прекращении поставок военных материалов Батисте.

Рауль Кастро спрятал оба документа в полевую сумку. Потом он рассказывал, что вся идея операции родилась у него только месяц спустя, уже в середине июня, в заброшенном ранчо, где помещался штаб командира одной из боевых зон.

Чего в этой знаменитой «противовоздушной операции» было больше: точного политического расчета, военной хитрости, мальчишеского озорства? Пожалуй, в одинаковой мере было все.

Утром 27 июня капитан Повстанческой армии Хосе Дуран с несколькими бойцами остановил на шоссе автобус, в котором ехали в город получившие увольнение на берег двадцать девять американских военных моряков. Капитан вежливо предложил американцам совершить небольшую прогулку в горы. Его бойцы выразительно поводили дулами автоматов. В тот же день другими отрядами в горы были доставлены американцы — служащие «Моа Бай майнинг компани», «Юнайтед фрут компани», всего сорок девять человек.

Подписанный Раулем Кастро приказ № 30 гласил:

«Это мероприятие преследует цель, чтоб американские граждане, против которых мы ничего не имеем, пожив с нами рядом, сами смогли убедиться в постыдных преступлениях своего правительства против беззащитного кубинского народа. Единственная опасность, которая может угрожать им, — это та же самая, какую при каждой бомбардировке испытывают наши крестьяне...»

Куба, сражения в Ориенте, бомбежки кубинских деревень сразу заняли первые полосы американских газет. На второй фронт к Раулю Кастро помчались журналисты.

Правительство США немедленно сделало дипломатическое представление Батисте о необходимости хотя бы временно воздержаться от бомбардировок. Последний появившийся после этого над вторым фронтом самолет обстрелял по ошибке «джип», на котором в штаб к повстанцам ехал генеральный консул США в Сантьяго-де-Куба мистер Парк Воллам. В войне наступила пауза. Начались переговоры.

Рауль Кастро, оперируя добытыми разведкой документами, доказывал, что самолеты Батисты запрашивают в Гуантанамо. Мистер Парк Воллам это категорически отрицал и требовал освободить задержанных американских граждан.

Американские граждане, которых повстанцы официально именовали «международными свидетелями», а крестьяне называли «противовоздушными американцами», ездили смотреть сожженные напалмом деревни и поля. К ужасу генконсу-

ла, они вмешались в переговоры и начали поддерживать точку зрения повстанцев. Мистер Воллам прервал переговоры, уехал за инструкциями. А время шло...

Когда наконец три с лишним недели спустя вертолет забрал с территории второго фронта последнюю группу «противовоздушных американцев» и Батиста смог возобновить бомбардировки, положение второго фронта изменилось коренным образом.

Дело не только в том, что, пользуясь паузой, повстанцы сформировали новые роты, укрепили оборону, получили тайно переправленное из Мексики пополнение боезапаса. За это время произошел перелом в настроении крестьян. Вместе с повстанцами они теперь смеялись над попавшим в ловушку Батистой. Расковыывая, освобождая от страха, этот смех возвращал людям веру в свои силы.

Второй фронт окреп. По всей его территории действовали революционные крестьянские комитеты, несли службу вооруженные крестьянские патрули. С американских и кубинских компаний, имевших здесь предприятия, регулярно взимался налог «в пользу революции». Бульдозеры «Моа Бай майнинг компани» прокладывали в горах для повстанцев дороги.

С октября 1958 года на основании принятого в Сьерра-Маэстра закона № 3 на всей освобожденной территории начала проводиться предварительная аграрная реформа, закреплявшая землю за теми, кто ее обрабатывает.

В моей записной книжке вкривь и вкось — качка! — отмечено: «3 апреля 1961 года. «Лесозаводск». Утро. Мертвая зыбь. Идем мимо острова Мадейра. Гора Руиве. Базальтовые скалы. Над полоской пены в зелени белые пятнышки особняков. Шарю биноклем...»

Шарил я напрасно. Конечно, так и не смог различить ту окруженную розами виллу на берегу океана, в которой, бежав с Кубы, поселился с семьей Фульхенсио Батиста. На Мадейре он пишет мемуары и принимает журналистов. Мемуары называются «Респуэстас» — «Ответы». На одной из страниц вдруг прорвалось искреннее, неподдельное чувство.

Это там, где он ругательски ругает своих генералов и офицеров, обвиняя их в склопотности, безалаберности, трусости и неумении руководить войсками. Видимо, в его обвинениях есть немалая доля правды. Повстанцы рассказывали о том же.

Интересен, например, эпизод с секретным шифром, который был введен в батистовской армии 15 июня 1958 года в разгар «генерального наступления» и уже через несколько дней попал к повстанцам. Шифр не менялся, и штаб Повстанческой армии не только был в курсе всех распоряжений и планов противника, но даже, пользуясь шифром, давал батистовской авиации указания, заставляя ее бомбить позиции своих же войск.

Неумелое командование, низкий моральный уровень наемной армии, нежелание солдат сражаться — все это, безусловно, сыграло в провале «генерального наступления» важную роль. Но главное... Главное заключалось не в этом.

Восемнадцатого августа 1958 года колонна Повстанческой армии под командованием Камило Сьенфуэгоса двинулась на запад, пересекла провинцию Камугуэй и после месячного перехода достигла партизанской базы на севере провинции Лас-Вильяс, той самой, которую организовала Народно-социалистическая партия.

«Вчера мы прибыли в этот лагерь, где нас встретили тысячей чудес, — докладывал Камило Сьенфуэгос. — Здешний командир Феликс Торрес предоставил в наше распоряжение все, чем они располагают. Ожидая колонну Эрнесто Гевары, он выслал на границу провинции проводников...»

Колонна Гевары двигалась из Сьерра-Маэстра другим маршрутом, обходя столицу провинции Лас-Вильяс город Санта-Клара с юга.

Батиста был обречен. Он метался между Президентским дворцом, крепостью Колумбия, американским посольством. Грозил, уговаривал, обещал. Послал в Санта-Клара срочно построенный в мастерских Гаваны бронепоезд. Менял воен-

ных начальников. А вокруг него ширилась пустота. Два последних месяца батистовского режима — время заговоров, тайных встреч, закулисных политических махинаций.

Ближайшие военные помощники Батисты встречаются с американским послом. Крупные промышленники и землевладельцы встречаются с представителями кубинского Объединенного штаба. Все сходятся на том, что Батистой придется пожертвовать.

Решено образовать военную хунту: генерал Кантильо — начальник операций в Ориенте, генерал Рио Чивано — начальник операций в Лас-Вильяс, полковник Расел — начальник инженерных войск и полковник Рамон Баркин, который уже раньше пытался организовать военный переворот, был арестован и находился в тюрьме на острове Пинос.

Военная хунта должна спровадить Батисту, войти в контакт с Фиделем Кастро, договориться о перемирии, сохранить таким путем разлагающуюся армию и, следовательно, власть над страной. А там будет видно...

Глава хунты генерал Кантильо по секрету от Батисты вылетел в Ориенте. Батиста был взбешен.

«Эх, генерал, сказал я Кантильо, когда тот вернулся в Гавану, — пишет Батиста в «Респустас», — неужели вы не понимаете, что когда армия одно за другим проигрывает все сражения и даже стычки, когда она неспособна наладить сопротивление, когда дня не проходит, чтоб кто-то из ее офицеров не сдался со всем своим подразделением, в этих условиях искать встречи с противником, чтоб узнать, что он потребует в обмен на соглашение о прекращении огня, — это равносильно капитуляции».

Он был прав. Действительно, у Кантильо потребовали безоговорочной капитуляции.

Повстанцы продолжали одерживать победы. Колонна Камило Сьенфуэгоса освободила город Ягуахай. Колонна Гевары — город Санта-Клара. В Ориенте после трудного сражения колонна, находившаяся под непосредственным командованием Фиделя Кастро, заняла городок Гиза. Отряды второго фронта освободили города Майори, Сагуа-де-Таманья. Баракса.

И все же хунта не теряла надежды. Ее деятели еще не поняли, как грозны разбуженные в народе силы.

Дальнейшие события развивались так.

Первое января 1959 года. 2 часа ночи. Небольшой военный аэродром к западу от Гаваны. Фульхенсио Батиста поднялся по трапу в самолет, обернулся к группе провожающих, помахал рукой: «Салют!» Машина взмыла в воздух.

Четыре часа ночи. Генерал Кантильо, вернувшись с аэродрома, открывает в крепости Колумбии заседание хунты.

Пять часов утра. Полковник Ледон назначен начальником полиции.

Семь часов утра. В Колумбию примчались журналисты.

Одиннадцать часов. Член верховного суда, «временный президент республики» Карлос Пьедра подписывает назначения. Генерал Кантильо сидит рядом.

Двенадцать часов. Начинают съезжаться будущие министры.

Тринадцать часов. Прибыли послы. Они отказываются встретиться с временным президентом и хотят видеть генерала Кантильо...

И все это уже не имеет ничего общего с подлинной историей Кубы. Потому что в ответ на прозвучавший из Сьерра-Маэстра призыв сорвать маневры реакции, стремящейся похитить у революции ее победу, в стране началась всеобщая забастовка. Народ рванул на улицы городов.

И совсем впустую генерал Кантильо, а затем срочно доставленный на самолете с острова Пинос полковник Баркин суетятся в Колумбии, посылая новых командиров в гарнизоны, назначая и переназначая шефов полиции, пытаясь связаться по телефону с Фиделем Кастро, который находится в Сантьяго-де-Куба.

В стране нет послушных им войск. Скрылись, разбежались, переделались в

штатское полицейские. И никто не желает вступать с Кантильо и Баркином ни в какие переговоры. На Кубе бушует всеобщая забастовка. Колонны Хамило Сьенфуэгоса и Эрнесто Гевары движутся к Гаване.

XV

...На площади Сивика на ступеньках левой трибуны, отведенной для иностранных делегаций, спит молодой милисиано. Уткнулся лицом в согнутый локоть, подтянул коленки. На тяжелом солдатском ботинке развязался шнурок. Через него переступают сотни ног — кто переступит осторожно, кто заденет второпях, а усталый милисиано спит, не шелохнется, словно припаян к граниту.

Звучат марши. Установленные за трибунами прожекторы разрезают темноту на голубые дымящиеся ломти. Воздух горячий, влажный, сладкий, его не вдыхаешь, а пьешь глотками, как чай. Где-то за чертой освещенного пространства гудит и колышется людское море.

Гаванский Первомай шестьдесят первого года... Говорят, сегодня на площади Сивика около миллиона человек.

Я был здесь утром. Потом пробился к отелю, написал и передал в «Правду» корреспонденцию, узнал, какая погода в Москве. Пересекая праздничные колонны и цепи ограждения, снова вернулся на площадь. Демонстрация продолжалась. Теперь шли батальоны народной милиции. Они шли строем «фила индиа» — каждого бойца можно было подолгу разглядывать в отдельности. Медленно катили грузовики с зенитными пушками на прицеле.

Праздник начался в восемь утра. Сейчас одиннадцатый час вечера. Скоро московские почтальоны начнут разносить газету с отчетом о кубинском Первомае. А колонны здесь все идут и идут бесконечной чередой.

Мой блокнот испещрен пометками, высказываниями иностранных делегатов.

Обратив наконец внимание на мою жестикуляцию, с правительственной трибуны спустился Блас Рока, невысокий, коренастый, крепкий, с жесткой щеточкой прокуренных усов на загорелом скуластом лице. Взял блокнот, и из-под пера, как маковые зерна, высыпались на страницу крошечные буквы: «Мы празднуем Первое мая со всей радостью и энтузиазмом по случаю победы над империалистической агрессией. Да здравствует дружба и сотрудничество советского и кубинского народов!»

Идут батальоны.

Роман Кармен, придерживая кинокамеру, спустился с решетчатой вышки, вытер пот со лба, провел ладонью по своей красивой седой голове, улыбнулся устало.

— Все, больше не снимаю.

Он и его товарищ Василий Киселев прилетели в Гавану дней шесть назад с первым самолетом, прибывшим на Кубу после событий на Плайя-Хирон. В Гаванском аэропорту я помогал загрузить багажники нескольких легковых автомашин жестяными коробками с пленкой. Кармен и Киселев спешили сюда снимать войну, а война кончилась.

С тремя журналистами — Каролом из парижского «Экспресс», Роем Морфетти из лондонского «Обсервер» и Эриком дель Муни из Би-би-си — произошла примерно такая же история.

Когда началось вторжение и все воздушные рейсы на Гавану были отменены, они втроем полетели из Лондона на Ямайку, чтобы зафрахтовать в Кингстоне катер, который доставил бы их в Сантьяго-де-Куба. Там расстояние всего около ста двадцати миль. Катер нашли, но уже в море разыгрался небольшой шторм, и хозяин, подавив на борту своего судна бунт журналистов, повернул обратно к Кингстону.

Теперь они сидят рядышком на гранитном барьере трибуны. Карол дремлет, а Рой Морфетти что-то записывает в блокнот.

На днях он рассказал мне, как в Кингстоне перед отплытием, делая визиты властям, поддержкой которых в этой деликатной ситуации нужно было заручиться, они посетили американского консула на Ямайке. Консул принял их в отличной вилле, кормил обедом и горько жаловался, что ему и его сотрудникам работать стало очень трудно, что антиамериканские настроения на Ямайке растут, а виной всему, конечно, этот парень Кабреро...

От американца журналисты пошли к кубинскому консулу, к страшному Кабреро, и увидели молодого кубинского рабочего в маленькой комнатке, без сотрудников, с месячным бюджетом консульства — двести долларов.

Я встретился с этой тройкой в доме постоянного корреспондента агентства Рейтер Боба Старка. Там был еще Боб Табер, автор книги «М-26», один из тех немногих американских журналистов, которые стараются честно рассказать о Кубе своему народу. Он сидел на диване, откинувшись, рядом лежали костыли. Осколок снаряда угодил ему в ногу на шоссе возле Плайя-Хирон. Была милая сероглазая Ева — финская журналистка, корреспондент «Известий» Леня Камынин, рыжий канадец из «Торонто стар»...

В первомайские дни 1961 года Куба наводнена иностранными журналистами. Холлы отелей «Гавана либре», «Ривьера» сами по себе превратились в прессклубы. Там пьют ром, пиво, дайкири, спорят, восхищаются, ругают, пророческуют, щедро делятся идеями и цепко берегут факты.

— Итак, Куба выбрала путь. Посмотрим, каково будет ее путешествие...

— Теперь США попытаются получить для вторжения чье-нибудь знамя. Скажем, нескольких центральноамериканских государств. Или, возможно, ОАГ.

— Бразилия и Чили не пойдут на это. Мексика будет категорически против. Аргентина не решится из-за внутренних проблем.

— Шофер такси сказал — совершенно невозможно достать запчасти. Скоро будет введено ограничение на жиры и масло.

— Ну что вы сидите в Гаване? Разве здесь можно почувствовать революцию? Нужно ехать в деревню!

Условно всех журналистов можно разделить на две группы. Одних главным образом интересует международное положение страны. Вероятность нового вооруженного конфликта. Основной интерес других — сама кубинская революция, ее развитие, ее перспективы, сущность происходящих на Кубе процессов.

Я, пожалуй, больше принадлежу к последней.

Кубинский май 1961 года похож на короткую паузу между боями. Вернее, так. Армия наступала. Наступала быстро, не успевая подтягивать тылы, переформировывать части и даже планировать свои удары, — дальше всего она продвинулась там, где противник пытался организовать контратаки.

Сейчас она вышла на новый рубеж. Перед ней новый, неведомый противник. И тактика боев, и стратегия сражений должны быть другими. Направление удара теперь определено. Наступление начнется в назначенный срок. Но как оно будет развиваться, неизвестно...

Чтоб перевести аллегорию на язык фактов, нужно вспомнить январь 1959 года. Первые колонны повстанцев вошли в Гавану 2 января в полдень. Камилло Сьенфуэгос занял крепость Колумбию, Че Гевара — крепость Кабанью.

Батистовские офицеры скрылись. Некоторые бегут из страны на яхтах, на катерах, на авиетках. Другие сидят дома, выжидают. Несколько человек застрелилось. Солдаты батистовской армии беспрекословно выполняют приказания «барбудос». Старая, наемная армия сломана. Значение этого факта понимают еще далеко не все.

Восьмого января в Гавану с главными силами Повстанческой армии, которая за последнее время очень выросла и неплохо вооружилась, прибывает Фидель Кастро. Столица устраняет восторженную встречу. Огромный митинг у Президентского дворца. Факельное шествие к Колумбии. Фидель произносит одну из своих самых коротких речей:

«Думаю, что это решительный момент в нашей истории. Тирания свергнута. Радость безгранична. И все же сделать остается очень многое. Не будем обманывать себя, считая, что впереди только легкие успехи. Возможно, то, что нас ожидает, окажется еще более трудным...»

Серьезность этого предупреждения понимают не все.

В Гаване, по всей Кубе — взрыв ликования, энтузиазма, радости. И буржуазия удовлетворена. В состав нового правительства вошли уважаемые, солидные люди, видные деятели традиционных кубинских партий. Президент Мануэль Уррутиа — богатый адвокат. Премьер-министр Хосе Миро Кардона — тоже адвокат, крупный землевладелец, глава партии «Объединенное действие». Министр иностранных дел Роберто Аграмонте — кандидат в президенты от правящей партии на несостоявшихся выборах 1952 года. Министр внутренних дел Луис Роландо Родригес — владелец крупной газеты. И так далее...

Эти министры ведут себя осмотрительно. Выступают на митингах, говорят о революции, проклинают Батисту, славят Повстанческую армию и не предпринимают ни единого шага, который мог бы обеспокоить американцев, задеть интересы землевладельцев, промышленников, торговцев.

Это полезная пауза. В январе и первой половине февраля 1959 года народ убеждается, что ничего хорошего от такого правительства не дождешься.

Я не буду подробно останавливаться на том, как в дальнейшем шло преобразование кабинета, как постепенно реакционные, буржуазные деятели вытеснялись из правительства искренними революционерами. Этот процесс шел параллельно с размежеванием классовых сил в стране.

Еще в 1953 году участники штурма Монкады составили обращение к нации, в котором говорилось, что после победы революции будет установлена «всеобщая и окончательная социальная справедливость, основанная на экономических и промышленных достижениях путем осуществления согласованного и совершенного плана, который явится плодом трудолюбивого и продуманного изучения».

Я привел цитату, чтоб показать, о чем мечтали участники штурма Монкады, и подчеркнул эпитеты, чтобы читатель яснее ощутил, как молоды и категоричны были авторы этого документа. Теперь они стали старше. Теперь они пришли к власти. И логика борьбы, логика революции обязывала их действовать сейчас же, сразу, не дожидаясь, пока будет разработан «согласованный и совершенный план».

Первого марта 1959 года подписан декрет о конфискации у сторонников Батисты награбленных ими богатств.

Второе марта. По декрету правительства принадлежащая США «Кубан электрик компани» обязана снизить тариф на электричество.

Третье марта. Принят закон о снижении квартплаты. Для тех, чей месячный заработок не превышает ста песо, домовладельцы должны снизить ее на пятьдесят процентов.

Декреты шли потоком. О снижении цен на медикаменты. О чистке государственного аппарата. О ревизии горнорудных концессий. О создании Банка социального обеспечения...

Каждый декрет расшатывал устойчивость старой системы и, вызывая многочисленные последствия, заставлял правительство делать еще один шаг вперед, еще и еще.

Вот пример. Резкое снижение квартплаты сразу привело к отливу частного капитала из сферы жилищного строительства. Краны остановились. Множество людей потеряло работу. В ответ создана государственная строительная организация — ИНАВ — и издан закон, обязывающий всех владельцев пустых земельных участков в городе немедленно приступить к их застройке или продать эти участки государству по твердым ценам. Встревоженные буржуа начали переводить капиталы за рубеж. Тогда правительство взяло банковские операции под контроль...

Закон классической механики — действие равно противодействию — неприменим к побеждающей, развивающейся революции. Противодействие ее преобразованиям множит наступательные силы революционного действия на внушительный, а порой и грозный коэффициент. Чем ожесточеннее сопротивление, тем коэффициент больше.

Так было с законом об аграрной реформе, принятым 17 мая 1959 года.

Аграрная реформа встретила и сопротивление на самой Кубе. Реакционные газеты разразились статьями, в которых объявляли закон «разрушительным», неразумным, «поспешным». Крупные землевладельцы западной провинции почти на целые сутки заняли радиостанцию города Пинар-дель-Рио. Сменяясь через каждые пятнадцать минут, они слали в эфир проклятия аграрной реформе. Ассоциация сахарозаводчиков заявила протест. Представители Ассоциации скотовладельцев угрожали. Ассоциация владельцев табачных плантаций приняла резолюцию, в которой говорилось, что члены ассоциации скорее встанут к стенке под расстрел, чем признают реформу...

К стенке их, однако, не поставили, а землю отобрали.

Революция вступила в стадию глубоких социальных преобразований. И поэтому правительство приняло решение о вооружении народа, о формировании батальонов народно-революционной милиции.

С тревогой и опаской смотрят кубинские буржуа на голубые форменные рубашки, замелькавшие на улицах городов. Газета «Диарио де ла Марина» вкрадчиво увещевает правительство: «Революция не нуждается для защиты от врагов в вооружении рабочих и крестьян. Для этого достаточно известного опыта и храбрости ее армии... Если не будет принято во внимание уважение к демократии, придется и в будущем прибегать к рискованной и тяжелой для страны практике массовых собраний, в то время как сейчас более необходимы отдых и спокойствие...»

Но нет и еще долго не будет на Кубе ни отдыха, ни спокойствия. Уже начались те месяцы, и их не остановить, не вернуть, когда круто меняются судьбы миллионов кубинских семей, когда уже почти нет равнодушных, когда радостью или горем революция щедро оделяет каждого.

Тринадцатого октября 1960 года подписан декрет о национализации банков, заводов, сахарных централей, железных дорог, текстильных фабрик и прочих предприятий — всего триста восемьдесят два названия, — принадлежащих кубинским капиталистам.

В Гаване на набережной возле серого здания посольства США с рассвета выстраивается длинная очередь желающих получить американскую визу. Ежедневно самолеты «Пан американ» перевозят из Ранчо Бойэрос в Майами примерно тысячу человек. Не проходит дня, чтоб то в кафе, то в магазине, то еще где-нибудь не взорвалась подброшенная контрреволюционерами бомба. И по гаванским улицам, мурлыча недавно родившуюся песенку: «Мы — социалисты, вперед, вперед! А кому не нравится, пусть примет касторку...» — шагают патрули милисиано.

В одном из патрулей по нарядной Линеа мимо клуба «Понедельник», мимо «Все для невест», мимо «Собачьей клиники доктора Лопеса» идет Ромеро Ноэль Рикардо, фрезеровщик завода «Кубана-дель-Асеро», худой, высокий, насупленный. Ружейный ремень заводит с плеча, и он поправляет его нетерпеливым движением.

На завод «Кубана-дель-Асеро» я попал по ошибке. Когда плохо владеешь языком, такое случается. Я долго кружил на своем «шевроле» по Луяно, рабочему району столицы, мешая мальчишкам играть в бейсбол, а девчонкам в классы.

Уже наученный опытом, я не решился спросить, где завод, потому что, бросив игры, ребята с воплями «русол!». «чеко!», «советико!» мчались за машиной, а на узеньких улицах прибавить газ и удрать побыстрее от этого шумного эскорта опасно.

Поэтому я кружил почти наугад. На ходу, не вылезая из машины, с любопытством заглядывал в зарешеченные окна темно-зеленых и бледно-розовых домиков. Потом оказался на границе трущоб, потом выбрался на относительно широкую Кальсадо-дель-Конча. Здесь было множество плакатов: «Спекулянтов — в тюрьму, контрреволюционеров — к стенке!», «Развитие промышленности и сельского хозяйства — наш ответ на блокаду янки», «Только одна профсоюзная организация на каждом предприятии! Только один профсоюз в каждой отрасли национального производства!» Протянутое поперек улицы полотнище предупреждало: «Вы уезжаете из Гаваны? Не забудьте вернуться к Первому мая!»

Наконец я остановил машину у завода. Над потемневшими кирпичными цехами торчала тоненькая высокая труба. Крыши щетинились рваным железом. Куча рыжего лома лежала у ограды. С заводского двора доносился металлический скрежет. Все это вовсе не походило на то, что я ожидал увидеть: «Антильняно-дель-Асеро» — довольно крупный сталеплавильный завод, который реконструируется с помощью Советского Союза.

— Советский журналист? Ке буэно! ¹ — сказал худощавый негр, поднимаясь из-за стола заводской конторы.

Так вместо «Антильняно-дель-Асеро» я попал на «Кубана-дель-Асеро». И не пожалел об этом. У завода интересная история. Когда-то он принадлежал «Американ стил компани». Обновляя оборудование на своих предприятиях в США, эта компания отправляла устаревшие станки в Гавану.

В темных цехах «Кубана-дель-Асеро», похлопывая брезентовыми ремнями трансмиссий, с визгом и стоном сдирали металлическую стружку древние «Нэйшн машинери 1907 г.», «Нэйшн машинери 1908 г.», «Мэйнвилл, Коннектикут 1912 г.» и т. д.

С рабочими компания расплачивалась бонами. Часть бон можно было обменять в заводской лавке на продукты, остальные подлежали выкупу в будущем. Будущее не наступало, боны накапливались, рабочие терпели. Во-первых, на Кубе свирепствовала безработица, а во-вторых, мухалистский профсоюз, во главе которого на заводе стоял один из подручных Эусебио Мухалья — Эрнандес, зорко следил за «смутьянами», готовый исключить каждого, кто посмеет подбивать рабочих на борьбу.

Однако в 1957 году на заводе стихийно все же началась забастовка.

Тогда компания, прикинув стоимость «Кубана-дель-Асеро», сумму своего долга рабочим, объявила, что закрывает завод. Оборудование предлагается бесплатно тому предпринимателю, который возьмется разобрать заводские корпуса, чтоб очистить территорию. Цены на землю в Гаване росли, и компания собиралась с выгодой продать участок.

Рабочие поставили вокруг завода пикеты и обратились в суд. И вдруг Эрнандес преобразился. Его просто нельзя было узнать. Он созывает митинги рабочих и предлагает самые решительные резолюции. Он обращается к властям. Он рассылает в редакции газет статьи, в которых доказывает, что «Американ стил компани» потеряла право на завод, так как не выплатила долга по бонам. И дело пошло на удивление гладко. Одна из видных газет напечатала статью. Суд принял иск к рассмотрению. Эрнандес нашел хорошего адвоката.

Настал день, когда рабочие, собравшись на заводском дворе, поздравили друг друга с победой. Теперь они — хозяева «Кубана-дель-Асеро»! Было шумно. Почти сразу начались споры. Как наладить управление заводом? Как распределять прибыль? Где раздобыть заказы? Как найти деньги для ремонта оборудования? И почему это не видно героя дня Эрнандеса? Наверно, скромничает, чудак... Как иногда меняются люди!

Эрнандес сидел дома и раскладывал на столе пачки мятых бон. Он скупил их у рабочих исподволь, тайно, по дешевке — одно песо за двадцать. Сейчас на

¹ Как хорошо! (Испан.)

время он, пожалуй, уедет из Гаваны. Пусть улягутся страсти. Потом завод — на слом, станки — в переплавку, половину участка — продать. На вырученные деньги построить бараки. «План Эрнандеса: дешевая квартира — каждой рабочей семье». Просто и убедительно.

Короткий обрезок железной трубы разбил окно и со звоном покатился по каменному полу...

Из рассказа Ромеро Ноэля Рикардо

В тюрьме я просидел недолго. Эрнандесу хоть и чудом, но удалось тогда от нас ускользнуть, и Мухаль, пользуясь связями, постарался поскорее замять все это скандальное дело. В феврале 1958-го я и трое других ребят с «Кубана-дель-Асеро» были на свободе.

Моя семья уже перебралась в Куэво-дель-Умо. Когда-то мальчишкой я бегал по этим же лужам. Потом выбылся в люди, стал фрезеровщиком. Теперь снова пришлось вернуться в трущобу. Снова, как много лет назад, работал разносчиком, торговал «мани» — жареными орешками, — мыл машины у гостиниц, делал все, что подвернется... Время это вспоминать не люблю. Не только потому, что обносился, жил голодно. Противно было мне, квалифицированному рабочему, мегаллисту, лебезить перед полицейскими, бегать за туристами. И еще — постоянная вражда... На заводе каждый рабочий — твой товарищ, брат. На улице парень, который, как и ты, ищет случайный заработок, — враг. Несколько раз меня били. И я бил тоже.

В январе пятьдесят девятого, когда Повстанческая армия вошла в Гавану, рабочие собрались на «Кубана-дель-Асеро». Эрнандес сломать завод все же побоялся. Вообще после того памятного дня он не показывался в Гаване.

Сначала пришли человек тридцать из прежних рабочих. Потом стало восемьдесят. Представляете, что такое завод, который в нашем климате больше года был мертвым? Ржавчину можно собирать ладонью. Приводные ремни позеленели, болтаются, как лианы в лесу. Приняли резолюцию. Первое — считать «Кубана-дель-Асеро» собственностью рабочих. Второе — выбрать Рафаэля Рамоса администратором. Третье — доходы делить поровну.

А какие доходы?

Попробовали обратиться за помощью к министру труда Фернандесу, одному из тех сенсоров, что потом переключались в Майами. Он и слушать не захотел: «Что за социалистические эксперименты? Кто позволил?» Но мы, в общем, не из пугливых. И уже поняли — наша революция.

Рамос раздобыл первый заказ. Повозки для гаванского карнавала: римские колесницы, каравеллы, галеры... Потом получили дело посерьезнее: разбронировать бронепоезд. Тот, что повстанцы захватили в Санта-Клара. Понемногу все стало налаживаться...

В январе 1961-го, когда США разорвали дипломатические отношения с Кубой, была объявлена первая общая мобилизация народно-революционной милиции. Мы опасались, что Эйзенхауэр, прежде чем покинуть Белый дом, «хлопнет дверью» — отдаст приказ о вторжении.

Мобилизация проходила быстро. В кассах некоторых предприятий не оказалось наличных денег. Два парня из Национального банка разъезжали по Гаване на «джипах» с мешками, набитыми песо. Останавливались на площадях, где строились батальоны, спрашивали, кто не успел получить зарплату. Деньги выдавали тут же, веря на слово.

Я ходил с патрулем по Линеа и по Прадо. Как раз по тем самым местам, где недавно слонялся в поисках заработка. Улицы менялись на глазах: «Национализировано», «Собственность народа». Исчезли игорные автоматы... Я шагал с винтовкой и думал: «Неужели мы и вправду построим социализм? И каким он будет, наш социализм? Конечно, он должен быть самым прекрасным в мире! Ведь мы

начинаем позже других. В нашем распоряжении их опыт, их помощь... Главное — не повторять чужих ошибок...»

Как я думаю сейчас? Да так же и думаю.

Ромеро проводил меня до машины и объяснил, как проще проехать к «Гавана либре». Прежде чем повернуть за угол, я оглянулся. Он стоял у заводских ворот, худой, высокий, немножко насупленный. Махнул мне рукой, поправил ружейный ремень на плече и скрылся в воротах.

...Ромеро прав. Именно так и должно быть...

Поначалу на Кубе все мне кажется довольно простым. Все прорисовано жестко, контрастно, как на схеме.

Друзья и враги. Достижения и неудачи. Борьба с монокультурностью сельского хозяйства. Борьба с неграмотностью. Подготовка кадров. Индустриализация. Рождение новой, пролетарской демократии... В этой жесткости есть своя логика, своя правда.

Пройдет немало времени, произойдет множество событий. Ошибаясь и учась на ошибках, Куба будет нащупывать пути развития своей экономики. Минуют тревожные дни карибского кризиса. Прошумит над островом циклон «Флора»... Я буду влюблен в Кубу, потом начну огорчаться и даже раздражаться. Потом место пылкой влюбленности, которая слепит глаза, и неумного раздражения, которое слепит их еще больше, займет крепкая, спокойная любовь к этой стране, глубокое уважение к ее смелому и веселому народу.

Но и после всего этого та жесткая схема первых дней в общем останется верной. Только куда более сложной, полной противоречий, полутонов и оттенков, как сама жизнь.

Это позже.

А пока первомайским вечером 1961 года я, новичок, стою среди иностранных делегатов и журналистов на левой трибуне площади Сивика. На ступеньках спит усталый мальчуган-милисиано. Уже четырнадцатый час длится демонстрация.

* * *

Газета не живет долго. Только один день она шуршит, убеждает, горячится, даже в тесном вагоне утреннего метро пытается развернуть свои квадратные плечи. Потом к геологическим пластам библиотечных подшивок прибавляется еще один тонкий слой. И все. Это не слишком новое соображение меня очень утешило.

Перечитывая оригиналы своих гаванских корреспонденций, я вдруг с грустным удивлением обнаружил, что не одна, не две, а целых три заканчиваются одинаковой фразой, сообщающей, что сейчас поет вся Куба.

Первую из этих корреспонденций я написал на южном берегу острова Пинос, в бухте Крокодилов. Там живут рыбаки — выходцы с Кайманских островов, бронзовые, голубоглазые люди, говорящие на забавной смеси английского с испанским.

Один из больших гаванских митингов застал меня в этой пальмовой деревушке, и я пошел слушать радио на маяк. У башенки собралось человек тридцать — почти все население деревни.

Сержант прикрутил поясом к деревянным перилам динамик. Староста деревни поднялся на лесенку и начал пересказывать односельчанам передававшуюся из Гаваны речь, скупо тратя по пять-шесть слов на целый период. Над нами роились тучи свирепой мошкары — «хехен». В лесу вскрикивали попугаи.

Митинг закончился. В Гаване на площади запели «Итернационал». И здесь, у маяка, тоже запели.

Никогда я не слышал такого странного «Итернационала». Мелодия была привычная, правильная. Но слова... Видимо, для кайманцев тогда не успели перевести слова песни, и они сочиняли их на ходу сами. Каждый пел как мог. Что-то об улове. О коралловом рифе. О моторном баркасе. Часто повторялись слова «революция» и «кооператив».

В корреспонденции об этом ничего нет. Нет там и огромных зеленоватых черепах, которые ночью выползают на берег, и кайманцы переворачивают их шестами на спину. Нет шхуны «Святая Агнесса».

Мы погрузили на «Агнессу» мешки с древесным углем, бутылки с медом диких пчел, несколько клеток с черными горбатыми кабанями, отвязались от пальмы и медленно поплыли вдоль болотистого берега. Один из рыбаков поймал бонито. Рыбу очистили, нарезали тонкими серебряными ломтиками, залили уксусом, оливковым маслом, добавили лук, лимоны, чеснок и ели сырой — это очень вкусно. Бывший хозяин шхуны, ставший теперь ее капитаном, добродушный толстяк Висенте Перес, скрестив по-турецки ноги, сидел на тумбе у штурвала.

Солнце только поднялось, и по морю, звонко шлепаясь о борт, бежали маленькие красные волны.

А в корреспонденции просто написано: «Сейчас поет вся Куба». Я выложил их на стол все, целый ворох бумаги, и перечитал с надеждой, что из этого составится книга. Мне стало грустно. Лишившись злободневности, они потеряли право на жизнь. Одни показались выпренными. Другие поверхностными. Почти из каждой строчки начали выпирать ненужные эпитеты: Гавана — «солнечная», солнце — «палашее», решимость — «непреклонная», отпор — «решительный».

Конечно, во многом была виновата спешка. Оригиналы некоторых корреспонденций, переданных из Гаваны в 1961—1965 годах, — это сколотые между собой узенькие, по пять-шесть строчек текста, полоски бумаги. Я срывал их с машинки по абзацу, чтоб не поддаваться соблазну правки. На правку не было времени.

Но дело не только в спешке. Болезнь эпитетов поражает почти каждого приехавшего на Кубу советского журналиста. Здесь все так ярко, броско, красочно. И солнце здесь в самом деле палашее. И Гавана взаправду солнечная. И решимость, без сомнения, непреклонная.

В этой атмосфере невольно начинаешь декламировать, а не говорить. Колдовство тропиков, экзотика, красочность стоят заслонами, мешая порой прорваться к простой, будничной жизни людей, к сути явлений.

Конечно, я не отказываюсь от своих корреспонденций. Я писал так, как видел, как понимал, как чувствовал. Но пусть они останутся в газетной подшивке.

Обо всем, что произошло позже, о холодных, залитых дождями окопах на побережье, в которых в октябре — ноябре 1962 года бойцы кубинских Революционных вооруженных сил ожидали вторжения войск США, о том, как на Кубе были окончательно ликвидированы контрреволюционные банды, о первых комбайнах для уборки тростника, появившихся в 1963 году на плантациях, о наших ребятах, помогавших кубинцам осваивать технику, оружие, о первых выборах в местные органы власти в ноябре 1965 года, о том, как совсем иным путем, чем представлялось раньше, развивалась борьба с монокультурностью сельского хозяйства и по-иному, чем думалось, пошла индустриализация страны, — о многом, что я увидел и узнал на Кубе в последующие годы, мне нужно писать заново.

Но все большие перемены, которые произошли в стране с тех пор, все сложные процессы, которые там протекали и протекают, во многом были предопределены именно тем, как Куба шла к победе своей революции.

Вот почему первым мая 1961 года я и заканчиваю эту часть репортажа.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Г. БРЕЙТБУРД

★

ИТАЛЬЯНСКИЙ «НОВЫЙ АВАНГАРД»

Когда-то считалось, что творения экспериментального искусства создаются обитающими на чердаках нищими художниками, которых никто поначалу не признает; успех приходит к ним через долгие годы, чаще всего посмертно.

Нет ничего более несхожего с подобными представлениями, нежели путь, за немногие годы пройденный группой итальянских теоретиков и практиков экспериментального искусства, которую принято сегодня именовать «неоавангардом».

Сама эта группа, в подражание западно-германским писателям, объединение которых названо «Группа 47» — по году создания, — назвала себя «Группой 63». Собравшись 8 октября 1963 года в одном из приморских отелей в пригороде Палермо, среди финиковых пальм и лимонных рощ, тридцать четыре писателя и девять критиков, доселе не слишком известных, образовали эту группу, возникновение которой стало вехой в литературной и художественной жизни современной Италии.

С первых же дней своего возникновения «Группа 63» привлекла к себе самое широкое внимание печати; при этом, казалось, не щадили ни средств, ни усилий для создания вокруг ее деятельности атмосферы шумного успеха, привлечения к ней внимания самых различных кругов читающей публики.

Литературные документы итальянского неоавангарда — это стихи, поэмы, рассказы, пьесы, даже романы (если можно говорить о романах, написанных людьми, отрицающими саму возможность их написания), это работы теоретические и критические — статьи, очерки, труды по эстетике.

Задачей человека, пытающегося рассказать о том или ином направлении в литера-

туре, прежде всего, как известно, является анализ художественных произведений представителей этого направления.

Но в случае с итальянскими неоавангардистами это сделать не так просто. Прежде всего создаваемая ими художественная продукция далеко не всегда рассчитана на восприятие ее читающим человеком, но крайней мере на сколько-нибудь осознанное ее восприятие. Но не только в этом дело. Одна из особенностей итальянского неоавангарда состоит в том, что появлению того, что можно назвать художественными произведениями, предшествуют теоретические и критические работы его представителей. В отличие от первых они все же поддаются осмыслению.

Становится по крайней мере ясно, чего эти люди хотят, даже когда невозможно понять, что же они, собственно, делают. Впрочем, невозможность понимания прямо декларируется представителями этого направления, которые отрицают роль литературы как формы человеческого общения.

Ясно, что при таком положении дел разговор о «Группе 63» и всем неоавангарде (за «Группой 63» последовали и другие объединения) приходится начинать с рассмотрения теоретических предпосылок, из которых исходят сами представители этого направления.

С первых дней своего существования литераторы, входящие в «Группу 63», шумно декларировали свой разрыв со всем, что делалось «дедами и отцами», и в первую очередь с тем, что создано итальянским искусством за два послевоенных десятилетия. Почти все итальянские писатели зачислены ими в традиционалисты и обвиняются в компромиссе по отношению к основным проблемам общественной жизни, в тяготе-

нии к устаревшим литературным мотивам, в пренебрежении к проблеме языка, которая, по мнению неоавангардистов, является в искусстве основной. Один из лидеров неоавангарда Альфредо Джулиани, в сущности повторяя западногерманского теоретика Адорно, заявил на октябрьской встрече 1963 года в Палермо: «Формальный момент, момент структуры неизмеримо вырос в своем значении, в то время как чисто эмпирическая правдоподобность деградировала до уровня газетного репортажа, едва затрагивающего поверхностный слой действительности...»

Согласно основному тезису неоавангарда главной задачей художника является экспериментирование внутри самой языковой структуры. Писателям, которые не согласились с этим, пришлось услышать обвинения в лицемерии, устарелости, нежелании видеть современную действительность, в творческом бессилии и немощи. (Впрочем, для «одумавшихся» пока еще оставлены «места в автобусе» неоавангарда — при условии решительного разрыва с прошлым.)

Одной из своих главных мишеней «Группа 63» избрала Альберто Моравиа. Серьезные нападки на этого писателя объяснялись не только тем, что Моравиа широко известен и далеко за пределами своей страны, но и той быстротой, с которой Моравиа реагировал на возникновение самой группы, убедительно доказывая ложность ее основных теоретических посылок. За несколько дней до светски-литературных встреч в Палермо Моравиа на страницах одной из газет писал, насколько важна для романиста мысль, идея, насколько опасен взгляд, согласно которому «язык является решающим и определяющим элементом романа». Моравиа утверждал, что методологически такой подход неизбежно приводит к «уходу от каких-либо возможностей реализма» и что «реалистическое качество романа определяется его художественной правдой и, следовательно, идеологией».

Спору с неоавангардом Моравиа посвятил и специальный номер издаваемого им влиятельного журнала «Нуови аргументи». В этом споре выявилось одно из главных расхождений между традиционалистами (точнее — между теми, кого принято называть сегодняшними критическими реалистами) и авангардом. Чему отдавать предпочтение в литературной работе — идеологии или экспериментам в области языка, идео-

логически обусловленному содержанию или форме, понимаемой как замкнутая языковая структура?

Для большинства представителей неоавангарда характерно вообще отрицание какой-либо роли идеологии в искусстве и литературе. Больше того, это отрицание становится одной из наиболее существенных черт, отличающих деятельность этих новых экспериментаторов.

«Критическая методология неоавангарда,— прямо утверждает Анджело Гульельми,— родилась и живет благодаря исключительно любого посредничества идеологического типа».

И дальше: «Поэзия должна отдаться языку обнаженной, без идеологических одежд; каковы бы ни были политические, социологические интересы поэта, он должен прежде всего изучать влияние, знаки языка и раны, наносимые ему языком».

Занимающему в этом вопросе крайние позиции Гульельми нельзя отказать в том, что он по крайней мере последовательнее некоторых своих друзей по «Группе 63». Действуя напрямик, он исключает всякую «возможность связи между художественным и идеологическим моментами, которые совершенно различны», и утверждает «недоказуемость гипотезы, на основе которой сближают литературу и политику». Единственно возможной связью между языком литературы и обществом является, по его утверждению, «негативная связь, которая выражается в отрыве языка и литературы от любых существовавших ранее связей с обществом».

Эти положения определяют отношение неоавангардистов к общественной роли писателя. Они отрицают необходимость и возможность какой-либо общественной «завербованности», «ангажированности» (если пользоваться введенным Сартром и получившим широкое распространение на Западе термином) художника. Разумеется, говорят они, писатель вправе участвовать в политической жизни, в политической борьбе, но лишь как человек, живущий в определенном обществе, а не как писатель; его политическая позиция есть дело личное, не затрагивающее тех произведений, которые он как писатель создает.

Итак, одна из основных проблем современной литературной жизни — проблема общественной роли писателя — нашла у неоавангарда решение однозначное и негатив-

ное. Даже если художник политически активен, его участие в борьбе происходит вне сферы искусства.

Литература, замкнутая в пределах лингвистического эксперимента, в пределах опытов над языком, литература, лежащая вне мировоззрения, «антиидеологическая» по своей сущности, естественно, думает о читателе в самую последнюю очередь.

— Нас обвиняют в непонятности наших произведений, — недоумевают представители неоавангарда, — но что же в этом удивительного? Мы ведь и не настаиваем на том, чтобы вы нас понимали.

Излишне говорить, насколько связаны друг с другом бегло обрисованные нами черты неоавангарда — отрицание идеологии, отрицание общественной роли писателя (его «ангажированности») и отказ от коммуникативной функции искусства. Естественно, что в этом тройственном отрицании определяющим является отказ от идеологии, нежелание признать за ней возможность познания современной действительности. На последнем стоит остановиться подробнее.

Необходимо оговориться: теоретические установки представителей итальянского неоавангарда далеко не однородны. В нашем разговоре, однако, мы остановимся преимущественно на позиции тех, кто, подобно Гульельми, решительно отрицает какое-либо значение идеологии для искусства и видит в ней лишь преграду на пути сближения художника с реальностью.

Именно Гульельми — автор вышедшей в 1965 году монографии «Авангард и экспериментализм» — призывает к искусству «чистой объективности», в котором природа, материя предстает перед художником в своем как бы первозданном существовании, к искусству «деидеологизированному, незавербованному и внеисторическому», к искусству, начинающемуся «на уровне нуля», исходящему из осознания кончины «старой души европейского гуманизма».

Стремление взорвать «обветшалые устои европейского гуманизма» напоминает иные «призывы» китайских хунвэйбинов. (К слову сказать, позиции крайних формалистов в эстетике отнюдь не исключают игры в «ультралевый» политический экстремизм «китайского» толка.) Литература отрицания легко переходит в отрицание литературы, тем более что даже Сангвинети, видный деятель неоавангарда, признающий

роль идеологии, полагает, что новизна современной ситуации заключена «в сокращении разрыва между анархическими и революционными импульсами», что сопровождается «поправками на смещение оси классово-вой борьбы в мировом масштабе и переносом ее в слаборазвитые страны...».

Впрочем, все вполне логично: если правы маоцзедунисты и рабочий класс в Западной Европе лишен революционной перспективы, то чем же иным «покуда» заниматься литературе, как не формальным экспериментированием?

Поиски описания реальности, открытой без докучливых идеологических помех, могут, по мнению Гульельми, развиваться в трех направлениях: направление внутреннего монолога (Джойс), направление внешнего монолога (Роб-Гриё) и наконец направление, ведущее в «область сновидений и шизофренической агрессивности».

Разумеется, включение Джойса в схему деидеологизированного описания действительности лежит целиком на совести Гульельми и относится к числу многочисленных противоречий, легко обнаруживаемых в его сочинениях. Важно отметить другое — отказ от идеологии, якобы мешающей познанию действительности, есть одновременно отказ от ценностей морального порядка, отказ от ответственности художника за свое искусство.

Не желая выглядеть, однако, циником, Гульельми (и здесь с ним солидарны многие другие неоавангардисты) выработал удобную для себя схему разделения ответственности. В той же книге «Авангард и экспериментализм» он утверждает: «Если идеологическая точка зрения теперь уже бесполезна в сфере художественной деятельности, если, следовательно, идеология больше не служит писателю, не помогает ему дать верное представление о реальности, она (идеология) тем более становится важной в плане осуществления им своего гражданского и морального долга... Идеология стала правилом хорошего социального поведения. Принимая во внимание практическое и инструментальное значение идеологии, наш выбор неизбежно падает на ту идеологическую систему, в которой эта черта выступает с наибольшей очевидностью, то есть на марксизм. Марксизм понимается нами как свод норм поведения».

Что можно сказать по поводу этих сгранных рассуждений?

Марксизм, то есть научное мировоззрение, рассматривается Гульельми лишь как свод этических правил, имеющих отношение к поведению писателя в качестве гражданина. Это довольно удобное решение вопроса: считать свой гражданский долг выполненным, отдав на выборах голос левым партиям...

Самое странное во всех этих построениях состоит в том, что люди, рассуждающие подобно Гульельми, считают себя марксистами, то есть сторонниками философии, ставящей перед собой задачу преобразования мира, философии, для которой, по словам Грамши, «акт познания есть акт преобразования действительности». Надо ли говорить, что такое разграничение функций гражданина и художника, искусственно воздвигаемая пропасть между мыслью и действием не имеют ничего общего с марксизмом.

Критическое осуждение подобной позиции прежде всего должно было бы исходить от итальянских марксистов. Однако, по признанию самих итальянских марксистов, эта критика, хотя и имела место, но не всегда оказывалась достаточно последовательной.

Одним из примеров непоследовательной критики позиций авангарда является известная статья итальянского марксиста Марио Спинеллы в сборнике «Менабо-8» под названием «Социологическая гипотеза литературы»: «И более того, нет иного пути, как полемический отказ от «языка» («langue») ¹ и предпочтение ему «речи» («parole»), яростно и исступленно утверждающей права субъективного, выступающей против сведения субъективного к предмету, к вещи, к чистой объективности взаимозаменяемых предметов». Марио Спинелла выделяет основной спорный тезис неoавангарда: «Не случайно, что проблемы идеологии имели и имеют столь большое значение во внутренней дискуссии экспериментализма. И все же способ подхода к этой проблеме кажется порочным в силу неуверенности и терминологических колебаний, придающих ему двусмысленный и порой не поддающийся расшифровке характер. Отказ от идеологии на самом деле предстает как

некая «*tabula rasa*», как единственная возможность чистого экспериментирования».

Оставим пока в стороне анализ взаимоотношений итальянского неoавангарда с неoкапитализмом, содержащийся и в работе Спинеллы. Он приходит к заключению, что неoавангардизм стоит на позиции «оспаривания» современного капитализма. Он считает также, что изображение «хаотического, трагического и странного в своей бесчеловечности развитого капиталистического общества, в котором искажена природа всех ценностей, возможно лишь на пути искажения языка».

Наиболее серьезные возражения во всем построении Марио Спинеллы вызывают, впрочем, даже не эти утверждения, а та роль, которая отводится им марксизму.

Справедливо отметив, что для итальянских марксистов сегодня очевидно, что политика «не исчерпывает всей реальности мира», что у искусства могут быть свои, автономные от политики задачи, Спинелла затем ставит знак тождества между политикой и марксизмом, тем самым, в сущности, соглашаясь с ролью, которая отводится марксизму теоретиком неoавангардизма Гульельми и его подражателями.

Говоря о неoавангарде как об «инструменте разрыва», Спинелла пишет: «Политика — марксизм — пользуется этим инструментом, включая его в контекст других инструментов, позволяющих двигать вперед собственную практику...» Естественно, с подобным пониманием марксизма согласиться нельзя. И трудно с этих позиций чему-либо научить даже внутренне стремящихся к марксизму художников-эксперименталистов. Так можно еще больше запутать и без того не слишком ясные построения теоретиков экспериментального искусства. А для них характерно стремление сблизить свои поиски с последними достижениями науки, в частности с такими ее отраслями, как структуральная лингвистика, теория информации, кибернетика, — словом, обосновать свои эстетические тезисы при помощи доводов современной науки.

Нужно заметить, что в отличие от литераторов старших поколений, часто лишь понаслышке знакомых, например, с современной физикой и математикой, представители неoавангарда усиленно изучают некоторые отрасли современной науки. Правда, в своем стремлении найти в ней основания для

¹ Марио Спинелла пользуется здесь проводимым после Ф. де Соссюра структуральной лингвистикой разграничением между «языком» и «речью», то есть между социальным и индивидуальным в языке.

собственных опытов неоформалисты нередко «открывают» давно известные истины, стремясь во что бы то ни стало придать им характер абсолютной новизны. Таков, например, их подход к некоторым давно вошедшим в научный обиход положениям структуральной лингвистики. Ими абсолютизируется, доводится до крайних пределов разграничение сферы языка и речи, причем преобладает интерес ко второму аспекту, ибо тут якобы обнаруживается «тождество слова и предмета» без «искажающего» воздействия идеологии.

В увлечении «последними» открытиями лингвистики итальянский неоавангард выглядит порой провинциальным, когда с большой поспешностью стремится включить в свой теоретический арсенал и работы русской формальной школы (которые сейчас «в моде»), и связанные с ней труды «Пражского лингвистического кружка», и последние откровения молодых французских литераторов, группирующихся вокруг журнала «Тель кель».

Более оригинальный характер представляет, на наш взгляд, разработанная итальянским неоавангардом теория «открытого произведения», изложенная в вышедшей под этим названием книге Умберто Эко. Под «открытым произведением» понимается прежде всего произведение искусства, допускающее возможность различных его истолкований, различных прочтений. Таким образом, многозначность, символика становится важнейшим элементом подобного искусства. Образцом «открытого произведения», с точки зрения Эко, может явиться творчество Кафки; процесс, замок, ожидание, приговор, болезнь, метаморфоза, пытка — весь набор кафкианских ситуаций не следует воспринимать в их буквальном и непосредственном значении. Эта символика поддается самым различным истолкованиям, а содержание произведения находится в прямой зависимости от числа возможных истолкований, от его многозначности.

Особенно велико значение «открытости» произведения в музыке. Исполнителю дана автономия не только в истолковании замысла композитора, приводимого в соответствие с собственным чувственным миром. Некоторые из последних произведений современной музыки прямо рассчитаны на активное вмешательство исполнителя в авторский замысел. Так, например, в произведе-

ниях известного итальянского композитора Лучиано Берно исполнитель может сам определить длительность любой ноты. Музыкальное произведение таким образом превращается в некое поле для эксперимента исполнителя.

«Открытое произведение» как бы содержит обращенный к «потребителю искусства» призыв стать соавтором. Такого рода поэтика, говорят неоавангардисты, рассчитана на создание нового типа взаимоотношений между художником и публикой; она способствует выработке нового механизма эстетического восприятия.

Читатель как своего рода соавтор художника — это, конечно, не открытие неоавангарда. Создатели произведений искусства всегда стремились к соучастию потребителя. Черты «открытости» в этом смысле слова присущи любому произведению искусства. Однако теоретики неоавангарда представляют себе участие потребителя искусства в творческом процессе как раскрытие «кода», как возможность произвольных и практически бесконечных истолкований произведения.

Сторонники теории «открытого произведения» утверждают, что именно в силу неопределенности и многозначности, присущих современному искусству, его произведения заключают в себе наибольшее количество информации. Для подтверждения этого тезиса сторонники неоавангарда обращаются к теории информации, исследуют закономерности, определяющие, какое количество информации содержится в известном сообщении.

Как известно, по этой теории количество информации ставится в зависимость от вероятности: чем менее вероятно появление тех единиц, из которых состоит данное сообщение, тем больше заключено в нем информации. Скажем, информация, заключенная в датированной 4 августа метеосводке, где сказано, что завтра не пойдет снег, почти равна нулю, в то время как метеобюллетень, сообщающий, что завтра, 5 августа, пойдет снег, заключает в себе большое количество информации именно в силу малой вероятности сообщенного факта.

Вероятность сообщения находится в прямой зависимости от степени его упорядоченности. Информация есть мера упорядоченности, неупорядоченность сообщения измеряется энтропией, то есть величиной, противополож-

ной информации. Чем более упорядочено и доступно пониманию то или иное сообщение, тем более оно вероятно, тем оно ясней. Но сообщение, абсолютно ясное по своему содержанию (скажем, поздравление с днем рождения и другие сообщения, содержащие минимум невероятного), как правило, мало что добавляет к тому, что нам уже известно, и, значит, содержит в себе минимум информации.

Таким образом, количество информации непосредственно связано с оригинальностью сообщения, с его малой вероятностью или полной невероятностью. Отсутствие вероятности противопоставляется банальности. Отсюда вывод, согласно которому информация и ясность есть разные, иной раз противоположные величины, и в то же время количество информации, заключенной в каком-либо сообщении, возрастает по мере увеличения невероятности, усложненности, неясности.

Информация противопоставляется значению, и тогда, например, теоретик «открытого произведения» Умберто Эко приходит к следующему заключению: «Количество информации зависит не от упорядоченности, а от беспорядка, по крайней мере от известного типа неупорядоченности», а значит, «современное» искусство должно быть сознательным и осмысленным нарушением законов вероятности, типичных для данной изобразительной системы. Исходя все из той же формулы соотношения количества информации и ясности сообщения, теоретики современного формализма стремятся обосновать отказ от общественной роли искусства, разрыв с общепринятой лингвистической структурой, необходимость создания новой структуры, произвольно творимой художником.

Скажем, форма классической сонаты есть система вероятностей, в пределах которой легко предвидеть последовательность развития темы, а додекафонная музыка построена на совершенно иной системе вероятностей, разрывающей обычный порядок и устанавливающей взамен некий беспорядок, в котором якобы и заключена возможность самого широкого варьирования сообщений, то есть большое количество информации.

Математическую теорию информации, таким образом, используют для оправдания искусства, лишённого общезначимости, основанного на двусмысленности и недостоверности.

Все эти положения теории неоавангарда прямо переносят на искусство. Мы не возражаем против использования теории информации применительно к искусству; возражение вызывает лишь спекулятивность этого подхода.

Интерес авторов теории «открытого произведения» к потребителю искусства, к активизации его роли, декларированное стремление превратить «потребителя искусства в соавтора» на деле оборачиваются пренебрежением к тому, кто призван читать создаваемые по таким рецептам стихи, в которых, при всем «богатстве информации», отсутствует главное — обращенность к человеку.

Структуральная лингвистика, теория информации, кибернетика, структурализм, современная антропология — таков лишь краткий перечень возникших вне Италии научных теорий, которые усиленно обсуждаются неоавангардистами. Порой кажется, что чем «новее», чем «ошеломительнее» идея, тем она для них привлекательней.

В этом мелькании самых последних теорий и самых модных имен обнаруживаешь черты некой провинциальной экстравагантности, которая сама по себе есть свидетельство неблагополучия в итальянской культуре последних лет. Провинциальность была преобладающей чертой итальянского искусства на протяжении всего «черного двадцатилетия» фашизма. Казалось, с нею покончено еще в послевоенные годы, когда возродившееся к жизни искусство Италии заставило говорить о себе с уважением во всем мире. Странно и горько снова видеть возврат к провинциальной подчиненности итальянской культуры. А к этому идет дело, несмотря на декларированную «сверхоригинальность» нового авангарда и несмотря на то, что возник он не без существенных причин.

За два года до основания «Группы 63» в Италии вышел специальный номер журнала «Менабо», который издавали авторитетные писатели Витторини и Кальвино. Этот выпуск «Менабо», посвященный теме «Индустрия и литература», во многом подготовил почву для итальянского неоавангарда. Анализируя изменения, происшедшие в стране, которая за весьма короткий срок превратилась из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную (с преобладанием интенсивной индустриализации на севере страны), Витторини пришел к выводам, оказавшим большое влияние на литературу. Он утверждал, что Италия вступила в такую

фазу индустриального развития, которая охватывает все стороны жизни общества; отныне литература, как и все искусство в целом, не может более оставаться, какой была. Искусство неореализма определялось в этом номере журнала «Менабо» как искусство прединдустриального периода, новой же задачей должно было стать выражение сознания человека, живущего в индустриальном обществе. Изображение индустриального мира на всех его ступенях, показ того, как этот мир вторгается во внутреннюю жизнь человека, — такова, по мнению авторов «Менабо», задача литературы сегодняшнего и завтрашнего дня, — литературы «индустриальной» не только по своему содержанию (предмету изображения), но главным образом по своим выразительным средствам, литературы, основанной на решительном отказе от «крестьянского» наследия позднего романтизма.

В эти же годы группа итальянских литераторов осуществила интересный и для западных условий в своем роде уникальный эксперимент. Писатели молодого и среднего поколения стали работать непосредственно в промышленности, на крупных капиталистических предприятиях, в отделах рекламы или же в возникших за последние годы на многих заводах психологических и социологических отделах, созданных под влиянием американской теории «человеческих отношений» («human relations»). Годы работы, скажем, на крупнейших предприятиях фирмы «Оливетти», производящей пишущие машины и электронно-вычислительную аппаратуру, дали литераторам возможность изучить, как действует непосредственно в условиях производства механизм «отчуждения», как построена сложная система психологического воздействия на рабочего. Вскоре увидели свет романы, темой которых стало изображение «отчуждения» в условиях крупного, технологически развитого современного предприятия. Книги Оттьери, Вольпони, Страти, Дави и некоторых других авторов глубоко антибуржуазные по своей направленности, стали интересными психологическими исследованиями условий современного капитализма и, вероятно, в какой-то степени отвечали призыву Витторини к «литературе на уровне индустриального мира».

Однако в тезисах Витторини представители неоавангарда стремились подчеркнуть не столько конструктивную, сколько негативную сторону. В его оценках современного состоя-

ния общества и литературы (не лишенных известной противоречивости) они в первую очередь хотели увидеть оправдание того резко отрицательного отношения к существовавшей до их прихода литературе, которое является, в сущности, единственным неоавангардистским тезисом, объединяющим самых разных авторов независимо от их расхождений по многим другим вопросам. Отнести своих эстетических противников к числу выразителей ушедшего в прошлое «крестьянского мира», перечеркнуть все созданное неореализмом, самим же предстать в роли провозвестников и разоблачителей индустриального общества — что может быть эффективней такого подхода к делу?

Но как предлагают неоавангардисты поступить с остатками «крестьянской культуры», со всеми ее позднеромантическими наслоениями?

В октябре 1966 года, выступая за «круглым столом» поэтов, созданным в дни юбилея Шота Руставели в Боржоме, один из лидеров «Группы 63», Сангвинети, в своей краткой и предельно ясной речи не оставил на этот счет никаких сомнений. Задача неоавангарда, сказал он, — как можно более быстрое уничтожение остатков «крестьянской поэзии», низведение ее до роли фольклора. Лишь после этого возможно осознание того состояния, в котором находится человек в индустриальном мире капиталистического отчуждения. «Активно и даже с известным цинизмом уничтожить «крестьянское» наследие романтиков — такова задача», — подчеркнул Сангвинети.

Известный итальянский художник и писатель Карло Леви здесь же, за «круглым столом», сумел показать искусственность подобных построений. Леви напомнил о поэзии сегодняшней Америки, порожденной «индустриальным обществом» на высшей ступени своего развития в условиях капитализма. Леви говорил о таком американском поэте, как Аллен Гинзберг, который считается крупнейшим среди сегодняшних поэтов авангарда. Согласно схеме Сангвинети в стихах такого поэта не должно быть ничего «крестьянского», ничего эмоционального. На деле же Гинзберг в лучших своих произведениях достигает подлинной трагедийности, стремится вернуть сегодняшней американской поэзии ритмы Уитмена, противопоставить сложный эмоциональный мир человека обезличивающей власти технологизованного общества.

«Не думаю, что среди подлинных поэтов

можно сегодня найти кого-либо, кто более непосредственно был бы всеми своими истоками связан с индустриальной цивилизацией. И тем не менее его поэзия, когда она является большой поэзией, — как, например, в поэмах «Кадиш» и «Вопль» — есть наиболее ясный образец поэзии крестьянской...»

Аргументация Карло Леви, поэта «крестьянской» Италии, показалась убедительной многим участникам поэтического «круглого стола» в Боржоме.

Трагический бунт американского поэта Аллена Гинзберга по силе неприятия им окружающей действительности, конечно, ближе к гневному протесту авангардистов начала века, чем к холодному и в чем-то умиротворенному «осознанию отчаяния» иных нынешних европейских неоавангардистов

Образование «Группы 63» предшествовал выход поэтического сборника, вызвавшего шумный интерес. В сущности, этот сборник явился определенной платформой, стал как бы предпосылкой организационного оформления группы. В сборнике под названием «Новейшее» («Nuovissimi»), опубликованном в 1962 году, появились стихи поэтов, которые через год стали инициаторами «Группы 63».

Стихи «новейших» — правда, не без усиленной рекламной порядка — вызвали в итальянской литературной среде нечто вроде шока. Поэзия, отбросившая «предрассудки ритма, рифмы, лексики», связавшая себя «идеями критического подражания универсальной шизофрении», собственно, и рассчитывала на такой эффект. Прибегая к «чистой» лингвистической игре, беря за образец разорванность сновидений, патологические смещения фаз сознания, смешивая лексику различных языков и различных эпох одного и того же языка, — она сознательно и нарочито отказывалась от читателя, или, как принято теперь говорить на Западе, от «потребителя стихов».

Но не слишком ли много «системы» в этом «безумии»? — резонно спрашивал литературный обозреватель лондонской «Таймс». Не больше ли во всем этом запугивания, того литературного террора, к которому призывал неоавангард в стремлении объявить «устаревшими» всех, кто не торопился занять место в его автобусе (впрочем, почуяв, что неоавангард поддерживается хозяевами «культурной индустрии», кое-кто из литераторов вполне традиционных поспешил «при-

соединиться», «проявить внимание»; таких не отталкивали — в автобусе неоавангарда еще много свободных мест).

Однако, может быть, пора все же познаться с образцами неоавангардистских стихов, посмотреть, как же все-таки реализуются некоторые из уже известных нам установок.

Приведем несколько примеров.

АЛЬФРЕДО ДЖУЛИАНИ

Нужно предупредить их полотенце следует использовать

только для вытирания
рук¹. Не плюйте на пол. Выход, все
равны, это ложь,
сколько приходится слышать
это явление легко объяснить остается
идея (ржание)
восторженного обладания, но знай, что
потом она исчезнет.

Это хорошо или плохо?
Поток особенно интенсивных элементарных правил,

предписание содержится
в продукте (это может быть ржание), в саду
можно прочесть Общественный Порядок или
Конь.

Бесполезно жаловаться. У него будет пенсия.

На самом деле дедуктивные теории есть гипотетические

системы... Идет дождь... Эта фраза лжива или подлинна в зависимости от того, какая

погода, кто-то сидит
ладко и абстрактно у фонтана. А ты?
Я это всегда себе повторяю.

К этому, как, впрочем, и к другим опусам «новейших», прилсцен комментарий, или, как он называется, «Инструкция по употреблению». Вот что сказано по поводу приведенных нами строчек: «Этот повествовательный отрывок является монологом, в котором растянутый и атональный стих выражает семантическое погружение персонажа в собственную ситуацию, при автоматическом присутствии всех важных и неважных фактов. Функция стиха состоит в установлении связи между внутренним и внешним содержанием. Мысли и проекция амальгамируются с предметами и фигурами, находящимися в непрерывно опрокинутом состоянии. Это наплыв опыта в минуту конвульсивной усталости, полной ощущения неуверенности и краха.

Примеры подобных «наплывов усталости»

¹ Эта фраза, так же как и предпоследняя фраза текста, написана по-французски.

можно было бы умножить; ими, собственно, заполнен сборник. Мы не считаем, однако, что простая демонстрация абсурдности подобного рода поэзии — дело, как очевидно, предельно легкое — есть наилучший способ полемики с ее защитниками. Вряд ли газетные истории о написанных при помощи ослиного хвоста абстрактных полотнах слишком убедительны в споре со сторонниками абстракционизма. Однако трудно не привести еще хотя бы два примера.

НАННИ БАЛЕСТРИНИ. Фрагмент А² из поэмы «Повисший камень»

В «Инструкции по употреблению» насчет этого произведения сказано кратко: «Неопределенность фрагментов рождается из напряжения, возникающего между словами (слова эти четки и точны, но синтаксически подвешены в воздухе) (подчеркнуто в итальянском тексте.— Г. Б.).»

А²

и при этих словах (на первом плане мир вокруг молчал мир перед ним молчал чтобы сделать его аморфным манипулируя мозаикой и наброском)

Красная и плотная (если глядеть снизу)
зрители другого не увидели
в животе наполненном снегом
зажгли все огни.

ЭДУАРДО САНГВИНЕТИ. Из пролога к «Значению сна»

(Квартет для одного женского и трех мужских голосов).

(Персонажи пьесы: ГЖ, М₁, М₂, М₃)¹.

ГЖ. Вначале, конечно, все было очень смешно

Может быть, эта путаница даже не была настоящим началом. Может, еще до этого был целый ряд перепутанных вещей...

ГЖ. И то, что мы говорили все вместе, не продлится

М₁. Должно быть, я только вернулся домой, и, конечно,

М₂. Допустим, что я все еще в машине, и еду

М₃. Место я узнал тотчас же, но теперь не

ГЖ. долго. Но как хорошо, что все мы так

М₁. для меня было большой неожиданностью, когда я увидел, что свет

М₂. довольно быстро. Наверное это была автострада. и

М₃. смог бы сказать, что это было такое. Это могло быть

В этих строках реплика каждого из персонажей оборвана на слове или слоге, и продолжением ее служит начало реплики того же персонажа в следующем четверостишии. По замыслу автора, такой прием порождает свойственную сновидению незаконченность мысли и запутанность ощущений.

Даже при беглом взгляде на художественную продукцию итальянского неоавангарда приходишь прежде всего к выводу, что эта группа организационно объединила людей, которые, хотя и придерживаются как бы общих теоретических установок, в своей собственной литературно-художественной работе приходят к совершенно различным результатам. Трудно представить себе, что, кроме общих деклараций, объединяет таких поэтов, как Нанни Балестрини и Элио Пальерани. Балестрини в своем стремлении к «некоммуникативности» решил, что поэтическое дарование вполне может быть заменено электронной машиной, выбрасывающей синтагмы стихов на перфорированной ленте; машину сближает с автором полная беззаботность в отношении синтаксических и смысловых связей. А такой поэт, как Пальерани, в большинстве своих произведений повествователен, остро социален и в лучшей своей поэме — «Девушка Карла» — создает вполне реалистическую картину Милана наших дней. Поводом для написания этой поэмы послужил рассказ о девушке — конторской служащей, которая по субботам принимает большую дозу снотворного, чтобы проспять до понедельника, о девушке, заблудившейся в «цементных лесах» большого и враждебного ей города.

— Ни одна эстетическая программа, будь то даже самая глупая программа, не обладает сама по себе способностью уничтожить тех, кто под ней подписался, — заметил известный западногерманский поэт Энциенсбергер.

Среди художественных произведений неоавангарда наибольший интерес критики вызвало творчество Сангвинети. Написанный им в самом начале литературной работы цикл стихотворений под общим названием «Лабиринт» может служить образцом поэзии, рассчитанной на полный разрыв связи с читателем. Критик Лучиано Де Марио видит в этом цикле «описание нервного ис-

¹ ГЖ — голос женщины, М₁, М₂, М₃ — 1-й мужской голос, 2-й мужской голос, 3-й мужской голос.

тошения, обусловленного более общим нервным истощением исторического характера». «Лабиринт» вдобавок написан не на одном лишь итальянском языке и представляет собой некий современный «Вавилон», в котором, лишенные видимой связи друг с другом, перемешаны элементы средневековой латыни, греческого, итальянского и других языков. В этом цикле эротические мотивы переплетены с мотивами социологическими. В некоторых разделах «Лабиринта» Сангвинети появляются, однако, и определенные политические темы. Однако эти темы и мотивы резко не совпадают с «поэтическим хаосом» всего произведения.

Так, внутри туманного, лишённого ясности и определенности повествования вдруг встречаешь такой отрывок:

«... (на чердаке виа Пьетро-Минка) мы с женой написали «Да здравствует ИКП» (в каждом углу)

Я написал это трижды

Над

Камином; и моя жена сказала, но здесь Гнездо фашистов

И мы написали да здравствует ИКП с яростью написал я на стенах

Выцарапал надпись ключом».

В следующем цикле «Чистилище ада» стихи Сангвинети становятся значительно ясней и доступней, но при этом они делаются и схематичнее, все больше приближаясь к простому переложению его теоретических и критических тезисов.

Наиболее известен роман Сангвинети «Итальянское каприччио», в котором реальные события, история одной семейной драмы, рассказаны через призму сновидений.

Как уже было сказано, очень важен вопрос о зависимости неоавангарда от некоторых особенностей развития капиталистического общества последних лет, которые на Западе принято обозначать как неокapиталистические. Вопрос этот широко обсуждается в итальянской критике.

Само возникновение неоавангарда находится в теснейшей связи с такими характерными для современной фазы капитализма явлениями, как возникновение и развитие «культуры для масс».

Проблема «культуры для масс» («масс-культ») и связанная с нею проблема массовых средств информации — печати, радио, телевидения и т. д. («масс медиа») — находятся сейчас в центре внимания западной

интеллигенции, в первую очередь писателей. Эти проблемы обсуждались на конгрессе Европейского сообщества писателей, на конгрессе Пен-клуба в Блэде (Югославия) и на последнем конгрессе Пен-клуба в Нью-Йорке (июнь 1966 года).

Устроители последнего писали: «В подходе к теме этого конгресса выражена озабоченность писателя воздействием сил, которые сегодня содержат в себе более серьезную угрозу литературе, нежели угрозу со стороны цензуры или догматизма. Эта угроза направлена против самого творчества писателя, против его концепции собственных функций и целей».

В условиях развитого капиталистического общества появляется возможность массового, серийного, технически доброкачественного воспроизводства и распространения «изделий культуры» (книги, репродукции картин, записи музыкальных произведений и т. д.). Производство этих изделий подчиняется тем же закономерностям, что и остальные отрасли потребительской продукции. Серийность производства обуславливает его стандартный характер и вместе с тем позволяет снабжать потребителя недорогими и технически доброкачественными изделиями.

Сами же условия серийного производства здесь, как и в любой другой области производства, приводят к его максимальной концентрации.

Возьмем издательское дело. Прежде всего следует отметить огромную его концентрацию в руках немногих издателей. Фактически сегодня книжный рынок в развитых странах Западной Европы и США контролируется весьма ограниченным количеством издательств. В сущности, в таких странах, как Франция, Италия и Англия, преобладающая доля книг выпускается на рынок пятью-шестью монополизированными издательствами.

Ряд соглашений между издательствами как внутри одной страны, так и в международных масштабах предусматривает возможность почти одновременного выхода одних и тех же книг на разных языках, чему немало способствует также система международных литературных премий, все более превращающаяся в орудие издательской рекламы и обеспечения коммерческого успеха той или иной книги. В сущности, десять или пятнадцать крупнейших издательств

буржуазного мира сегодня обладают возможностью (и реализуют ее) навязать миллионам читателей в самых различных странах те или иные книги.

Деятельность этих крупных издателей основана не только на очень точно поставленном изучении читательских вкусов («Потребитель никогда не знает, чего он хочет, но обычно знает, что ему нравится», — сказал как-то руководитель сети американских «супермаркетов»), но главным образом на активном формировании этих вкусов.

Разумеется, издательства западного мира тратят на рекламу своей продукции огромные средства — не меньше, чем загрыты на рекламу в других областях промышленности. Однако само понятие рекламы значительно расширилось и давно вышло за рамки представлений о пресловутой рекламе кока-колы, по поводу которой так много у нас писали в свое время. Для организации рекламы книжной продукции крупные издательства сегодня привлекают на службу серьезных, известных писателей.

Как уже отмечено, к сфере рекламной деятельности относится и влияние международных литературных премий, и прямое использование литературной критики для массового воздействия на потребителей книжного рынка.

В этом ряду явлений следует рассматривать и тенденцию к «мифологизации» модного писателя, к превращению его в некое подобие кинозвезды. Портрет писателя на обложке «Лайфа» есть, скажем, одна из гарантий такого рекламного успеха; с этим же связано смакование иллюстрированной периодикой мельчайших подробностей личной жизни писателя, обыгрывание «сенсационных» сторон его деятельности.

Конечно, это тоже все не просто реклама, а продуманная система психологического воздействия на массы, сознательное, идеологически направленное формирование их вкусов и духовных потребностей при очень точном учете того, что сегодня может «понравиться» или «не понравиться» массовому читателю.

Вся эта деятельность крупных издательств носит плановый характер. Концентрация издательств, их капиталов и большие доходы позволяют осуществлять многолетнее планирование в выгодном для издательской промышленности направлении.

Одной из важных форм деятельности крупных издательств сегодня является пе-

реход к выпуску массовых, так называемых карманных серий дешевых изданий, всех этих «покот букс», «пейпер бэкс», «ливр де пош» и т. д. Стоимость этих книг в среднем в четыре-пять раз ниже обычной стоимости книги, а тиражи (если взять данные по Западной Европе) превышают обычные тиражи в двадцать — сорок раз. Тиражи такого рода изданий даже в странах с относительно невысокой емкостью книжного рынка (в таких, как Франция и Италия) достигают ста — двухсот тысяч экземпляров.

Любопытно, что рядом с массовыми сериями крупные издательства практикуют сейчас выпуск предельно дорогих книг, распространяемых тиражом в пятьдесят или сто экземпляров. Такая традиция, всегда существовавшая во Франции, сейчас приобрела довольно широкое распространение и в ряде других стран. Издания этого типа, предназначенные для очень богатых людей, обычно иллюстрируются известными художниками. В качестве курьеза упомяну, что книжка, содержащая переводы десяти стихотворений советских поэтов и снабженная литографиями известных художников, была недавно выпущена в Италии тиражом в сто экземпляров и продавалась по цене примерно 1500 долларов за каждый.

Следует сказать, что в карманных сериях выпускается не только «желтая» литература, но и произведения настоящей литературы, наиболее значительные произведения современных писателей и произведения классиков. Оценка этого явления не так проста, как кажется на первый взгляд. Что ж дурного в выходе произведений Флобера или Сартра карманными изданиями тиражом в сто — двести тысяч экземпляров? Их покупают и читают — и это, разумеется, хорошо. Правда, читают не всегда — покупку часто диктует реклама, мода, дешевая цена, привычность типа издания, внешняя «подверстанность» к устоявшимся образцам легкой литературы.

Но главное — их выход, их появление на рынке, их доступность (наряду с доступностью репродукций произведений живописи, музыкальных записей и т. д.) не обуславливаются ростом культурного уровня читателя, не подготовленного всеми условиями своего существования в обществе к их восприятию.

Обращает на себя внимание, что сегодняшнее искусство неоавангарда получает сознательное поощрение со стороны хозяев

«культурной индустрии». Не является ни для кого секретом, что к работе в крупных издательствах и массовых литературных изданиях, рекламирующих их продукцию, привлекаются писатели, художники и критики, исповедующие и проповедующие неавангардистские воззрения.

Весьма любопытно в этом плане высказанное в ходе недавней дискуссии о неоавангарде в Италии соображение Альберто Моравиа. Этот списанный за «традиционность» автор прямо утверждает, что авангард находится на службе неокapитализма. По утверждению Моравиа, задача неоавангардистских художников сводится к созданию шаблонов, по которым впоследствии осуществляется серийное производство изделий массовой культуры.

Поскольку производство предметов массовой культуры подчинено тем же закономерностям, что и производство других предметов потребления, нам кажется необходимым остановиться еще на одной особенности так называемого «потребительского общества» в странах современного развитого капитализма. Речь идет о так называемой «маниакальной фазе» потребления, или такой фазе потребления, которая уже не определяется реальными, подлинными потребностями человека. Развитие именно таких форм потребления предвидел Маркс: «*Безмерность и неумеренность* становятся их (денег.— Г. Б.) истинной мерой. Даже с субъективной стороны это выражается отчасти в том, что расширение круга продуктов и потребностей становится *изобретательным* и всегда *расчетливым* рабом нечеловечных, рафинированных, неестественных и *надуманных* вождельний. Частная собственность не умеет превращать грубую потребность в *человеческую* потребность. Ее *идеализм* сводится к *фантазиям, прихотям, причудам*, и ни один евнух не льстит более низким образом своему повелителю и не старается возбудить более гнусными средствами его притупившуюся способность к наслаждениям, чтобы снискать себе его милость, чем это делает евнух промышленности...»¹.

«Маниакальный» характер потребления проявляется не только в усилённом стимулировании потребления отдельных предметов при недостаточном удовлетворении дру-

гих, более насущных потребностей (слишком много автомобилей и телевизоров — и слишком мало больниц и школ), но и в усгановке на чрезмерно частую, не обусловленную реальными потребностями смену предметов потребления. Вполне пригодные предметы (скажем, автомобили, радиоприемники, одежда) выбрасываются, заменяются другими предметами под давлением нарочито вызываемых изменений моды, то есть вкусов. Машина с новой формой кузова или новый холодильник покупаются Смитами не потому, что они лучше прежних, а потому, что у Джонсов, которых уже успели уговорить, появился автомобиль с новой формой кузова и ездить в прежней машине становится неммыслимым.

Рассчитанная на потребителя промышленность действует, исходя из принципа как можно более частого изменения вкусов. Принадлежащий к «массовому потребительскому обществу» человек бессилён противостоять этому диктату.

Американский социолог Эрих Фромм в очерке «Отчуждение при капитализме» пишет:

«Наше стремление к потреблению утратило всякую связь с реальными потребностями человека. Ранее идея потреблять все больше и лучше была связана со стремлением сделать человека счастливее, дать ему более удовлетворительную жизнь. Потребление было средством, ведущим к определенной цели — к счастью. Сейчас оно стало самоцелью... Люди сегодня находятся под влиянием возможности покупать больше, лучше и, особенно, покупать новые вещи. Современный человек потребительски голоден. Акт покупки и потребления перестал быть рациональной целью, поскольку он стал самоцелью.. Мечтой каждого становится купить последнее изобретение, последнюю модель, появившуюся на рынке, и по сравнению с осуществлением этой мечты реальное наслаждение, доставляемое приобретенным предметом, носит совершенно второстепенный характер. Современный человек, если бы мы хотели выразить его представление о рае, описал бы его как самый огромный в мире универсальный магазин, в котором продаются новые вещи, и самого себя — как человека, который обладает достаточным количеством денег для того, чтобы все эти предметы приобрести. Сам он мыслит себе жизнь в раю следующим образом. Он бродит по этому райскому магазину, полному

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. Госполитиздат. М. 1956. стр. 599—600.

технических новинок и предметов удобств, комфорта, с раскрытым от удивления ртом, забиться лишь о том, чтобы покупать все больше и больше новых предметов, и, может быть, немного озабоченный тем, чтобы его соседи находились в менее привилегированном положении, чем он».

Обладание вещами становится мерой уверенности человека в себе, мерой его психологической уравновешенности. Известный американский писатель Джон Чивер в одной из бесед привел такую любопытную формулу, характеризующую психологию современного человека: «Не страдай, не отчаивайся — купи что-нибудь».

О том же явлении пишет и Э. Сангвинети в одном из своих неожиданно «ясных» стихотворений, опубликованных журналом «Новый мир» (№ 9, 1966) в превосходном переводе Е. Солоновича:

Ну поплачь, поплачь — я куплю тебе синюю пластмассовую саблю, холодильник «бош» в миниатюре, терракотовую копилку, тетрадку

с тринадцатью линейками, акцию «Монтелатини»¹;

ну поплачь, поплачь — я куплю тебе маленький противогаз, пузырек тонирующей министуры, робота, катехизис с цветными картинками, географическую карту

с победными флажками;

ну поплачь, поплачь — я куплю тебе большущего кашалота из губчатой резины, рождественское дерево, пирата с деревянной

ногой, складной нож, красивый осколок красивой ручной гранаты;

ну поплачь, поплачь — я куплю тебе столько марок

Алжира, столько фруктового сока, столько деревянных голов, столько голов мавров, столько голов мертвых;

смейся, смейся — я куплю тебе братика, чтобы ты называл его по имени, чтобы ты называл его Микеле.

Как уже говорилось, для психологии мелкого буржуа доминирующим становится стремление к постоянной замене предметов потребления вне зависимости от реальных потребностей. Этим же закономерностям подчиняется и спрос на изделия «культурной индустрии». В последние годы одна формальная новинка с поразительной быстротой заменяется другой; скажем, публика еще не успела как следует привыкнуть к

¹ Крупнейший в Италии химический концерн.

«поп арту», как на смену ему появился «оп арт», который уже, кажется, тоже сходит со сцены. «Еженедельно, ежедневно нужно сообщать о новом потрясающем шедевре, а на следующий день иметь новый шедевр для замены вчерашнего», — говорил на конгрессе Пен-клуба в 1965 году Артур Миллер, избранный президентом этой международной организации.

Может быть, в этом и следует искать одну из причин частой смены манер, стилей, направлений в современном западном искусстве и литературе. Создатели экспериментальных псевдоновинок на деле обслуживают хозяев «культурной индустрии». В такой не слишком приглядной и не слишком завидной роли выступают в условиях современного капиталистического общества представители сегодняшнего формалистического неоавангарда.

Однако вопрос не сводится только к отношениям, которые устанавливаются между «культурной индустрией» и экспериментальными формами искусства. В числе выбрасываемых столь массово на рынок произведений искусства, вне сомнения, есть и произведения, авторы которых стоят на позициях критики буржуазного общества. Возникает парадоксальное положение, при котором произведение искусства, цель которого состоит в критике системы, поглощается самой системой, превращается ею в товар, функционирует в рамках, отведенных этой системой. Хозяева «культурной индустрии», хозяева капиталистического мира «продают» направленное против них искусство, в сущности низводя художника до роли шута, которому все дозволено — хотя бы потому, что он безопасен.

В одной из своих ранних интереснейших работ «Что такое литература?» Жан-Поль Сартр уже говорит об этом стремлении современной буржуазии видеть в литературе занятие, в сущности, безобидное. «Наши далекие предшественники, которых мы вряд ли заслуживаем, подготовили революцию; правящий класс полтора века спустя еще оказывает нам честь, немного (самую малость) нас поблаживая, но наши лондонские коллеги, не обладающие столь слазными воспоминаниями, никому не внушают страха, их считают абсолютно безобидными...»

В статье критика В. Страда в журнале «Ринашита» от 17 мая 1966 года содержится любопытная характеристика этого процесса «нейтрализации» искусства:

«В обществе, которое превратило терпимость в орудие подавления, большинство писателей и интеллигентов, к взаимной собственной выгоде и к выгоде правящего класса, контролирующего социальную действительность, осуществляет роль мухи, усевшей на спине слона... Парадоксальным — но лишь на первый взгляд — является положение, создавшееся в обществе, где власть буржуазии, рассматривающая себя как извечную власть, нейтрализовала искусство, утверждающее торжество субъективного разума, и заключила его в рамки той посредственности, которая как раз унижает и отрицает этот разум».

Такое положение признается и лидером итальянского неовангарда Сангвинети, который утверждает, что неокapитализм «нейтрализует искусство».

Превращение издательского дела в одно из наиболее монополизированных отраслей массовых средств информации («масс медиа») приводит к невиданным до сих пор формам прямого воздействия на писателя со стороны хозяев этой отрасли промышленности.

«Мы как бы приходим к положению, — пишут организаторы конгресса Пен-клуба 1966 года в Нью-Йорке, — при котором издатель журнала диктует, какими словами пользоваться, навязывает свой «фирменный» стиль и решает, на какие темы должны писать его сотрудники. Все чаще и чаще говорят о том, как издатель осуществляет замысел книги, предлагая ее сюжет и доходя даже до определения развития самого сюжета. Создание таких книг больше зависит от ловкости тех, к кому обращаются с подобными предложениями, чем от их собственных ресурсов».

Непосредственное вмешательство крупных издательств в творческий процесс писателя принимает особенно широкий характер в США. Однако и в странах Западной Европы все больше распространяются такие методы. Вот что было сказано по этому поводу, например, на дискуссии, проведенной в 1964 году итальянским радио на тему «Литература в годы экономического подъема»: «Ни для кого не является секретом, что в США две трети романов, почти девять десятых популярной публицистической литературы испытывают на себе редакционное воздействие экспертов, которым поручают упорядочить материалы, нивелировать стиль, внести в оригинальный текст свои «наход-

ки». Трудно сказать, чтобы в Италии существовала подобная профессия. Мы уверены, что если бы она появилась, никто из итальянских писателей не признал бы ее существования. И тем не менее чем же иным занимаются вот уже несколько лет десятки писателей, получающих высокие оклады в крупных издательствах?»

А вот что говорит французский социолог Э. Морин по поводу стандартизации культуры: «В США, в Англии, во Франции наблюдается постоянное уменьшение числа журналов и еженедельников низкого уровня и увеличение числа изданий, находящихся на среднем уровне. Посредственность в самом точном смысле этого слова начинает преобладать... Посредственность уравнивает все: она благоприятствует средней эстетике, средней поэзии, среднему таланту, средней смелости, среднему уму, средней глупости, массовая культура является средней в своих устремлениях, поскольку она является культурой, приводящей к общему знаменателю людей различного возраста, пола, класса, поскольку она связана со всей естественной средой общества, в котором развивается средний человек, со средним уровнем жизни».

Конкретные формы вмешательства «культурной индустрии» в творческий процесс иногда кажутся почти неправдоподобными. Года три тому назад автор этих заметок был на обеде в Женеве, устроенном после окончания международной встречи литераторов. Он оказался за столом с одним солидно выглядевшим господином, разговорился с ним и получил от него визитную карточку, на которой было написано: «Н. Н. — literary advertiser» (литературный советник). Поначалу казалось, что это упомянутое на визитной карточке занятие ее владельца в чем-то соответствует работе литературного консультанта при наших издательствах. Но Н. Н. разъяснил, что это не совсем так, что его профессия во Франции носит уникальный характер и пока еще не привилась, хотя сам он надеется на лучшее будущее. Сущность этой профессии в следующем: вместе с автором делать такую книгу, какая нужна издателю. Он находит автора, чаще всего малоизвестного, подсказывает ему нужную тему и «работает» вместе с ним над ее «воплощением». Выяснилось, что роль его двойная: она сводится к нахождению для издательства удобных и почти безмянных авторов и к «реализации» вместе с ними таких

книг, которые «нужны» издательству, то есть могут сегодня иметь хороший сбыт. К счастью, во Франции он пока еще чувствует себя белой вороной, хотя уверенно смотрит вперед, ссылаясь на пример американских издателей, которые давно уже пользуются услугами подобного рода «литераторов».

Сказанное выше об издательской промышленности в условиях развитого капиталистического общества еще в большей степени относится к другим средствам массовой информации (радио, телевидение, кино и т. д.). Анализу воздействия «масс медиа» посвящен ряд интересных работ, вышедших на Западе (прежде всего в США).

Определяя тотальный характер воздействия массовых средств информации на человека, крупный американский социолог Райт Миллс в своей книге «Массовое общество» писал:

«1. «Масс медиа» сообщают человеку, члену массового общества, кем он является, и дают ему ощущение тождества (с предлагаемыми ими образцами).

2. Они сообщают человеку, чего он хочет, — они дают ему желания.

3. Они сообщают человеку, как добиться того, чего он хочет, — они дают ему технику (осуществление).

4. Они сообщают ему, как чувствовать себя кем-то, даже если он этим кем-то не является».

Такова, по мнению Райта Миллса, формула массовых средств информации. Он утверждает, что это есть «формула псевдомира, изобретенного и поддерживаемого при помощи массовых средств... Воспитательная функция массовых средств не только обречена на провал, но становится злой силой».

Р. Миллс и другие американские социологи с особым вниманием относятся к одной из наиболее существенных проблем, связанных с воздействием массовых средств информации, — с использованием их как орудия власти, как орудия управления обществом.

И действительно, в определенных условиях, характеризующих развитое капиталистическое общество, осуществление тотального контроля над обществом возможно и без широкого использования массовых средств принуждения (например, концлагеря, гюрмы и т. п.). Для этого необходимо одно условие — тотальный контроль над

средствами информации, контроль над формированием стандартного коллективного мышления масс. Чем ненавязчивей связи этих форм контроля с непосредственным механизмом власти, тем действеннее такой контроль по существу. Человека убеждают, что ему нужно именно то, что в действительности нужно небольшой группе лиц, стоящих у власти.

Проблема взаимосвязи неоавангарда и неокapитализма посвящен интересный очерк Джан Франко Вене «Социологические истоки неоавангарда». Он также именно к началу шестидесятых годов относит отход итальянских литераторов от реализма, появление неверия в возможности изображения реального мира. Этот «кризис реализма» привел к возникновению неоавангарда, к усилению эстетических формалистических течений.

Дж. Вене приводит изречение, напечатанное на обложке одного из изданий неоавангардистов: «Авторы — левые писатели. Приди они в литературу десять лет тому назад, они бы занимались не «аформальной» поэзией, а социалистическим реализмом».

Одна из особенностей неоавангарда состоит в том, что его представители, отвергающие посредничество идеологии как таковой, полагают, будто их занятие «аформальным» искусством служит революционным задачам в марксистском смысле слова. В любом случае политические представители неоавангарда стремятся представить свое движение как левое и революционное. При этом, по мнению автора очерка, возникают следующие вопросы:

1. Является ли возникновение неоавангарда результатом нового революционного сознания в условиях развития буржуазного общества или же оно представляет ту степень «отчаяния», до которого само буржуазное общество довело оппозиционную к нему культуру?

2. Следует ли рассматривать неоавангард лишь в рамках буржуазности или он соотнесен и с развитием марксизма?

3. Существует ли подлинная непримиримость между буржуазной идеологией и неоавангардистским «видением» действительности?

Сумма этих вопросов, разумеется, самым непосредственным образом касается наиболее острого вопроса о связях между нео-

авангардом и современным капиталистическим обществом

В Италии некоторые критики связывают возникновение неовангарда с кризисом неореалистического искусства. Некоторые правые критики любят изображать дело таким образом, будто неовангард в своем отрицании роли идеологии выступает как реакция на «чрезмерную идеологизацию» итальянской культуры в послевоенные годы.

С этой позиции Вене анализирует историю итальянского неореализма, утверждая, будто это направление в искусстве «тащилось на буксире за прогрессистскими политическими требованиями».

В период между пятидесятыми — шестидесятыми годами, говорит далее Вене, многие осознавали необходимость перехода от неореализма к реализму. При этом понимали, что такой переход должен явиться отказом от поверхностного приложения идеологии к литературе. Попытки развития подлинного реализма были направлены к изображению человека во всей сложности его диалектических связей с действительностью. Наибольший интерес в те годы, по мнению Вене, вызвал роман Васко Пратолини «Метелло».

«Наступление неокapитализма, начавшееся во второй половине пятидесятых годов, сопровождалось ослаблением «холодной войны» и быстрым превращением мелкой и средней индустрии в крупную. Эти социальные преобразования совпали по времени с возникновением первых попыток неовангардистского искусства. Связь между неокapиталистическим обществом и неовангардом совершенно очевидна», — утверждает Вене.

Одна из особенностей неокapиталистической идеологии состоит в стремлении изобразить современное развитие капитализма как некий выход из зол и бед старого капитализма. В этом, кстати, выражено изменившееся отношение неокapиталистической идеологии к марксизму. Тупое отрицание марксизма сменилось весьма своеобразным его «признанием». Сегодня идеологи неокapитализма готовы «признать» справедливость марксистской критики буржуазного общества с одной лишь оговоркой — будто эта критика относится к капитализму старого типа, к раннему капитализму, к «палеокапитализму» и, собственно, бичует те пороки, которые «исправлены», «преодолены» современной фазой капиталистического развития.

От «чистой» теории легко переходят к пропагандистской практике. Вот, например, вышедший на русском языке и приуроченный к недавно открывшейся в Москве выставке проспект «Современная архитектура в ФРГ», в котором все «сложности» неокapиталистической доктрины преподносятся в предельно доступном и отнюдь не ограниченном архитектурой изложении:

«Ранний капитализм, проанализированный и критикованный Карлом Марксом, породил технически прогрессивные, но и неприглядные, узкоутилитарные сооружения, служащие производственным целям. Для трудового народа, который эксплуатировался этим капитализмом, были построены безрадостные, однообразные доходные дома, в которых должны были жить рабочие, жить скученно, в плохих гигиенических условиях, без воздуха и солнца, без садов, в которых могли бы играть их дети. Если взглянуть на современную немецкую архитектуру, то это время представляется чем-то очень далеким. Ранний капитализм и типичная для него чванливо-самоуверенная буржуазия в ходе двух мировых войн перестали быть социальной действительностью».

Конечная цель подобных операций состоит в том, чтобы дискредитировать марксизм и доказать его якобы несостоятельность перед лицом новой действительности. Идеологи неокapитализма стремятся, например, отрицать такие мистифицированные еще старым капитализмом обстоятельства, как характер зависимости рабочего

«Неокapиталистическое общество сегодня выступает не с отрицанием старой буржуазной морали... а как общество, которое должно оплатить издержки собственного современного развития утратой любой морали, невозможностью целостного, тотального представления о действительности... Неокapитализм стремится «оторвать» от себя собственные характеристики, присвоив их всей действительности в целом. Он сам становится демистификатором и признает отчуждение, однако решительно отрицает возможность развития общества какими-либо иными путями», — пишет Джан Франко Вене. Одна из важнейших установок идеологов неокapитализма сводится к попыткам доказать, что «индустриальное общество» везде обладает одинаковыми чертами, независимо от капиталистического или социалистического характера промышленного развития.

Нет сомнений в том, что наиболее прочные корни неоавангарда заключены в самой действительности неокapитализма. Ведь, в сущности, неоавангард исходит из уверенности в том, что политическая и идеологическая оппозиция капитализму в современных условиях бесплодна.

Должно быть, не случайно и то, что представители неоавангарда никогда не испытывали сколько-нибудь серьезных практических материальных затруднений. В сущности, их взгляды с самого начала широко распространялись и рекламировались с использованием всех средств массовой «культурной индустрии». Крупнейшие издатели печатали и печатают произведения неоавангардистов даже в тех случаях, когда подобного рода издания не сулят непосредственной коммерческой выгоды. Да и сами деятели неоавангарда быстро получили доступ к контрольным постам «культурной индустрии» — стали консультантами крупнейших издательств, получили выход на страницы больших буржуазных газет, на экраны телевидения. Неоавангард современен, ему сопутствует успех. постарайтесь не утратить открывающиеся перед вами возможности, идите на сговор с неоавангардом, поддерживайте его, если не хотите остаться позади, прослыть отста-

лыми, устаревшими, ненужными, — таков смысл всех практических мер поддержки неоавангарда. Отсюда и нашумевшая формула: «Садитесь в автобус, пока не поздно».

Но дело не только в этом. Неокapиталистическое общество стремится изобразить себя как некую систему, представляющую абсолютную новизну. Необходимость обновления товаров — неизбежная принадлежность потребительского общества — способствует созданию того двусмысленного положения, при котором новизна в искусстве сводится к ошеломляющему воздействию. Такой задаче формального «обновления» вполне соответствовал неоавангард. При этом неоавангард отвергал цельность видения мира, стремясь к воссозданию в искусстве мира в хаотическом состоянии.

В отказе от целостной картины мира и возможности ее познания через научное мировоззрение заключено основное сходство между взглядами представителей неоавангарда и идеологами неокapитализма. Неоавангард не только производное неокapиталистического общества, но находится с ним в согласии по наиболее существенным вопросам, и это согласие сохраняется, несмотря на все антибуржуазные декларации неоавангардистов.



Полвека советской литературы

НИК. СМИРНОВ

★

А. С. НОВИКОВ-ПРИБОЙ СРЕДИ ДРУЗЕЙ

I

Алексей Силыч Новиков-Прибой — Силыч, как попросту звали его родственники, друзья и знакомые, — пользовался единодушным уважением в литературных кругах.

Невысокий и коренастый «морской волк» с морщинистым, смугло-задубелым лицом монгольского склада, с крепко «посоленными» усами и с лысиной во всю голову, — он вызывал у всех, встречавшихся с ним, приветливую улыбку на губах и теплоту в сердце.

Наделенный от природы большим умом, не лишенным «мужицкой» хитринки, Силыч обладал тонким и острым чувством юмора. Его на редкость живые глаза до конца дней сохраняли блеск молодости, чисто детское восхищение жизнью, а иногда и насмешливость.

В простонародном облике Силыча сквозил и романтический оттенок: старый, выдавший виды матрос, овеянный ветрами чуть ли не всех морей и океанов, он прошел через огненную купель Цусимы, извдал как революционер тяжесть изгнания и горечь хлеба на чужбине.

Силыч не мог говорить о море спокойно: лицо его оживлялось, голос становился проникновенным, как при чтении стихов.

Он очень любил старинные книги о плаваниях Колумба и Магеллана, Беринга и Хабарова, подолгу любовался их цветными гравюрами — бригами и фрегатами в расцветенных парусах, белыми чайками среди черных скал, таитяньскими красавицами, сказочными городами Индии, таинственными джунглями, хищными леопардами и мурьими слонами.

На его письменном столе стояла изящная

перламутровая раковина, и он часто слушал, беря ее в руки, тот странный и волнующий шум, который так остро напоминает о морских волнах, омывающих прибрежные камни.

На стене его кабинета висела великолепно выточенная модель морского корабля, и писатель, отрываясь от работы, радостно всматривался в него, повторяя иногда чудесные бунинские строки:

Как старым морякам, живущим на покое,
Все снится по ночам пространство голубое
И сети зыбких вант; как верят моряки,
Что их моря зовут в часы ночной тоски,
Так кличут и меня мои воспоминанья:
На новые пути, на новые скитанья
Велят они вставать...

II

В Центральном государственном архиве Военно-морского флота сохранились интересные документы о революционной деятельности баталера 1-й статьи Алексея Новикова.

Так, в донесении министерства юстиции Николаю II о революционной пропаганде среди матросов Кронштадта (апрель 1903 года), между прочим, говорится:

«В артиллерийском отряде выдающееся значение приобрел баталер 1-й статьи Алексей Новиков, происходящий из крестьян Тамбовской губернии... Означенный Новиков представляется заметно развитым человеком среди своих товарищей и настолько начитанным, что в беседах толково рассуждал о философии Канта. Ближе других сослуживцев к Новикову стоял квартирмейстер Кузьма Шубников — крестьянин Вятской губернии. Эти лица также сумели сформировать около себя кружок матросов...»

В другом документе — в конфиденциальном отношении министра внутренних дел В. К. Плеве к управляющему морским министерством адмиралу Авелану (от 16 июня 1903 года) — содержатся некоторые подробности работы матросского кружка, организованного при ближайшем участии А. Новикова:

«Осенью 1902 г. возникли преступные сношения квартирмейстеров-артиллеристов Шубникова и Новикова со студентом Герасимовым, снабжавшим их нелегальными изданиями.

Сношения матросов со студентом Герасимовым возникли в помещении воскресной школы, состоящей при доме трудолюбия, где Герасимов помогал сестрам-учительницам в преподавании грамоты: в одно из своих посещений Герасимов прочел группе, состоявшей преимущественно из матросов, несколько произведений Некрасова, давая при этом объяснения по вопросам, касавшимся дореформенного крестьянского быта, а по поводу прочитанного стихотворения «Дедушка» одним из слушателей был возбужден вопрос о том, кто такой упоминаемый в этом стихотворении ссыльный. Наиболее развитой квартирмейстер Новиков, ответив, что указанный ссыльный был декабристом, обратился к Герасимову с просьбой рассказать им что-нибудь о декабристах, что и было предметом последующей лекции того же студента. На почве этих совершенно бесконтрольных беседований у Герасимова завязались отношения с указанными матросами, которые обратились к нему с просьбой снабдить их нелегальной литературой; просьба эта была исполнена при содействии другого студента, и этим путем матросам было передано около сорока экземпляров брошюр и журналов подпольного издания, каковые они приобретали и помимо названного Герасимова...

Дознанием при этом установлено, что отлучки матросов в Петербург допускались довольно свободно и ездивший к студенту Герасимову за книгами квартирмейстер Новиков пробыл с этой целью в столице два дня. Самые же брошюры, книги и газеты свободно проносились в казарменные помещения, где и хранились в сундуках и койках».

В марте 1903 года наиболее видных участников кружка арестовали. Среди них на-

ходился и баталер Новиков. Следствие продолжалось три месяца, но благодаря стойкости и мужеству арестованных судебные органы не могли собрать достаточных «улик», и в конце мая все они были освобождены, но отданы «под ближайший надзор военно-морского начальства».

В «Искре» (№ 42 от 15 июня 1903 года) публиковалась информация об аресте членов кружка.

С началом русско-японской войны А. Новиков получил назначение на броненосец «Орел», отправлявшийся в составе 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток.

В архивных материалах Военно-морского флота сохранился, между прочим, дневник одного из офицеров, в котором имеется запись о том, что в пути «велась между низшими чинами пропаганда революционного направления и во главе ее стоял баталер Новиков — из очень развитых и начитанных самоучек... Отобранный у него старшим офицером дневник поражал литературностью изложения».

Еще служба во флоте, А. С. Новиков начал пробовать силы в литературе. В петербургском госпитале, куда он попал после японского плена, Алексей Силыч написал большой очерк о цусимском бое; очерк оказался напечатанным через одну дамупатронессу в газете «Новое время».

Вспоминая об этом в двадцатых годах, А. Новиков говорил:

— Было лестно, что тебя читает столько людей — (тираж у «Нового времени» был большой), — было приятно получить гонорар — (целых шестьдесят рублей!), — но и до слез обидно и досадно, что это — «Новое время» Суворина... Впрочем, вины моей тут не было: показывая очерк высокой даме, я не знал и не думал, что она его где-нибудь напечатает...

Меня познакомила с Алексеем Силычем его повесть «Ухабы», которую он в 1926 году принес в журнал «Новый мир», где я тогда работал.

Отдавая рукопись, А. Новиков-Прибой чувствовал себя несколько смущенным и почти безнадежно махнул рукой:

— Думаю, не пойдет — толстые журналы меня не жалуют...

Редактор журнала В. П. Полонский высоко оценил повесть как подлинно революционное художественное произведение.

Я позвонил Алексею Силычу, сказал, что

«Ухабы» печатаются в очередном номере, и уже по голосу его, мягкому и взволнованному, понял радость писателя.

Когда он пришел получать авторский экземпляр журнала, радость его сквозила во всем — и в том, как он листал страницы, возвращаясь неизменно к своей повести, и в блеске глаз, и в улыбке, придающей его лицу выражение юношеской веселости.

В тот раз он просидел в редакции очень долго, много рассказывал о своих скитаниях по белу свету, говорил о своих литературных планах, а узнав, что я охотник, бодро потряс мне руку.

— Значит, съездим как-нибудь вместе...

С тех пор я стал встречаться с Алексеем Сильчем довольно часто — и в журнальных редакциях, и в издательстве, и в его гостеприимном доме: он жил тогда в районе Арбата, в двух небольших комнатах — одна внизу, другаяверху.

В доме царил обстановка той сердечности, той непринужденной теплоты, которая напоминает тесный дружеский круг у охотничьего костра. Его долголетний неизменный друг — Мария Людвиговна, дочь русского эмигранта-революционера, целиком жила литературными интересами мужа.

III

Как человек общительный, быстро привязывающийся к нравившимся ему людям, Сильч постоянно был окружен друзьями. Наиболее близок он был в те годы с П. Г. Низовым, П. А. Ширяевым и А. В. Перегудовым.

Павел Георгиевич Низовой (Тупиков) и по внешности — простое, широкое и открытое русское лицо, — и по душевной мягкости, соединенной с твердостью воли, напоминал интеллигентного столичного рабочего, каким он и был в прошлом, с мальчиков работая в типографии. Он хорошо знал и любил типографский труд — черные, как бы в саже или ваксе, разнообразные узоры шрифтов, гулкий рокот и остро пахучий ветер типографских машин, мельканье свежих, насквозь влажных газетных листов и тяжесть только что отпечатанной книги. Он с детства много учился — и самостоятельно, путем самообразования, и на различных вечерних курсах — и скоро «выбил» в люди: стал (в 1912—1914 годах) редактором московского еженедельного лите-

ратурно-художественного и общественно-политического журнала «Живое слово», стоявшего на марксистских позициях и нередко подвергавшегося цензурным гонениям.

В журнале печатались писатели, поэты и публицисты демократического лагеря. Иногда помещались рассказы А. Н. Толстого.

П. Г. Тупиков печатался в журнале под псевдонимом П. Георгиев, но это была только проба пера. Он целиком отдался литературной деятельности только после Октября, написав роман «Океан» и ряд повестей и рассказов, в свое время пользовавшихся успехом. В «ЗИФе» издавалось собрание его сочинений.

Повести и рассказы П. Г. Низового отличались лирической мягкостью тона — у него чувствовалось иногда влияние Кнута Гамсуна — и своеобразной романтической окраской. Но им не хватало внутренней крепости, и притом они далеко не всегда откликались на запросы современности, и благодаря этому Низовой прошел в литературе «боковой» тропинкой, заросшей нехоженой травой. Но забыт он все же напрасно: из его литературного наследия можно выбрать томик хороших рассказов, до сих пор сохранивших тепло солнца и свежесть росы.

Человеком совсем другого склада и стиля был Петр Алексеевич Ширяев — высокий и стройный, с худым, изможденным, туберкулезным лицом, с удивительно высоким «сократовским» лбом и очень умными, острыми и насмешливыми глазами.

Даже во внешности его проступало нечто необычное: он носил кожаную куртку и краги и что-то усталое и печальное было во всех его движениях и разговорах.

Профессиональный политик, участник восстания на Пресне в 1905 году, долголетний эмигрант, обитатель Латинского квартала в Париже, — он являл собой тип традиционного русского интеллигента-бунтаря, не сознающего, однако, конечных целей бунтарства и замороженного романтикой «свободы, равенства и братства», воспринимаемых в отвлечении от классовой направленности.

Он принадлежал долгие годы к партии социалистов-революционеров, исповедовал их символ веры — «В борьбе обрешь ты право свое», — близко знал Бориса Савинкова и болес отдаленно Виктора Чер-

нова, и все это оставило в его душе глубокие и, видимо, болезненные следы.

Ширяев порвал с эсерством еще в 1918 году, умом и сердцем признав правоту большевизма в революции. Но прошлое не уходит бесследно, оно оставляет воспоминания, и Ширяев часто отдавался этим воспоминаниям—суровой увлекательности подполья, героизму ссылки и каторги, длительным этапам по сибирским дорогам, пахнувшим полынью, за душу берущим песням—«Слышен звон кандалный» и «Сбейте оковы, дайте мне волю»,—мог часами говорить о пресненских боях и о ловле заподозренного провокатора.

Он был в какой-то мере человеком с внутренним надломом, что, конечно, обострялось и его тяжелой болезнью.

Вместе с тем он с большим интересом и восхищением следил за развитием социалистического строительства и новой культуры в нашей стране.

— Да, это факт: только Октябрьская революция подняла к жизни и творчеству несметные народные пласты,—не раз говорил он.

Писать он начал еще в эмиграции.

В 1927 году Ширяев выступил с повестью «Цикута», посвященной старому революционному подполью, проявив себя недожинным мастером и сюжета и языка.

Затем в печати стали появляться бытовые и охотничьи рассказы Ширяева, а в начале тридцатых годов Гослитиздат выпустил его небольшой роман «Внук Тальони», имевший заслуженный успех. В романе живописно и с большим знанием описывался быт «лошадников» —наездников, жокеев, любителей бегов.

Ширяев сам был великолепным наездником. Несмотря на болезнь, он долго путешествовал верхом по Памиру, хорошо рассказав об этом в очерках «Высокая земля» на страницах «Нового мира».

Силыч, помнится, говорил о «Внуке Тальони»:

— Ух и здорово! После «Холстомера» и «Изумруда» —еще одна живая лошадь в литературе...—Он хитро усмехался и, пощипывая ус, добавлял: —А Бабелю-то какая доука! Он тоже долго трудился над романом о лошади —и вот тебе на!.. Сидит, говорят, и хватается за голову!

П. А. Ширяев умер в 1936 году. Остается только пожалеть, что его бурная жизнь и

его характер, скорее практически-действенный, чем раздумчиво-творческий, помешали ему полностью развернуть свой литературный талант.

Александр Владимирович Перегудов, самый близкий друг Силыча, закрывший ему вместе с Марией Людвиговной глаза в час кончины, обратил на себя внимание рассказом «Казенник», напечатанным в «Красной нови». Традиционно-обычный рассказ об охотнике, гончей собаке и лисице подкупал такой свежестью, что до читателя как бы вьвяв доходил аромат старого «казенного» леса, лай гончих и раскатистый звук выстрела.

Неисгошимый балагур и шутник, чуточку похожий на старинного «гудошника» из классической оперы,—Перегудов, человек сердечной доброты, с первой встречи оставил впечатление как бы старого друга: так легко, весело и непринужденно чувствовалось с ним.

Землемер по образованию, он еще в юности махнул рукой на свою профессию и отдался литературе, благо сызмальства привык довольствоваться лишь самым необходимым,—и жил в своем Дулёве¹ спокойно, радостно и беззаботно.

Перегудов —настоящий художник, трогательно влюбленный в красоту русской природы. Он, например, очень любит охоту, но не из-за добычи, а из-за того, что она еще теснее сближает его с природой. Иногда он за целый день охоты даже не снимет ружья с плеч.

Александру Владимировичу свойственны, скажем мягко, некоторая неподвижность, домоседство, что в известной мере ограничивает его писательскую работу, да и его творчество страдает своеобразной замедленностью, отставая иногда от больших возможностей художника.

Творческий мир Перегудова —не только природа и охота: он отлично знает и превосходно изображает рабочего человека и его труд. Его роман «В те далекие годы», выдержавший несколько изданий, рассказывает о старом (а частично и новым) быте текстильных рабочих, о тех русских мастерах-умельцах, которые достигали в своем деле настоящего искусства. Некоторые страницы романа напочинают узорной тонкостью письма словесную изощренность Лескова.

¹ Герод Московской области, славный фарфоровым заводом.

Наконец Перегудов — автор биографическо-исследовательской книги о Новикове-Прибое, которая и по богатству материала, почерпнутого сплошь и рядом из первоисточников, и по проникновению в глубину творчества своего писателя-друга остается пока единственной и незаменимой.

Не так давно (весной 1964 года) друзья Перегудова отметили — в доме А. С. Новикова-Прибоя — его семидесятилетие. Юбилей, в традиционном лавровом венке, слушал душевные приветственные слова, а со стены, с портрета, смотрел, как живой, Силыч, так глубоко любивший Перегудова...

И в душе поднималась все еще не утихшая боль о редкостном и милом человеке — авторе «Цусимы».

IV

Создание «Цусимы» напоминает находку заповедного клада.

Алексей Силыч, еще по горячим следам цусимской трагедии, собрал очень много интереснейших материалов и, возвратясь в Россию в 1914 году, привез их с собой. Из боязни обысков он спрятал их в надежном месте, на родине, в Матвеевском, и впоследствии никак не мог найти: это было одним из самых тягостных огорчений в его жизни.

Их нашел в конце двадцатых годов его племянник Иван Селиверстович, доставив Силычу поистине праздничную радость.

Надо было видеть Силыча, когда он разбирал пожелевшие газетные вырезки и записки, полупольные брошюры и прокламации, все еще как бы пахнувшие порохом и кровью, соленой морской волной и дымом разбитого, тонущего корабля.

Силыч оставил работу над охотничьей книгой «Два друга» — она так и осталась незаконченной — и целиком погрузился в работу над «Цусимой».

При встречах он с жаром рассказывал отдельные сцены из романа, восхищался героизмом русских матросов и офицеров, говорил, что он испытывает сейчас подлинное творческое счастье: «Ведь написать «Цусиму» — мечта всей моей жизни. »

После появления «Цусимы» А. С. Новиков-Прибой стал общепризнанным крупным писателем. О книге писали решительно во всех журналах — независимо от их направленности, о ней говорили на всех литературных собраниях.

«Цусима» еще теснее сблизила Силыча с писателями и неизмеримо расширила круг его знакомых и друзей.

Теперь в его квартире то и дело можно было встретить и сослуживцев по флоту — постаревших и поседевших, но все еще сильных и крепких матросов и офицеров, иногда с георгиевской ленточкой в петлице, — и советских военных моряков.

Со своими сослуживцами он весело, нередко на «соленом» морском языке, говорил о прошлом — «бойцы вспоминают минувшие дни...» — и с большим удовольствием слушал рассказы морскому молодежи.

— Какой это замечательный народ! — восхищался он советскими моряками, читателями «Цусимы». — Это люди не только больших военных знаний, но и сознательного служения родине, знающие, за что они, если понадобится, пойдут в бой.

Теперь Силыч располагал сравнительно большой квартирой с удобным кабинетом для работы, но от работы его отвлекали частые телефонные звонки и посетители, и по-настоящему работал он лишь за городом — чаще всего у Перегудова, в Дулёве, а иногда и в Усмани, у своего хорошего знакомого — писателя Леонида Николаевича Завадовского, автора интересной повести «Полова» и ряда рассказов из деревенской жизни.

Во время своих наездов в Москву Завадовский всегда бывал у Силыча и очень выразительно рассказывал о былом: этот выеонкий, суховатый человек с пятнами нездорового румянца на нервном лице прошел когда-то, до революции, через телесную и душевную муку политической каторги.

Увы, в тридцатые годы в связи с нарушениями революционной законности Завадовского постигла трагическая судьба. Впоследствии он был посмертно реабилитирован, и, видимо, кое-что из написанного им будет издано.

Кого только не приходилось встречать в доме Новикова-Прибоя! Как сейчас, видится неторопливо появляющийся в столовой Демьян Бедный. Он казался тяжеловатым и грузным, но у него была легкая, свободная, почти юношеская походка и широкое, с добродушной улыбкой лицо. Острыми и колкими были лишь его глаза.

Демьян Бедный был не только одаренным политическим и сатирическим стихотворцем, но и разносторонне образованным

человеком. Он отлично читал — в подлиннике — сонеты Шекспира и стансы Гёте, цитировал отрывки из «Декамерона», приводил на память замечательные выдержки из русских былин и народных сказок, помнил наизусть целые строфы из Пушкина и Лермонтова.

Большой книголюб, неутомимый путешественник по букинистическим лавкам, страстный охотник за литературными редкостями, — он мог часами с увлечением и горячностью беседовать о старой русской литературе, к которой относился с великой любовью. Внимательно следил он и за современной литературой.

Теплую струю дружелюбия и какого-то радостного света вносила в «сборища» у Новикова-Прибоя Лидия Николаевна Сейфуллина.

Ее маленький рост и полнота, особенно заметная в последние годы, кое у кого могли вызвать улыбку — впрочем, добродушную и ласковую, — но когда она сидела за столом, поражали прежде всего ее глаза — огромные, темные и красивые.

Она относилась к Силычу, как и к некоторым другим писателям — Никифорову, Бабелю, Ларисе Рейснер, Зазубрину, Пермитину, — с подинно дружеским чувством, которое не могло изменить или остудить ничто — ни литературная «опала», ни критические «разносы», ни суесловие и злословие тех или иных «приятелей», не щадивших ради красного и острого словца ближнего своего.

Принципиальная решительно во всем — и в личном и в общественном, — Лидия Николаевна до конца защищала своих друзей и могла с той же безоговорочной твердостью отстаивать «честь знамени врага» (разумея под «врагами» представителей противоположной литературной группы или ориентации). Она всегда с недоверием относилась к слишком скороспелым и раздутым той или иной группой «знаменитостям».

— Эх, Силыч, друг ты мой сердечный, да какой же он писатель, этот самый N? — скажет она, бывало, блестя глазами, — и начнется длительный и яростный спор, во время которого Лидия Николаевна, вся окутанная облаками табачного дыма, могла вскочить со стула и стукнуть кулаком по столу. Ее доводы и возражения бывали часто неотразимы и непреоборимы: эта маленькая женщина обладала острым и здравым логи-

ческим умом. Горячность суждений вытекала из ее убежденности.

Особенно яростно спорила она с Пильняком, тоже нередко посещавшим Силыча и даже посвятившим ему один из своих рассказов («Алексею Силычу, учителю»).

Лидия Николаевна находилась в довольно хороших отношениях с Пильняком, но недолюбливала его постоянное бравирование своим литературным «новаторством»: она органически отрицала все формалистические «изыскания» в духе Алексея Ремизова или Андрея Белого, считая их простым трюкачеством. Страстная и пламенная поборница реалистической литературы, литературы как могучей общественной силы, — она пошла бы за эти свои убеждения на костер или на плаху.

Пильняк же часто поддразнивал ее, и это особенно накаляло спор.

Борис Андреевич Пильняк (Вогау) был по-своему интересным и талантливым человеком и писателем.

Высокий, большеголовый и рыжеволосый, с крупными чертами лица, он чем-то напоминал дюжего детину, кулачного бойца из пригородной слободки. Но внутренне он был типичным интеллигентом «земской» складки, хорошо знавшим и чувствовавшим старую Россию. Глаза его из-за широких и толстых очков смотрели умно и чуть грустно. На губах все время струилась какая-то язвительная улыбка. Такую улыбку называли когда-то сардонической.

В своих первых — и наиболее удачных — рассказах (сборник «Былье») он шел от Чехова и Бунина, вдумчиво и строго показывая быт и людей предреволюционной и начальной революционной эпохи. Его роман «Голый год», посвященный времени военного коммунизма, и до сих пор не потерял, думается, документальной (да и художественной) значимости.

Однако в дальнейшем творчество Пильняка — вольно или невольно — все дальше уходило от главных запросов современности. Снедаемый жаждой славы, склонный, прямо говоря, к литературному авантюризму, страдавший переоценкой собственных творческих возможностей, Пильняк брался за особенно «острые», как ему казалось, темы из советской действительности, не будучи внутренне близким к ней.

И все же, если быть справедливым, имя Пильняка нельзя забывать: оно органически

связано с зарождением и становлением советской художественной литературы.

Бывал у Алексея Силыча и еще один интересный писатель — Артем Веселый (Николай Иванович Кочкуров), творчество которого еще более органически сочетается с советской начальной литературной эрой. Широко известные в свое время его романы — «Страна родная» и «Россия, кровью умытая» — читались с горячим интересом: они с большой изобразительной силой и страстью показывали гражданскую войну. Правда, в обрисовке героических красных воинов сквозила иногда стилизация — они напоминали старинных бунтарей из понизовой вольницы буйного Степана, — но и это имело свое оправдание, поскольку творчество А. Веселого было приподнято-романтическим. Исторический роман Артема «Гуляй, Волга!» оттого так и удался автору, что он тонко и глубоко чувствовал бунтарски-вольнюлюбивую сторону русской национальной старины.

Биография Артема, личная и творческая, неразрывно связана с революцией, с комсомолом, со студенческими общежитиями, где до утра кипели споры о пролетарской культуре и о «небе в алмазах», уже загорающим над счастливой землей, с шумом красных знамен и звуками «Варшавянки», с бессмертными годами гражданской войны, испытанными «копытом и камнем».

Уже самый облик Артема — бритая голова, смуглый румянец, пронзительно-черные глаза, русская, чаще всего алая, рубаха, галифе и сапоги — наводил на мысль о комиссарах восемнадцатого года, обвешанных оружием и позванивающих серебряными шпорами на подшитых валенках.

Артему были свойственны и горестные раздумья, и бесшабашная удаля, помню, с какой страстностью пел он песню пленных антоновцев, полную безнадежного разгула:

Чтой-то солнышко не светит,
Над головушкой туман...
Вот уж пуля в сердце метит,
Вот уж близок трибунал.
Э-эх, доля, неволя, глухая тюрьма,
Долина, осина — могила темна.

Он был волжанином — родился и рос в Самаре, — и воспоминание о родной и великой реке, видимо, постоянно тревожило его поэзией странствий. Артем чуть ли не каждое лето отправлялся с женой и маленьким сыном в путешествие на лодке — то по Оби, то по Вятке, то по Оке, то по Волге.

Плыть, никуда не спеша, под солнцем и синим небом, варить на костре чай и уху, ночевать под звездами и луной, в ненастье отсиживаясь в палатке — вот настоящий, ничем и никак не тревожимый отдых.

Видимо, уже само плаванье давало Артему столько зрительных и душевных впечатлений, что становится понятным, почему одна из глав его «Гуляй, Волга!» состоит всего-навсего из одного слова: «Плыли».

Однажды (в 1929 году) Артем, плывя из Ярославля в Нижний (ныне Горький), заехал ко мне в Плес. Мы с ним сходили на вальдшнепную тягу — стояло начало светлого мая, — побродили по тем местам, которые особенно любил Левитан, а через день Артем опять погрузился в лодку — и поплыл дальше. Был, помнится, теплый, но очень ветреный день; пугешественники вскинули парус, лодка, описав стремительно изысанный полукруг, легко и вольно заскользила по волнам, и над волнами, над их голубой кипенью, зазвучал голос Артема:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны...

Так навсегда и запомнился мне Артем Веселый — в лодке, в красной рубахе, под парусом, с песней о вольнюлюбивом старинном атамане.

Из поэтов, с которыми приходилось сталкиваться в доме Алексея Силыча, вспоминается прежде всего Павел Васильев.

Васильев всегда много и охотно читал: стихи подлинно «извергались» из него; если не как лава из кратера вулкана, то во всяком случае наподобие немолкнувших фонтанных струй.

Поистине пламенный, клокочущий молодой силой — и физической и поэтической, — Павел Васильев «ликом» несколько походил на Есенина: белокурые кудри, голубые глаза, тонкий овал лица, приветливо-милая улыбка; только в вырезе ноздрей и в сжатых губах чувствовалась большая воля и жесткость.

Он читал свои произведения с неподражаемым артистизмом. четко, звучно, оттеняя и как бы зримо показывая каждый образ, несколько не манерничая и, самое главное, делая упор не на узорность рифмы или «ассонанса», а выявляя душу стиха.

Поэт больших тем и больших чувств, он же случайно выдвинулся в те годы. Однако поэзия его вызывала не только бурю востор-

га, особенно когда читал он сам, но и строгую критическую отповедь: молодой поэт — ему тогда было двадцать пять лет — нередко с тоской устремлял свои голубые глаза в прошлое, и поэтическое отображение старой казачьей удали куда больше удавалось ему, нежели героизм красноармейцев. Зачарованный степными, речными и таежными просторами родной Сибири в их первобытно-нетрогнутой мощи, поэт несколько сторонился городской, индустриальной красоты; ему великолепно удавалось изображение «биологического» в человеке, человека же строителя он постигал только разумом.

Но были у него и глубоко страстные, безупречно поэтические стихи и о революции: прошлое постепенно вытеснялось в его поэзии современностью.

Когда перечитываешь сейчас Васильева (в 1957 году вышли его «Избранные стихотворения и поэмы»), по-прежнему чувствуешь его буйную поэтическую стихию, которая с неудержимой силой вырывалась наружу потоком ярких слов, но одновременно понимаешь, что в этом потоке было немало лишнего и ненужного и что поэт не всегда мог управлять этой безудержной стихией. Ему не хватало чувства меры, взвешанности.

Но без Павла Васильева история советской поэзии была бы в какой-то мере усеченной: это необходимое звено в цепи, необходимый голос в поэтическом хоре, необходимая скрипка в оркестре.

Те же, кому приходилось слышать стихи Васильева в его чтении, и до сих пор помнят этот серебряный, неистощимый в своей звучности голос, эти пластические движения рук, эти почти фанатические глаза — глаза стрельца с суриковской картины, — это молодое лицо, то светлое и теплое от улыбки, то как бы искаженное болью.

Павла Васильева, после Маяковского и Есенина, надо считать лучшим декламатором своих произведений.

Недаром детски-непосредственный Силыч, слушая, бывало, Васильева, чуть ли не растерянно оглядывался по сторонам, брался за ус, а потом за лысину и с восхищенным удивлением шептал соседу:

— Ух ты. Чтó делает!..

V

В 1930—1931 годах мне несколько раз приходилось жить вместе с Алексеем Силы-

чем и его друзьями в Малеевке, которая тогда не была еще официальным Домом творчества Литфонда (в ней обитало всего несколько человек).

Мы ездили туда глубокой зимой, в январе—феврале; в памяти сохранился просторный усадебный дом на горе, среди сосновых и еловых лесов и крепких сахарных снегов, по которым с таким пронзительным скрипом мчались шведские лыжи.

Утром в доме оранжевными сполохами потрескивали печи, днем взапуски пощелкивали пишущие машинки, по вечерам в столовой шли оживленные разговоры, а иногда устраивались прогулки: так чудесно, посвяточному таинственно и сказочно было в зимнем лесу под ледяными звездами и высокой луной.

Алексей Силыч чувствовал себя здесь совсем по-домашнему, легко и просто, с крайним напряжением сил работал над «Цусимой».

Он просыпался очень рано: еще не успевало как следует ободнаться, а в коридоре уже раздавался его веселый голос:

Нам не надо гороху много,
Нам одну горошину...
Нам не надо девок много,
Нам одну, да хорошую...

Сразу же после завтрака Силыч садился за работу, дружески понуждая к этому и других.

Ширяев, например любил подолгу засиживаться в коридоре, у горячей печки, смотря на переливы пламени, — и Силыч с шутилой строгостью говорил ему:

— Пора в кубрик, Ширяев: машинка сама не застучит!..

Письменный столик Силыча стоял у окна, — отрываясь от работы, он видел низко нависшие сосновые лапы, густо облепленные сиреневыми хлопьями снега, танцующих на снегу снегирей, узорные раковины заячьего следа!..

Чаще всего он писал от руки, то и дело перемарывая написанное, и только наиболее «легкие» места (переработанные документы и т. п.) сразу же выстукивал на машинке. Более или менее отделанные главы он любил читать друзьям, с исключительным вниманием прислушиваясь к замечаниям, особенно если они касались языка.

За работой Силыч непрерывно курил — в его «кубрике» было почти непроглядно от густого фиолетового дыма. Если

открывалась форточка, дым выбивался наружу подобьем штормовой волны.

Случалось, что Силыч очень и очень уставал: я не раз видел его с мутно-покрасневшими глазами и побледневшим лицом. Тогда он уходил, хотя бы на полчаса, на прогулку, бродил по двору, слушая по-зимнему уютное воркование голубей. Возвращался он бодрый и посвежевший, и опять за дверью комнаты раздавался неспешный стрекот машинки.

Всего больше забот доставлял Силычу Перегудов, тоже живший иногда в Малеевке: он то и дело «отлынивал» от работы под любым предлогом, и Силыч с той же шутливой строгостью грозил:

— Смотри, Саша, запирать буду...

— Силыч, ну дай хоть немного полодырничать, я и дома изработался, как батрак, — оправдывался Перегудов.

Силыч смеялся:

— Кому другому рассказывай, а я-то знаю, что лень раньше тебя родилась.

После обеда полагался небольшой отдых — чаще всего прогулка на лыжах, — а потом, до огня, опять продолжалась работа.

Жили мы тут, как уже говорилось, узким дружеским кругом, к которому примыкал еще Александр Степанович Яковлев.

Интересный писатель и человек, А. С. Яковлев отличался замкнутостью и в какой-то мере нелюдностью, и только обжившись, привыкнув к людям, становился самим собой — простым, милым, добродушным. Лишь с Перегудовым он был связан долготейшей дружбой.

А. С. Яковлев довольно поздно стал писателем, пройдя на своем веку через целый ряд приключений, заблуждений и соблазнов. Он родился и жил в бедной мещанской среде, долго скитался «в людях», рано прикоснулся, как самородок и самоучка, к книге, к культуре, рано понял крайнее несовершенство мира сего, рано занялся поисками правды и счастья на земле. За что только он не брался, кем только не был! То служил по найму, то действительно участвовал в революционном подполье как максималист-террорист, то, «взыскав града», бродяжил по монастырям, ища утешения и забвенья в молитве, то, отрицая православие, склонялся к толстовству с его непротивлением злу насилем... Это был человек сложной и мятущейся души, каких немало было в старой России.

Незадолго до революции Яковлев начал работать в журналистике — печатался в самой распространенной тогдашней газете «Русское слово», — а в первые пореволюционные годы проявил себя и как оригинальный, взыскательный художник. Повесть Яковлева «Повольники» пользовалась в свое время (1923—1925 годы) большим вниманием, поскольку в ней так или иначе передавалось подлинное дыхание революции, а его «Октябрь», переиздававшийся неоднократно, крепко упрочил имя Яковлева в советской литературе.

А. С. Яковлев родился на Волге, в Вольске — уже в самом названии этого города чувствуется свобода и раздолье, — и до конца дней сохранил глубокую любовь к великой русской реке. Он с детства любил старые волжские песни о гордых стругах Разины, о красоте таинственных Жигулевских гор, о вековом утесе, где, по преданиям, думал свою думушку вольнолюбивый атаман...

Был он приземист, широколиц, остроглаз, всегда гладко острижен, — в нем проглядывало что-то от старинного ушкуйника, человека железного характера и сильной воли. Вместе с тем он отличался неизменной сдержанностью, невозмутимостью и высокой внутренней культурой. Но если дело касалось принципов, способен был на резкие вспышки.

В А. С. Яковлеве, далеко не заурядном писателе, жила и пылкость журналиста. Чуть ли не все время он проводил в поездках, в путешествиях, великолепно зная жизнь и быт самых отдаленных уголков родины.

По вечерам в Малеевке он иногда рассказывал о своих путешествиях, особенно о своих наблюдениях за птицами: как охотник, он обладал даром большой и острой наблюдательности. В его речи, спокойной и плавной, сквозила старомосковская изысканность. Силычу особенно нравились его живые и веселые рассказы, и он часто заразительно смеялся.

В малеевском уединении много приходилось говорить с Алексеем Силычем и о литературе, о его литературных симпатиях и антипатиях.

Что любил и что отрицал Алексей Силыч в литературе?

Как строгий и последовательный реалист, он благоговел перед Пушкиным и Толстым, Тургеневым и Чеховым — рассказы Чехо-

ва нередко читал вслух в семье, а из более близких по времени писателей восторгался Горьким и высоко ценил Бунина.

Он часто приводил на память отрывки из бунинских стихов, отдельные его сравнения, вроде белков негра, похожих на облупленные яйца, или пойнера, напоминающего лягушку, и всегда удивлялся тому мастерству жгостости, которое столь характерно для Бунина.

— А ну-ка, скажи, сколько, по-твоему, листов в «Господине из Сан-Франциско»? — спросил он однажды.

Я замаялся, и Силыч сказал:

— Никто сразу не ответит: этот рассказ по своей глубине кажется целым романом, а в нем всего полтора печатных листа!

Из писателей и поэтов — современников Алексея Силыч выделял Шолохова, удивляясь его таланту, и поистине нежной любовью любил стихи Есенина: ему, сыну земли, была дорога и близка задушевная лира этого поэта. Многие нравились ему и в стихах Багрицкого и Уткина. У Маяковского он любил прежде всего сатирические стихи.

Он ценил в стихах и тепло лирики, и пафос гражданственности — Некрасов вполне справедливо стоял для него рядом с Пушкиным — и требовал от поэта кристальной душевной чистоты. Нередко приходилось слышать от него похвалы творчеству еврейского поэта Бялика, прежде всего поэме о погромах, о которых Силыч вообще не мог говорить без содрогания: малейшее проявление национальной розни не только угнетало, но и оскорбляло его как признак некультурности.

Из иностранных писателей Силыч чаще всего упоминал Диккенса и Бальзака, Золя и Мопассана. Знаменитая «Нана» привлекала его не столько любовным сюжетом, сколько опять-таки мотивами гражданственности. Говоря об этом романе, он всегда выделял то место, где шла речь о смертельной болезни героини и о воинственных криках на улицах Парижа: «В Берлин!» Силычу иногда не чужда была известная аффектация.

Как мореплаватель, Алексей Силыч много любил у Киплинга, Конрада и особенно у Джека Лондона, который импонировал ему своим демократизмом.

Но, отмечая этих писателей, Силыч всегда советовал не забывать и нашего Станюковича как автора «Морских рассказов»

(впервые переизданных после революции именно по его рекомендации).

А отвергал Алексей Силыч тоже многое. Воспитанный на пламенных статьях Белинского и Чернышевского, Добролюбова и Михайловского, он органически чуждался всего, что шло вразрез с воспитательно-гуманистическим, прогрессивным искусством. Символизм и акмеизм, футуризм и имажинизм, — все эти литературные школы и течения вызывали у него только ироническую усмешку; это не мешало ему, однако, любить лучшее, что было, например, у Блока — в частности, его стихи о России, — или восторгаться отдельными постановками Таирова и Мейерхольда, в которых чувствовалось пусть спорное, но блестящее мастерство.

В русской живописи он высоко ценил Репина, Сурикова и Левитана. О Левитане говорил с настоящим восхищением.

Вообще беседовать об искусстве, о литературе было для него большой радостью. С такой же радостью слушал он, когда ему читали что-либо интересное.. Так, с затаенным вниманием слушал Силыч неизвестные в то время у нас вещи Бунина («Жизнь Арсеньева», «Божье дерево»), которые я читал по вечерам в гостеприимной Малеевке, навсегда запомнившейся уютом дома и заснеженным лесом, лыжными прогулками и теплом печного огня.

VI

Навсегда запомнились и наши охотничьи поездки.

Мы ездили главным образом на родину Силыча — в окрестности села Матвеевского, где на берегу озера Имарка стояла охотничья избушка.

Силыч собирался в эти поездки деловито и серьезно, с присущей ему хозяйственностью, предусматривая каждую мелочь и решительно отвлекаясь от всех прочих дел.

— Я ничего не люблю делать тят да ляп, — озабоченно говорил он, — а тут и дело предстоит особенное: охота — мой лучший отдых, и я должен чувствовать себя во время этого отдыха не хуже, чем в самом хорошем санатории.

И когда мы, устроившись в поезде, разложив на полках ружья, рюкзаки и сумки, облегченно вздыхали, Силыч, весь сияющий, пожимал нам руки и радостно поздравлял:

— С праздником!

Силыч был в стоптанных сапогах, в старенькой лиловой косоворотке, в поношенной кепке — совсем мастеровой из какой-нибудь ремонтной мастерской, шурился, улыбался, смотрел особенно ласковыми глазами и проникновенно-тихо говорил:

— До чего же хорошо...

На полустанке с романтическим названием Теплый стан мы — Силыч, Низовой, Ширяев, Перегудов и я — выгружались и сразу попадали в душистый березовый лес. Миновав лес, выходили к синему, в золотых волнах озеру. Силыч, подбросив ружье, дважды стрелял: далеко разносился оглушительный салют зачинающимся кочевым охотничьим дням.

Избушка над озером пахла свежим тесом, лесным мхом, водяной прохладой. Настежь распахивались окна, под окнами вспыхивал бесцветно-жаркий костер, — Перегудов начинал хлопотать с чайником, а Силыч спешил купаться: быстро и ловко наискось пересекал озеро «на саженках». Потом, освеженный и особенно радостный, степенно и важно «хозяйничал» за столом, с матросской непринужденностью брался за «манерку».

— У Силыча какой-то совершенно особенный талант к угощению, — улыбался Ширяев. — Он так уютно раскладывает закуски, так неподражаемо наливает из бутылки, что аппетит появляется сам собой...

Недалеке от озера протекала спокойная, в камышах, река Вад, по одному берегу которой тянулись ржаные, бронзово-песчаные поля, а по другому — луговые просторы, где высились сениные стога. За лугами, довольно далеко, что-то мягко и смутно синело: начинался дремучий бор с темными глухаринными чашами и заповедно чистыми лебедиными озерами.

— Я еще подростком бывал в том бору с покойным отцом, — рассказывал Силыч, — и мне все кажется теперь, будто въявь видел там и Алenuшку у озера, и жар-птицу в золотой клетке...

Вскоре после нашего приезда в избушке появлялись деревенские друзья Силыча.

Сначала приходил сосед-пасечник, мордвин Кузьма Косов — высокий, стареющий, но очень стройный и ладный человек, с выразительным, большим, длинным и остроносим лицом. Ширяев в одном из своих рассказов («За кунницей») хорошо зарисовал Косова, зорко подметил в его лице «что-то

лосиное». Сдержанный и немногословный, постоянно посасывающий обгорелую трубочку шоколадного цвета, Косов деловито делился местными новостями.

За ним появлялся наш постоянный «сопровожающий», тоже мордвин, Тимофей — крестьянин средних лет, шустрый и смешливый, с лицом, сплошь залепленным янтарными веснушками, и чуть прихрамывающий на левую ногу, в которой, как посмеивался он, сидела «пуля капитала», полученная на фронте гражданской войны.

— Ну, как, Тимоша, поохотимся? — шурился Силыч.

— А что ж? Для милого дружка и сережка из ушка...

— Может, и тетеревок найдем?

— Найдем и поляшей¹. В Лучистом бору два сводочка верных — как за пазухой...

Тимофей ударял себя по груди и, подмигивая левым глазом, добродушно улыбался во все лицо.

— А колбасы копченой да селедочки захватил?

— Я — человек вообще запасливый...

— Может быть, и это самое имеется?.. — Тимофей закрывал глаза, запрокидывал голову и звучно, будто откупоривая бутылку, шелкал себя по горлу.

— Много не дам, ну, а наперсточек можно.

— Птичка божия тоже клюет по зернышку...

Потом приходил товарищ детских лет и игр Силыча, страстный охотник, крестьянин из села Матвеевского Степан Максимыч Ивашкин — добродушный, синеглазый и русобородый, говоривший певучим старинным говорком.

В книге Перегудова о Новикове-Прибое — писателе и друге дан очень выразительный портрет С. М. Ивашкина. Прекрасно показан он и в одном из рассказов Алексея Силыча.

— Вот, Силантыч, и опять свиделись... — тихо и ласково говорил Степан Максимыч, появляясь в двери избушки с ружьем за плечами и с утками у пояса.

Силыч тепло обнимал старого друга.

Друзья, по русскому обычаю, троекратно «ликовались».

— Утки-то нынче есть? — спрашивал Силыч, жадно рассматривая влажных, корич-

¹ Местное название тетерева.

нево-пестрых крякуш, остро пахнувших болотным илом.

— Урожай на них нонче отменный, — степенно отзывался Ивашкин. — Водополье было немерное — что твое море, травы высокие, наливные и жирные, сено ароматное — так бы и не ушел на вечерней зорьке с лугов...

— Вот она, жизнь-то настоящая, — улыбался Силыч, с детской ласковостью оглядывая нас.

И вот начинались наши веселые охоты в этом тогда изобильном дичью лесном и речном краю.

Утром охотились за утками, днем отсыпались в избушке, купались в озере, подолгу лежали на его берегу.

Силыч, по доброй воле, почти всегда выполнял обязанности «кока», превосходно готовя утиный суп и жаркое. Ему с шутками и прибаутками помогал Перегудов, для важности носивший подобие поварского колпака из бумаги.

Перед сумерками мы опять расходились по лугам — в звонкой тишине и малиновом блеске зари начинался утиный перелет. Терпко пахло нагретой болотной водой, сухим мятным сеном, острой пороховой гарью, весело было смотреть, как вслед за выстрелом быстролетная птица вдруг с шумом валилась в камыши, и горестно-обидно следить за ее полетом после промаха...

Силыч неизменно горячился, внося в охоту, как и в любое дело, всю кипучесть своей натуры.

Однажды, когда мы сошлись после утино перелета, уже в глубокой темноте на нас налетела стайка крякв. После четырех выстрелов одна утка грузно шлепнулась в воду. Силыч, не раздумывая, бросился за ней, погрузившись по грудь. Смеясь и отдуваясь, он неторопливо выбрался на берег, высоко держа в одной руке ружье, в другой птицу.

— Холодно? — спросил я.

— Не жарко, конечно, но ведь и матрос-то тертый, цусимский...

Пришлось, подавшись на опушку леса, разводить огонь — и Силыч, обсушиваясь, жадно курил и весело приговаривал:

— Костер — великое дело.

Иногда Тимофей отыскивал где-нибудь утиный «навадок»¹, соблазняя Силыча добычливой стрельбой.

Мы садились в лодку и неторопливо плыли по голубой и просторной реке, среди высоких, таинственно шуршащих камышей и снеговых кувшинок, изредка стреляя по близко поднимающимся кряквам, захмелевшим от полуденной жары. Река скоро углублялась в высокий и прохладный лес, в тенистую дубраву, горьковато и сладостно пахнущую подсохшими листьями, свежими грибами и вянущей малиной. Было в этой дубраве что-то особенно милое, старинно-пленительное, навсегда вошедшее в душу с отроческих лет, когда одна за другой читались и перечитывались охотничьи книги.

Такой же поэтической казалась и противная в лесной глуши пасека, где мы с Силычем коротали вечер и ночь. Пасечник, чуть ли не столетний дед, знал Силыча еще подростком, и Силыч, радостно оживляясь, вспоминал свои молодые скитанья в этих лесах, веселый сбор грибов и орехов, лисьи норы по оврагам, стрельбу рябчиков из дешевой шомполки-одностволки.

А в предраусветной темноте мы уже шагали за Тимофеем по каким-то буреломным чащам, перебирались по опрокинутым деревьям, через топкое болото и наконец оказывались на уединенном лесном озере, где на рассвете собирались («наваживались») утки. Они со свистом осаживались на воду, и наши выстрелы, торопливые и звучные, без усталости хлопали в зеленой утренней тишине.

Поздней осенью мы охотились с гончими на зайцев и лисиц. Тогда в лесу, уже почти облетевшем, светлом от палой листвы и березовых стволов, тоскующе-раздольно перекликались медные рога, а потом, разбивая хрустальную лесную тишину, начинался страстный то исступленно-ликующий, то отчаянно-рыдающий гон.

Охота с гончими, равно как и утиная, была одной из самых любимых охот Силыча. Недаром на стенах его кабинета висело много фотографий, заснятых именно на заячьей охоте. Горячность его и на этой охоте не знала предела.

Как-то мы присели с ним на лесной поляне, с наслаждением закурили, глотая вместе с табачным дымом влажную свежесть леса, — и вдруг разом вскочили и схватились за ружья: совсем близко пронзительно заголосили гончие, и матерый заяц, почти совсем выбелившийся к зиме, быстро, рас-

¹ От слова «наваживаться» (табуниться).

теряно вынесся прямо на нас. Я вскинул ружье, но Сялыч с искаженным лицом погрозил мне кулаком и, метнувшись вперед, выстрелил вслед зайцу, давшему бешеного стрекача. Заяц, «проехав» несколько шагов, опрокинулся на бок и успокоился. Сялыч, высоко подняв его за дружинистые задние лапы, посмотрел на меня со своей застенчиво-теплой улыбкой.

— А ты, друг, не сердись... Ведь это — охота!

Я от души пожал ему руку.

Очень хороши были в любое время года вечера в избушке после охоты.

Мы подолгу засиживались за самоваром, вспоминали, перебивая друг друга, удачные выстрелы и обидные промахи, часто выходили в «прихожую», где во всей красоте фламандского натюрморта лежали утки или зайцы, с неумелой стройностью пели русские песни.

Запевалой был, конечно, Сялыч.

С особенным чувством пел он «Варяга» — этот подлинный гимн русских матросов, храбрых в бою и непобедимых в самой смерти. Лицо его заметно бледнело, голос дрожал, глаза вспыхивали, а руки сжимались в кулаки...

Ездившая иногда с нами Л. Н. Сейфуллина вносила в охотничьи беседы нотки юмора, создавая художественный «портрет» каждого из охотников. Жаль, что не удалось записать эти «портреты».

Ее муж, Валерьян Павлович Правдухин, автор охотничьей эпопеи «Годы, тропы, ружье» и романа «Як уходит в море», много рассказывал о своих охотах в сибирских и уральских степях.

Правдухин, неутомимый степной охотник и несправедливо забытый талантливый писатель, был высок, несколько нескладен и мешковат в движениях, казался — на первый взгляд — суровым и нелюдимым: широкое лицо напоминало маску, а в серых глазах, затененных очками, поблескивало как бы что-то ледяное. Но это глубоко ошибочное впечатление: всех, знавших его близко, Правдухин подкупал и добротой души, и товарищеской чуткостью, и предельно щепетильной честностью. Семинарист, изгнанный за участие в революционном бунте, сельский народный учитель, «поднадзорный» дореволюционный интеллигент, скитавшийся по стране с волчьим паспортом, — он навсегда сохранил в себе орга-

нический демократизм и ту приверженность к «правде-матке», правде-справедливости, которая подчас приносила ему немало всяческих бытовых неприятностей.

Литератор, тонко и взыскательно чувствующий слово, он многое сделал для Л. Н. Сейфуллиной, особенно в пору ее начальной писательской деятельности — и советами и редактированием ее произведений.

Лидия Николаевна очень любила и ценила его.

Бывая с ним на охоте, Лидия Николаевна крайне ревниво относилась к ловчим успехам мужа, считая, что он должен непременно «обстрелять» всех, и очень огорчалась, если этого не бывало.

Сколько вообще было в ней чисто женского, придававшего ее учительски-строгую облику черточки то грустной, то смешной непосредственности.

Иногда с нами ездил Эдуард Багрицкий, и это оживляло застольные беседы искристым блеском поэзии. В Багрицком казалось поэтичным все — и орлиное ироническое лицо, и пронзительно зоркие, как у древнего степного кочевника, глаза, и небрежная прядь рано поседевших волос, наискось перекрывавшая высокий лоб. На охоте он носил какой-то седой усадебный архалук хомяковских времен, что хорошо подчеркивало романтичность его образа.

Это был поэт-романтик, любивший старошотландские баллады Вальтера Скотта и металлические, похожие на свист пуль стихи Киплинга о конквистадорах и китоловах; навсегда плененный вольными черноморскими ветрами и одесской гаванью, нарядной от разноцветных флагов; с несравненным мастерством воспевавший дудочку птицелова и большую человеческую любовь, лесную глухомань и легендарные походы Котовского.

По вечерам, после охоты, Багрицкий читал стихи — как свои, так и других поэтов, чаще всего Киплинга («Мэри Глостер»), Гумилева, Пастернака, Сельвинского. Читал он артистически. Несколько мешал ему лишь глуховатый астматический голос. Астма мешала ему и много ходить на охоте — он ограничивался утинными перелетами по соседству с озером или ближайшими березовыми рощами. Зато как по-детски радовался он каждой утке, метко опрокинутой выстрелом, каждому рябчику, «подсвистанному» с мастерством птицелова Диделя, каждому карасю, вытасченному из озера...

Если качества охотника измерять силой страсти — а это единственно настоящая мера, — поэт Эдуард Багрицкий был подлинным охотником.

Происходили во время наших охотничьих поездок и интересные встречи.

Однажды утром, ясным и тихим, мы с Перегудовым охотились на утиных перелетах неподалеку от избушки. Подходя к озеру, мы выстрелили по высоко пролетающей шилохвости, и она, дрогнув, стала неторопливо снижаться на землю.

— Упала ваша утка! — слабо донесся до нас чей-то голос, и скоро в стороне показалась с птицей в руках незнакомая девушка семнадцати—восемнадцати лет.

— Кто вы и откуда? — весело засмеялась девушка.

— Мы из Москвы. А вы?

— А я из Умёта... Зовут меня Нина.

Мы пригласили ее на «перепутье» в избушку, и с тех пор она стала заходить к нам каждый день.

Нина была красива своей лучистой молодостью, светом серо-голубых доверчивых глаз, легкой смуглостью лица, забывками в волосах, узорным мордовским платьем, с оловянным «сюлгамом»¹ на шее.

Поистине удивляла ее любовь к литературе: она могла подолгу наизусть читать Пушкина, знала современную беллетристику, восхищалась Багрицким и особенно Есениным. «Письмо к матери» постоянно вызывало слезы на ее глазах.

Нина сразу покорила Силыча и Низового тем, что читала — да еще с каким вниманием! — чуть ли не все их произведения. Нравилась ей и некоторые рассказы Перегудова.

Мы общими силами помогли Нине выбраться из Умёта — она работала счетоводом в лесхозе — и поступить в один из московских вузов. Она стала талантливым инженером, вышла замуж, найдя свое место в жизни. Потом долгое время я ничего не слышал о ней.

Только позднее, в исходе войны (в 1944 году), она, живя в Казахстане, написала одному из нас: «Мне очень захотелось написать Вам и узнать, что случилось со страстными охотниками с голубого озера Имарка? Прошло почти пятнадцать лет, когда сонное мордовское утро Вы потревожили гулким эхом ружейных выстрелов, и, теряя

перья, оставляя бархатистый след на росной траве, упала первая раненая утка... Не будь этих выстрелов, не будь Вас, и моя жизнь, может быть, была бы иной...»

«Где-то теперь с своей гордой лосиной головой Косов? Где-то теперь Ваш уютный охотничий домик?» — писала она в другом письме.

Александр Владимирович Перегудов, ездивший в послевоенные годы на Имарку, рассказывал:

— Съездил как бы в наше общее прошлое, погрузил о тех, кого уже нет, посмотрел еще раз на те места, где мы оставили столько душевного тепла... Многое там изменилось, даже внешне — повыверили леса между Теплым станом и озером, рядом с пасекой Косова вырос целый поселок, пообмелела река, меньше стало уток. Но все так же плещется Имарка, так же таинственно синее бор вдалеке, а на лугах, где по-прежнему высется стога сена, все как бы видится расшитый мордовский сарафан и звучит в ушах девичий голос:

Вон там звезда одна горит
Так ярко и мучительно...

Охотничий же домик на берегу озера стал теперь музеем, знакомящим окрестных крестьян с жизнью и творчеством их замечательного земляка — Алексея Силыча Новикова-Прибоя.

VII

В числе человеческих качеств Алексея Силыча было одно, особенно драгоценное, — отсутствие всяческого, даже микроскопического зазнайства. Ни слава, ни Государственная премия, ни ордена, ни «собрания сочинений» — ничто не могло ни в малейшей степени снизить поистине литую цельность его простой и глубокой, человеческой и щедрой на все доброе натуры.

В связи с непредвиденными скитаниями по Сибири и Заполярному краю я не видел Силыча целых пять лет и, когда (в 1940 году) снова пришел к нему, был встречен с неизменным радушием, гостеприимством и добросердечностью.

Силыч за эти пять лет заметно постарел: прибавилось «соли» в усах и морщин на лице, несколько поблекла голубизна глаз, чуть глуше стал голос. Однако непреходящая молодость сердца по-прежнему сказывалась во всем — и в оживленных охотни-

¹ Ожерелье.

чих рассказах, сопровождавшихся все тем же раскатистым смехом, и в литературных мечтах и планах, о которых он говорил с таким душевным волнением. Между прочим, он говорил, что писать ему становится все труднее и труднее:

— После успеха «Цусимы» я должен быть еще требовательнее к себе и теперь подолгу сижу иногда над какой-нибудь фразой, стараясь так отточить ее, чтобы действительно — ни сучка, ни задоринки.

Он работал тогда над романом «Капитан 1-го ранга». Когда я напомнил ему о незаконченном романе «Два друга», Силыч блеснул глазами.

— Это я оставлю на старость, чтобы, как все старики, мысленно вернуться в свое прошлое, о котором так радостно и легко писать.

— А до старости еще далеко?

Силыч, легко и споро расхаживавший по кабинету, остановился, сжал в локте правую руку, потрогал левой мускулы и удовлетворенно улыбнулся:

— Есть еще порох в пороховнице!

Вскоре началась война.

Перед отъездом на фронт, в августе 1941 года, я в солдатской гимнастике зашел к Силычу проститься.

— И ты уходишь?— спросил он и посмотрел с такой печальной ласковостью, которую не забыть никогда.— Присаживайся.

В кабинете темнело, в раскрытых окнах громоздились лилово-черные тучи, все казалось, что вот-вот раздастся спокойный и твердый радиоголос: «Граждане, воздушная тревога!»— и где-то поблизости с чеканным топотом проходили войска.

Мы обнялись, трижды расцеловались — и расстались навсегда.

В апреле 1944 года, получив кратковременный отпуск, я приехал в Москву и в тот же день пошел к Силычу.

Дверь отворила горестная Мария Людвиговна.

— Умирает наш Силыч...— тихо сказала она.

Из столовой вышел А. В. Перегудов. Глотая слезы, он печально развел руками. Я посидел, поговорил, написал Силычу записку — несколько ободряющих слов — и с чувством огромной тяжести в душе вышел на улицу.

Артиллерийская часть, где я служил, стояла тогда в одном старинном русском городе, на берегу привольной реки, несущей свои воды в Волгу. Проходя в теплый весенний день по городскому бульвару, я купил в киоске «Литературную газету», развернул ее — и в лицо мне как дробью ударило траурное объявление: Силыча не стало...

Как и многие люди моего поколения, прошедшего через дантовские круги трех войн, я знал много потерь и утрат, и у меня немало могил, где вечным сном покоятся друзья. Но, пожалуй, ни одна из них не вызывает такой непреходящей боли и грусти, как могила Алексея Силыча на Новодевичьем кладбище.

И когда в апрельский день, в день кончины Алексея Силыча, опускаешь на его могилу букет цветов, чувствуешь вместе с болью и грустью глубокое сердечное тепло и благодарность: до чего же светлым, добрым и душевно чистым был этот незабвенный человек.

В нынешнем году, кстати, исполняется девяносто лет со дня рождения А. С. Новикова-Прибоя.



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Крамов. Судьба и время.— **Ф. Левин.** Свен Вооре, его личина и лицо.—
Н. Гусев. Толстой и зарубежный мир.— **Э. Кузьмина.** Сухопутные пловцы.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Старцев. Монография об Октябрьском восстании.— **Дм. Дажин.** Штрихи большой жизни.— **Д. Угрюнович.** Исследование религиозного сознания верующих.— **А. Толстяков.** Судьба книги.— **Я. Притыкин.** На стыке наук.—
С. Эпштейн. Новое в управлении американскими предприятиями.

Литература и искусство

СУДЬБА И ВРЕМЯ

Юрий Трифонов. Отблеск костра. «Советский писатель». М. 1966. 192 стр.

В своей новой книге Ю. Трифонов избегает всякой беллетризации. Такова установка автора, желающего представить на суд читателя строго документированный рассказ о том, как это было. Высшая награда для него — что читатель поверит в несомненную достоверность этого рассказа.

Но «Отблеск костра» отмечен чем-то еще. Каким-то подпочвенным звучанием, какой-то музыкой, различной с первых же страниц. О чем она? О встрече близких людей, разделенных крутым перевалом истории. Скрытый пафос, внутренний заряд чувства, взволнованность и естественная сдержанность сына, рассказывающего о встрече с отцом, — всем этим книга выходит из обычных жанровых рамок и привычных определений. В этом ее особенность. И тут писатель одержал свою главную победу.

События, о которых рассказывает автор, охватывают время с начала века по 1937 год. Это большая и сложная эпоха в жизни России. И это годы, когда началась и оборвалась судьба человека, о котором книга.

В 1905 году Валентин Андреевич Трифонов — отец автора и центральное лицо в

«Отблеске костра» — участвовал в баррикадных боях в Ростове-на-Дону. Повествование тем и начинается. О предшествующем сообщено в нескольких строках: родился В. А. Трифонов в станице Новочеркасской, семи лет осиротел, воспитывался в ремесленном училище в Майкопе. Но о годах ссылки, тюрем, побегов и особенно о революции и гражданской войне написано обстоятельно. Правда, «Отблеск костра» не биография, и читатель не найдет здесь многих подробностей и сведений, уместных, а порою и просто необходимых в жизнеописании. «Я пишу книгу не о жизни, а о судьбе, — говорит автор. — И не только о своем отце, а о многих, многих, о ком я даже не упомянул. Их было очень много, знавших отца, работавших рядом, похожих на него».

Книга о судьбе. Добавлю — и о времени. Одно неотделимо от другого. Судьба выразила время, а время определило судьбу. С таким, вероятно, чувством автор искал, всматривался, анализировал факты и документы прошлых лет. Кое о чем он и сам рассказывает. Все началось после чтения бумаг, оставшихся в отцовском сундуке. Прошли годы после гибели отца. Пришел

час — он неминуемо должен был прийти, — и сундук раскрыл свои сокровища.

«Меня заворожил запах времени, который сохранился в старых телеграммах, протоколах, газетах, листовках, письмах, — пишет Ю. Трифонов. — Они все были окрашены красным светом, отблеском того громадного гудящего костра, в огне которого сгорела вся прежняя российская жизнь.

Отец стоял близко к огню. Он был одним из тех, кто раздувал пламя: неустанным работником, кочегаром революции, одним из истопников этой гигантской топки.

Представим себе мальчика двадцатых годов, прочитавшего «Красных дьяволят» прежде Купера и Майн Рида. Можно назвать и другие хрестоматийные приметы поколения, выращенного в завоеванном отцами мире.

Дома хранились выцветшие гимнастерки, буденовки, планшеты, военные карты, сабли, ордена — регалии громкой славы. Отцы были тоже из необыкновенно увлекательного мира «красных дьяволят». «Ну, ссылался четыре раза, ну, бежал — это, наверно, очень интересно, романтично», — думает мальчик об отце. Пройдут годы, прежде чем зрелый человек по-новому посмотрит на прошлое своей страны, своего отца. «Прошли долгие годы, прежде чем я кое-что узнал об отцовских ссылках... Романтичного в них было немного. Зато много было стужи, снега, бездомности, голодания, избиний солдатами (у отца была выбита кость в груди от удара прикладом), были разговоры изверившихся, были болезни, предательства, была смерть друзей в охолодавших станках под полярным небом — и была молодость, отчаянно борющаяся со всем этим».

Между детским наивным романтизмом и зрелым пониманием взрослого человека многое пролегло. Много нужно было пережить, узнать, чтобы появилась потребность снова вернуться к прошлому, к полузабытым преданиям. В сурово сдержанном тоне, в суховатом слогe книги ощутима, как мне кажется, мысль, с какой автор взялся за перо: знание — не только привилегия, это еще и обязанность.

Очевидно, я не ошибусь, если скажу, что от толчка, каким явились идеи и решения XX съезда партии, в сыне пробудилось стремление охватить, понять истинную судьбу отца. Время откликнулось в нем и толкнуло к документам, телеграммам, запискам, оставшимся в старом отцовском сундуке.

Вместе с тем это было стремление понять и собственную судьбу, понять самого себя.

«Давно нет в живых отца... Едва не погибли старые полевые книжки, в которых отпечаталась эта далекая, взбудораженная, кому-то уже непонятная сейчас жизнь. Зачем же я ворошу ее страницы? — спрашивает автор. — Они волнуют меня. И не только потому, что они об отце и о людях, которых я знал, но и потому, что они о времени, когда все начиналось. Когда начинались мы».

«Отблеск костра» в известной мере принадлежит к популярной ныне литературе «поиска». В саму лабораторию «поиска» читатель посвящен не очень подробно. Отцовский сундук дал в руки нить, а дальше начались розыски в архивах, в бумажных залежах и газетных подшивках. Об этой кропотливой работе собирания сказано мало. Упор сделан на другом — на поиске мысли, стремящейся воссоздать картину происходящего, восстановить по отдельным штрихам портрет.

Следить за тем, как возникают контуры этого портрета, — увлекательно. Еще раз убеждаешься, что мы мало, слишком мало знаем о времени воспетом, но еще плохо изученном.

О Вере Засулич, стрелявшей в Трепова за то, что тот посмел наказывать розгами землевольца Боголюбова, знают все. Но ведь вся русская каторга, особенно после пятого года, — это история отчаянной борьбы каторжан, «политиков», за свое человеческое достоинство. Ю. Трифонов рассказывает о малоизвестных эпизодах этой кровавой борьбы. Каторжане отказывались приветствовать начальство словами «здравия желаю». Протестовали против того, что тюремщики обращались к ним на «ты», против телесных наказаний и против подававших прошения о помиловании. За эти протесты платили кровью, жизнью. И все-таки война не стихала. «Каторга не могла стать миром по той причине, что она придумана была для убивания духа, а дух — сопротивлялся».

Из недр этого сопротивления и появлялись люди, подобные В. А. Трифонову. Понятно, почему автор так охотно пишет о нравственно высоком и духовно величественном. Само по себе героическое действие еще не имеет цены. Для чего, во

имя какой цели, какого идеала? Ответьте сначала на эти вопросы, прежде чем воздать по заслугам.

В «Отблеске костра» такие ответы есть. Один из них — вера каторжан, «политиков», заживо погребенных в туруханских, тобольских ссылках, что в революции освобожденный человек обретет наконец свои права, свое поправное человеческое достоинство.

На исторических путях России такие люди, как В. А. Трифонов, исполненные воли, энергии, ума и таланта, возникли в нужный момент из океана народной жизни. Ничто их не утратило, и они брали на свои плечи всю тяжесть борьбы. Какой могучий запас нравственных и физических сил, накопленный в народе и тоже составляющий достоинство и богатство страны, щедро, без малейшей оглядки отдан был революции!

В годы революции и гражданской войны В. А. Трифонов был организатором Красной гвардии в Петрограде, чрезвычайным представителем Наркомвоена, членом Реввоенсовета армий, комиссаром кавалерийского корпуса. Он неизменно оказывался там, где грозил провал, прорыв, поражение: юг — в пору наступления немцев, Казань — во время чехословацкого мятежа, Царицын, Пермь, Орел — в месяцы успехов Колчака и Деникина. Эти годы отпечатались в переписке и бумагах В. А. Трифонова.

Автор, щедро вводя в книгу письма, телеграммы, выдержки из докладов и пр., удовлетворяет наше стремление к документально точному факту, к правде «сырой», неприукрашенной и — неопровержимой. Читатель оценит, конечно, эту особенность книги, как и то, что она знакомит нас с Ф. Мироновым, В. Панюшкиным, Б. Думенко — героями гражданской войны, чьи имена надолго преданы были забвению и вычеркнуты из учебников истории.

О причинах нынешнего расцвета документальной прозы много говорено и незачем повторяться. Сошлемся лишь на свидетельство автора о том, как он изучал в институте историю гражданской войны — в ту пору, когда не принято было говорить ни о каких сложностях и драматизме. Понятно, что после такого изучения автор берет в руки документ с взволнованным чувством первооткрывателя. Радость наново познающего человека явственно ощутима в книге.

В одном из докладов в Оргбюро ЦК — он написан летом 1919 года — В. А. Три-

фонов яростно обличает людей, считавших, что можно подменять «советское строительство репрессиями, а здравый смысл и марксистское рассуждение — решениями с кондачка». Речь шла о злоупотреблениях властью, от которых страдало на Дону трудовое казачество. «Ошибки, граничившие с преступлением» (слова В. А. Трифонова), спровоцировали Вешенское восстание, изображенное в «Тихом Доне». Известно, какие ожесточенные нападки рапповской критики, упрекавшей писателя в «сгущении красок», вызвали в свое время эти страницы романа.

Автор рисует картину вздыбленного войной юга России.

«На Дону и по всему Северному Кавказу советские войска вели непрерывные бои с кадетами и бандами восставших казаков, «восстанцев». Шайки головорезов под черными анархистскими знаменами мотались по степям и железным дорогам, и логика их поступков была дика и темна: то они остервенело дрались с немцами, то поворачивали оружие против Советов, то просто грабили кого попало, убивали и умирали в пьяном угаре, неизвестно за что... Белая гвардия стремилась задушить большевиков какими угодно средствами и чьими угодно руками, хотя бы руками казаков, которые в конечном счете стремились совсем не к тому, к чему стремилась белая гвардия.

И, кроме того, во всей этой кровавой суетолоке, во всех лагерях были еще честолобцы, наполеонишки, которые преследовали свои личные цели. Это было время авантюристов, калифов на час. Это было время, когда возникали и лопались целые призрачные государства. Это была первая послеоктябрьская весна, бушевавшая, как молодое вино, и никто не мог знать, какой будет вкус у этого вина через месяц или через год».

Каким же напряжением ума и воли нужно было противостоять этой бушующей стихии и сохранить свой идеал будущего! Ведь эта стихия тоже способна была заразить — и заражала. Но подлинный революционер, человек большой души и большого мужества, В. А. Трифонов остался верен своим идеалам.

Да, «все было сложно, драматично и накалено до крайности». Эти авторские слова не остаются лишь декларацией. Книга рассказывает об эпическом героизме и революционном энтузиазме, о том, чем пришлось

заплатить за победу, о потрясениях, жертвах, тяготах и ошибках. Все это нужно знать, чтобы исторический опыт не пропадал зря,— нужно для жизни.

«Наверное, ничто не добывается с таким трудом, как историческая справедливость,— замечает в одном месте автор.— Это то, что добывают не раскопки в архивах, не кипы бумаг, не споры, а годы». Такое решительное противопоставление едва ли верно. И споры и раскопки в архивах могут послужить делу исторической справедливости. Годы сами по себе ничему не по-

могут, если не будет чьих-то усилий, чьей-то энергии.

Собственно, «Отблеск костра» — прямое тому доказательство. То, что извлечено автором из забвения, из мрака и пыли, все эти документы и свидетельства очевидцев, и давние споры, и судьбы людей, имена которых можно вычеркнуть из учебника, но нельзя вычеркнуть из истории,— словом, все это и с следовании помогает лучше понять трудное, героическое прошлое нашей родины.

И. КРАМОВ.

★

СВЕН ВООРЕ, ЕГО ЛИЧИНА И ЛИЦО

Энн Ветемаа. Монумент. Повесть. Перевел с эстонского Леон Тоом. «Дружба народов», № 7, 1966.

Повесть «Монумент» — первое произведение молодого эстонского писателя Энна Ветемаа, переведенное на русский язык.

Из вступительной заметки Е. Усыскиной узнаем, что Энн Ветемаа — инженер-химик, композитор, поэт, новеллист, первые стихи опубликовал в 1960 году, первую книгу стихов, «Ломка голоса», — в 1962 году и что «Монумент» — самое объемистое его произведение.

Герой «Монумента» Свен Вооре имеет диплом скульптора, степень кандидата архитектуры. Он ожидает, что в его только что полученную уютную квартиру придут «дорогие гости — Почет и Слава». Нет, Свен Вооре не ожидает их, он их сюда притащит.

Образ интеллигентного приспособленца, для которого важна лишь его карьера, его благополучие, цинического умника, использующего слабости других людей для своих целей, уже не раз встречался в литературе. Можно вспомнить и «Человека с портфелем» А. Файко, и некоторых героев повестей Я. Рыкачева, В. Герасимовой или Грацианского из «Русского леса» Л. Леонова.

Но большей частью эти персонажи уходили своими корнями в дореволюционное прошлое, в их биографиях были темные пятна вроде принадлежности к свергнутым эксплуататорским классам, службы в белой армии, связи с царской охранкой и т. д. Ничего подобного нет в прошлом Свена Вооре. У него чистейшая анкета. Он «вполне современный» молодой человек.

Повесть в большей своей части написана

как рассказ Свена Вооре о самом себе, нечто среднее между дневником, исповедью и «внутренним монологом», лишь иногда автор пишет отдельные сцены «от себя». Несомненно, что такой прием повествования условен, и один из критиков нашел даже, что Свен Вооре неправдоподобен. Какой же умный и хитрый циник станет так обнажать свое нутро? Но на таких условностях стоит литература, в частности драматургия. Разве не условен дневник Глумова из «На всякого мудреца довольно простоты», который и выдает его с головой?

Условность самодовольных рассуждений Свена Вооре, любующегося и своим цинизмом, и своей хитростью, лишь обнаженнее показывает реальную фигуру.

Ловкие карьеристы обычно не верят ни в сон, ни в чох, но умеют, как флюгеры, поворачиваться по ветру, блестяще пользоваться нужной фразеологией, за которой у них нет никакого содержания, кроме демагогии. И такие люди, крайне трудно распознаваемые, порой продвигаются успешнее, чем люди искренние, честные, убежденные, думающие, не желающие хамелеонски изменяться в соответствии с конъюнктурой.

Свен Вооре — приспособленец, сформировавшийся в наши дни и притом усовершенствовавшийся искусство мимикрии. Он в свое время даже разрабатывал теорию приспособленчества, разделил его на несколько видов. «Было там «аналитическое приспособленчество», раскрывающее слабости партнера; было «дезорентирующее приспособленчество», рассчитанное на недооценку твоей

личности, что можно было впоследствии использовать; было «зеркальное приспособленчество» — партнер видел тебя насквозь, но в то же время понимал, что это предусмотрено, — в результате два толковых человека оценивали друг друга по достоинству; кроме того, было еще «эстетствующее приспособленчество» на предмет самоувеселения и «спортивный подхалимаж», разработанный специально для тренажа приспособленческой техники». Всего в начале им трактате на эту тему было больше двадцати категорий. У Свена Вооре есть еще и прием «естественного человека». Раскрываясь перед другим с полной искренностью и даже глуповатой наивностью, вызвать к себе сочувствие и тем вернее обмануть — вот вкратце суть такого поведения.

Есть лишь одна ахиллесова пята у такого хитреца. Он умен, образован, он способный человек — без этого он не смог бы добиться успеха, — но у него нет настоящего таланта, того, что когда-то называли искрой божией. Обстоятельства столкнули Свена Вооре с Айном Саармой, большим природным талантом, и Свен испытывает к нему тяжкую и даже злобную зависть. Козни Свена позволяют ему одержать победу над Айном, и в результате вместо замечательного проекта памятника, над которым работал Айн Саарма, осуществляется другой, примелькавшийся, шаблонный. Но хотя побежденный Айн устранился, все бросил, уехал на свой остров, где родился и вырос, Свен не может не понимать, что ни почет, ни слава не возместят ему самому отсутствия художнического дара. И подлость его будет разгадана, и уже разгадана, пусть пока только одним человеком — профессором Тоонельтом.

Итак, Свен Вооре одержал победу, а Айн Саарма потерпел поражение. Одним бездарным монументом стало больше, один настоящий художник сошел со сцены. Конечно, если б к концу повести Свен Вооре был разоблачен и разбит, иному читателю стало бы легче на душе. Порок наказан, добродетель торжествует. И даже Е. Усыскина полагает, что есть в повести «просчет»: почему это профессор Тоонельт «совершенно отстраняется от поединка между Талантом и Приспособленчеством»? Как будто в жизни всегда на месте оказывается какой-нибудь профессор Тоонельт, как будто на всякого подлеца находится хватающий его за

руку страж чести и истины и на всякого утопающего отыскивается спаситель... Не лучше ли не успокаивать читателя, а мобилизовать его внимание и обострить его ненависть к приспособленцам?

Взгляните же на Свена Вооре, до чего он ловок и циничен. Он, видите ли, понял, что надо вступать в коммунистическую партию. Но... для чего?

«До сих пор я был доволен своим выбором: он меня ни в чем не стеснил. Я постиг на опыте, что поступки можно заменять словами и что вовсе не обязательно залезать в доспехи: можно класть их перед собой на седло. Они и в этом случае смогут служить щитом, но не будет утрачена маневренность...»

А посмотрите, как искусно Свен Вооре пользуется современной идеологической фразеологией для того, чтобы настроить против Айна старого скульптора Магнуса Тее.

На братской могиле жертв фашизма, по замыслу Айна, памятник должен быть таким: небольшой холм, гранитная плита и из нее выступают только плечи, запрокинутая голова и руки, хватающие пустоту. При таком решении не нужен ни постамент, ни барельефы, то есть не нужна работа, которую должен был выполнить Свен Вооре. И вот уже Свен подбрасывает Магнусу Тее ходовые слова: эти руки примитивны, они выражают идеи пацифизма и абстрактного гуманизма. «Может, такой монумент и был бы вполне уместен на могиле какого-нибудь сюрреалиста, это пожалуйста, но... — говорит он, — я совершенно неспособен понять, что могут символизировать эти пассивные, покорные руки на могиле наших павших героев. На могиле тех, кто боролся до последней капли крови. Я понимаю, если бы эти руки держали хотя бы винтовку, или ребенка, или звезду... Но в своем теперешнем виде — это какой-то примитивный пацифизм». И эти слова действуют на Магнуса Тее, как на купчиху в пьесе Островского слова «жупел» и «металл».

А ведь Магнус Тее руководствуется вовсе не честолюбием и чужд личной выгоды. «Просто Магнус Тее чувствует, что он обязан встать на защиту нашего советского искусства! Он-то ведь знает, как должен выглядеть порядочный монумент». А то, что его взгляды устарели, что жизнь ушла вле-

ред, он не понимает. Зато это понимает не только Айн Саарма, но и Свен Вооре, и он пользуется Магнусом как своим оружием. «Лучшего пугача, чем Магнус Тее, чем это старое ружье с допотопным затвором, и не найти: уж я сумею его зарядить, чем мне захочется — солью, дробью, а то и пулей дум-дум. А пока грянет выстрел, сам я успею забраться на дерево!»

Венец всего — речь Свена Вооре на некоем собрании, где обсуждается вопрос об исключении Айна из Союза художников. Тут Свен неподражаем!

Мещанин далеко ушел вперед за последние сто лет. Но в основе его поведения — та же формула жизни: миру погибать или мне чай пить? Мне чай пить. Однако способы и формы приспособления его к действительности изощрились чрезвычайно.

Образ Свена Вооре учит распознавать аморального себялюбца под его личиной,

как бы ни была она по-современному изготовлена. Заслуга писателя и в том, что он сумел написать образ художника Айна Саармы, показать и силу и прямодушие истинного таланта, и его порою незащищенность перед хитроумными петлями, сплетенными подлещом-демагогом.

Характерен и Магнус Тее, на которого кое-какие слова действуют, как сигнал горниста на старого кавалерийского коня: он без дальних раздумий мчится в бой и готов рубить сплеча, сам не зная кого.

Энн Вегемаа написал умную, талантливую повесть, его взгляд на жизнь и людей трезв и зорок, суд его над мещанином беспощаден.

Остается добавить: читая перевод, выполненный Леоном Тоомом, забываешь, что перед тобою перевод. А это лучшее, что можно сказать о переводе.

Ф. ЛЕВИН.

★

ТОЛСТОЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ МИР

Толстой и зарубежный мир. «Литературное наследство». Том семьдесят пятый. Книга первая, 620 стр.; книга вторая, 614 стр. «Наука». М. 1965.

Вопрос о мировом влиянии Л. Н. Толстого был поставлен в русской печати еще до революции. В советское время вышло около ста работ, посвященных этой проблеме.

И тем не менее в двух книгах очередного, семьдесят пятого тома «Литературного наследства» содержится множество новых материалов о связи Толстого с культурой Запада и Востока, о мировом влиянии и мировом значении его творчества.

В подготовке материалов, в комментировании и редактировании текстов принял участие большой коллектив специалистов: Э. Г. Бабаев, П. Г. Богатырев, Т. Н. Волкова, Л. Р. Ланский, К. Н. Ломунов, Т. Л. Мотылева, Андре Мазон (Франция), А. И. Шифман и другие. Общая редакция тома принадлежит С. А. Макашину.

Первая книга открывается разделом «Статьи и речи». Сюда входят статьи и высказывания о Толстом тридцати трех зарубежных писателей. Первым здесь, как и следовало, выступает Ромен Роллан, вспоминающий, как в марте 1886 года он «открыл» Толстого — сначала для себя, затем и для своих соотечественников. Рядом с его именем мы находим имена Бернарда Шоу, Э. Ожешко, Б. Пруса, Г. Сенкевича, М. Са-

довяну, А. Стриндберга, А. Франса, Г. Гауптмана, Дж. Голсуорси, Т. Драйзера, Г. Уэллса, Э. Хемингуэя, А. Цвейга, Л. Фейхтвангера и других известных писателей.

Статья Анны Зегерс написана специально для «Литературного наследства»; речи А. Моравиа и Г. Пьовене, произнесенные в 1960 году на Толстовской конференции в Венеции, опубликованы в русском переводе еще до своего появления в итальянской печати.

Затем читатель слышит голоса зарубежных гостей из многих стран Запада и Востока, прозвучавшие в Москве 14—15 ноября 1960 года на заседаниях по случаю пятидесятилетия со дня смерти Л. Н. Толстого. И наконец знакомится со статьями иностранных писателей и государственных деятелей, представлявших двадцать стран; эти статьи появились в толстовские дни, в ноябре 1960 года, в советской печати. Среди авторов — премьер Индии Дж. Неру, президент Финляндской республики У. К. Кекконен, президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин, американский писатель Э. Синклер и другие.

Особый интерес представляет раздел ию-

странной почты Толстого. В архиве Музея Толстого в Москве хранится около девяти тысяч писем к Толстому. Для публикации отобрано сто двадцать пять наиболее существенных и характерных писем из двадцати стран мира на английском, французском, немецком, итальянском, испанском и сербском языках.

При расположении писем редакция признала наиболее целесообразным применить тематический, а не хронологический или иной принцип, в чем, несомненно, была права.

Перед читателем этих писем возникает огромная фигура Толстого — художника, литературного критика и теоретика искусства, педагога, публициста, обличителя.

В своей статье, сопровождающей публикацию, Э. Г. Бабаев справедливо замечает: «Значение Толстого определено той гуманистической основой его мировоззрения, которую мы сейчас назвали бы интернационализмом».

Впервые публикуемые письма к Толстому содержат восторженные отзывы о каждом из трех его больших романов. Читательница из США, как бы предвосхищая известные слова Горького, писала по поводу «Войны и мира»: «Это целый мир; в ней (книге.— Н. Г.) есть все, чего жаждет душа человеческая». Роман Толстого, по ее признанию, нравственно поддерживал ее во время англо-бурской войны.

Горячими похвалами были встречены за рубежом и «Анна Каренина», относительно которой один американский врач писал Толстому, что это «сильный, захватывающе интересный роман. Но больше того,— это поразительный урок нравственности», и «Воскресение», идеи которого, по словам французского переводчика Толстого Ш. Саломона, проникли в такие круги, в какие эти идеи иными путями никогда бы не проникли.

В письмах зарубежных корреспондентов Толстого с глубоким сочувствием упоминалась обычно и его знаменитая яснополянская школа. Особый интерес вызывали толстовские приемы обучения школьников, описанные им в статье «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?». Японский педагог Секи Насияма писал Толстому: «Чрезвычайно важны и ваши успехи, достигнутые при обучении сочинительству». Передовые педагоги разных стран в письмах к Толсто-

му выражали полное согласие с его мнением о необходимости обучения детей ремеслам.

Режиссеры и актеры, искавшие новых путей в области сценического искусства, писали Толстому по вопросам театра. Среди них были режиссер парижского «Свободного театра» А. Антуан, руководитель рабочего театра клуба типографов в Праге К. Вейберцан, в письме своем обращавшийся к Толстому на «ты» и сообщавший об огромном успехе поставленной театром «Власти тьмы», основатель «деревенского театра» во Франции драматург М. Потшер, итальянский трагик Э. Цаккони, создавший образ Никиты во «Власти тьмы». Автор нрав, говоря о «глубоком и плодотворном» влиянии драматургии Толстого на «театральную жизнь его времени».

Обширная иностранная почта Толстого содержала, однако, не одни лишь благодарности и похвалы. В разделе, озаглавленном «В споре с автором», приведены письма иностранных корреспондентов, полемизирующих с Толстым главным образом по двум вопросам: о назначении искусства и о целесообразности употребления насилия как средства борьбы.

Раздел, озаглавленный «Встречи», состоит из отдельных этюдов о лицах, соприкасавшихся с Толстым. Мы знакомимся с переводчицей И. Хэпгуд, получившей от Толстого для перевода на английский язык рукопись одной из его самых сильных обличительных работ — «Царство божие внутри вас» и отказавшейся от перевода вследствие антицерковной и «анархического» характера этой книги. Особая глава посвящена американскому журналисту Дж. Кеннану, автору книги «Сибирь и система ссылки», его воспоминаниям о посещении Толстого и письмам к Толстому. Очерки Кеннана, описывавшие положение политических ссыльных, произвели на Толстого сильное впечатление и послужили материалом для третьей части «Воскресения». Интересны также письма и мемуары шведского писателя и путешественника И. Стадлинга, посетившего Толстого во время его работы на голоде в 1892 году.

Известно, какое значение придавал Толстой трудам американского экономиста Генри Джорджа, которого он глубоко уважал за его упорную борьбу по уничтожению «земельного рабства». «Литературное наслед-

ство» впервые напечатало переписку Толстого с Генри Джорджем, а также описание приезда в Ясную Поляну в 1909 году Генри Джорджа-сына, продолжившего дело отца. Здесь опубликована также переписка Толстого с английским писателем А. Кларком, автором книг о положении рабочего класса в Англии, некоторые из них по рекомендации Толстого были выпущены на русском языке издательством «Посредник».

Среди писем к Толстому из-за рубежа немалое число принадлежит перу деятелей рабочего движения, содержит протесты против войны и эксплуатации. «В ответ на требования века» — так озаглавлен последний раздел переписки. Эти «требования века», заявлявшиеся во многих полученных Толстым письмах, на которые он горячо откликался, следующие: полное уничтожение колониализма, уничтожение «рабства негров», протест против аннексии Боснии и Герцеговины «разбойничьим гнездом» — Австро-Венгерской монархией, организация «конгрессов мира». Особенно многочисленны письма с приглашениями на мирные конгрессы. Известно, однако, что, когда Толстой в 1909 году выразил согласие поехать на мирный конгресс, собиравшийся в Стокгольме, и прочесть специально для того написанную речь, организаторы конгресса, опасаясь речи Толстого, поспешили объявить конгресс отложенным.

Обширную переписку с зарубежными корреспондентами дополняют в первом томе публикации записей Е. Ф. Юнге бесед Толстого с журналистом П. Деруледом, приезжавшим в Москву в 1886 году с неудавшейся миссией склонить Толстого в пользу Тройственного союза, статья М. И. Перпер о пропагандисте Толстого за рубежом С. М. Степняке-Кравчинском, обзор архивных разысканий о Толстом в Чехословакии и другие материалы.

К описанию пражского архива Д. П. Маковицко необходимо сделать одно примечание.

Автор этого полезного обзора С. Колафа ошибочно утверждает, что причиной, препятствовавшей напечатанию «Яснополянский записок» Маковицко, были «критические замечания, сделанные близкими Толстому лицами, особенно В. Г. Чертковым». В действительности это совсем не так, и история попыток напечатания этого монументального труда состоит из сплошных неудач. В 1912 году «Яснополянские записки» были

предложены редактору «Исторического вестника» С. Н. Шубинскому, но он отказался их издать. Летом 1913 года Д. П. Маковицкий отослал в редакцию газеты «Новое время» начало своих записок. Рукопись не была напечатана и затерялась в редакции. Лишь после Октябрьской революции, в 1922—1923 годах, кооперативное издательство «Задруга» напечатало два небольших выпуска «Яснополянских записок». Был приготовлен к печати третий выпуск, но в скором времени издательство прекратило свое существование. В 1928 году в связи со столетним юбилеем Толстого Государственное издательство приняло к печати первую часть записок Маковицкого; книга была набрана и сверстана, но в свет не вышла. Таким образом, полное издание записок яснополянского врача и по сей день остается неосуществленным.

Вторая книга «Литературного наследства» открывается разделом «Воспоминания, дневники, корреспонденции». В воспоминаниях французских посетителей Толстого — Ж. Легра, А. Лапоза и М. Роша приводится ряд отзывов Толстого о художественных произведениях преимущественно зарубежных писателей. Мемуары романистки Т. Бензон, посетившей Толстого в сентябре 1901 года в Крыму, изобилуют тонкими и психологически верными наблюдениями над Толстым как личностью, над его душевной жизнью и бытом. «...Он с рассеянным видом, — пишет она, например, — спешил покончить с едой — словно с барщиной, с которой ему надо поскорей развязаться»... «Его смирение перед физическими страданиями трогательно. Он никогда не жалует, хотя носит в себе две или три неизлечимые болезни... Его слабость, следовательно, слабость героическая»... «Исполненная юности и очарования способность всем наслаждаться сохранилась в Толстом, несмотря на его старость и немощи. Он увлекает нас на террасу полюбоваться красивой лунной ночью»... Тонкое замечание делает Т. Бензон также о портретах Толстого. По ее мнению, недостаток портретов Толстого в том, что «быстрая смена выражений, необыкновенная живость этого сурового лица ускользают от художника».

Журналист Ж. Бурдон в своих воспоминаниях о встрече с Толстым в марте 1904 года приводит его суждения о положении России, о политике европейских и азиатских государств, о политической деятельности

Жореса, о Наполеоне, о художественных произведениях зарубежных писателей. Ценность его записей увеличивается вследствие того, что Толстой, получив от автора его книгу «Внимая Толстому», писал ему 3 ноября 1904 года: «Я очень ценю точность, с которой вы передаете наши беседы...»

Корреспонденция журналиста А. Бонье, посетившего Толстого в Москве в 1897 году, появившаяся в газете «Тан», посвящена главным образом записям суждений Толстого об искусстве. Публикатор корреспонденции замечает, что Толстой в беседе с Бонье «дополнял и разъяснял некоторые положения своей книги («Что такое искусство?».— Н. Г.), благодаря чему репортаж в «Тан» может служить как бы развернутым комментарием ко многим страницам толстовского трактата».

Воспоминания двух английских собеседников Толстого — журналиста и общественного деятеля У. Стэда и его секретаря Р. Лонга, переведенные Б. Гиленсоном, отличаются более сдержанным, менее эмоциональным тоном, чем воспоминания французских посетителей.

Стэд посетил Толстого в 1888 году в Ясной Поляне. В беседах, записанных Стэдом, Толстой коснулся вопросов о государстве, праве собственности, национализации земли по системе Генри Джорджа, а также высказывал свои мнения о зарубежных (преимущественно английских) писателях и делился некоторыми своими замыслами. Он рассказал Стэду о том, что написал повесть, «опровергающую общепринятые иллюзии о «романтической любви» («Крейцера соната»). Поделился Толстой со своим собеседником также планом основания международного издательства в духе «Посредника». Толстоведы должны обратить внимание и на редкое в устах Толстого положительное суждение о драмах Шекспира, записанное Стэдом.

Беседа с Р. Лонгом, бывшим в Москве в 1898—1899 годах и посетившим Толстого шесть или семь раз, касалась почти исключительно литературных тем, а также вопроса об изучении русского языка иностранцами. Свою излюбленную мысль о том, что писатель должен учиться языку у народа, Толстой выразил так: «Чтоб изучить русский язык, надо отправиться в пивную, заказать по кружке пива себе и соседу и завязать с ним разговор».

Очень интересны подготовленные дневниковые записи и воспоминания словацкого врача А. Шкарвана, человека, близкого Толстому по взглядам, друга Д. П. Маковицкого.

Наблюдения Шкарвана над личностью и душевной жизнью Толстого отличаются проникательностью и не повторяют того, что сказано о Толстом другими мемуаристами. Приведу несколько примеров. «Удивительное всего было то, что каждый с ним легко мог беседовать». «Он любил помериться силами и пошутить над сильными мира сего, занимающими высокие посты. Таких он не раз затрагивал за живое, но маленького слабого человека не обижал, а относился к нему нежно».

«Жесточкой ошибкой» считает Шкарван хотя бы мнение о том, что Толстой был аскет. Горячо возражает он и против неточного представления о взглядах Толстого на непротivление злу. «Толстой отвергал в борьбе со злом всего мира единственно протivление злу насилем... Все иные пути... он безусловно признавал и сам, как никто другой, в течение всей своей жизни воевал и боролся с господствующим злом всевозможными средствами, боролся, как лютой лев, потому-то так и боялись его все принадлежащие к власти имущим...»

В воспоминаниях и дневниковых записях Шкарвана находим интересные сведения о эпизодах из жизни Толстого. Так, он рассказывает: «При всей своей серьезности Лев Николаевич любил иногда пошутить... Раз мы ожидали у шлагбаума поезда, который должен был здесь пройти. Бешено, безудержно приближался скорый поезд, и когда он был от нас на расстоянии всего несколько метров, Лев Николаевич перебежал через рельсы. Мы все думали, что его уже нет в живых, а когда поезд прошел, мы увидели Льва Николаевича, который, стоя на другой стороне железнодорожного пути, смеялся и кивал нам. Чертковку эта шутка очень не понравилась».

Другой эпизод записан Шкарваном со слов друга семьи Толстых — А. Н. Дунаева. В конце 1880-х и начале 1890-х годов у Толстого бывал и переписывался с ним в то время «ярый толстовец» А. В. Алехин, который вскоре совершенно отошел от взглядов Толстого. Он донимал Толстого упреками и требованиями, чтобы он оставил свою жену

и покинул Ясную Поляну. Для Толстого это был труднейший и мучительнейший вопрос, над которым он размышлял с самого начала происшедшего в нем переворота. Однажды— дело происходило на лугу во время сенокоса— Алехин снова начал свои упреки и наставления Толстому. «Толстой защищался от алехинских нападок как только мог, до тех пор, пока не переполнилась его чаша терпения, и он... заревев, поднял косу и хотел зарубить своего противника. Толстой не зарубил... Алехина, коса у него выпала из рук, он упал на землю лицом ниц и заплакал навзрыд».

Толстой, конечно, не имел намерения «зарубить» своего собеседника, и то, что он замахнулся на него косой, было только жестом возмущения и отчаяния от сознания бессилия убедить своего оппонента. Этот эпизод доказывает, по меткому выражению Шкарвана, что у Толстого «тоже в жилах текла не вода».

Живыми воспоминаниями японского писателя Токутоми Рока, посетившего Толстого в 1906 году, заканчивается раздел «Воспоминания».

Раздел «Обзоры» содержит ряд очерков, посвященных восприятию творчества Толстого в различных странах: статьи «Толстой в Германии» Х. Штульц, «Толстой в Польше»

Б. Бялоковича, «Толстой в Румынии» Т. Николеску, «Толстой в Болгарии» В. Велчева, «Толстой в Китае» Мао Дуня и «Толстой в Японии» академика Н. И. Конрада.

Чрезвычайный интерес представляет обзор Л. Р. Ланского «Уход и смерть Толстого в откликах иностранной печати». «Без всякого преувеличения можно сказать, что конец 1910 г. во всем мире прошел под знаком Толстого»,— пишет автор. Огромный материал, собранный исследователем, вполне подтверждает это обобщение.

«Мир отмечает пятидесятилетие со дня смерти Толстого» — под таким заглавием опубликована В. З. Горной краткая характеристика толстовских дней в разных странах, содержащая анализ вышедших к юбилею книг, основных журнальных и газетных статей и театральных постановок.

Свыше трехсот хорошо выполненных и тщательно подобранных иллюстраций отлично дополняют богатое содержание толстовского тома «Литературного наследства».

Смело можно сказать, что с выходом этого издания вопрос о мировом значении и влиянии Толстого, его причинах, характере, размерах и формах проявления вступит в новую фазу научного изучения.

Н. ГУСЕВ,

доктор филологических наук.

★

СУХОПУТНЫЕ ПЛОВЦЫ

Джон Чивер. Ангел на мосту. «Прогресс». М. 1966. 264 стр.

Современность входит в первый рассказ этой книги одним своим краем — плоским стандартом испуганного мещанства. Автор грустно признается — бесполезно взывать: «О Гоголь! О Чехов! О Диккенс и Теккереи!» Все «вечные темы», все тонкости великой литературы прошлого отстают в мире, где главная часть пейзажа — «бомбоубежища, увенчанное четверкой гипсовых уток».

Ключ от бомбоубежища — ставка в любовной игре миссис Флэннаган. Ключ от бомбоубежища — единственное связующее звено в семейной жизни Пастернов. Миссис Пастерн прощает мужу бесчисленные измены, но то, что он подарил миссис Флэннаган ключ от их собственного бомбоубежища, — это ранит ее сердце и вызывает крах семьи (рассказ «Бригадир и вдова

гольф-клуба»). Ключ от бомбоубежища вместо сердца — злой и страшный символ.

Итак, что же — сатира на американские нравы?

Да, в книге современного американского писателя Джона Чивера есть все ее оттенки — от легкой иронии до гротеска. Уверенно и остро выписаны колоритные типы сегодняшней Америки. Бригадир Чарли с его выкриками: «Бомбу им, бомбу! Пусть знают, кто командует парадом!» Пресно унылая миссис Пастерн, которая «непрестанно — на невидимом оселке — оттачивает свое чувство собственного достоинства». Дамы, занимающиеся благотворительностью, в то время как их собственные дети погибают из-за черствости и равнодушия матерей («Образованная американка» и миссис Перанджер в «Метаморфозах»).

Благопристойный мистер Эстабрук, который, скоропалительно заканчивая к приезде жены небольшую любовную авантюру, легко предавая любовницу, как раньше предал жену, находит себе оправдание в том, что у женщины, которая скрасила его одиночество, грубые руки, рваные занавески на окнах и вообще она даже понятия не имеет о яхтах и теннисе! И самый поразительный, почти гротескный образ — старая леди, невзирая на свои семьдесят восемь лет, бойко вальсирующая на катке в центре огромного города. Колени у нее уже почти не гнутся, но она все кружится и кружится на льду в короткой бархатной юбочке и с красной лентой в волосах («Ангел на мосту»). Смешно? Скорее жутковато и... грустно. Интонация Чивера ближе всего к чувствам героя этого рассказа. Ему тоже это дико, но когда какой-то прохожий восклицает: «Сумасшедшая старуха!» — герою становится очень не по себе. Ведь это его мать. Так и в иронии Чивера есть горький привкус. Он видит и уродливое и смешное в современной Америке. Но это его страна. Ее будущее тревожит писателя. Чивер — не турист, не экскурсант, который ловит промахи и крайности. Он кровный сын своей страны. И ему важнее понять другое. Что такое рядовой человек его страны, «средний американец»? Что он чувствует, куда идет?

И Чивер открывает нам совсем иную, нетипичную Америку, без рассчитанного на экспорт внешнего блеска. Мы почти не встретим у него привычный образ «стопроцентного американца» — бойкого бизнесмена с бульдожьей хваткой, квадратной челюстью и девизом «время — деньги». Не встретим неизменных примет «местного колорита». Неизменные аксессуары американского преуспевания — синтетика, автоматика, машина для мытья посуды, машина для сбивания яиц, машина для выжимания сока, электрическая сковорода, которая сама включается и выключается, — все это механическое счастье появляется в книге Чивера лишь однажды — когда американский «рай» увиден глазами бедной итальянской служанки («Клементина»). Но и простодушную Клементину эта сверкающая техника не обманула, не скрыла главного: люди одиноки и несчастливы. В остальных рассказах это внешнее благополучие остается за кадром. Чивер понимает: пока его нет, к нему стремятся, оно может

быть предметом страсти, даже смыслом жизни. Но вот оно достигнуто, — и неумолимо обнаруживается банкротство этого идеала. Сытости, благополучия, комфорта мало человеку. Это не дает прочной душевной опоры, не защищает от тоски, от пустоты, если нет иных, высших ценностей.

Чивер пытается схватить почти неуловимые токи и влияния, которые порождают душевную неустойчивость и смуту в обитателе стандартного американского рая. Удивительно тонко передана эта психология в «Ангеле на мосту» — ключевом рассказе книги.

Мимо проносятся бесконечные стандартные шоссе, стандартные домики, рекламы, небоскребы... Город оставляет человеку так мало места. И в пешеходе, рискующем пересечь бешеный поток автомобилей, и в пассажире самолета, висящем где-то высоко над землей, Чивер открывает вдруг столько детской заброшенности: «все вам дико, и все вам чужие». Все больше опасностей, подводных рифов подстерегает человека в железном механизме цивилизации, бог которой — доллар, машина, конвейер, только не человек. Внешне приспособившись, человек где-то в глубине души не может привыкнуть, примириться. Безотчетный страх прорывается у каждого по-своему — и вот мать героя суеверно боится самолетов, брат — лифтов (вдруг дом обрушится!); сам герой — мостов (кажется, сейчас рухнет!). А все вместе создает ощущение такой зыбкости, шаткости, ненадежности: вот-вот развалится весь этот город небоскребов и машин, эта бездушная цивилизация.

У героя Чивера не так уж много собственных бед. Но и его пронизывает насквозь бесприютность и неустроенность окружающего. Вот герой ночью не может уснуть. За окном какие-то драки, одинокая пьяная женщина. Рекламная статуя девушки без отдыха вращается вокруг своей оси. «Я ни разу не видел, чтобы она остановилась, и этой ночью, лежа без сна, я задумался: когда же ей смазывают ось и мою плечи? Я чувствовал к ней некоторую нежность — ведь она, как и я, не знала покоя». Так же и в «Домиках на берегу моря»: чужие неурядицы, голоса, сновидения тревожат счастье поселившейся в маленьком домике четы. Казалось бы, всего лишь этюд настроения — словно призраки, бродят в доме прежние хозяева, и милая по-

лусонная женщина спрашивает: «Зачем они вернулись? Что они здесь позабыли?» Но без этой обостренности восприятия нет человека, есть самодовольная пошлость. Невозможно отдельное, отгороженное счастье. Живая душа тоскует по человеческим связям в разобленном, разъеденном корыстью и расчетом обществе.

От этого и страх героев рассказа «Ангел на мосту»: не с кем поделиться своим смятением, не от кого услышать ободряющее слово. Ну как позвонить жене и сказать, что не хватает духу переехать через мост? И к знакомым с этим не пойдешь. Вот и цепляешься за первого встречного, за механика бензоколонки — несколько слов могут спасти твою жизнь. Но никому нет до тебя дела. И когда незнакомая девушка просит подвезти ее через мост и в дружеской беседе все страхи забываются — это чудо! Девушка нарисована очень убедительно и натурально: прямые соломенные волосы, круглое веселое лицо. Правда, в руках у нее арфа, но — завернутая во вполне реальную потрескавшуюся клеенку. И все же то, что одно живое существо так просто обратилось к другому и помогло преодолеть психологическую пропасть, — это чудо! Оно не повторится. И не может спасти других. Герой даже брату не решается рассказать про этого загадочного ангела с арфой, и кончается рассказ возвращением рефрена: «Брат мой по-прежнему боится лифтов».

Герои Чивера отравлены городом-роботом, бездушным царством бизнеса. И сам автор так устал от него, что стремится увести действие подальше — на берег моря, в уединенный коттедж... Только в главном рассказе — «Ангел на мосту» — мы ощущаем головокружительное качание огромного небоскреба, тонкое тело которого вибрирует в высоте, как ненадежный маятник. Но все равно во всех рассказах город встает невнятным фоном, ядом, вошедшим в кровь героев.

Девиз «назад, к природе» давно устарел. Семейное счастье? Но устарел и девиз «мой дом — моя крепость». Семейный уют, зыбкость и ненадежность домашнего очага — этот мотив упорно повторяется у Чивера. Горьким недоразумением оборачиваются редкие и случайные встречи сына с отцом («Свидание»), отца с дочерью («Океан»). Герой «Океана» любит жену,

восхищается ее красотой — но, прожив с ней двадцать лет, не понимает, способна она отравить его или нет! Да, любовь явно не может служить надежным плотом в океане смятения и хаоса.

Но тоскующая душа жадно ловит в унылой повседневности хоть проблески прекрасного. Отсюда еще одна попытка согреть современность хотя бы и заемным светом, опрокинуть в нее красоту прошлого плюс красоту вымысла — миф. Так возникают у Чивера «Метаморфозы».

Миф у Чивера не так полнокровен и героичен, как у Апдайка, где миф преображает будничную реальность заурядного американского городка, растворяя незначительное и высвечивая возвышенное. У Чивера миф — лишь смутная проекция, тень, которая сбивает грубые черты обыденности, двоит изображение.

Современную Диану современный Актеон застаёт в кабинете с боссом. А превращение Актеона поначалу проявляется в том, что его, члена правления солидной фирмы, принимают — о ужас! — то за посыльного, то за официанта. Тут миф пародийно заостряет антипоэтичность мира бизнеса. Так, и Орфей весьма снижен: Орвил Бетман чарующим голосом воспекает в рекламных куплетах вакуум для обуви и пылесосы. Но все же... все же его Эвридика тоже погибает потому, что он на нее оглянулся. Оглянулся и потерял голову, потому что «невыносимо любил ее».

И в легенде о Нериссе, точно созданной для того, чтобы «еще раз напомнить миру о человеческой беспомощности и неуклюжести», о том, что невозможно «исключить из него боль, неразбериху и растерянность», — вдруг прорезается нотка поэзии, когда, умирая, Нерисса превращается в воду своего любимого бассейна, словно только тут может найти пристанище ее не приспособленная к слишком практическому миру текущая чистая душа.

Чивер то и дело соскальзывает с иронии в лиризм. Это и создает особую, своеобразную интонацию книги. Даже в рассказе о самодовольном бригадире Чарли врывается странная нота: «Тоска и одиночество человека, которого обманули и бросили посреди города, в ресторане, между часом и двумя пополудни, — кто незнаком с этим чувством, с этой ничьей землей, усталой деревьями, вырванными с корнем, и

изрытой окопами и крысиными норами укрытий, в которых все мы прячемся, незащищенные в своем легковерии». Слишком много горечи примешано тут к иронии.

И даже миссис Флэннаган с ее корыстным кокетством вызывает сочувствие, когда, лишась всего, брошенная всеми, под снежной метелью бредет в легком платье и туфельках на шпильках к потерянному бомбоубежищу и бесцельно стоит и смотрит, пока ее не прогоняют новые хозяева...

В чем тут дело? Быть может, иронию гасит жалость к нескладным, никчемным существам? Нет, важнее другое. В том, как неизменно каждый, хоть и мелкий, человек оказывается таким потерянным, неприкаянным, автор чувствует судорожный и опасный пульс отживающего мира. Это канарейки, беспомощно гибнущие в шахте, когда воздух отравлен, — первый знак неблагополучия.

Именно потому в портретах Чивера властвует не жесткая, резкая графика карикатуры, а сложные оттенки, тени, полутона. Слишком многое наслаивается на облик человека — скорость и шум города, нервный ритм газет, тревожная погода на земном шаре.

Именно потому так ново и неожиданно то, что открывает нам Чивер. За привычной самоуверенной внешностью благополучного американца не оказывается на поверку ни твердости, ни уверенности. Нэд Мерилл («Пловец»), бодрый холеный красавец, ставит себе цель, достойную прекрасного летнего дня и беспечной жизни владельца роскошной виллы: добраться до дому вплавь, цепочкой бассейнов соседних вилл, которую он пышно окрестил в честь жены «ручьем Люсинды». Какая активность, какая устремленность! Но как цель эта — выдуманная, лишь суррогат, попытка в собственных глазах утвердиться волевым, победительным, так и верность цели, когда Нэд уже устал, промерз, стал смешным, — верность никчемной цели оказывается как раз признаком безволия, внутренней инертности, неумения резко вырваться из потока.

Незаметно этот мотив переходит во второй, внутренний план рассказа. Чем дальше движется Нэд от бассейна к бассейну, тем заметнее темнеет, хмурится летний день, гроза срывает листья, сердце сжимается при этом напоминании об осени,

вот и в небе куда-то подевались летние созвездия, и запах цветов совсем осенний, и где-то вода блеснула тускло, по-зимнему. Усталому Нэду все зябче и бесприютнее, и встречают его от раза к разу все холоднее, словно с каждым шагом вперед обрубаются какие-то связи, теряются друзья... Куда девался молодой задор, с которым он вышел в путь! Да и идти, оказывается, некуда... Странно, конечно, — удивится сюжету иной читатель: мог ли человек, затеявший беспечную прогулку к собственному дому, забыть, начисто забыть, что дом пуст и обречен на продажу, что нет ни дочерей в доме, ни машин в гараже?.. Мог ли он как ни в чем не бывало заглянуть к друзьям, к любовнице, к знакомым на коктейль, забыв, что недавно, разоренный дочиста, приходил кланчить денег и его едва ли не выгнали? Странно... Странность эта в рассказе оправдана общим настроением — осенним, увядающим, чуть-чуть смазанным, словно на нерезком фотоснимке, а быть может, еще и смутным воскресным днем, когда все только и повторяют: «Вчера я слишком много выпил». Но не сходные ли странности затушевываются в жизни повседневной суетой, когда человек не осмеливается впустить в свое сознание трезвую правду жизни, признать себе, что прежде благополучие рухнуло и надо перестроиться, заново создавать жизнь. Это характерно для многих героев Чивера. Они больше пасуют перед жизнью, чем побеждают ее, они неудачники если не в делах, то в любви уж непременно, и уступают если не внешнему напору обстоятельств, то какой-то внутренней инерции.

Это весьма распространенная болезнь: паралич воли, стремление скрыть от себя все неприятное, лишь бы не пришлось бороться, что-то менять, переделывать... Это губительная для общества инертность гражданская, но она же мстит слабодушным, разъедая и личную жизнь. Герои, которые не умеют чего-то хотеть, что-то совершать... Болезнь, которую очень быстро зафиксировало западное кино с его «негероем».

И вот плывет этот «пловец» — выдуманно, вымученно, нарочно плывет по стоячей воде, и когда на пути попадаете пустой бассейн, в котором вода спущена, он добросовестно проходит через него посуху...

Чивер не берется изображать и обличать

всю американскую действительность во всей ее сложности. Книга его — зеркало несостоявшихся жизней. Здесь нет ни одного героя, который не отдается опасному потоку, а борется с течением. И, однако, уже этим горьким беспощадным отражением книга зовет проснуться тех, в ком души живы, отшатнуться от трясины безволия, действовать!

Тонкое мастерство Джона Чивера во всем переплетении сквозных музыкальных мотивов, неуловимую смесь горечи и лири-

ма, поэзии и сатиры удивительно точно и полно донесла до нас в русском переводе Т. Литвинова. Это один из редких пока случаев, когда переводчик, глубоко проникнув в творчество избранного писателя, выступает и критиком — в своем предисловии Т. Литвинова в своеобразной и изящной манере прочерчивает основные мотивы, проходящие через все рассказы Чивера, показывает сложность и цельность этой книги.

Э. КУЗЬМИНА.



Политика и наука

МОНОГРАФИЯ ОБ ОКТЯБРЬСКОМ ВОССТАНИИ

Е. Ф. Ерыкалов. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Лениздат. 1966. 487 стр.

История Октябрьского восстания в Петрограде в ее конкретных деталях все еще недостаточно изучена. Мы, историки, очень часто убеждаемся в этом. Многие связывают восстание только со штурмом Зимнего дворца в ночь на 26 октября, забывая о том, что успех вооруженного выступления определился уже утром 25 октября. Если бы город не был в руках восставших утром, то вряд ли состоялся бы штурм Зимнего. Что же касается последнего, то здесь иногда приходится сталкиваться с неверными представлениями.

К сожалению, неточные сведения можно найти в газетных очерках, радиопостановках и кинофильмах.

Величие Октябрьского восстания измеряется среди других факторов не обилием пролитой крови, а стремлением руководителей восстания избежать братоубийственного столкновения, что им в значительной мере удалось. Это убедительно показано в монографии доктора исторических наук Е. Ф. Ерыкалова «Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Книга эта интересна прежде всего своим фактическим материалом. Автор сумел не только обобщить многое из научных публикаций последнего десятилетия, но и найти новые или малоизвестные источники. Новый материал можно обнаружить во всех главах книги. Это, например, данные о политических партиях в России в 1917 году. Обычно, помимо большевистской, упоминаются только главные из них: меньшевиков, эсе-

ров, кадетов. Е. Ф. Ерыкалов называет 32 политические партии и группировки и оговаривается, что эти данные далеко не полные. Кого только нет в этом списке: «прогрессивные националисты», «радикально-демократическая», «христианско-демократическая» партии, «Республиканский центр», «Союз независимых анархистов»...

Автор впервые привлек для изучения крайне правые газеты «Живое слово» и «Новая Русь», о которых обычно говорилось только то, что 24 октября они были закрыты Временным правительством вместе с центральным органом большевистской партии газетой «Рабочий путь» для придания «объективности» этой акции. Обращение к материалам правых газет позволило Е. Ф. Ерыкалову ярче показать планы экстремистских кругов контрреволюции, стремившихся оказать давление на Временное правительство или заменить его.

Е. Ф. Ерыкалов разыскал протокол заключительного заседания III Петроградской конференции большевиков от 11 октября, где обсуждался вопрос о вооружении и обучении Красной гвардии. Автор знакомит читателя с важной ареной политической борьбы в Петрограде в дни 24—25 октября: с заседаниями Петроградской городской думы. Было известно, что сохранились стенографические отчеты думы, но автор прочел их по-новому и извлек много интересных деталей. Вот, например, как один из гласных рассказывал о попытке делегации думы пройти в Зимний дворец вечером

25 октября: «Нас взяли в штаб, провели по штабным подвалам и вывели на площадь. Там сейчас же нас обстреляли. Мы должны были ползти... В конце концов мы вернулись в штаб, и нас опять подвалами вывели под арку...»

Авторская концепция в ряде случаев выгодно отличается от литературы прежних лет издания. Е. Ф. Ерыкалов показывает сложность обстановки, борьбу различных мнений по вопросу о восстании внутри большевистской партии. Все это с новой силой подчеркивает гигантскую роль В. И. Ленина в обосновании необходимости пролетарского восстания, в руководстве его практической подготовкой. Автор старается более объективно осветить положение в лагере противников пролетарского восстания. При этом он опирается не только на официальные документы и свидетельства прессы, но и на многочисленные мемуары. Ссылки на воспоминания А. Ф. Керенского, Ф. И. Дана, В. Б. Станкевича. А. В. Ливеровского и других часто встречаются на страницах книги. И здесь читатель познакомится с новыми материалами: с воспоминаниями С. Л. Маслова, министра земледелия Временного правительства, с дневником П. И. Пальчинского, одного из руководителей обороны Зимнего дворца. В результате использования материалов обоих лагерей картина осады и взятия Зимнего дворца получилась более яркой и близкой к действительности.

Вместе с тем у историков будут претензии к Е. Ф. Ерыкалову, и, видимо, вполне обоснованные. С точки зрения концепции Е. Ф. Ерыкалова, центральной в книге является седьмая глава: «Положение в Петрограде 24 октября 1917 года». Автор анализирует постановления, принятые утром 24 октября Центральным Комитетом партии, исследует тексты предписаний и обращений Военно-революционного комитета и говорит: смотрите — вот отпор контрреволюции, вот приведение революционных сил в боевую готовность. Все это проделано точно и скрупулезно, и с Е. Ф. Ерыкаловым трудно не согласиться.

Но вот с ответом на главный вопрос: «Когда же в таком случае началось восстание?» — дело обстоит иначе. Е. Ф. Ерыкалов исходит из того, что вечером 24 октября в Смольном было получено известное письмо В. И. Ленина с призывом к не-

медленному началу восстания. «По-видимому,— пишет далее автор,— именно после получения письма Ленина состоялось решение ЦК о приведении в действие вооруженных сил революции для решительного наступления. В нашем распоряжении нет документа с таким решением ЦК. Однако имеются многие свидетельства, которые дают основание предполагать, что такое решение состоялось». Несколькими строками ниже Е. Ф. Ерыкалов пишет уже без всяких оговорок: «...партия большевиков, отбросив колеблющихся, правильно избрала момент для начала вооруженного восстания. ЦК партии принял предложения В. И. Ленина, содержащиеся в его письме в ЦК, и дал директиву о немедленном наступлении. Начавшееся между 8 и 10 часами вечера 24 октября, после получения в ЦК письма В. И. Ленина, восстание развернулось со стремительной быстротой».

Прежде всего напомним читателю, что решение о восстании было принято Центральным Комитетом РСДРП (б) еще 10 октября. В резолюции, написанной В. И. Лениным, точный срок восстания не был указан, а говорилось, что, с точки зрения назревшего восстания, надо обсуждать и разрешать все практические вопросы. В резолюции расширенного заседания ЦК от 16 октября подтверждалось прежнее решение и говорилось, что «ЦК и Совет (Петроградский.— В. С.) своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные способы наступления». Каких-либо других партийных решений о восстании или его сроке в распоряжении исследователей не имеется. В записке Я. М. Свердлову, отправленной, вероятно, вечером 22 октября или утром 23-го, В. И. Ленин требовал: «*Наступать* из всех сил и мы победим вполне в несколько дней!» Добавьте к этому известное место из воспоминаний Н. И. Подвойского: «Все участники и руководители восстания признают, что невыполнение плана взятия Зимнего дворца 23-го было большой ошибкой...» Итак, можно было наступать уже до вечера 24 октября.

Автор как-то обходит факты, которые противоречат его взглядам. Это относится ко многим событиям, которые произошли до восьми часов вечера 24 октября. Так, борьба между штабом округа и ВРК за овладение мостами, которая шла без едино-

го выстрела, но имела решающее значение для контроля над городом, рассматривается автором в восьмой главе, посвященной событиям, происходившим в ночь на 25 октября. Между тем уже в предписании ВРК Гренадерскому полку, отправленном в девять часов утра 24 октября, говорилось о выделении пулеметной команды для охраны мостов. Сохранившиеся документы ВРК, донесения комиссаров и их воспоминания показывают, что установление контроля над Троицким, Литейным, Гренадерским и Сампсониевским мостами произошло во всяком случае во второй половине дня, а ночью караулы были только усилены. Точно так же обстоит дело с контролем над учреждениями связи.

Несколько слов о построении книги. В ее основу положен тематический принцип: вот подготовка сил революции с сентября по октябрь, а вот — силы контрреволюции за то же время. Массово-политическая работа большевиков в одном параграфе, а военно-организационная подготовка восстания — в другом. Все это затрудняет восприятие, разрывает взаимосвязь событий, вынуждает автора делать бесчисленные повторения. Жаль также, что большинство иллюстраций заимствовано автором из других изданий. Можно назвать лишь две-три фотографии, опубликованные впервые.

В книге допущены неточности. Вот некоторые из них. На странице 427 сказано, что после взятия предпарламента около не-

го были выставлены броневики «Олег» и «РСДРП». На самом деле выставлен был только броневик «Олег», на котором еще в первые дни февральской революции была сделана надпись: «РСДРП». Это видно на сохранившейся документальной фотографии. На страницах 447—448 говорится, что с повторным ультиматумом ВРК в Зимний дворец направились Г. И. Чудновский и П. В. Дашкевич. В действительности же Дашкевич был во дворце во время первой миссии Чудновского. К этому же времени относится и выступление П. И. Пальчинского перед юнкерами. Автор часто подпадает под влияние использованных им источников. Так, в соответствии с дневником министра А. В. Ливеровского он пишет, что в половине двенадцатого ночи в комнате, соседней с той, где заседало правительство, с верхней галереи была сброшена бомба. Вероятно, Е. Ф. Ерыкалов не попытался проверить это сообщение на месте, в Зимнем дворце, хотя как ленинградец имел для этого все возможности. Соседние комнаты не имеют никаких галерей. Бомба была сброшена через световой фонарь коридора третьего этажа в расположенный под ним «темный коридор», который действительно вел к апартаментам правительства.

Несмотря на некоторые недостатки, книга Е. Ф. Ерыкалова заслуживает высокой оценки.

В. СТАРЦЕВ,

кандидат исторических наук.



ШТРИХИ БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ

Воспоминания о Надежде Константиновне Крупской. Под редакцией А. М. Арсеньева, В. С. Дридзо, А. Г. Кравченко. «Просвещение». М. 1966. 495 стр.

«...У меня к Вам совершенно определенное чувство искреннего уважения и симпатии. Таких, как Вы, стойких людей — немного... Вы и сами хорошо знаете, как труден и великолепен был путь Ваш, как много потрудились Вы в деле революции».

Так писал М. Горький 13 июня 1930 года Надежде Константиновне Крупской.

Трудному, великолепному пути Н. К. Крупской и посвящена эта книга. Наряду со старейшими членами КПСС, видными деятелями партии и Советского государства в

сборнике выступают работники искусства, культуры и народного образования, ученые, комсомольцы тех лет — соратники и современники Н. К. Крупской. Здесь представлены и те, кто знал ее в дореволюционный период, и те, кто трудился рядом с нею на ниве народного просвещения, и те, кому довелось лишь эпизодически встречаться с Надеждой Константиновной. В каждой из статей — интересные штрихи, детали, подробности, помогающие воссоздать живой облик Надежды Константиновны.

По свойственной ей сдержанности и скром-

ности Н. К. Крупская очень мало и скупой писала о своей революционной деятельности. Воспоминания Г. М. Кржижановского, З. П. Кржижановской, Г. И. Петровского, А. В. Луначарского, М. Н. Покровского, Е. Д. Стасовой, С. И. Гопнер, М. М. Эссен, К. Т. Свердловой, Т. Ф. Людвинской и других восполняют то, чего недосказала сама Крупская, помогают представить себе всю огромность, сложность и ценность ее подчас незаметной, но исключительно важной для партии работы.

В дореволюционные годы она выполняла, как подчеркивает А. В. Луначарский, «чрезвычайно существенную и во многом влияющую на ход роста нашей партии роль, так сказать, главного секретаря, корреспондента и делопроизводителя во всей гигантской работе, которую вел Ленин в процессе строительства нашей партии». М. Н. Покровский добавляет к этому, что без тесного сотрудничества с Н. К. Крупской «строительная работа Ленина была бы до крайности затруднена, если не вовсе невозможна».

Революционной борьбе Н. К. Крупская отдавала все свое время, силы и знания. Вся переписка «Искры», а затем переписка с партийными кадрами, с местными организациями по существу шла через ее руки.

Только в искровский период количество отправляемых ею писем в Россию, по свидетельству Е. Д. Стасовой, доходило до трехсот в месяц. Не все знают, однако, каких поистине сверхчеловеческих усилий требовала эта сложная переписка. «По сути дела надо число 300 умножить на 6, так как для написания письма следовало проделать следующее: 1) написать письмо, 2) подчеркнуть в нем все то, что надо было зашифровать, 3) зашифровать все это, 4) проверить шифровку, чтобы не было пропусков, ошибок, 5) написать письмо внешнее, то есть такое, которое бы легко проходило цензуру, 6) между строками его написать само письмо химическими чернилами...» И так изо дня в день, многие годы.

Нетрудно представить, что значили для революционеров-подпольщиков эти письма! В них не просто излагались ленинские советы и указания, в них всегда было кое-что, как говорил Г. М. Кржижановский, «идущее от самой Надежды Константиновны — такое простое, дружеское и вникающее. И мир революционных подпольщиков никогда не вычеркнет **этого** из своей благодарной памяти».

Но переписка — это только часть революционной деятельности Н. К. Крупской. А сколько было деловых встреч с партийными работниками, сколько забот о сохранении в порядке ленинского архива, сколько совместных с Владимиром Ильичем размышлений о тех или иных партийных проблемах! Несмотря на большую загруженность, Крупская уделяла серьезное внимание разработке проблем марксистской педагогики, трудовой политехнической школы, коммунистического воспитания трудящихся.

Печатью безграничной любви к революции отмечена вся деятельность Надежды Константиновны и в годы советской власти. С головой окунулась она в любимое дело строительства основ социалистической культуры, подлинно народного просвещения. «Душой Наркомпроса» называли Крупскую те, кто трудился вместе с нею в этот период. «Школа и дети, пионеры и комсомольцы, женщины, рабочие и работницы, учителя и учащая молодежь, клубы, библиотеки, школы взрослых — все это входило в круг ее забот и интересов», — писала З. П. Кржижановская.

Много любопытных фактов, эпизодов, характеризующих облик Н. К. Крупской, ее стиль работы найдет читатель также в воспоминаниях А. С. Курской, В. С. Дридзо, М. А. Смушковой и других.

Для Надежды Константиновны характерна прежде всего глубокая вера в творческие силы народа, в его талантливость, в его неисчерпаемые созидательные возможности. Отсюда самая тесная связь с рабочими и крестьянами, с работниками школ, библиотек, изб-читален, комсомольцами и пионерами.

Трудно перечислить количество ее встреч с молодежью, работниками культурного фронта, рабочими, ее многочисленные выступления.

А вот несколько цифр, показывающих, какую работу проделала Н. К. Крупская за один месяц — в январе 1939 года (это было за месяц до ее смерти): статей — двадцать, выступлений — шестнадцать, заседаний — двенадцать, писем — двести сорок. И при этом в выступлениях, в письмах ни одной праздной фразы, а деловитость, настоящая, человеческая чуткость, ленинская принципиальность.

О ее внимании к интересам трудящихся говорит, в частности, такой факт. Как-то на заседании Моссовета, депутатом которого

была Н. К. Крупская, шел разговор о предложении избирателей, об их наказе. Депутатам заранее был роздан объемистый том с изложением всех высказанных москвичами пожеланий, критических замечаний, советов, просьб. И если некоторые товарищи лишь бегло перелистали этот том, не вникнув в существо вопросов, поставленных избирателями, то Крупская проанализировала каждое предложение и в своей речи говорила, что конкретно надо сделать, чтобы полнее удовлетворить культурные, бытовые нужды москвичей, чтобы улучшить работу школ, детских учреждений, больниц и т. п.

Ей свойственно было умение наладить действительно коллективную работу, когда ни одно дельное предложение не остается без внимания, ничья разумная инициатива не заглушается. Она не навязывала своего мнения, избегала категоричности, а старалась убедить человека, зажечь его, вселить в него уверенность в успех дела. Коллективная работа, по ее мнению, состояла не в том, чтобы всем собраться и сидеть на заседании, а в том, что мысль одного оплодотворяла мысль другого.

И еще об одной характерной черте Надежды Константиновны рассказывают ее современники: о ее принципиальности, исключительной нетерпимости к равнодушию, несправедливости, о ее глубокой заинтересованности в судьбах людей, в том, чтобы они, как любила она говорить, «росли и умом, и сердцем». И когда надо было встать на защиту правого дела, Надежда Константиновна не колебалась.

В книге приводится такой примечательный эпизод. Еще в 1918 году в Москве была создана биологическая станция юных натуралистов. Душой и основателем ее был педагог Борис Васильевич Всесвятский. О работе этой станции много писалось, о ней знала вся страна. Но вот как-то в 1928 году некие довольно пристрастные «деятели», не разобравшись в сути дела, обвинили руководителей станции в нерадивости и чуть ли не во вредительстве. Ревизоры, как вспоминает Б. А. Григорьев, дали материал в печать, и 21 июня 1928 года в газете «Рабочая Москва» появилась грубо искажавшая факты заметка «Биостанция столбовых дворян», написанная в совершенно недопустимом тоне.

Каких только ярлыков не навешали на работников биостанции и, в частности, на ее руководителя Н. К. Крупская в связи с

этим выступила 24 июня в «Правде» с большой статьей «Здоровое и больное в нашей самокритике». Статья эта не потеряла своей актуальности и сейчас. Она крепко бьет по любителям разносной критики, по тем «мастерам дубинки», которые, не имея убедительных доводов и аргументов, навешивают своим оппонентам политические ярлыки, обвиняют в безыдейности и прочих грехах.

Н. К. Крупская напоминала об исконной традиции большевизма: умении бесстрашно смотреть жизни в глаза, не приукрашивать действительности, как бы она горька подчас ни была, вновь и вновь проверять себя, учитывать все факты.

В сборнике приведено немало примеров того, как Надежда Константиновна становилась на защиту преданных партии людей, смело поддерживала все новое, передовое, воинственно выступала против рутинеров, волокитчиков, не умевших заметить творчества, инициативы, самостоятельности масс. «Нельзя бороться со злом,— говорила Н. К. Крупская,— закрывая на него глаза».

Больше всего не любила она людей беспринципных, быстро отказывающихся от своего мнения, если оно расходилось с мнением «начальника», а в большинстве случаев просто не имеющих своего мнения... «Она ценила людей живых, инициативных,— пишет В. С. Дридзо,— умевших отстаивать то дело, которым они занимались, умевших организовать работу, людей «рукастых», как она говорила». Она нетерпимо относилась к фальши, к лакировке, к попыткам скрыть трудности, приукрасить действительность. «Сладенькое комбранье» претило ей, и она так же зло высмеивала его, как это делал Владимир Ильич.

Однажды, беседуя с Л. Н. Сейфуллиной о делах литературных, Надежда Константиновна заметила, что основным качеством молодой советской литературы считает ее правдивость. «Помнится,— пишет Л. Н. Сейфуллина,— она выразилась даже так: «бесстрашная правдивость».

Именно с этих позиций правдивости относилась она ко всему, что писалось и говорилось о Ленине, к произведениям искусства, посвященным Ильичу. Тому свидетельство — воспоминания художника П. В. Васильева, известного режиссера Н. В. Петрова и других авторов. Строго критически относилась она к различным «воспоминателям», пытавшимся исказить живой образ

Ленина, придать ему иконописные черты, наделять не свойственными ему качествами. «Хрестоматийный глянec» был чужд Надежде Константиновне.

Со страниц сборника встает образ обаятельного человека, натуры целеустремленной, кристально чистой, до конца преданной долгу и в то же время скромной и простой «В личности Надежды Константиновны,— пишет П. В. Руднев,— удивительно полно сочтались все черты нашего идеала нового человека. В каждой из них не было ничего исключительного, сверхчеловеческого, доступного только избранным. Но ее беспредельная преданность делу коммунизма, одухотворенность его идеями сплавливали эти отдельные черты в неразрывное и прекрасное целое».

Современников привлекала в Крупской революционная страсть, неиссякаемый революционный оптимизм. Отсюда поразительная работоспособность, умение заражать всех окружающих бодростью, пробуждать творческую энергию. Она, как подчеркивается во многих воспоминаниях, ни-

когда не жаловалась на трудности, на сложности работы, на занятость и усталость, на громоздкость дел, которых было действительно невпроворот. Только скажет, бывало, свое любимое: «Уйма работешки!» — и продолжает решать эту уйму задач деловито, без суеты, без нервозности.

Душевная чуткость, сердечность, скромность и простота были свойством ее цельной натуры. И даже после горячих и принципиальных споров, после острых дебатов по работе вдруг, как тонко подметил А. В. Луначарский, «расцветает своей бесконечно доброй и ласковой улыбкой, в которой читаешь всегда одно: а все же мы товарищи по одному и тому же огромному и радостному делу...».

Однажды, уже на склоне своих лет, Надежда Константиновна сказала: «Жизнь у меня сложилась исключительно счастливо». Ведь счастье она видела в упорной борьбе за светлое будущее, в труде на благо народа, в претворении в жизнь ленинских идей.

Дм. ДАЖИН.



ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ ВЕРУЮЩИХ

Н. П. Андрианов, Р. А. Лопаткин, В. В. Павлюк. Особенности современного религиозного сознания. «Мысль». М. 1966. 247 стр.

За последние годы заметен количественный рост нашей атеистической литературы. Авторы многих атеистических работ подробно анализируют вероучение современного православия, католицизма, протестантизма, доказывают антинаучный характер церковной доктрины, критикуют ее с позиций марксистского мировоззрения. Такая критика религии необходима и полезна. Но она не должна рассматриваться как единственное направление научного исследования религии.

Не следует забывать, что атеистам в их практической работе приходится иметь дело главным образом не с теологами или профессиональными служителями культа, а с рядовыми верующими. Религиозное сознание рядового верующего в любую историческую эпоху существенно отличается от официальной церковной доктрины. Его религиозные представления менее систематизированы, носят более хаотический и пестрый характер, имеют ярко выраженную эмоциональную окраску. В социалистическом обще-

стве они, естественно, приобретают еще больше своеобразия. Под влиянием социалистического образа жизни прежние религиозные верования и представления размываются и трансформируются.

Для атеиста, желающего активно и целенаправленно воздействовать на психологию и поведение верующих, недостаточно знать, скажем, Библию или Коран. Он должен знать и особенности религиозных представлений тех верующих, с которыми он практически имеет дело. Религиозное сознание при этом не может рассматриваться как нечто изолированное. Оно должно изучаться в его социальном контексте, то есть соотноситься с реальными условиями жизни верующих.

Рецензируемая книга представляет собой первый шаг в указанном направлении. Ее авторы — аспиранты Института научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС — попытались обобщить и осмыслить результаты нескольких конкретных исследований, в ходе которых работниками этого института и представителями других орга-

низаций были проведены беседы с девяносто шестью верующими — приверженцами православия.

Исследования, проводимые методом беседы-интервью, дали довольно обширный фактический материал, характеризующий мировоззрение верующих, их чувства и переживания. В книге есть и раздел, посвященный моральным представлениям и нормам верующих. Он, к сожалению, написан слабее других: абстрактные рассуждения нередко преобладают в нем над анализом фактов. Это особенно досадно, если учитывать практическое значение проблемы.

Наиболее интересен первый раздел книги (автор — Р. А. Лопаткин), в котором анализируются особенности мировоззрения верующих.

Автор выделил и подверг сравнительному анализу три элемента религиозных представлений: 1) библейские представления о природе, о мире в целом; 2) представления о загробной жизни и бессмертии души; 3) представления о боге. Оказалось, что наименее устойчивым компонентом в системе религиозных воззрений верующих являются традиционные библейские представления о мире (то есть библейские представления о возникновении Земли, звезд и планет, растений, животных и человека, сказания о всемирном потопе и Ноевом ковчеге и т. п.). Так, например, опрос тридцати девяти верующих села Третья Левые Ламки Сосновского района Тамбовской области показал, что лишь шесть человек из них придерживаются библейского объяснения происхождения Земли и человека. Как правило, это люди пожилые, с начальным образованием, а то и вовсе малограмотные. Шестнадцать человек хотя и знакомы с библейскими мифами, но не убеждены в их истинности. Они знают, что существует научное объяснение соответствующих явлений.

Причины быстрого исчезновения библейских взглядов на мир очевидны. В свете данных современной науки последние выглядят особенно архаично. Этот элемент религиозных представлений наименее устойчив.

Представления о бессмертии души и загробной жизни, как показывают данные исследований, держатся более стойко. Но и тут обнаруживается убывающая тенденция. Например, беседы со ста тридцатью двумя верующими в Ивановской и Тамбовской областях дали следующие результаты: верят в бессмертие души девяносто пять человек,

то есть семьдесят два процента всех обследованных, сомневаются в этом семнадцать человек (тринадцать процентов), не верят тоже семнадцать человек и не ответили на вопрос три человека.

Меняется и сам характер представлений о загробном мире, которые сохраняются у верующих. Почти исчезают наивные представления об аде как о геенне огненной, в которой грешники претерпевают реальные физические мучения. Сравнительно небольшое число людей сохраняет веру в воскрешение мертвых и в личное воскрешение (по данным одного из обследований, в евангельское учение о воскрешении мертвых после страшного суда верит лишь около сорока процентов верующих в бога). Комплекс представлений о загробной жизни и бессмертии души все более приобретает абстрактные черты. Этому способствуют и модернизаторские устремления церковников, и внутренняя потребность верующих как-то согласовать свои религиозные воззрения с общепринятыми в современном обществе научными взглядами.

Наиболее устойчивой идеей в современном религиозном сознании оказалась идея бога, включающая в себя целую систему религиозных представлений (представления о боге как творце мира, его спасителе и «мыслителе», представления о святой троице, об Иисусе Христе как богочеловеке и т. п. и т. д.). «Идея бога,— пишет Р. А. Лопаткин,— переживает идею бессмертия души за счет своей большей способности к абстрагированию, а также потому, что она переплетается в сознании верующего с большим количеством идей и представлений».

Интересна попытка дать представлениям верующих о боге качественную характеристику. Как показывают данные нескольких исследований (два из них проведены на Украине), наиболее распространены три варианта представлений о боге. В одном из них бог представляется как особая личность, как человекоподобное существо («антропоморфные представления»), в другом он представляется как вездесущий дух («абстрактные представления»). Третий вариант смешанный: бог представляется и как личность и как дух одновременно. Попутно заметим, что именно этот третий вариант и лежит в основе официального православного вероучения. Правда, в настоящее время в соответствии с общей тенденцией и сами церковники предпочитают выдвигать на пер-

вый план не наивные антропоморфные представления с бже, а более «хитрые» и утонченные — абстрактные.

По данным исследований, антропоморфные представления о бже свойственны примерно двадцати—двадцати пяти процентам верующих. В основном это люди пожилого возраста, имеющие низкий уровень образования. (В одном из исследований среди верующих с антропоморфными представлениями о бже было около восьмидесяти пяти процентов старше пятидесяти лет и около шестидесяти семи процентов неграмотных и малограмотных.) В «абстрактного» бже, бже-духа, верит около двенадцати — двадцати процентов православных (зато тридцать семь процентов верующих всех религиозных направлений, вместе взятых). Среди баптистов абстрактные представления о бже преобладают.

Автор одного из разделов рецензируемой книги, В. В. Павлюк, впервые в нашей атеистической литературе приводит конкретные данные, характеризующие эволюцию религиозных чувств у современных верующих. Несмотря на их неполноту, эти данные весьма любопытны. В Ровенской области УССР ста сорока трем верующим (православным) был задан вопрос, испытывают ли они чувство любви к бже. Семьдесят пять человек заявили, что они испытывают это чувство, двадцать пять человек дали уклончивый ответ и сорок три человека сказали, что они не ощущают чувства любви к бже. Громадное большинство верующих, давших положительный ответ, понимают любовь к бже лишь как уважение и почитание бже, выражающееся в выполнении заповедей религии.

Конечно, словесная характеристика человеком его эмоций всегда рискует оказаться приблизительной и неточной. Поэтому такого рода опросы не следует переоценивать. Но думается все же, что и такой способ исследования приемлем и что он может дать полезную информацию. Приведенные выше цифры являются одним из многочисленных показателей явлений процесса размывания и затухания традиционной религиозной веры.

Показателем этого является также то, что тридцать три процента обследованных верующих считают, что бже существует сам по себе и не вмешивается в дела и судьбы людей. Плохое или хорошее в жизни человека зависит либо от него самого, либо от других людей, но не от бже. В то же время значи-

тельная часть верующих (сорок один процент) придерживается традиционного взгляда, согласно которому судьба человека целиком зависит от воли бже, а несчастья людей — это бже наказание за грехи.

Красноречиво свидетельствуют о затухании религиозности и цифры, показывающие отношение верующих к молитве. Многие люди, считающие себя верующими, не молятся вообще, другие молятся лишь изредка и только около двадцати процентов из общего числа верующих молятся регулярно.

Исследования религиозности, на которые ссылаются авторы книги, еще далеко не во всем удовлетворяют научным требованиям. Бросается в глаза, в частности, отсутствие в книге анализа репрезентативности (представительности) проведенных исследований. Остается неясным, по какой методике осуществлялась выборка, на каких принципах она базировалась. К сожалению, такое беззаботное отношение к принципу репрезентативности свойственно до сих пор очень многим нашим социологическим исследованиям. Сейчас уже накоплен достаточный опыт, позволяющий надеяться, что кустарничеству и отсебятине в вопросах методологии конкретных социальных исследований будет положен конец.

Рецензируемая книга страдает недостатками и иного порядка. В некоторых разделах (особенно в разделе втором, написанном Н. П. Андриановым) дают о себе знать рецидивы того абстрактно-догматического стиля изложения, который в свое время процветал во многих книгах и брошюрах на общественно-политические темы. Упомянутый стиль предполагает, в частности, особую манеру изложения, при которой факты привлекаются лишь в качестве примеров для иллюстрации заранее постулируемых теоретических положений. И хотя сами по себе отдельные примеры ничего не доказывают, автор считает себя вправе в следующем абзаце с глубокомысленным видом написать: «Таким образом...»

Так, на странице 110 книги Н. П. Андрианов описывает производственные успехи верующей колхозницы С. и верующей работницы И. Подробно охарактеризовав их трудовые показатели, автор делает вывод: «Вовлеченные в сферу активного труда, такие верующие быстрее освобождаются от ложных представлений». В их жизни «религия занимает уже незначительное место».

Может быть, все это и верно, но читатель не убежден. Он неизбежно усомнился в правильности вывода, поскольку последний не вытекает из приведенных фактов.

Книга далека от совершенства. Но все же она выделяется из ряда других атеисти-

ческих работ как первая попытка научного исследования современного религиозного сознания. И в этом ее несомненная ценность.

Д. УГРИНОВИЧ,

доктор философских наук.



СУДЬБА КНИГИ

Герман Дрюбин. Книги, восставшие из пепла. «Книга». М. 1966. 182 стр.

Многовековая история подтверждает, что судьба книг неотрывна от судьбы людей. И когда истребляли книги, жгли их на кострах, перемалывали на бумажных фабриках, рассыпали готовый набор — плохо, очень плохо бывало прежде всего людям.

О судьбах нескольких «крамольных книг» и рассказывает Герман Дрюбин в своей книжке.

Больше двух тысяч лет назад некий китайский император приказал уничтожить все труды Конфуция. Книги сожгли. Но этого было явно недостаточно. С самим философом расправиться было невозможно: он умер за много лет до этого. Тогда закопали живыми в землю сотни его последователей. Впрочем, китайский правитель вовсе не был первым и последним губителем книг и людей. Он имел многих, пожалуй слишком многих, и предшественников и последователей. Среди рьяных врагов прогрессивной книги найдем и «святую» инквизицию с ее пресловутым «Индексом запрещенных книг», который существовал до самых последних дней, правда в несколько «пересмотренном» виде. В последнем издании «Индекса» 1948 года по-прежнему запрещались «все книги, осужденные до 1600 года», запрещалась «вся еретическая литература, а также книги, в какой-либо степени направленные против религии». От католиков не отставали и протестанты, столь же ревностно сжигавшие книги инакомыслящих, а нередко и их создателей. «В своей ненависти к ученым и вольнодумцам, — пишет автор, — паписты и реформаторы находили общий язык...»

В книге Германа Дрюбина только мельком упоминается средневековый аскет Джироламо Савонарола и его беспощадный «Костер мирского тщеславия». А право, Савонарола вполне заслуживает отдельного очерка в этой книге. Благая цель (сколь-

ко душителей человеческой мысли прикрывалось благими целями, порой и ненамеренно) руководила им — осуществить братство людей. Правда, это братство представлялось ему весьма оригинальным, где весь мир напоминал бы монастырь, наполненный иноками, изнуренными трудом, молитвами и бдениями. На короткое время Савонароле удалось осуществить нечто подобное во Флоренции. Из города исчезло веселье, по полугоду царили здесь посты, не стало карнавальных шествий, на игры были наложены штрафы, с женщин сняли драгоценности, а из молодежи организовали отряды *cogrettori* — шпионов, исправителей и инквизиторов. Последователи Савонаролы в громадный костер свалили кучей картины, статуи, лютины, книги. И даже сами художники приходили и бросали в костер свои произведения. Хорошо, что это безумие длилось недолго, и когда однажды над горящим костром погиб сам суровый пророк, то народ вздохнул с облегчением. К сожалению, история не всегда служит уроком. И спустя некоторое время после Савонаролы жители другого города, на этот раз Женевы, остались вольны лишь «творить молитвы утром и вечером, до еды и после еды и поминать Жана Кальвина, указующего людям единственный верный путь на земле...».

Книга Г. Дрюбина интересно задумана, построена на строго фактическом материале и занимательно, живо написана. Главы книги не одинаковы по своей форме и жанру. Здесь документальный очерк соседствует с публицистической статьей, разыскания по истории книги — с рассказом об интересных поисках и встречах... И это ничуть не нарушает цельности общего замысла книги.

Большие очерки о Мигеле Сервете и его книге «Восстановление христианства», за

которую автор — философ и врач — был сожжен по приказу Кальвина, о Даниэле Дефо, которому за язвительный памфлет пришлось побывать в «ореховых щипчиках» позорного столба и посидеть в тюрьме, о Вольтере, чьи книги преследовались самодержцами и церковью и при жизни, и после его смерти, относятся к лучшим в книге.

Оригинальны главы, посвященные отечественной книге, ее друзьям и врагам («Как Николай I уволил Аксакова-цензора», «Кобзаря не запретишь!», «Таинственная типография Д. Белогубова» и др.). Особо хочется остановиться на очерке «Левкий Жевержеев и его коллекция». Страстный книжник, Жевержеев собрал библиотеку в двадцать тысяч томов. Многие редчайшие книги, в их числе и запрещенные, и уничтоженные цензурой, были переданы им после революции в государственные хранилища — в Публичную библиотеку и Театральный музей в Петрограде. Но Жевержеев интересен не только как коллекционер. Богаты купеческий сын, он связал свою судьбу с левой интеллигенцией. В 1909—1910 годах он был одним из основателей и казначеем (по сути сам финансировал) «Союза молодежи», объединившего левых художников, дружил с Маяковским (в книге приводится шутовское двустушие, посвященное Жевержееву Маяковским), Мейерхольдом, Осипом Бриком, вместе с ними подготавливал весной 1917 года организацию «Левого блока Союза деятелей искусств». И после

Октября он оказался среди тех петербургских интеллигентов, которые сотрудничали с советской властью. До самой смерти (Жевержеев умер в 1942 году в ленинградскую блокаду) он был заместителем директора Театрального музея. Любопытно (этот факт в книгу не вошел), что когда М. Горький задумал издавать в 1919 году журнал «Завтра», то в группу, которая должна была стать активом этого журнала, вошли акад. С. Ф. Ольденбург, Н. Я. Марр, Л. И. Жевержеев и другие.

К сожалению, приходится все же упрекнуть автора и редактора этой интересной книги в недостаточно тщательной редакторской подготовке и не всегда удачном литературном оформлении некоторых глав. Так, вряд ли стоило очерк о журнале «Пулемет», выходявшем во время революции 1905 года, — очерк, потребовавший от автора немалых разысканий, — давать только как запись рассказа современника этих событий, хорошего знакомого автора. Такая форма привела к явной натяжке, лишила рассказ необходимой естественности. Приходится указать и на некоторые фактические неточности — очевидно, результат опечаток или опечаток. Например, художник Юрий Анненков назван почему-то Анненским (стр. 143), Хемингуэй никак не мог сражаться с фашизмом во Франции 1914 года, «в еще занятом немцами Париже» (стр. 178), есть в книге и другие, более мелкие ошибки.

А. ТОЛСТЯКОВ.



НА СТЫКЕ НАУК

Л. Н. Гумилев. Открытие Хазарии (Историко-географический этюд). «Наука». М. 1966. 191 стр.

С детства вошли в наше сознание, абонировали какую-то клеточку в кладовой нашей памяти хазары. В самом имени этого древнего народа как бы слышалось бряцание мечей. Воинственные, «неразумные» хазары совершали буйные набеги, и постулируя неотвратимость наказания, вещей Олег обрек мечам и пожарам их села и нивы. Эти сведения сообщались в максимально доходчивой форме и запомнились твердо.

С несколько меньшей экспрессией и уверенностью повествовали историки о бесследно исчезнувших кочевниках — тюрках, жив-

ших где-то в низовьях Волги, промышленявших грабежом и имевших два крупных города, также бесследно исчезнувших... Представления о селах и нивах плохо вязались с представлениями о степных хищниках... Наиболее знающие и добросовестные историки признавали наличие густого, почти непроглядного тумана в вопросах, связанных с происхождением, образом жизни и даже местом жительства хазар. Известно, как хоронили своих покойников неандертальцы, исчезнувшие с лица земли сорок тысяч лет назад, но никто не мог сказать, как это де-

лали сражавшиеся всего тысячу лет назад с русскими князьями хазары.

Короче: была где-то в междуречье Волги, Дона и Терека великая держава, цари которой переписывались с арабскими халифами и византийскими императорами, и — не оставила по себе ни одного памятника. Жил в исторически недавнее время могучий народ, торговал, воевал, ел, пил, а следов его жизни нет.

«Тут что-то не так», — приходило в голову археологам. Большинство, к сожалению, удовлетворялось этой чисто негативной констатацией. Другие строили умозрительные концепции, солидные только внешне, поскольку они держались в основном лишь на материале скудных в данном отношении исторических источников. А открытия-то — кардинальные! — делаются, как это все более становится ясным в последние годы, главным образом не в чистом диапазоне одной, отдельно взятой науки, но на стыке нескольких наук.

«Открытие Хазарии» (название книги отражает суть дела) показывает, что подобные открытия делаются отнюдь не только на стыках принципиально близких наук (например, физика — химия — биология), имеющих дело с различными формами существования и движения материи или с различными проявлениями духовной культуры (литература — искусство и т. п.). Творчески продуктивным может быть и сотрудничество истории с внешне далекой климатологией. Диалектический же синтез географии, климатологии, биологии, геологии, истории, археологии и этнографии способен, по-видимому, стать наиболее конструктивным и многообещающим методом исследования ряда «белых пятен» истории народов. Особенно народов, не оставивших по тем или иным причинам выразительных визитных карточек в местах предполагаемого своего обитания.

При этом методе открытия не рождаются на кончике пера, не являются результатом гениального прозрения реалий в зыбкой ткани мифа и не венчают великолепными саркофагами и таинственными письменами духовное самоотречение и завидное трудолюбие. Сложность путей и нелегкий труд первооткрывателя здесь выражены в уникальном сочетании многоплановых поисков в пространстве и во времени, на земле и под землей, на воде и под водой, в верхних

и нижних слоях атмосферы, в комбинации самых отдаленных ассоциаций и — в данном случае — в скрупулезном обследовании биосферы евразийского континента за последние два тысячелетия.

Каковы результаты? Обнаружены и исследованы немногочисленные памятники хазарского периода, сохранившиеся на так называемых бэровских буграх в низовьях волжской дельты, найдены могилы, посуда, черепки, оружие. Установлено, что хазары жили не в калмыцкой степи, где их искали, а в считавшейся необитаемой десять веков назад дельте Волги. При этом, как пишет в предисловии к книге профессор М. И. Артамонов, Л. Н. Гумилеву с помощью биологов и геологов удалось реконструировать облик дельты в хазарское время, «определить размеры и составить представление о ее вероятном в то время хозяйственном использовании, что вплотную подводит к пониманию хозяйства и образа жизни хазар». Для этого и в связи с этим, привлекая широкий круг сведений из области исторической географии и проводя со своими сотрудниками сопряженные с немалым риском подводные исследования в бурном море, ученый уточняет хронологию климатических изменений за два тысячелетия, устанавливает уровень Каспийского моря в VI веке и влияние его колебаний на судьбы народов данного ареала. Он производит разведку на Тереке и находит — впервые! — хазарское городище VIII века, которое по структуре может быть полулегендарной хазарской столицей — славным городом Семендером. Таковы результаты семилетнего (1959—1965) труда. Чем он венчается? Думается, что по крайней мере в ближайшее время — ожесточенными дискуссиями и грозными атаками адептов старых концепций.

Ученый перед публикой — художник, говорил В. О. Ключевский. Если это верно вообще, то верно и в данном случае. Автор обладает не только широтой кругозора, не только владеет знанием законов развития общества и природы, не только поражает нас энциклопедичностью своих знаний и умелым использованием своей редкостной эрудиции. Он еще умеет писать о сложном просто и интересно, владеет искусством научно-художественного очерка. Он то ведет с нами непринужденную легкую беседу, с мягким юмором знакомя нас со своими друзьями-спутниками или дорожными

приключениями, то заставляет следить за ходом своих оригинальных рассуждений о влиянии солнечной активности на историю кочевых народов. Он развертывает перед нами панораму событий, самых отдаленных по месту (от Тихого до Атлантического океана), но совпадающих по времени, вскрывая их причинность и взаимовлияние, и как бы стягивает их вокруг хазарского узла, выявляя актуальность того, что, казалось, не относится к делу.

Рассматривая историю стран Европы и Азии в единой генетической и этнополитической связи, Л. Н. Гумилев удачно преодолевает «пережитки» европоцентризма и заинтересовывает читателя реконструкцией целостного исторического процесса и четким пониманием роли природного фактора в жизни людей. Одновременно он знакомит нас (строго к месту!) с отрывками из стихотворений и поэм Саади, Фирдоуси и других восточных поэтов в своих переводах.

Время от времени, столкнувшись с тем или иным примечательным фактом, автор перебивает повествование вставными научными новеллами, имеющими и самостоятельную ценность. Так, например, находка сабли барсила — современника, а затем и соплеменника хазар — дает ему повод для интересного экскурса в историю оружия, а находка погребения печенега — к любопытному рассуждению о своевременности «по смертной реабилитации» этого народа, дурное отношение к которому держится на свидетельствах его противников. «Подумать только,— пишет в этой связи Л. Н. Гуми-

лев,— сколько исторического хлама несем мы в своем сознании, даже не подозревая об этом. Мы мыслим привычными категориями симпатий и антипатий, совсем забыв о том, как и почему они возникли, даже не думая о том, насколько они справедливы».

Но едва ли не самое интересное в этой книге, что придает ей наряду с эрудицией и литературным талантом Л. Н. Гумилева особый аромат, это — увлеченность автора, вдохновенность и страстность его романтических поисков во всех четырех измерениях. Увлекаясь до самозабвения проверкой своих гипотез, нелегким трудом «детektива истории», Гумилев увлекает в это странствование и своих спутников — геологов и гидробиологов, почвоведов и филологов, студентов и кандидатов наук, водоспасателей и шоферов, делает их соучастниками и сопереживателями своих исканий. Та же судьба ждет и читателя.

Автор назвал свою книгу биографией научной идеи. М. И. Артамонов справедливо отмечает, что «это еще и автобиография, так как идея неотделима от своего автора». Имея, несомненно, в виду, что не все в книге бесспорно, что, например, пафосозвучающее «Да, это Семендер!» еще должен пройти проверку лопатой, автор предисловия говорит: «Во всяком случае это интересная книга, которую прочтет каждый, кто увлекается романтикой трудного поиска... кто любит следить за тем, как совершаются открытия». Охотно присоединяюсь к высказыванию знатока вопроса.

Я. ПРИТЫКИН.



НОВОЕ В УПРАВЛЕНИИ АМЕРИКАНСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Новейшие тенденции в организации управления крупными фирмами в США. «Наука». М. 1966. 327 стр.

Американская деловая пресса утверждает, что в наши дни происходит переворот в методах управления крупными предприятиями и их объединениями. Как пишет журнал «Данс ревью энд Модерн индастри», «управление предприятиями за последние десять лет изменилось больше, чем за предыдущие полтора столетия. Электронная техника означает революцию в управлении промышленностью». Большинство крупных американских компаний начиная с пятиде-

сятих годов произвело полную реорганизацию своего управления.

Этой реорганизации и связанным с ней новым явлениям посвящена коллективная работа Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. В книге рассматриваются новые черты современного управления промышленными концернами: внутрифирменное планирование, внедрение электронной вычислительной техники в сферу управления, а также

система подготовки управляющих. Особые главы уделены химической и электроэнергетической промышленности, строительству и транспорту, автоматизации банковских операций.

Всего лишь пятнадцать лет назад на рынке США появилась первая электронная вычислительная машина. В 1960 году их действовало пять тысяч, в 1964 году — шестнадцать тысяч, а к концу 1965 года — тридцать пять тысяч. В 1970 году число электронно-вычислительных машин в США дойдет, по некоторым подсчетам, до восьмидесяти пяти тысяч. Известный экономист Р. Теобальд доказывает, что с учетом роста числа электронных вычислительных машин, повышения их мощности, одновременного использования и повышения качества программирования их общая способность к переработке информации возрастет за десятилетие 1960—1970 (а в основном за последние пять лет) в 140 тысяч раз! Растет не только мощность электронно-вычислительных машин, но и их «компетенция», предела которой не видно.

Главы «Электронно-вычислительная техника в управлении» (автор Ю. Иньков) и «Проблемы автоматизации банковских операций» (В. Усоккин) принадлежат к наиболее интересным. По словам Ю. Инькова, применение электронной техники стало показателем современного уровня управления концернами. Из восьмисот крупнейших фирм четыре пятых уже пользуются ЭВМ. Уже началось «вымывание» средне-управленческого и контрольного персонала. Машины ведут бухгалтерскую отчетность, контролируют товарно-материальные запасы, составляют прогнозы, координируют и планируют производство. «В условиях обостряющейся конкуренции,— пишет Ю. Иньков,— применение этого инструмента нередко становится решающим фактором жизнеспособности капиталистических предприятий. Фирмам, отстающим в его использовании, грозит перспектива гибели». Техническая революция идет на пользу прежде всего крупным компаниям.

Ускоряются темпы решений — усиливается гибкость руководства. В книге много примеров разительной экономии, достигаемой благодаря электронно-вычислительным машинам. Установлено, что применение их снижает товарно-материальные запасы по крайней мере на одну треть. Самый лучший

банковский клерк может рассортировать и разнести по счетам не более 245 документов в час, тогда как электронная установка за это же время делает 33 тысячи бухгалтерских проводок.

Причины реорганизации управления авторы видят не только в электронике. Концентрация и централизация капитала породили гигантские многоотраслевые концерны-конгломераты, промышленные империи с предприятиями, раскинутыми по всему миру, с десятками и сотнями тысяч «подданных». Управлять такими корпорациями в новой, усложнившейся обстановке стало необыкновенно трудно.

Лозунгом дня стала децентрализация. При этом власть центрального штаба компании не ослабела. Она сосредоточилась на «стратегии». Это техническая политика, направление капиталовложений и научных исследований, политика цен, перспективное планирование, финансы, контроль, отношения с профсоюзами, с правительством, вопросы организационной структуры. В последнее время электронные машины в сочетании с передачей информации средствами телемеханики привели к тому, что оперативные возможности центра значительно возросли. Теперь главная контора узнает о переboях на производстве одновременно с директором самого отдаленного завода. Возникла «рецентрализация». Однако, пишет Н. Многолет, «принцип автономии и невмешательства в нее руководящих органов по-прежнему остается в силе. Как и раньше, центральные органы дают лишь общие установки и осуществляют контроль над направлением работы отделений и заводов, следят за результатами их деятельности, не вмешиваясь в их повседневные операции».

Каждая корпорация старается найти оптимальное соотношение между децентрализацией и централизацией. «Организационная работа никогда не кончается,— заявляет Р. Кординер, много лет возглавлявший «Дженерал электрик». — Нужно непрерывно приспособлять структуру фирмы к новым условиям». В то же время специалисты предостерегают против торопливости в этом деле, против слепого подражания, «организационной шизофрении» (это выражение принадлежит органу делового мира «Бизнес уик»).

Авторы сборника останавливаются и на

некоторых других новых явлениях в практике крупных фирм.

Вошло в обычай внутрифирменное планирование с применением вычислительных машин и новейших математических методов. Корпорации составляют перспективные планы по основным показателям на пять, десять, пятнадцать лет и даже более. Применение сетевых методов управления и контроля в строительстве сокращает его сроки вдвое и втрое, а затраты на пятнадцать—двадцать процентов.

Наметилась тенденция к коллегиальному руководству, единоличное управление сохранилось только в небольших или средних компаниях.

Корпорации стремятся исходить не столько из «интуиции босса», сколько из данных науки. Нет ни одной крупной американской промышленной компании, которая не имела бы исследовательских лабораторий. В некоторых концернах заняты тысячи и даже десятки тысяч научных работников, а затраты на науку доходят до половины издержек производства. Совершенствуются системы информации и связи: свыше тысячи компаний создали за последнее время специальные службы по изучению рынка.

Развивается наука управления. От проблем организации труда на рабочем месте она переходит к более общим вопросам. Повышение квалификации управляющих на всех ступенях управленческой иерархии рассматривается как первостепенное дело. Характерно, что их обучают даже таким предметам, как социология и психология.

Составители сборника, к сожалению, обошли одну существенную черту современного управления монополиями. Все крупные американские фирмы за последние годы создали специальный аппарат по поддержанию «классового мира» на предприятиях, в котором занята армия специалистов по «человеческим отношениям». Они ведут борьбу с профсоюзами и осуществляют целую систему социальной магии. Но в сборнике этот вопрос не освещен.

В самой развитой стране капитала достигнут большой прогресс по части науки и искусства управления. Но не следует переоценивать рациональность американского управления. Реорганизация управления, как показано в сборнике, сопровождается большими издержками. Сказывается конкуренция, разобщенность предприятий, консерва-

гизм бизнеса. Жажда немедленной выгоды часто берет верх над интересами науки. Электронно-вычислительные машины используются далеко не в полную меру своих возможностей. Исследования и проектирование, ведущиеся монополиями в тайне друг от друга, дублируются. Самое совершенное математическое планирование в отдельных фирмах усиливает диспропорции и противоречия во всей экономике.

Догматики понимали загнивание капитализма как полный застой и отсутствие всякого прогресса. Все, что исходило из-за рубежа, было от лукавого. Такое пренебрежение зарубежным опытом дорого обошлось нам. Известно, что Ленин, выступая против комчванства, требовал тщательно изучать и перенимать положительный опыт передовых капиталистических стран в организации и управлении производством. В системе Тейлора, которая тогда была «последним словом капитализма» в организации производства, Ленин увидел не только «утонченное зверство буржуазной эксплуатации», но в то же самое время и «ряд богатейших научных завоеваний». Указания Ленина сохраняют силу и в отношении преемников Тейлора.

Социализм не изолирует себя от достижений буржуазной науки на том основании, что они возникли в других социальных условиях. Однако речь идет о критическом изучении буржуазного опыта. Это подчеркивает и автор введения С. Меншиков: «Чрезвычайно опасно слепое копирование капиталистического опыта хозяйствования, игнорирование недостатков управления, порожденных капиталистической системой, игнорирование опыта социалистического управления, во многом более совершенного, чем капиталистический; с другой стороны, опасны и нетерпимы заведомое отрицание, чрезмерная подозрительность в отношении любой новинки, вводимой в капиталистическом управлении, в отношении такого опыта вообще». Авторы предоставляют самим читателям делать выводы и решать, что именно из описанного может быть использовано в советском хозяйстве.

Сборник, разумеется, не исчерпывает темы. Он не единственный в этом плане за последнее время. Институт готовит новую работу, на сей раз об организации научных исследований, связанных с производством. Издательство «Советское радио» только что

выпустило в переводе с английского сборник «Наука. Техника. Управление», издательство «Мир» — интересную книжку П. Райветта и Р. Акоффа «Исследование операций», издательство «Экономика» — книгу Р. Миллера «ПЕРТ — система управления». Полезной была и недавняя международная выставка в Москве по технике управления — «Интероргтехника-66».

Обильные материалы сборника показывают, как, независимо от своей воли, тресты и концерны движутся в направлении обобществления производства. Они стараются приспособить свою организацию и управление к условиям современной научно-технической революции. Применение новейших счетно-решающих устройств, усовершенствование систем информации и свя-

зи, новые методы планирования — внутризаводского и общетрестовского, децентрализация (а в некоторых случаях и «рецентрализация») руководства, введение коллегиальности на высшем уровне, переподготовка управляющих и другие меры по рационализации управления повышают маневренность монополий и усиливают их власть над всем обществом. Достижения науки и в этом случае присваиваются финансовой олигархией.

Но какую бы информацию ни закладывать в машины, сущность капитализма не меняется. Даже самая процветающая корпорация при анархии рынка допускает крупнейшие просчеты и вечно опасается катастрофы.

С. ЭПШТЕЙН.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

М. А. ГАГИЕВА. Женщины гор. Орджоникидзе. 1966. 231 стр.

«Командир попросил пригласить Даурову...»

В комнату, где допрашивали немца, вошла женщина в форме офицера военно-воздушных сил и доложила о выполнении боевого задания.

Выслушав доклад, командир обращается к пленному:

— Вот кто вас сбил!

Немецкий летчик вскочил, словно ужасленный.

— Нет, нет, не фрау! Другой... Зачем обман?!

— Никакого обмана: лейтенант Даурова, летчик-истребитель».

Это эпизод из книги М. А. Гагиевой, посвященной женщинам Северной Осетии.

О судьбах горянки, путях созидания коммунистической нови рассказывает во вступительной статье председатель Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР Т. С. Хетагурова.

«К началу пятилетки,— пишет она,— удельный вес женщин, занятых в народном хозяйстве, составил 51,1 процента, 1819 женщин Осетии избраны депутатами местных Советов, 47 женщин являются депутатами Верховных Советов СССР, РСФСР и Северо-Осетинской АССР. Женщины-горянки руководят заводами, фабриками, цехами, школами, лечебными учреждениями».

Глава «С мечтой в сердце...» посвящена участию осетинки в революционном движении. Здесь исторические факты об ученице гимназии З. А. Алдатовой-Цоколаевой, ее сестре Т. Алдатовой, хранивших у себя подпольную типографию и оружие, о пропагандистках, о многих женщинах-революционерках Владикавказа. Значительное место уделено героизму и патриотизму, проявленному многими осетинками в гражданской войне (Кяба Гоконяева, Душинка Тогоева, Ольга Сикоева-Джанаева, Маша Коцоева, Ольга Цомаева и многие другие).

В других главах рассказывается об участии женщин-горянок в восстановлении народного хозяйства Осетии, о первых шагах колхозного строительства, о женщинах — воинах, героях труда, ученых, выдающихся деятелях искусства.

Книга хорошо оформлена.

В. Янзем.

СОФЬЯ АВЕРИЧЕВА. Дневник разведчицы. Верхне-Волжское книжное издательство. Ярославль. 1966. 279 стр.

Сельмого сентября 1942 года разведчица Софья Аверичева получила на фронте посылку из Ярославля, а в ней письмо от председателя ВТО народной артистки СССР Яблочкиной. «Помните всегда, что вы актриса,— писала Александра Александровна,— внимательно приглядывайтесь к окружающей вас жизни. Запоминайте чувства, переживания людей, образы героев, чтобы потом со сцены сильно и ярко рассказать о пережитом. Помните всегда, что вы не только боец, вы — боец-актриса!»

И боец моторазведывательной роты, вчерашняя молодая актриса Ярославского драматического театра имени Волкова, выполнила наказ старшей артистки. День за днем вплоть до великого наступления 1944 года она записывала в дневник все свои наблюдения и сумела точно зафиксировать душевные переживания, переживания героев, живо рассказать об их подвигах. И не со сцены, а в книжке.

Война, о которой молодая актриса, по собственному признанию, знала раньше только по книгам и кинофильмам, стала ее жизнью, повседневным тяжким трудом и великим ратным подвигом. Вот только одна из многочисленных записей: «Молча, со всех сторон, пошли в атаку. Полицейские и немцы проспали. Пулеметные точки уничтожены. Мы ворвались в деревню, бутылками с горючей смесью и термитными шашками зажигая склады с боеприпасами... Бегут освобожденные из полицейских лап люди... Удивительное, неизведанное чувство победы переполняет меня. Усталости никакой».

В боях за родину участвовало много женщин, подвижных высоким чувством патриотизма. Некоторые из них стали соратницами Аверичевой на военных дорогах. С большой симпатией пишет она об учительнице Валентине Лавровой, работнице трамвайного парка Тосе Мишуте, и мы вместе с автором преклоняемся перед подвигом этих разведчиц, погибших за родину. Наравне с мужчинами-бойцами девушки несли все тяготы войны. Безыскусственно и правдиво рассказывала о них Аверичева, лишь скромно упоминая о том, как сама брала «языка».

Но вот часть отводится на кратковременный отдых, девушкам-бойцам предоставля-

ют отдельный домик. Стол, три табуретки, пахучее сено на нарах. Впервые за много дней походов можно сбросить верхнюю одежду. Аверичева записывает: «Еще впереди и грязь, и пот, и холод, и кровь... А сегодня — это наш домик, наш фронтовой уют. И мы — женщины! Хорошо вот так, вдруг почувствовать себя тем, кто ты есть — женщиной. Замечательно!»

Советские женщины вправе гордиться своим великим вкладом в дело победы над фашизмом. И среди этих героинь достойное место занимает славная разведчица-коммунистка Софья Аверичева, кавалер восьми правительственных наград.

Л. Серебряник.

★

АЛЕКСАНДР КРЕМЕНСКОЙ. В нехоженом лесу. Рассказы. «Советский писатель». М. 1966. 432 стр.

Александр Кременской как писатель выступил в печати в первые послевоенные годы. Ранние его странички возникли скорее из опыта не беллетриста, а очеркиста или, если выразиться точнее, из опыта научного работника (по образованию А. Кременской — ботаник). К этому роду вещей относятся, например, «Асканийские рассказы». Но с течением времени у него восторжествовало второе, подлинное призвание, укрепились любовь к литературе и русскому слову.

Формированию творческой индивидуальности автора способствовало его неоднократное участие в экспедициях, которые, несомненно, обострили его наблюдательность, учили разбираться в различных, подчас крайне противоречивых, характерах людей.

Научная достоверность при показе среднеазиатской пустыни, естественная у профессионала-ученого, со временем вовсе не исчезла: она легко угадывается, допустим, в авторских описаниях саксаула или боялыча («Черные пески» и «Язва выдувания»). Но на первый план выступают здесь художественная наблюдательность, впечатляющая деталь, точный отбор слова: «На вершине бархана сидела маленькая ушастая ящерица. Она забралась под самое синее небо и пронзительно-резко чернела на его фоне. Были ясно видны круто поднятый «верху, с загнутым концом, твердый чешуйчатый хвост, зубчатый, от головы к спине — совсем драконий — гребень. Обдуваемая ветром, ящерица дышала порывисто и тяжело».

Обычно А. Кременской выбирает своих героев из среды, ему хорошо знакомой. Это ботаники, геологи, мелиораторы, ученые и рабочие, собирающие научные коллекции, закладывающие шурфы, разыскивающие под песками водоносные слои. Но в этом большом трудовом коллективе, занятом исследованием и освоением некогда почти диких пространств, — свои различия и свои страсти. Старое иногда **пытается**

противодействовать новому, как в рассказе «Такырвые пятна». В некотором смысле эта преобладающая в книге часть «среднеазиатской» прозы А. Кременского сродни памятным «Кочевникам» Николая Тихонова. Однако рассказы А. Кременского относятся к другому периоду в истории Средней Азии, в них немало чисто тематического своеобразия, и главное — на них лежит печать индивидуальной манеры письма.

Умеет А. Кременской правдиво говорить о душевном мире нашей сегодняшней молодежи, тянувшейся к науке, увлекающейся, например, астрономией (один из лучших рассказов — «Персеиды»).

Несколько особняком стоит в книге чисто лирический рассказ «Город отца». Тут прежде всего тонко показано несовпадение жизненного опыта двух поколений, но то же произведение является и напоминанием о «страшных следах войны», еще не везде стертых и забытых.

Пожалуй, А. Кременского следует охарактеризовать как писателя медленного роста, но этот его рост реален. Это сравнительно редкий случай: человек, поначалу работавший в области науки, всерьез освоил писательское мастерство. Книга избранной прозы А. Кременского (куда, кроме небольших рассказов, вошли и целые повести вроде «Черных песков» и «Красной рыбы») — тому бесспорное доказательство.

Игорь Поступальский.

★

И. РАХТАНОВ. Рассказы по памяти. «Советский писатель». М. 1966. 182 стр.

Автор книги «Рассказы по памяти» рано пришел в литературу для детей и юношества. И. А. Рахтанову было всего 20 лет, когда вышла в свет его первая повесть. Судьба писателя сложилась таким образом, что он оказался у самых истоков большой и теперь всемирно известной советской литературы для мальчишек.

В своих «Рассказах по памяти» он выступает и как очевидец, и как непосредственный строитель этого дела.

И. Рахтанов, между прочим, пишет: «Так уж устроена наша память, что быстрее и прочнее мы запоминаем боковое, не прямо относящееся к делу». Это, пожалуй, единственное положение книги, которое следует оспорить. И Рахтанов сам опровергает его. Его «боковой принцип» оказывается весьма метким. Он позволяет увидеть, почувствовать самое характерное, самое существенное.

Перед нами оживают портреты В. Маяковского, С. Маршака, Е. Шварца, Н. Заболоцкого и многих других. Мы ощущаем веселую редакционную сутолоку детских журналов «Еж» и «Чиж», видим, как озорно и остроумно все там делалось.

Удалься автору и рассказы об Уткине, Багрицком и Олеше — умные, чуть подернутые грустью. Но, пожалуй, главная особенность мемуаров Рахтанова — их

воинственность. Он не только живо, интересно рассказывает нам о незаслуженно забытых Николае Смирнове, Данииле Хармсе, Александре Веденском, Юрии Владимирове, так много сделавших для детской литературы, но убедительно доказывает это, свободно, широко цитируя их забытые сейчас стихи и очерки. Их книги должны жить.

И. Рахтанов оказался обладателем доброй памяти. Он хорошо рассказал нам о времени, когда, по словам автора предисловия Виктора Шкловского, «люди росли, как лес, где деревья перегоняют друг друга».

Читая воспоминания И. Рахтанова, мы видим чудо этого удивительного роста.

Евг. Мар.

★

АКАДЕМИК М. Н. ТИХОМИРОВ. Средневековая Россия на международных путях (XIV—XV вв.). «Наука». М. 1966. 174 стр.

Существует давний предрассудок, будто авторы популярных книг, да еще посвященных историческим сюжетам, должны излагать только устоявшиеся, общепринятые истины. Последний труд покойного академика М. Н. Тихомирова, вышедший в научно-популярной серии, как нельзя лучше опровергает этот предрассудок.

Содержание книги значительно шире, нежели это определено названием. В ней представлена Россия не только на международных путях, но и на внутренних путях и перепутьях своей сложной и трудной истории.

Особенно впечатляет сжатая, но исключительно содержательная характеристика международного положения нашей страны в рассматриваемый период. Россия не жила замкнутой жизнью. Оказавшись исторически на рубежах между Европой и Азией, она приняла на себя как бы миссию связи между европейской и азиатской цивилизациями.

М. Н. Тихомиров убедительно защищает свой тезис о международном значении русской торговли в эти два столетия. У англичан завоевателей сложилась поговорка: «Торговля следует за флагом». А Россия того времени стремилась вести торговлю на основе добрососедских, мирных отношений с народами — ближними и дальними. Автор дает содержательную характеристику торговых путей: в Константинополь, Западную Европу и на Восток, то есть в Персию, Среднюю Азию и Индию.

История не может быть безымянной и обходиться без характеристики исторических деятелей. В. О. Ключевский был замечательным мастером исторического портрета. Однако первых московских князей он представил как малозаметных государственных деятелей. М. Н. Тихомиров с полным основанием замечает, что в этом случае «нашему знаменитому ученому изменило его историческое чутье», и поправляет своего предшественника.

Последняя глава книги посвящена культурной жизни России. Известны многие работы автора, посвященные культуре древней и средневековой Руси. В этой области вклад М. Н. Тихомирова в историческую науку особенно ошутим. Мы еще раз убеждаемся в этом, читая заключительную главу книги. Любопытный штрих: упомянув о таком интересном произведении гражданской литературы, каким является «Задонщина», М. Н. Тихомиров пишет, что теперь уже советские историки литературы перестают сомневаться в том, что этот памятник возник, как это и было обобщено им, в конце четырнадцатого века.

Книга академика М. Н. Тихомирова — образец глубокой научной популяризации, возможной лишь как итог накопившихся научных исследований и наблюдений. Она достойно завершает творческий путь большого ученого.

И. Орловский.

★

Г. И. МИШКЕВИЧ. Мастер-невидимка. «Судостроение». Л. 1966. 252 стр.

«Мастер-невидимка» — это сжатый воздух. Трудно перечислить все отрасли промышленности и строительства, где «мастер-невидимка» оказывает нам неоценимые услуги. Без него водолазу не обследовать дно морское, судостроителю не построить быстро корабль, ракетчику не направить в цель ракету. Без пневматического тормоза невозможно было бы обеспечить безопасное движение железнодорожного транспорта. Без пневматической шины не было бы современных быстроходных автомобилей.

«Мастера-невидимку» можно увидеть и на сцене театра — он верный помощник богатых выдумкой режиссеров. Вот один пример. В Большом театре ставили оперу П. И. Чайковского «Черевички». По ходу действия кузнец Вакула уносит мешок, в котором спрятались два дородных человека — Чуб и дяк. Но ведь даже сам силач Вакула не смог бы поднять такой груз, тем более не под силу он артисту не столь богатого сложения. Выручили «мастер-невидимка» и полимеры. Из пластмассовой пленки склеили специальный баллон. Электрокомпрессором накачали в него воздух, и баллон принял форму мешка, в котором были видны контуры двух человек.

Не за горами день, когда человек высадится на Луне. Где он будет жить? Уже есть проект лунного дома. Он состоит из нескольких блоков, соединяемых с помощью переходных тамбуров — гибких «гармошек». В этот изготовленный из пластмассовой пленки лунный дом космонавты накачают сжатый воздух, который привезут с собой в баллонах.

Нет нужды перечислять разнообразные способности «мастера-невидимки». Они обстоятельно описаны в увлекательной книге Г. И. Мишкевича.

К сожалению, у нас еще есть немало книг, авторы которых в погоне за занима-

тельностью сползают на путь вульгаризации науки и снижают тем самым научно-познавательную ценность своего труда. Г. И. Мишкевич избежал этого. Его книгу вполне обоснованно можно причислить к лучшим образцам научно-популярного жанра. В ней видны широкая научная эрудиция автора и талант популяризатора.

Книга написана живым языком и хорошо оформлена художником В. С. Орловым. Она читается с большим интересом.

Ленинград.

Доцент Б. Розен.

★

Л. Г. ФРИЗМАН. Творческий путь Баратынского. «Наука». М. 1966. 142 стр.

«Из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит г. Баратынскому», — писал Белинский. Пушкин, как известно, высоко ценил Баратынского и часто сравнивал его с собой: «Признание» — совершенство. После него никогда не стану писать своих элегий». Сам Баратынский, слишком скромно оценивший свой талант («Мой дар убог, и голос мой не громок»), все же надеялся на встречу с читателями будущих поколений («Читателя найду в потомстве я»).

Но путь Баратынского к читателю был не легок. Поэт принадлежал к числу художников, которые не сразу бывают поняты и признаны. Только в конце XIX — начале XX века поэзия Баратынского завоевывает широкое признание, одно за другим выходят собрания его сочинений, журналы печатают статьи о нем.

Удачей автора рецензируемой книги является, на наш взгляд, то, что его книга помогает понять секрет жизнестойкости творчества Баратынского. Все написанное Баратынским, до последней строчки, принадлежит его времени. Он с потрясающей силой и искренностью выразил гнев и скорбь, стремления и тоску своего поколения. Мысли и чувства своих современников он исследовал как философ, переживал как лирический поэт. Поэтому он оставил духовные ценности, значение которых выходит далеко за пределы его эпохи.

Баратынский нашел новые пути и формы художественного освоения действительности, новые возможности поэтического языка. Эта бессознательная мысль облекается в книге Л. Фризмана в плоть и кровь конкретного анализа художественной ткани произведений поэта. Особенно удачен разбор стихотворений «Признание», «Муза», «Последний поэт».

Автор книги рассматривает и объясняет творчество поэта в связи с общественным и литературным движением его эпохи. Он связывает с декабризмом не только ранний период творчества Баратынского, но и весь его поэтический путь. Одновременно Л. Фризман показывает и отличия эстетических позиций Баратынского и декабристов (разбор стихотворения «Родина», «Гнедичу», «Воспоминания», «Стансы» и другие).

Плодотворна и во многом нова предпринятая Л. Фризманом попытка истолковать последекабрьскую поэзию Баратынского как «лирическую исповедь первого поколения «лишних людей». Именно здесь автор ищет истоки стиля поэта, его склонности к поэтическому раздумью. Вместе с тем автор, как нам кажется, несколько преувеличивает рациональное, рассудочное начало в поэзии Баратынского. Нельзя согласиться, например, с утверждением, что «лучшие элегии Баратынского («Разуверение», «Признание») возникли как результат пристального и бесстрастного изучения своей души, души своего поколения». Секрет поэзии Баратынского в том, что она, говоря словами Пушкина, являет собою результат не только «ума холодных наблюдений», но «и сердца горестных замет». И только соединение ума с огромным поэтическим чувством сделало стихи Баратынского одними из лучших произведений русской лирической поэзии.

Заслуживает внимания попытка автора осветить, хотя и бегло, две очень важные для понимания творчества Баратынского темы: «Баратынский и Пушкин» и «Баратынский и Белинский», каждая из которых могла бы стать предметом самостоятельного исследования.

Огорчительно отсутствие в книге специальной главы или раздела, посвященных языку поэта, тем более что попутные наблюдения и замечания позволяют предполагать, что автор вполне мог заняться этим вопросом специально.

В заключение хочется сказать, что, прочитав книгу Л. Фризмана, испытываешь желание вновь и вновь перечитывать стихи Баратынского, — думаю, что это лучше, чем можно сказать о книге исследователя поэзии.

Ф. Иоффе.

★

Р. ПОДОЛЬНЫЙ. Предки и мы. «Мысль». М. 1966. 207 стр.

Зачем нужна людям антропология? Все эти полустлевшие черепа и кости, уныло лежащие в полупустых музеях? Возможно, что именно услышав подобный снисходительно-скептический вопрос, Роман Подольный и решил написать свою книгу. И получился увлекательный рассказ о прошлом, настоящем и будущем человека — рассказ об антропологии.

Странным может показаться на первый взгляд утверждение, что книга эта злободневна. Но прочтите ее — и вы тоже убедитесь в этом.

Антинаучность расистских «теорий» не вызывает ныне сомнений. Но ведь именно антропологи разоблачали и разоблачают расистские бредни. И делают это с точными научными данными в руках, а не посредством лозунгов и заклинаний.

Фашисты провозглашали, что культуру в мир несут светловолосые, голубоглазые и длинноголовые люди так называемого «нор-

дического типа». А по данным антропологии длинноголовыми (причем в большей степени, чем арийцы) являются также негры, папуасы, австралийцы. Расисты утверждали, что у европейцев мозг больше, чем у негров или монголов, что среди европейцев самый большой мозг у арийцев. Антропологи же дали справку, что у неандертальцев вес мозга был больше, чем у современного человека, и что это вовсе не является признаком превосходства.

Ныне некоторые американские пропагандисты используют тезис о «великой англосаксонской расе». Но антропологи мира саркастически улыбаются: такой расы в природе попросту не существует. Автор книги приводит неполный список народов и племен, принявших участие в образовании английского народа: «Англы, саксы, бритты, скотты, юты, пикты, даны, норманны, древние римляне, французы — все побывали тут». Что же касается американцев, то они принадлежат к самому смешанному на земле народу.

И еще об одной лженауке рассказывает Р. Подольный в своей книге — о физиогномистике. Правда, с ней давно уже покончено, но работы Ломброзо, самого известного ее представителя, до сих пор используются беллетристами. То и дело писатели наделяют своих героев умными лбами, преступными губами, жестокими глазами. Квадратный подбородок и тяжелый взгляд из-под нависших бровей давно уже стали штампом в детективных романах и кинофильмах.

С легкой руки писателей худые люди представляются часто злыми, а толстые добродушными. Но история знает немало случаев, когда толстяки оказывались жестокими убийцами и палачами, а худые — их жертвами, и наоборот.

Разумеется, увлекательная и живо написанная книга «Предки и мы» не исчерпывается этими примерами. Читатель узнает о многих фактах и проблемах, теориях и гипотезах, накопившихся в арсенале антропологии.

И. Ярославцев.

★

В. Г. СИРОТКИН. Дуэль двух дипломатий. Россия и Франция в 1801—1812 гг. «Наука». М. 1966. 207 стр.

Сложнейшие изгибы хитро задуманных политических комбинаций, тончайшая игра послов и министров, неожиданные и быстрые крушения, казалось, безупречно разработанных планов...

События, описываемые В. Г. Сироткиным, разворачиваются на всем пространстве тогдашней Европы — от Петербурга до Парижа. Вена, Берлин, Стокгольм, Константинополь, экзотические в то время Ионические острова — вот арена дипломатической дуэли России и Франции. Важнейшие участники этой дуэли хорошо известны читателю, с тем большим интересом познакомится он с новыми штрихами к портретам

Александра I и его «молодых друзей», а также Сперанского, Барклая де Толли, Беннигсена, Кутузова, Талейрана, Меттерниха и многих иных. Несколько скромнее (подчас конспективно) очерчен второй участник дуэли — французская сторона.

История внешней политики России в Европе рассмотрена В. Г. Сироткиным глубоко и полно. По многим вопросам, имеющим обширную историографию, он убедительно высказывает свою точку зрения, подкрепляя ее зачастую совершенно новым материалом. Даже в такой, казалось бы, хорошо изученной сюжет, как континентальная блокада, он вносит весьма серьезные уточнения и дополнения.

Автору удалось показать полную драматизма картину нарастающего напряжения в отношениях между Россией и Францией, когда войны сменялись фальшивым «союзом», пока наконец все это не завершилось кровавой битвой, развернувшейся на русских равнинах между Неманом и Москвой. Правда, иногда в книге проскальзывает протокольная сухость, иногда мы наблюдаем ненужное нагромождение фактов, словно архивист подавляет здесь историка. Но таких страниц мало. Зато многие эпизоды описаны с живостью хорошего детектива (при безупречной научной основе!). Назовем в этой связи хотя бы рассказ о деятельности русской дипломатической разведки во Франции накануне Отечественной войны 1812 года.

Остается пожалеть, что в книге нет ни одной карты, хотя география занимает здесь важное место. Украсили бы ее и иллюстрации, например — портреты крупнейших дипломатов того времени.

С. Семанов,

кандидат исторических наук.

Ленинград.

★

ВАН ГОГ. Письма. «Искусство». Л.—М. 1966. 602 стр.

По письмам Ван Гога можно прочесть всю историю его трагической жизни — жизни труженика, война, павшего в неравном бою.

Винсент Ван Гог вступил на свой крестный путь в живописи, обладая громадным запасом духовных сил и крепкой жизненной закалкой. Ему было двадцать семь лет. Решение стать художником созрело у него в Боринаже, где он делил с углекопами их тяжкую участь. Живопись была для Ван Гога формой служения народу. Он был подвижником и апостолом по складу души. К шахтерам Боринажа он пришел как христианский миссионер; Боринаж сделал его революционером — в годы, когда не было баррикад на улицах. «Мы, конечно, все равно не доживем до лучших времен, когда великая буря очистит воздух и обновит все общество... Но грядущие поколения уже смогут дышать свободнее», — пишет он в 1886 году в письме к брату.

Для себя ему ничего не нужно — лишь бы дали возможность заниматься живописью. «Я — труженик, и мое место среди рабочих людей... Я добиваюсь только самого необходимого для существования, ко всему остальному я равнодушен». Но даже при помощи Тео, верного друга и брата, он не мог лобиться «самого необходимого для существования» — денег на краски, полотно, натуру, на содержание хоть самой скромной мастерской, на мало-мальски сносную еду. Тео не был богачом, а полотна Винсента не находили сбыта. «Как жаль, что живопись так дорого стоит!.. Ах, если бы у каждого художника было на что жить и работать!» — восклицания такого рода то и дело повторяются в его письмах, так же как скорбные сообщения: кончились краски, нет полотен, нечем платить за мастерскую... нечего есть...

Вначале нужда не пугает его — он еще верит в успех. «Следует не разглагольствовать, а работать, — заявляет он. — Продолжая терпеливо работать, я добьюсь своего и выражу то, что хотел выразить...»

С автопортрета 1888 года на нас смотрит суровое и сосредоточенное лицо труженика — изможденное, землистое, но полное силы и решимости; в Винсенте и вправду чувствуется «нечто от брабантских полей и пустошей» (это тоже из его письма к брату). Но другой автопортрет, сделанный за два месяца до смерти, говорит о нестерпимых муках и о близости конца: истаявшее лицо с резко обострившимися чертами, с невидящим, косящим взглядом выделяется на странном, голубовато-зеленом, словно взвихренном фоне, не отделяясь от него, будто готовясь слиться с ним.

Винсент Ван Гог измучен неотступной нуждой, затравлен тупыми мещанами. Повышенная восприимчивость, которая лежит в основе таланта, в этих условиях привела к катастрофе: рассудок его помрачается все чаще. «Что ж, я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка, это так», — написал Винсент брату в последнем, предсмертном письме 27 июля 1890 года.

Страшный, горький и правдивый итог. Но в этом же письме есть и другое. Человек, измученный жизнью, сломился, но художник Винсент Ван Гог и в час смерти продолжал верить в то, что он делал. Он благодарит Тео за помощь «в создании кое-каких полотен, которые даже в бурю сохраняют спокойствие», и резюмирует: «Мы создали их, они существуют, а это самое главное...»

Издательство «Искусство» сделало очень хорошее дело, издав эти письма (почти все они адресованы Тео), превосходящие по силе чувства и правдивости любой биографический роман о художнике. Старые издания (последнее из них было в 1935 году) практически уже недоступны читателю. Да и были они гораздо менее полными и систематичными, чем это, осуществленное

на основе четырехтомника, изданного в Голландии к столетию со дня рождения Ван Гога. И перевод тут новый — отличный перевод П. В. Мелковой. И оформлена книга превосходно, с любовью и тонким вкусом.

Ариадна Громова.

★

АНДРЕ МОРУА. Превратности любви. Семейный круг. Перевод с французского. «Художественная литература». М. 1966. 447 стр.

Романы «Превратности любви» и «Семейный круг» написаны прославленным французским новеллистом и мастером биографического романа сравнительно давно (1928 и 1932 гг.), но на русском языке они вышли — в прекрасном переводе Е. А. Гунста — только сейчас. И хотя эти книги носят камерный характер, они заинтересовали наших читателей. Почему же это произошло? Ведь в романах Моруа мы не найдем ответа на злободневные вопросы, широты исторической перспективы. Если иногда в них и слышится отголосок великих битв, происходящих в богатом событиями XX веке, то это лишь слабый, а подчас и неверный отголосок. Писатель временами весьма произвольно трактует исторические события.

Но романы французского мастера интересны потому, что вводят нас в сложную область человеческих чувств, таинственный мир, к которому мы сейчас пристально приглядываемся. Каждый из романов — нечто вроде монолога, как бы исторгнутого из глубин души. Не случайно роман «Превратности любви» даже написан в форме письма-исповеди. Так Моруа удобнее, так ему легче писать о самых сокровенных сторонах жизни сердца. Писатель не боится и патетики: в его устах она не звучит фальшиво и напыщенно.

Моруа привлекает нас в этих романах глубокими познаниями в области психологии, умением ориентироваться в запутанном лабиринте человеческих чувств. И читателю небезразличны вопросы, какими задается автор. Должно ли сопутствовать любви самоотречение? Имеет ли право любовь, основанная лишь на чувственности, называться любовью? Какую роль играет в любви тяга к прекрасному? Так сугубо личные чувства приобретают общественную значимость. Моруа наталкивает нас на мысли о том, насколько важно для человека умение разбираться в жизни собственного сердца. Не менее важна и способность проникать в чужие души, ощущать их боль, как свою собственную, иначе говоря, воспитание культуры чувства.

Мы благодарны писателю за неназойливый, интересный урок, который он нам преподает, хотя Моруа, как всегда, чуждается выводов и не дает прямого ответа на вопросы, им же самим поставленные.

Е. Ванслова.

Р. ШЕКЛИ. Паломничество на Землю. Перевод с английского. «Мир». М. 1966. 478 стр.

Молодой американский фантаст (ему нет и сорока) Роберт Шекли, к сожалению, мало знаком советскому читателю. Меньше, чем Айзек Азимов, Артур Кларк или Рэй Бредбери. Это тем более странно, что у себя на родине Шекли стоит в первом ряду писателей-фантастов. Им выпущено шесть сборников рассказов, четыре фантастических и пять приключенческих романов. Несправедливость в отношении Шекли ныне устранена выпуском объемистого сборника его рассказов.

Объясняя, почему он предпочел фантастику всем остальным жанрам, Шекли однажды сказал: «Ни один вид творчества не предоставляет писателю такой свободы действий, как фантастика. Она может охватить — и охватывает — все на свете, от безудержной романтики приключений до сатиры и социального анализа».

Как воспользовался этой «свободой действий» Шекли, видно уже по его сборнику, в котором представлено восемнадцать рассказов. Они не разбиты на отделы, не сгруппированы в циклы, как это модно ныне в западной фантастике. Да и как это сделаешь, когда что ни рассказ, то новая форма, новый жанр, новый подход к теме — от гротескно-сатирического до трагедийного.

Каждый рассказ Шекли — мысль, идея. Его «больные идеи» — это идеи о месте homo sapiens среди бесчисленного множества аналогичных и полярных разумных существ и цивилизаций. Это идеи о губительном влиянии технократии на человека. Но главная его мысль в том, что человек все-таки добр и красив, в какие бы обстоятельства ни ставила его жизнь.

У Шекли безудержная, прямо-таки невообразимая фантазия. Мало кого из современных фантастов можно поставить рядом с ним.

Он создал свой, отличный от других писателей жанр. Ю. Кагарлицкий в предисловии к книге справедливо называет его сказочником двадцатого века. «Шекли — сказочник, — пишет Кагарлицкий. — Мир, который он рисует, — это мир сказки... Сказочный мир увиден Шекли в том повороте, который предложила ему новая физика и кибернетика, и их вторжение насколько не замутнило прозрачные воды сказки; ведь кибернетика — это наука, от-

решившаяся от взрослой всезнающей самоуверенности, наука, снова научившаяся задавать детские вопросы, как их всегда задавало искусство».

Мне остается только от всей души порекомендовать любителям фантастики талантливую книгу писателя.

В. Марин.

★

ГУГО ГЛАЗЕР. Новейшие победы медицины. Сокращенный перевод с немецкого. «Молодая гвардия». М. 1966. 190 стр.

Автор этой интересной книги — известный австрийский ученый и популяризатор науки. Последние две книги Гуго Глазера, изданные у нас, — «Исследователи человеческого тела от Гиппократа до Павлова» и «Драматическая медицина» — были хорошо приняты и прессой и читателем. В его новой работе с большим знанием предмета освещен процесс развития медицинской науки в самые последние годы.

Все главы посвящены умело выбранным проблемам, находящимся в центре внимания и медицины, и широких читательских кругов. Новейшие успехи бактериологии, борьба против рака, успехи хирургической техники, открытия в области деятельности мозга и центральной нервной системы, успехи в борьбе с диабетом, новое в изучении аллергии — все это передний край медицинской науки, где ведутся чрезвычайно интенсивные исследования.

Освещающая состояние той или иной медицинской проблемы, книга обогащает читателя и общепологическими познаниями, дает представление о жизнедеятельности организма в целом. Вместе с тем автор — врач — не забывает о практической стороне дела.

Гуго Глазер широко осведомлен о достижениях русских и советских ученых и во многих случаях не только ссылается на них, но и исходит из концепций, теорий, гипотез, ими разработанных. Исключительно интересна глава, рассказывающая о проблеме оживления организма на примере лечения академика Ландау — примере, единственном в мировой науке.

Можно пожалеть о том, что автор почти не касается социального аспекта современной медицины. Тем не менее выпуск его книги следует приветствовать.

Проф. Б. Петров.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Избранные произведения. В трех томах. Том 1. 852 стр. Цена 1 р. 49 к. Том 2. 836 стр. Цена 1 р. 42 к. Том 3. 840 стр. Цена 1 р. 45 к.

В. И. Ленин. О религии и церкви. 304 стр. Цена 58 к.

В. И. Ленин — великий теоретик. 416 стр. Цена 97 к.

Н. К. Байбаков. О Государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1967 год. Доклад и заключительное слово на второй сессии Верховного Совета СССР седьмого созыва 15 и 19 декабря 1966 года.

Закон Союза Социалистических Республик о Государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1967 год. 64 стр. Цена 5 к.

Е. Ф. Гарбузов. О Государственном бюджете СССР на 1967 год и об исполнении Государственного бюджета СССР за 1965 год. Доклад и заключительное слово на второй сессии Верховного Совета СССР седьмого созыва 15 и 19 декабря 1966 года.

Закон Союза Социалистических Республик о Государственном бюджете СССР на 1967 год.

Постановление Верховного Совета СССР об утверждении отчета об исполнении Государственного бюджета СССР за 1965 год. 40 стр. Цена 4 к.

Краткий словарь по философии. 360 стр. Цена 80 к.

Международный ежегодник. Политика и экономика. Выпуск 1965 г. 335 стр. Цена 83 к.

XI съезд Итальянской коммунистической партии (Рим, 25—31 января 1966 года). Перевод с итальянского. 280 стр. Цена 58 к.

Партийное строительство. Хрестоматия. 624 стр. Цена 89 к.

В. Савостьянов, П. Егоров. Командарм первого ранга (И. П. Уборевич). 216 стр. Цена 22 к.

СССР в новой пятилетке. Справочник. 213 стр. Цена 43 к.

Я. Газров. Реформа на Мироновской, 33 (О новом в работе Московского завода тепловой автоматики). 48 стр. Цена 7 к.

«МЫСЛЬ»

Д. Атенборо. Люди рая. Перевод с английского. 133 стр. Цена 45 к.

В. Волков. Операция «Тевтонский меч». 173 стр. Цена 26 к.

«ЭКОНОМИКА»

А. Гастев. Как надо работать. Практическое введение в науку организации труда. 472 стр. Цена 1 р. 25 к.

План, хозрасчет, стимулы. 357 стр. Цена 1 р. 32 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Н. Аргунова. Ночное происшествие. Рассказы и повести. 206 стр. Цена 28 к.

П. Воронин. Хочу жить! Роман. 214 стр. Цена 37 к.

Р. Гамзатов. Мулатка. Стихи. Перевод с аварского. 135 стр. Цена 23 к.

С. Гордон. Весна. Роман, повести и рассказы. Перевод с еврейского. 439 стр. Цена 87 к.

В. Гроссман. Арион. Роман в 3-х частях с эпилогом (об А. С. Пушкине). 474 стр. Цена 84 к.

М. Дудин. Песня дальней дороге. Книга новых стихотворений. 100 стр. Цена 22 к.

И. Лиснянская. Из первых уст. Стихи. 152 стр. Цена 22 к.

А. Лупан. Когда зреют орехи. Рассказы. Перевод с молдавского. 240 стр. Цена 40 к.

Л. Мартынов. Голос природы. Стихи. 166 стр. Цена 35 к.

Мир Джалал. Куда ведут дороги. Роман. Рассказы. Перевод с азербайджанского. 411 стр. Цена 67 к.

В. Пажова. Лики на заре. Исторические повести. 250 стр. Цена 46 к.

Л. Пантелеев. Живые гамятники. Рассказы. Путевые заметки. Дневники. Воспоминания. 494 стр. Цена 65 к.

А. Погосян. Я счастлив петь. Стихи и поэмы. Перевод с армянского. 75 стр. Цена 17 к.

И. Пташников. Жди в далеких Гринях. Роман. Перевод с белорусского. 343 стр. Цена 62 к.

Х. Табачников. Местечко у Днепра. Повести, рассказы. Перевод с еврейского. 325 стр. Цена 42 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Х. Берулага. Стихи. Перевод с грузинского. 179 стр. Цена 32 к.

Бомарше. Избранные произведения. В 2-х томах. Перевод с французского. Том 1. 456 стр. Цена 99 к. Том 2. 520 стр. Цена 77 к.

Л. Ершов. Советская сатирическая проза. 299 стр. Цена 62 к.

С. Залыгин. Тропы Алтая. Роман. — На Иртыше. Повесть. — Рассказы. 599 стр. Цена 1 р. 21 к.

М. Исаковский. Стихи и песни. 223 стр. Цена 41 к.

В. Кёппен. Теплица. Роман. Перевод с немецкого. 240 стр. Цена 54 к.

Г. Косынка. На Золотых Богов. Рассказы. Перевод с украинского. 271 стр. Цена 47 к.

С. Линок. Юмористические рассказы. Перевод с английского. 455 стр. Цена 1 р. 11 к.

М. Маммери. Забытый холм. Роман. Перевод с французского. 191 стр. Цена 39 к.

С. Марков. Топаз. Стихотворения. 230 стр. Цена 47 к.

А. Мирцхулава. Стихи. Перевод с грузинского. 295 стр. Цена 44 к.

Повести Страны зеленых гор. Перевод с корейского. 343 стр. Цена 55 к.

Священная война... Стихи о Великой Отечественной войне. 815 стр. («Великая Отечественная...»). Цена 2 р. 10 к.

Г. Цадаса. Стихи. Васни. Сказки. Перевод с аварского. 183 стр. Цена 46 к.

Чанка. Соперница звезд. Стихотворения. Перевод с аварского. 79 стр. Цена 16 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Архангельский. Ногин. 320 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 82 к.

А. Масс. Жестокое солнце. Повесть в девяти новеллах. 192 стр. Цена 18 к.

Панорама. Ежегодник (О самом важном и интересном в искусстве). 192 стр. Цена 52 к.

Л. Почивалов. Мы за границей (Странички из зарубежных дневников). 272 стр. Цена 54 к.

Д. Стори. Такова спортивная жизнь. Роман. Перевод с английского. 288 стр. Цена 88 к.

К. Федин. Горький среди нас (Картины литературной жизни). 352 стр. Цена 1 р. 3 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Амлинский. Первая бессонница. Рассказы. 159 стр. Цена 35 к.

А. Беляев. Простились мы со школою... Повесть. 174 стр. Цена 38 к.

Н. Верзилин, В. Корсунская. Лес и жизнь. 287 стр. Цена 85 к.

З. Воскресенская. Сердце матери (Рассказы из жизни Марии Александровны Ульяновой). 254 стр. Цена 51 к.

Глобус. Географический ежегодник для детей. 319 стр. Цена 1 р. 97 к.

С. Маршак. Умные вещи. Сказка-комедия. 140 стр. Цена 77 к.

Москва в солдатской шинели (Сборник очерков, рассказов, стихов, отрывков из документов о битве за Москву). 375 стр. Цена 1 р. 25 к.

В. Осонин. Рассказы о русском пейзаже. 118 стр. Цена 65 к.

Л. Радищев. День первый. Рассказы о Ленине. 47 стр. Цена 73 к.

«НАУКА»

Борьба идей в эстетике. V Гегелевский и V Международный конгрессы по эстетике. 271 стр. Цена 1 р. 24 к.

Древнерусская литература и ее связи с новым временем. Сборник статей. 392 стр. Цена 1 р. 79 к.

Л. Ерман. Интеллигенция в первой русской революции. 373 стр. Цена 1 р. 66 к.

Искусство и народ. Сборник статей. 286 стр. Цена 1 р. 45 к.

Исторические песни XVII века. 385 стр. Цена 2 р. 28 к.

История армянской советской литературы. 615 стр. Цена 2 р. 61 к.

А. Караева. Очерк истории каракаевской литературы. 320 стр. Цена 1 р. 48 к.

Критический реализм XX века и модернизм. Сборник статей. 286 стр. Цена 1 р. 28 к.

Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. 516 стр. Цена 2 р. 32 к.

К. Пигарев. Русская литература и изобразительное искусство (XVIII — первая четверть XIX века). Очерки. 292 стр. Цена 1 р. 65 к.

«ПРОГРЕСС»

Н. Винер. Творец и робот. Обсуждение некоторых проблем, в которых кибернетика

сталкивается с религией. Перевод с английского. 103 стр. Цена 21 к.

Ф. Вольф. Искусство — оружие. Статьи. Очерки. Письма. Перевод с немецкого. 431 стр. Цена 93 к.

Э. Колдуэлл. Вдоль и поперек Америки. Перевод с английского. 159 стр. Цена 42 к.

Р. Паркер. Советский Союз продлил мне молодость. Избранные статьи и репортажи. Перевод с английского. 255 стр. Цена 64 к.

Ж. Превер. Избранные стихи. Перевод с французского. 171 стр. Цена 33 к.

К. Чуковский. Мой Уитмен. Очерки о жизни и творчестве. — Избранные переводы из «Листьев травы». — Проза. 271 стр. Цена 55 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Л. Леонов. Литературные выступления. 136 стр. Цена 16 к.

В. Лидин. Облачный день над морем. Рассказы. 256 стр. Цена 56 к.

Л. Рогачевский. Несущие людям радость. Очерки. 96 стр. Цена 16 к.

А. Трешников. У полюсов Земли (Дневники полярных экспедиций). 192 стр. Цена 57 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ю. Козлов. Соотношение государственного и общественного управления в СССР. 216 стр. Цена 1 р. 3 к.

Правовые проблемы науки управления. 224 стр. Цена 88 к.

Уголовный кодекс РСФСР. Официальный текст с изменениями на 16 сентября 1966 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. 252 стр. Цена 73 к.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (ИРКУТСК)

Золотые звезды Забайкальцев. Очерки о наших земляках — Героях Советского Союза. 159 стр. Цена 17 к.

В. Ляхницкий. В поисках весны. Рассказы об удивительном. 150 стр. Цена 26 к.

В. Соколов. Вечная мерзлота. Роман. 295 стр. Цена 60 к.

ЛЕНИЗДАТ

Л. Бойтман. Забвляющая радость. Повесть. 253 стр. Цена 30 к.

И. Львов, П. Никитин. Ленин в Разливе. 94 стр. Цена 21 к.

Б. Метлицкий. Снова в Петрограде. О пребывании В. И. Ленина в Петрограде 12—13 марта 1919 г. 103 стр. Цена 12 к.

М. Потехин. Первый Совет пролетарской диктатуры. Очерки по истории Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917—1918 гг. 339 стр. Цена 1 р. 38 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6. пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 6/II 1967 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 29/III 1967 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л. (24.66 усл. п. л.)
А 02524. Зак. 463. Тираж 150 000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636